

II

800

179851

Суро Алерсия

В
Большом
ружбам
мире

Ориз.
Тослитиздат
1944



СИРО АЛЕГРИЯ

В БОЛЬШОМ
ЧУЖДОМ МИРЕ

*Перевод с английского
М. Богословской и Т. Озерской*



О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1944

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

<i>Глава 1.</i> Росендо Маки и община	3
---	---

Часть вторая

<i>Глава 2.</i> Сенобио Гарсия и прочая знать	43
<i>Глава 3.</i> Дни приходят, дни уходят	49
<i>Глава 4.</i> Эль Фьеро Васкес	91
<i>Глава 5.</i> Пшеница и кукуруза	128
<i>Глава 6.</i> Бенито Кастро	149
<i>Глава 7.</i> Тэмса	166

Часть третья

<i>Глава 8.</i> Изгнание	204
<i>Глава 9.</i> Буря	251
<i>Глава 10.</i> Сладость и горечь кожи	291
<i>Глава 11.</i> Кровь в джунглях	306

Часть четвертая

<i>Глава 12.</i> Росендо Маки в тюрьме	333
<i>Глава 13.</i> Валенсио в Янэньуи	359
<i>Глава 14.</i> Разбойник Доротео Киспе	379
<i>Глава 15.</i> Смерть Росендо Маки	392
<i>Глава 16.</i> Голова Фьеро Васкеса	410
<i>Глава 17.</i> Бенито Кастро возвращается домой	413
<i>Глава 18.</i> Первые дни	426
<i>Глава 19.</i> Новые обязанности общины	434

Часть пятая

<i>Глава 20.</i> Куда, куда деваться?	441
---	-----

Редактор Н. Касаткина

Подписано к печати 7/IV 1944 г. А 7834. Тираж 10 000 экз.
28¹/₄ печ. л., 25,62 уч.-авг. л. Зак. № 6295. Цена 12 р.

1-я Образцовая тил. греста „Полиграфинга“ Огиза при СНК
РСФСР, Москва, Вавозая, 28.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

РОСЕНДО МАКИ И ОБЩИНА

Недобрая примета!

Тёмная змея, извиваясь, пересекла дорожку. Она оставила за собой в тонко истоптанной пыли еле заметную борозду, свой след. Она проскользнула так быстро, что индеец Росендо Маки не успел вытащить свой мачете. И когда стальное лезвие сверкнуло в воздухе, длинное блестящее тело змеи уже скрылось в придорожных кустах.

Недобрая это примета!

Росендо спрятал мачете в кожаные ножны, которые висели на узком ремне, выступавшем тёмной полосой на красной шерсти его кушака, и остановился, не зная, что ему делать. Он хотел было идти дальше, но ноги его словно приросли к земле. Страх обуял его. Тут он заметил, что подалее кусты образуют густую заросль, и там-то змее удобно было спрятаться. Нужно во что бы то ни стало уничтожить эту гадину, а с нею и дурное предзнаменование. Это единственный способ отвести беду, которую накликают змеи и совы. Он сбросил плащ, чтобы свободней двигаться среди кустарника, снял кожаные сандалии, чтобы ступать беззвучно. Затем, крадучись, обошёл змеиный след и бесшумно проник в кусты с ножом в руке. Если бы поселяне увидели его, вот так застывшего, словно пёс перед горячим следом, они сказали бы:

— Что это он тут делает, наш старик? Спятил он, что ли?

Это были кусты уныкосов, с гладкими блестящими листьями, с узловатыми ветвями, усыпанными тёмнокрасными ягодами. Росендо Маки очень любил эти ягоды, но сейчас он даже не притронулся к ним. Глаза его горели возбуждением, словно у животного, подкрадывающегося к своей добыче; они обследовали каждый вершок земли, не пропуская ни одного тайничка там, под ветвями, где муравей подкусывает и тащит в муравейник травинку, где мошка

пищит о своей любви, где прорастает семя, упавшее на землю вместе с мякотью перезрелого плода или с птичьим помётом, где жук всё роет и роет свои тончайшие подземные ходы. Здесь не было ничего, кроме этой скрытой плодоносной жизни. Внезапно вспорхнула малиновка, и Росендо увидел гнездо, укрытое в развилке сука, и в нём треугольные клювы и дрожащие голые тела двух птенцов. Малиновка вернулась вместе со своим самцом, и оба зачирикали, перепрыгивая с ветки на ветку, стараясь держаться поближе к гнезду, насколько им позволял это страх перед человеком. Росендо Маки с удвоенным усердием начал шарить возле корней, но не мог найти и следа хитрой гадины. Он вышел из кустов, спрятал нож, надел пончо, который только что скинул, — эти яркие полосы на его пончо, как они, бывало, радовали глаз! — и пошёл дальше.

— Да, недобрая примета!

Во рту у него пересохло, в висках стучало, он чувствовал усталость. Охота за змеей была пустяковым делом, от неё он не мог устать, но когда он вспоминал об этой гадине, ему опять становилось страшно. Вскоре он подошёл к обмелевшему ручью, который тихонько бежал прозрачной струйкой; Росендо опустил в него свою соломенную шляпу и не без труда зачерпнул немного воды. Большие глотки прохладной влаги освежили его, и идти стало легче. Змея, наверное, заметила со склона гнездо малиновок и ползла туда, чтобы сожрать их, — так говорил себе Росендо, мысленно возвращаясь всё к тому же. А он как раз шёл мимо. Вот и всё. А может быть, коварная тварь увидела его и сказала себе:

— Вот хороший случай напугать до смерти доброго христианина.

Но человеку свойственно видеть вещи в приятном для себя свете. Может быть, змея на самом деле хотела сказать вот что:

— Вон идёт беспечный человек и не чувствует даже, что беда у него на пороге. Пойду скажу ему.

Так оно, должно быть, и есть, раз ему не удалось отыскать её. А ведь от судьбы не уйдёшь. Экая недобрая примета, недобрая примета!

Росендо Маки возвращался с гор, куда он ходил искать лечебные травы, которые знахарка велела пить его ста-

рухе-жене. По правде сказать, пошёл он ещё и потому, что ему нравилось испытывать силу своих мускулов на крутых склонах, а потом, одолев крутизну, озирать открывающиеся перед ним дали. Он любил эти широкие просторы и горделивое величие Анд. Он радовался, глядя на одетого снегом Урпильяу — седого, важного, как старый мудрый инка; на сурового, бурного Уарку, неустанно воюющего с туманами и ветрами; на кручи Уильяжа, где спит вечным сном индеец с лицом, запрокинутым к небу; на притаившегося Пуму, похожего на горного льва, что приготовился к прыжку; на мирного толстяка Суни, которому словно было не по себе среди таких соседей; на пастьешского Мамай, раскинувшегося многоцветными склонами вспаханных полей, среди которых редко-редко попадалась скала, откуда можно было осмотреть даль; и вот ещё на этого, и этого, и вон того...

Индеец Росендо наделял их всевозможными обликами и чертами характера и подолгу, часами, наблюдал их. В глубине души он верил, что Анды владеют непостижимыми тайнами жизни. Он смотрел на них с предгорий Таиты или, как его называют, отца Руми — могучего пика, чья вершина из голубого камня вонзалась в небеса, словно копьё. Пик этот не столь высок, чтобы носить снежную корону, но и не так низок, чтобы на него легко было взобраться. Взметнувшись ввысь своей дерзновенной вершиной и словно истощив в этом взлёте все силы, Руми спускался вниз тупыми утёсами, на которые взойти не так уж трудно. Руми обозначает — «камень»: его высокие склоны были все испещрены синими камнями, которые казались почти чёрными, словно кротовьи норы, притаившиеся среди выжженных, жёлтых, шуршащих трав. И подобно тому как суровость пика смягчалась в этих сбегаящих холмах, — так угрюмая пустынность его камней таяла и исчезала на склонах. Спускаясь, они одевались кустами, зелёными лужайками, деревьями и распаханными полями. По одному из скатов вылась мягкая ложина в пышной красе густых зарослей, скрывавших прозрачный поток. Руми был в одно и то же время грозный и кроткий, суровый и дружественный, неприступный и благосклонный. Индейцу Росендо казалось, что он знает все его душевные и телесные тайны, как свои собственные, или как тайны своей жены, ибо любовь побуждает к познанию и обладанию. Только вот жена его стала старой и больной, а Руми был всё такой же, увенчанный ореолом бессмертия.

«Что лучше? — раздумывал Росендо. — Земля или женщина?»

Разобраться в этом он не мог, но он очень любил землю.

И вот как раз когда он возвращался с гор, змея пересекла ему дорогу, предвещая беду. Дорога вилась, делая множество поворотов, сама похожая на змею, скользящую по склону. Приглядевшись повнимательнее, Росендо Маки мог уже различить крыши отдельных домов. Мягко набежавшая по спелому пшеничному полю волна, внезапно оборвалась перед ним, потом снова возникла в отдалении и снова приблизилась в плавном ритме.

Её ласковое колыханье маняло взор, и путник присел на большой камень. Пшеничное поле уже желтело, хотя кое-где ещё виднелись зелёные островки. Оно было похоже на те странные горные озера, которые от игры света отливают всеми цветами радуги. Толстые стебли мягко качались, слегка потрескивая. И через мгновение Росендо почувствовал, что тяжесть спала с его сердца, и всё стало прекрасным и добрым, как это колышущееся поле. Спокойствие снова вернулось к нему, и он решил, что это предзнаменование просто предупреждало его о чём-то неизбежном, перед чем можно было только смириться. Будет ли это смерть его жены, или его собственная смерть, — ведь в конце концов оба они очень стары, им уже пора умирать. Каждому свой черёд. А может статься, какое-нибудь зло угрожает общине? Возможно, что и так. Но он-то ведь всегда старался быть добрым старшиной.

С того места, где он сейчас сидел, видно было деревню, смиренный и прочный оплот общины Руми, которая владела большими землями и богатыми стадами. Дорога спускалась в ложину и проходила через деревню. Здесь по обе стороны её тянулся ряд домишек, и она носила пышное название Калье-Реаль. Примерно на середине селения находился пустырь, носивший не менее пышное название: Городская площадь. Посреди пустыря, под сенью единственного дерева, возвышалась небольшая, приземистая церковка. Дома были крыты красной черепицей или серым тростником, а стены у них были жёлтые, лиловые или красные, смотря по тому, какого цвета глиной они были обмазаны. При каждом домике сзади был огород, засеянный бобами, фасолью, овощами и обсаженный широколиственными деревьями, кактусом и агавой. Отрадно смотреть

на эту весёлую картину, а ещё отрадней жить здесь. Что знает об этом цивилизованный мир? Конечно, он может признавать или отрицать достоинства такого существования, но те, чья жизнь протекала здесь, те знали от века, что счастье зиждется на справедливости, а справедливость — на общем благе. Это было прочно установлено временем, силой традиции, волей человека и неисчерпаемыми дарами земли. Жители Руми были довольны своей судьбой.

Вот что чувствовал Росендо — скорее чувствовал, чем понимал, хотя в сущности это и являлось предметом его размышлений — в то время как он с удовлетворением созерцал обитель своих родимых лар. По обе стороны дороги на склонах холмов колыхалась высокая, густая и пышная пшеница. Подальше, за рядами домов с их многоцветными садами, в более защищённом месте, росла кукуруза, шуршащая на ветру пушистыми початками. Сев был обильный, и урожай обещал быть богатым.

Индеец Росендо Маки сидел поджав ноги, словно древний идол. Его жилистое коричневое тело напоминало ствол дерева локке — узловатый и твёрдый, как железо, — ибо сам он был отчасти растение, отчасти человек, а отчасти камень. Толстые губы под плоским носом были сомкнуты с выражением спокойствия и упорства. Над жёсткими выступающими скулами сияли глаза — тихие тёмные озёра. Брови у него были, словно нависшие скалы. Весь он словно повторял рельеф своей страны, как будто кипучие силы земли выплавили его и его народ по образу их родных гор. Голова у него была белая, как голова Урпильяу. И, подобно Урпильяу, он был почтенным патриархом. Уже много лет, — так много, что он потерял им счёт, — поселяне выбирали его своим старшиной или главой общины. У него было четыре выборных помощника, тоже бессменных. Поселяне говорили: «Тот, кто даёт добрый совет сегодня, даст добрый совет и завтра» — и снова брочали власть тем, кто заслужил их доверие. А Росендо Маки показал, что он человек сметливый и надёжный, справедливый и осмотрительный.

Он любил вспоминать, как его в первый раз выбрали помощником старшины, а потом и старшиной. Однажды в деревне засеяли пшеницей новый участок, и она выросла такая густая и тучная, что зелень её казалась почти синей. Тогда Росендо пошёл к человеку, который в то время был старшиной.

— Таита, — сказал он, — пшеница растёт такая тучная, что скоро поляжет, и колосья начнут гнить на земле, — и зерно пропадёт зря.

Старшина усмехнулся, посовещался со своими четырьмя помощниками. И те тоже усмехнулись. Росендо стоял на своём.

— Таита, если не веришь, дай мне спасти хоть половину поля.

Долго пришлось их уговаривать. Наконец совет согласился, и половину нового пшеничного поля сжали. Но, склонившись с серпами в руках, тёмнокоричневые среди яркой зелени пшеницы, поселяне роптали:

— Уж этот Росендо всегда что-нибудь выдумает!

— Только время попусту терять, — ворчали другие.

Но скоро им пришлось заговорить иначе. Скошенная часть снова заколосилась и стояла прямо. А нетронутая половина, отяжелевшая от своего буйного роста, опусгила колосья и полегла на землю. Тогда поселяне увидели, что он был прав, и сказали:

— Надо выбрать Росендо помощником старшины.

А Росендо посмеивался про себя, потому что уже видел однажды, как такая история случилась с пшеницей на ранчо Сораве.

Он хорошо выполнял свои обязанности. Он сам умел работать и любил знать всё, что делается кругом, хотя всегда держал себя очень тактично. Однажды вышел странный случай. Индеец по имени Абдон купил у цыганки старое ружьё. Собственно говоря, он выменял его на меру пшеницы и восемь солей. Но, как и следовало ожидать, на этом дело не кончилось. Абдон пристрастился к охоте на ланей. По горам то и дело разносилось эхо его выстрелов. Каждый вечер он возвращался, таща на плечах одку, а то и две лани. Иные не видели в этом ничего плохого, а другие считали, что не годится убивать невинных животных и что горы в конце концов разгневаются. Старшина, старик по имени Ананиас Чольяйя, которому охотник всегда дарил добрый кус дичины, помалкивал. Не то, чтобы Абдон подкупил его своими дарами, а просто он так уж считал, что самый лучший способ управлять — это помалкивать. Абдон продолжал охотиться, а поселяне — судачить. И недовольство всё росло. Наконец поселяне, и среди них один строптивый индеец по имени Пилко, пришли к старшине выразить своё негодование.

— Почему это, — спросил Пилко, — Абдон может убивать ланей сколько ему в голову придёт? Ведь, коли уж на то пошло, лань пасётся на земле, которая принадлежит общине. Значит, он должен делить мясо между всеми.

Старшина Ананиас Чольяйя призадумался; дело было каверзное, и он не знал, как тут применить свою молчаливую систему управления. Тогда Росендо Маки попросил слова и сказал:

— Давно я слышу эти толки и грустно мне видеть, как наши поселяне попусту тратят время. Абдон купил себе ружьё, потому что ему хотелось купить, — ну всё равно, как идёт, например, человек в город и покупает себе зеркало или платок. Правда, он убивает ланей, но ведь лань никому не принадлежит. Кто может доказать, что она всегда пасётся на общинных лугах? А может быть, она паслась на соседнем ранчо, а потом пришла к нам. Надо рассуждать по справедливости. Землю мы обрабатываем все сообща, значит и урожай наш общий. А охотится у нас один только Абдон. Справедливо, чтобы он и пользовался плодами своего мастерства. И ещё я скажу вам — времена сейчас меняются и нельзя быть такими придирчивыми. Если Абдон будет недоволен, он от нас уйдёт. А мы хотим, чтобы у нас всем было хорошо, — лишь бы, конечно, соблюдалась интересы общины.

Пилко и его друзья, не зная, что на это ответить, только кивали, а затем, уходя, решили между собой: «Он говорит хорошо и рассуждает справедливо. Из него будет дельный старшина». Следует упомянуть, что с этого времени лакомые куски дичины стали попадать уже не к старшине, а к Росендо. А другие индейцы, соблазненные успехом Абдона, тоже завели себе ружья.

Когда пришло время и старый Ананиас Чольяйя навеки сомкнул свои молчаливые уста, Росендо Маки был выбран на его место. Слава его как прямого и справедливого человека всё росла, и его всегда переизбирали. На много километров вокруг шла молва о его здравом уме и честности, и крестьяне из соседних селений часто приходили к нему разрешать свои споры. Самым знаменитым было его решение по делу двух фермеров из Льякта-Ранчо. У обоих было по чёрной кобыле и случилось так, что почти в одно время обе кобылы принесли очень похожих жеребят. Оба были красивые и весёлые и тоже чёрные. И случилось так, что

один из них вдруг издох, — может быть, его в стаде лягула какая-нибудь сердитая кобыла. И тогда каждый из фермеров стал верить, что уцелевший жеребёнок принадлежит ему. Один обвинял другого в том, что тот пускается по почам на какие-то плутни и устраивает так, что жеребёнок идёт за кобылой, которая вовсе не мать ему. И вот они пришли искать правосудия у мудрого старшины Росендо Маки. Он выслушал того и другого, не шевельнув бровью, и долго сидел, взвешивая все «за» и «против». Наконец он велел запереть жеребёнка в общинной конюшне и сказал:

— Уведите ваших кобыл и приходите завтра.

На другой день тяжущиеся вернулись без кобыл. Тогда Росендо Маки строго сказал: — Приведите кобыл, — и выразил неудовольствие по поводу того, что ему приходится тратить больше слов, чем это необходимо. Когда они вернулись, судья велел привязать кобыл на одинаковом расстоянии от конюшни, сам открыл ворота и выпустил жеребёнка. Как только кобылы увидели его, обе они заржали. Жеребёнок остановился на миг, посмотрел, а затем радостно помчался к одной из взволнованных матерей. И старшина Росендо Маки торжественно сказал её хозяину:

— Твой жеребёнок.

А другому пояснил:

— С той самой минуты, как жеребёнок рождается на свет, он узнаёт ржанье матери.

Проигравший тяжбу и был как раз тот, кого обвиняли в плутовстве. Он не захотел подчиниться решению Маки и пошёл к окружному судье. Выслушав его, судья сказал:

— Вот решение, достойное Соломона.

Эти слова дошли до Росендо, и так как ему было известно, кто такой Соломон, — ибо о мудрости этого древнего царя знают во всех уголках земли, — то он остался очень доволен. С тех пор прошло уже много-много лет.

А теперь и старшина Росендо Маки в свою очередь стал глубоким стариком. Вот он сидит на своём утёсе, возле пшеничного поля и предаётся воспоминаниям. Он сидит так неподвижно, что сливается с камнем, и кажется, будто оба высечены из одного куска. День убывает, и

солнечный свет становится золотым. Внизу в деревне пастух Иносенсио загоняет телят, и матери провожают их жалобным мычанием. Индейка в красной юбке спускается по тропинке к площади. Дровосек, согнувшись под тяжестью ноши, плетётся посреди дороги. Перед домом Амаро Сантоса остановился верховой. Должно быть, это сам Амаро Сантос, потому что он просил у Росендо лошадь съездить в соседний городок. Вот он спрыгнул с лошади и не спеша вошёл в дом. Да, это Амаро.

Так вот жизнь идёт всё попрежнему. Мирная и спокойная. Вот кончается день. Завтра наступит другой и тоже пройдёт. Но община Руми останется всё такой же. Если бы только не эта проклятая змея! Ему вспомнилось, как кондоры, завидя змею, устремляются вниз со скоростью и точностью стрелы и уносят извивающуюся в их когтях добычу к себе на вершины. Зоркие глаза у кондора! Но он, к сожалению, не кондор. Когда он был мальчишкой, он любил во время плясок на ярмарке изображать кондора. Он надвигал на лоб птичью голову с загнутым клювом и чёрным жёстким гребнем, а чёрные крылья с белыми пятнами спускались у него по плечам до самых кончиков пальцев. Он плясал, взмахивая крыльями и издавая хриплые крики. Сейчас перед его мысленным взором возник покойный Чауки, мудрый старый индеец, память которого представляла собой пёструю смесь были и вымысла. Чауки говорил, что в стародавние времена индейцы Руми считали себя потомками кондоров.

И тут Росендо пришло на ум, что, пожалуй, только он один и помнит эти слова Чауки, да и многое другое, связанное с жизнью общины. А если он вдруг умрёт? Правда, сидя у очага и копаясь в золе своей угасающей памяти, он, случалось, рассказывал о разных давнишних событиях, но без всякого порядка, просто как приходило в голову. Надо будет как-нибудь вечером собраться у огня и, пожёвывая коку, не спеша рассказать обо всём как следует. Сын его Абран — малый толковый. И ещё он позовет своих четырёх помощников, и Ансельмо тоже придёт его послушать. Память! Много он слышал и видел на своём веку. Время стёрло лишние подробности, и события вставали перед ним отчётливо, словно те тонкие рисунки, которые художники-индейцы вырезают на своих золотистых тыквенных флягах. Но кое-какие мелочи слишком уж поблекли и словно растаяли. Это старость стёрла их.

Первым его воспоминанием — а в памяти Росендо всё, что касалось его жизни, сливалось с жизнью общины — был колос. Росендо был ещё совсем маленький, и вот как-то во время жатвы отец протянул ему колос; он долго разглядывал его и восхищался рядами блестящих зёрнышек. А тут же на земле лежал седельный мешок, и на нём были такие красивые красные и синие полосы. Должно быть потому, что это были первые цвета, которые он запомнил, они стали его любимыми и всегда красовались на его плащах и одеялах. Ещё он любил жёлтый цвет, наверно потому, что это — цвет спелой пшеницы и зерна. Ему нравился ещё и чёрный — должно быть потому, что он напоминал о таинственной беспредельности ночи. Старая голова Росендо искала всему объяснения. Наконец, хорошенько поразмыслив, он решил, что ему нравятся все цвета радуги. Но сама-то радуга, такая красивая, приносила зло. Если она проникала в тело человека, он заболел. И тогда знахарка Наша Суро давала больному размотать клубок семицветной шерсти, и больной выздоравливал. Сейчас старая жена Росендо, Паскуалья, ткала ему седельный мешок из разноцветной шерсти. Она говорила:

— Яркие краски я ещё вижу, ну а другие цвета уже плохо разбираю. Стара я стала.

Тем не менее она аккуратно выткала ему красивый мешок. Недавно она захворала, и очень тяжело. И теперь часто поговаривала, что скоро умрёт. На поясе у Росендо, рядом с его мачете, висел связанный узлом красный платок, а в нём были те самые травы, что велела собрать знахарка.

Паскуалья стала думать о смерти после того, как ей приснилось, будто она идёт по дороге следом за своим покойным отцом. Утром она сказала мужу:

— Я скоро умру. Отец приходил за мной нынче ночью:

Росендо сказал ей в ответ:

— Зачем так говоришь? Мало ли какие бывают сны! — Но сердце его сжалось от огорчения и страха.

Сейчас их соединяла спокойная привязанность. Но не всегда было так. Когда они были молоды, они любили друг друга, как иссохшая земля любит воду. Он жаждал её каждую ночь, словно это был сладкий плод, а иногда она отдавалась ему среди поля под лучами солнца, как газель. У них было четыре сына и три дочери. Старший Абран, был искусный наездник; второй, Панчо, ловко управлялся с быками; третий, Никасио, был мастер выре

зять из дерева трубки и ложки; а младший, Эваристо, умел ковать сошники и заступы. Но прежде всего они были земледельцы, и вся их жизнь была связана с землёй. Все они уже поженились и жили в своих домах.

Дочери — Тереса, Отилия, Хуанача — тоже были замужем. Они знали всё, что полагается знать женщине: умели плести, ткать, стряпать и, разумеется, рожать крепких, здоровых ребят. Но Росендо был не очень доволен младшим сыном, Эваристо. Когда тот захотел учиться на кузнеца, Росендо отправил его в город и отдал в ученики кузнецу дону Хасинто Прието. А там Эваристо научился не только ковать железо, но и пить, да не просто кукурузную водку, а чистый спирт, чуть разбавленный водой, — лютое зелье, которое пьют горожане. А случалось, что этот глупый малый тянул даже древесный спирт. И ещё Росендо недолюбливал Евлалию, жену старшего сына. Она была ленивая и сварливая, да и неряха вдобавок. Непонятно было, как это Абран, такой разумный, мог так ошибиться. «Что поделаешь, такова жизнь», — думал про себя старый Росендо. Он не считал детей, которые умерли от оспы, но он причислял к своей семье метиса Бенито Кастро, — он вырастил его наравне со своими ребятами, но теперь Бенито уже давно ушёл из дому. Он всегда был непоседой, он часто пропадал и снова возвращался, но как-то раз, много лет тому назад, с ним случилась беда, и с тех пор он исчез совсем. А ещё Росендо считал своим Ансельмо — калеку-арфиста. Когда тот остался сиротой, Росендо взял его к себе. Ансельмо так хорошо играл по вечерам! Случалось, что старая Паскуалья плакала, слушая его. Кто знает, какие желания пробуждала в её сердце музыка.

Спелое пшеничное поле мягко колыхалось под лучами вечернего солнца. Один колос похож на другой, а вместе они радуют глаз. Один человек похож на другого, а когда они все вместе, на них тоже радостно глядеть. Так вот и история жизни Росендо Маки и его детей похожа на историю жизни любого поселенца Руми. «Но у человека есть голова и сердце, — думал Росендо, — а пшеница — та живёт только своими корнями. В этом разница между ними».

Там внизу лежал посёлок, а он был его старшиной, и кто знает, какое будущее ждёт их. Вчера, сегодня... Слова, а в этих словах долгие годы, столетия...

Старый Чауки некогда рассказывал историю, которую потом рассказывали Росендо. История эта гласит, что в прежние времена здесь не было ничего, кроме общины; не было ранчо, которые теперь окружают общину со всех сторон. Но вот пришли чужеземцы, уничтожили общинный порядок, начали делить землю на участки и забирать их себе. Индейцам пришлось работать на этих новых хозяев. Бедняки — ибо тут-то на свете и появились бедняки — стали допытываться: — Чем же плохи общины? Почему их уничтожают? — Вместо ответа их заставляли работать, пока они не валялись с ног. Те немногие индейцы, которым оставили землю, решили держаться за свою общину. Ибо труд существует не для того, чтобы изводить или мучить людей, а для того, чтобы люди жили в достатке и радовались. Вот так-то и возникли общины, подобные общине Руми. При этом старый Чауки говорит:

— К несчастью для индейцев, община становится с каждым днём все меньше. Я видел, как многие общины распадалась, и земля переходила в руки богачей. И что бы богачи ни делали, всё делается именем закона. Закон! Правда! Что мы, индейцы, знаем о законе? Если богач начинает заговаривать о правах, — значит, он готовит какую-то плутню. И если существует на свете закон, так только для того, чтобы обижать нас. Дай бог, чтобы никто из владельцев ранчо вокруг Руми не вспомнил о том, что на свете есть закон. А вы, поселяне, бойтесь его, как чумы.

Чауки давно уже обратился в прах, и о нём даже мало кто помнит, но слова его продолжают жить. Община Руми существует попрежнему, по ней только однажды прошёлся бич закона. Соседние же общины исчезли с лица земли. Когда поселянам случалось подниматься в горы, старики говорили молодым:

— Вон там, на том склоне, — и они показывали на каменные рёбра Анд, — была такая-то община, а теперь там такое-то ранчо.

И они потихоньку ворчали, ибо любили свою страну ревнивой любовью.

Росендо Маки никогда не мог толком понять, что такое закон. Для него это было что-то вроде тёмного, преступного мошенничества. Раз, например, без всякой к тому причины была введена подушная подать. Это значило, что индейцы, только потому, что они индейцы, должны

были ежегодно уплачивать определённую сумму. Некто по имени Кастилья в своё время отменил этот закон, тогда же было уничтожено рабство каких-то чернокожих, которых поселяне Руми никогда не видали. Но после войны закон опять вошёл в силу. Поселяне и фермеры говорили:

— Ведь это не наша вина, что мы индейцы. Разве мы не такие же люди?

Индеец Пилко в Руми ругался, как погонщик мулов:

— Пропади они пропадом! Чорт бы их совсем побрал! Придётся нам выкраситься в белый цвет.

Но никто их не слушал, и всем им приходилось платить. Потом, опять-таки без всякой причины, этот сатанинский закон перестал действовать. Кое-кто из горожан говорил, что его отменяли потому, что двое индейцев, Атуспария и Учку Педро, собрав целые толпы сторонников, подняли мятеж. Но тех, кто распространял подобные слухи, упрятали в тюрьму. Бог весть, что там было на самом деле. Но законов и без того оставалось достаточно. Правительство уж сумеет придумать! Был, например, налог на соль, на коку, на спички, на кукурузную водку, на сахар. Для богачей это всё были пустяки, а беднякам приходилось туго. Были ещё «твёрдые цены». Закон о военной службе тоже для разных людей оборачивался по-разному. «Батальон на марше» — это означало батальон марширующих индейцев. А кое-где во главе колонны, верхом на офицерских лошадях, размахивая блестящими шпагами — символом своей власти, — ехали богачи. Это были офицеры, которые получали жалованье. Таков был закон.

Росендо презирал закон. Где те законы, от которых индейцам была бы польза? Закон об обязательном первоначальном обучении не выполнялся — в Руми не было школы. На соседних ранчо тоже не было школ, только в городе была одна школа, да и то больше для виду. Ему даже думать об этом не хотелось, потому что вся кровь у него закипала от негодования. Однако думать об этом было его прямым долгом, думать, и говорить при всяком удобном случае, и стараться продвинуть это дело. Община поручила ему нанять учителя, и после долгих поисков ему удалось уговорить сына судейского писца из областного города пойти на это место за тридцать солей в месяц. Тот сказал Росендо:

— Надо будет достать книги, грифели и аспидные доски.

Грифели стоили в лавке очень дорого. Наведя справки, Росендо, наконец, узнал, что инспектор начальных школ должен снабдить их этими принадлежностями. Он разыскал инспектора в кафе, где тот сидел и выпивал.

— Зайди ко мне в такой-то день, — недовольно проворчал инспектор.

Маки пришёл в назначенный срок, и чиновник, выслушав его, удивлённо поднял брови и заявил, что в данный момент у него не имеется никаких школьных принадлежностей. Общине придётся выписать их из Лимы, и пришлют их, наверно, не раньше чем к следующему году. Старшина пошёл к сыну судейского писца и рассказал ему, как обстоит дело, на что молодой человек ответил ему:

— Так ты это, значит, всерьёз насчёт школы? А я думал, ты шутишь. Ну, знаешь, дешевле чем за пятьдесят солей я не стану возиться с тупоголовыми индейцами.

Маки сказал, что даст ему ответ позже, — он уже уговорился со своими, что жалованье будет тридцать солей. А время между тем шло. Школьные принадлежности не прибыли и на будущий год. И только тогда инспектор сказал ему, что он должен подать заявление, где нужно указать число учеников и разные другие подробности. И тут же, в последнюю минуту, добавил, что общине придётся построить специальное здание для школы. И что он не потерпит тут никаких выдумок. Упрямый старшина согласился на всё. Он сосчитал детей и обнаружил, что их больше сотни. Затем отправился к юристу, и тот составил ему заявление. Это обошлось ему в пять солей, но, наконец, преобразование было отправлено. Тем временем он столкнулся с общиной насчёт жалованья в пятьдесят солей учителю и собрал кое-кого из поселян, в том числе самых лучших каменщиков, чтобы приступить к постройке школы. Они принялись с истинным воодушевлением месить глину и возводить стены.

Вот как сейчас обстояло дело. Может быть, у них всё-таки будет школа. Только бы пришли, наконец, школьные принадлежности да учитель бы не передумал. Вот будет хорошо, когда дети научатся читать и писать. А ещё ему говорили, что существуют четыре главных правила счёта. Сам Росендо — что ему было делать? — считал двоичным счётом, при помощи пальцев, если цифры были не очень велики, а если они были побольше — то при помощи камешков или зёрен. Но и с камешками он иногда путался

в делении и вычитании. Хорошая штука — знание! Однажды он был в городе и зашёл в лавку, а там как раз находились супрефект, судья и ещё какие-то господа, и все они беседовали между собой. Он купил нож и уже собрался было уходить, как вдруг они заговорили об индейцах; тогда он сделал вид, что у него развязался ремешок на сандалии, и присел на пороге, будто бы для того, чтобы завязать ремешок, а сам стал прислушиваться к их разговору.

— Слыхали вы подобную чушь? Я сам только что прочитал в сегодняшней газете... Уж эти индейцы!.. Из-за чего такой шум? В конгрессе толкуют об отмене принудительного труда, даже будто бы хотят провести закон о минимальной заработной плате... Наверно, какой-нибудь новый депутат думает сделать на этом карьеру... Надеюсь, что дальше разговоров не пойдёт... А всё-таки это показывает, куда ветер дует. Много ли надо, чтобы и эти, — он указал пальцем на равнодушного, согнувшегося над своими сандалиями Маки, — начали заявлять о своих правах и вообще обнаглели.

— Э, чепуха, не верьте! Посмотрите, что делается в гуземных общинах, хотя их права и признаны законом... Моя бабушка, бывало, говорила: одно дело заарканить жеребца, а другое поехать на нём.

Все громко и одобрительно засмеялись.

— А всё-таки, — снова заговорил тот же осторожный голос, — это уже что-то новое... Хорошо ещё, что эти, — он снова ткнул пальцем в сторону попрежнему невозмутимого Росендо, — не умеют читать и не знают, что делается на свете. А то бы они нам показали...

— В таком случае, друзья мои, — сказал супрефект, — нам пришлось бы проявить твёрдость характера.

За этим последовало перешёптывание, затем многозначительное молчание, а затем Росендо услышал позади тяжёлые шаги. Кто-то ударил его тростью по плечу, и он обернулся. Он увидел супрефекта, который повелительно сказал ему:

— Что ты здесь делаешь? Прикидываешься, будто спишь? Нечего тут расслаживаться.

Росендо Маки поправил сандалию и медленно пошёл по улице. «Вот вам пример, — думал он. — Происходит что-то очень важное, а индейцы из-за своего невежества ничего об этом не знают. Эдакие ~~идиотские~~ мулы! Если девочка не умеет управиться ~~с верёвочкой~~ и не может

ссучить ровную шерстяную нитку, мать до крови стегает её репейником по рукам — и это удивительное растение творит чудеса. Из девочек выходят отличные пряжи. — Росендо широко ухмыльнулся. — Так надо поступать и с учениками. Хороший подзатыльник — и они живо научатся читать, писать и считать. Разумеется, одного раза мало. Придётся повторять». У него была толстая пачка документов, подтверждавших законное право на существование общины Руми, — вот он свернёт их трубкой, на манер дубинки: «Ну-ка, стройтесь, поселяне, сейчас мы вам дадим образование», — хлоп, хлоп, хлоп — и все станут образованными.

Улыбка застыла на губах Росендо Маки. Этих бумаг сейчас у него не было. Дон Альваро Аменабар-и-Рольдан — целая шеревица имён — затеял тяжбу против общины и подал на них в городокой суд. Он требовал, чтобы были установлены точные границы владений и чтобы община предъявила документы, подтверждающие её права на землю. Тогда Росендо Маки взял эти документы и пригласил в качестве поверенного и защитника прав общины самоучку-адвоката, носившего редкостное имя Бисмарк Руиц. Это был толстый маленький человечек с красным носом; он торжественно именовал себя «юридическим защитником». Когда Росендо пришёл к нему, он сидел за столом, заваленным бумагами; перед ним стояло блюдо с тушёным мясом и бутылка кукурузной водки. Просмотрев документы, Бисмарк Руиц сказал:

— Я их приложу к делу. Это ему укоротит руки, вашему Аменабару. — Росендо понравился сердитый тон, которым адвокат говорил о владельце ранчо. — А если он не уймётся, так пускай дело тянется хоть сто лет, в конце концов он всё-таки проиграет и ему придётся платить издержки.

Затем Бисмарк Руиц рассказал, сколько дел он уже выиграл, и уверил Росендо, что тяжба с общиной будет покончена мигом, стоит только предъявить документы. Плату за свои услуги он назначил в сорок солей. Речь его журчала, словно мельничный ручей, и, видно, сам он не заметил, как некстати было его замечание насчёт ста лет. Росендо не раз вспоминал об этом.

Теперь, хоть и смягчённое хрупким сияньем заходящего дня, томительное предчувствие чего-то недоброго снова

глухой болью шевельнулось у него в груди. Но тучная, щелестящая на ветру пшеница и мощь, исходившая от земли, были торжествующим гимном жизни. Росендо Маки крепко верил в правду земли, и для него естественно было думать, что ничего дурного не может случиться. Закон, конечно, был истинной напастью, но Руми пережил немало напастей. Выдержал он и болезни, — правда, они унесли много поселян, то и дело приходилось копать могилы, и рыдания женщин разрывали сердце. Но те, что поднялись с одра болезни, и те, что остались здоровыми и пережили напасть, возвращались к жизни с новыми силами. Проходило время, и воспоминание о погребальном колоколе становилось смутным, как дурное сновидение. Скорбные да лёгкие дни!

Три раза за свою жизнь Маки видел, как в деревню приходила оспа, губила десятки людей и потом уходила. Те, кто переносил её впервые, утешали себя мыслью, что больше не заболеют. Ох, уж эти лекаря! У одной красивой девушки оспа была три раза, лицо её было до того изрыто, что никто уже не звал её по имени, а только по прозвищу: «Сот Медовый». Она горько сетовала на судьбу и говорила, что ей лучше было бы умереть. А потом судьба наслала на деревню тиф. Дважды он косил людей ещё свирепее, чем оспа. Поселяне умирали один за другим, а оставшиеся в живых лежали в жару и у них не было сил хоронить мертвецов. Никому и в голову не приходило просидеть ночь возле усопшего. Думали только об одном: как бы скорей стащить его на кладбище, чтобы не дать распространиться заразе. Индеец Пилко, который во всём усматривал личную для себя обиду и всегда готов был защищать свои права, волновался из-за того, что ещё не произошло.

— А кто похоронит тех, что умрут последними? — ворчал он. — Уж лучше бы поскорей умереть, чтобы не вальтася без погребения.

И он вправду скоро умер. Но вряд ли судьба сделала это ему в угоду, — скорей всего, ей просто надоела его дерзость.

Много было необыкновенных случаев во время эпидемии тифа. Но самым удивительным из всех был случай с покойником, который вернулся к жизни. Один индеец, который долгое время хворал, вдруг начал задыхаться, потерял

сознание и умер. Весь он окоченел, как полагается покойнику; жена, как водится, поплакала; пришли могильщики, завернули его в одеяло, положили на носилки и отнесли на кладбище. Но не успели они вырыть могилу и на полметра вглубь, как началась гроза — засверкали молнии и хлынул проливной дождь. Тогда носильщики столкнули тело в выкопанную яму, бросили сверху несколько лопат земли и убежали, рассчитывая вернуться на следующий день и похоронить покойника как следует. Но им так и не пришлось это сделать.

Около полуночи вдова, спавшая дома вместе с двумя маленькими детьми, услышала стук в дверь. Глухой жалобный голос окликнул её по имени:

— Микаэла, Микаэла, отвори мне!

Она узнала голос мужа и чуть не упала без памяти. Потом решила, что это её покойник ходит по мукам, и начала громко молиться. Тут и дети проснулись и расплакались. А снаружи доносился жалобный зов:

— Микаэла, это я. Открой мне!

Она, конечно, понимала, что это её муж пришёл с того света. Две женщины, которые сидели в соседнем доме у больного, услышали шум и вышли.

— Кто там? — крикнула одна из них.

— Это я, — отозвался покойник.

Женщины, перепугавшись до смерти, бросились бежать со всех ног и не останавливались, пока не прибежали к дому Росендо. Они подняли его с постели и рассказали ему, что человек, который умер накануне, ходит по мукам и пришёл за своей женой. Они сами видели и слышали его. Он стоит в одном белье, зовёт бедняжку Микаэлу и хочет войти в дом. Маки, который при данных обстоятельствах являлся старшиной живых и мёртвых, во всеоружии своего авторитета отправился посмотреть, что же это такое творится. Женщины следовали за ним на почтительном расстоянии. Удастся ли ему уговорить покойника вернуться в могилу и никого не тащить за собой? Подойдя поближе, они услышали, как живой покойник вопил:

— Микаэла, да открой же мне!

А Микаэла уж бросила молиться и только кричала: «Помогите, помогите!» Как только выходец из могилы увидел старшину, он бросился к нему.

— Росендо, таита Росендо! Скажи моей жене, что я не умер, что я живой.

В звуке его голоса, несомненно, было что-то потусто-

роннее. Росендо взял его за плечи и даже в темноте разглядел выражение страха и муки на его лице. Он успокоил его, как мог, и бедняга рассказал, как было дело. Он очнулся и почувствовал, что продрог до костей. Он протянул руку и нащупал землю. И на лице у него тоже была земля. В ужасе он стал шарить вокруг себя и вдруг ощутил страшный запах смерти, точно рядом с ним был покойник. Он понял, что лежит в могиле. Не помня себя, он вокочил и кое-как выкарабкался из ямы. Повсюду кругом стояли деревянные кресты, а чуть подальше — каменная опрада кладбища. Крик застрял у него в горле, и он бросился бежать изо всех сил, но как только очутился за кладбищем, его ослабевшие ноги подкосились, и он упал. С того места, где он лежал, ему были видны остроконечные крыши и широколиственные деревья, выступавшие из темноты, и небо, такое ясное, каким оно бывает только после грозы, с крупными яркими звёздами. Тут он убедился, что он жив, и более того — его охватила уверенность, что он будет жить. Он с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, останавливаясь на каждом шагу, кое-как дотащился до своего дома. Вот и всё.

Старшина обнял его за плечи и, обождав, пока перепуганная жена немного успокоится, пошёл его к дверям. Росендо сам окликнул женщину. Она засветила свечу и робко отворила тяжёлую дверь орехового дерева. Микаэла была белей стены, и сальная свеча прыгала у неё в руке. Дети смотрели на пришельца круглыми, как блюда, глазами. Муж вошёл и, не говоря ни слова, повадился на одну из кроватей, стоявших в комнате. Видно было, что он едва сдерживается. Наверное, ему хотелось поговорить, поплакать. Жена укрыла его одеялами, а старшина сел у его изголовья. Тем временем женщины, которые ходили за Росендо, сбегали к себе домой и принесли рому. Больной с жадностью выпил. Росендо Маки ласково похлопал его по плечу и сказал:

— Ну, а теперь успокойся и поспи. Мало ли что приходится переносить человеку.

Жена сидела у него в ногах, окутывая его своей нежностью, словно одеялом. Мало-помалу несчастный успокоился и заснул здоровым сном. Он не умер. Он скоро оправился от тифа, но ночь в могиле не прошла для него даром. Ночная темнота пугала его, и сна он боялся, как смерти. Но когда пришло время жатвы и жизнь стала рассыпать земные блага полными пригоршнями, он забыл о

могиле и зажил попрежнему. Только не надолго. Эпидемия унесла много жнецов, и тем, кто остался в живых, приходилось работать сверх силы. А он всё подгонял своих товарищей:

— Собирайте урожай, собирайте. Нам жить надо.

И глаза его сияли радостью.

Но сердце его ослабело от болезни и однажды отказалось работать. Он упал под тяжестью огромного мешка с зерном, который тащил на плечах. И уж на этот раз он умер по-настоящему. Росендо Маки пытался припомнить имя этого человека, оно мелькало перед ним, как ночная бабочка, летящая на огонь. Он помнил, что двое его детей были взрослыми и уже могли бы работать, когда пришли «синие» и увели их. Но это уже была другая напасть.

Давно уже шла молва о войне с каким-то человеком по имени Чили. Говорили, что Чили победил, но что потом он ушёл, и никто о нём больше не слыхал. Поселяне Руми не видали войны, до их деревни она никогда не доходила. Как-то раз пронёсся слух, что генерал Касерес, очень важный офицер, прошёл где-то совсем близко от них со своими солдатами. Ещё они слышали, что он повстречался с Чили на равнине Уамачуко. Между ними разгорелась жестокая битва, и Касерес её проиграл. Много лет тому назад, в одно ясное утро, Росендо Маки посчастливилось разглядеть вдалеке почти затерянную на горизонте снеговую вершину, которая, как говорили, называлась Гуайлильс. Вот там-то далеко-далеко и лежала Уамачуко. Поселяне, до тех пор пока не пришли эти проклятые «синие», думали, что Чили — это генерал. Как-то раз командир «синих» услышал их разговоры о генерале Чили и напустился на них:

— Ах вы, тёмные дураки! Чили — это страна. И там живут люди — чилийцы. Так же как и Перу — страна, а мы — перуанцы. Вы, индейцы, попросту безмозглые скоты!

Скотами-то, по правде говоря, были солдаты. И притом голодными скотами. Едва они появились в деревне, как командир «синих» вызвал старшину и сказал:

— Селение Руми должно поставлять нам ежедневно корову или десять овец и столько зерна, сколько нам требуется.

Вот дьяволы! Одни из них назывались «синими», потому что носили синюю полоску на шляпе или на рукаве.

А другие назывались «красными», потому что носили красную полоску. «Синие» сражались за кого-то, кого звали Иглеснас, а «красные» за кого-то по имени Касерес. И ни с того, ни с сего в одном городе собирался отряд «синих», а в другом отряд «красных». А иной раз и оба отряда в том же самом городе. И тогда они устраивали засады и подстерегали друг друга. А потом налетали на деревни, на общины, как буря с градом на поля, покрытые воходами. «Да здравствует Касерес!» — «Ура, Иглеснас!» Хорошо им было орать. Им жилось недурно. Они шатались по всей стране отрядами в пятьдесят, в сто, а то и в двести человек, и командовал ими полковник или майор. Пришли они и в Руми. Командиром у них был белый человек по имени майор Тельес. Но если бы командиром был не он, а его ординарец, Сильвино Кастро, по прозвищу Кока-Комок, было бы ещё во сто раз хуже. Это был дюжий метис, у которого вечно оттопыривалась щека, потому что за ней лежала жвачка из листьев кожи. Его прозвище пошло оттого, что эта жвачка однажды спасла ему жизнь.

Дело было во время выборов, и Кастро вёл кампанию за одного из кандидатов. Как-то раз на улице, завернув за угол, он столкнулся лицом к лицу со своим противником. Тот выхватил револьвер, раз за разом выпалил в Кастро чуть ли не в упор и скрылся, когда Кастро упал замертво, обливаясь кровью. Но метис, к своему великому удивлению, нашёл в себе силы подняться. Всё лицо у него было в крови, а во рту тоже было полно тёплой солёной крови. Он сплюнул её вместе со своей жвачкой и вдруг заметил, как из жвачки выкатилось что-то твёрдое. Глядит, а это пуля. Она прострелила ему щеку и застряла в плотном комке жвачки, другая пуля просто не попала. Чтобы произвести побольше впечатления, Кастро добавлял, что у него на этой стороне рта нет ни одного зуба, а то пуля пробила бы ему небо и убила бы наповал. Майор Тельес говорил, что рассказы насчёт зубов — враньё, ибо однажды, воспользовавшись своей властью, он приказал Кастро открыть рот, и оказалось, что все зубы у него на месте, и только в одном было маленькое дупло. И вот у них вечно шли споры о том, опасны ли выстрелы на близком расстоянии. Один говорил, что если бы у него даже и не было во рту жвачки, то этот выстрел только выбил бы ему несколько зубов. А Кастро уверял, что у него на этой стороне не было зубов, и тут же предлагал противнику,

если уж тот так уверен в своих словах, позволить выстрелить в себя в упор, тогда видно будет, что получится. На это майор Тельес отвечал, что им надо беречь патроны для «красных».

Рассказ о человеке, который спасся благодаря комку жвачки во рту, производил впечатление, и вначале ему все верили. Но, к несчастью для Кастро, который очень гордился таким подвигом, свежий шрам на его щеке слишком часто напоминал об этом событии, и тут всякий раз возникали споры и сомнения. В этих спорах и в обсуждении подобного рода вопросов «синие» патриоты проводили всё своё время. Ну, конечно, они сражались за Иглесиаса и за спасение родины.

Среди них не было ни одного, кто бы не считал себя вполне пригодным на пост министра или по крайней мере префекта. Хуже всего было то, что у них, повидимому, не было ни малейшего намерения убраться отсюда. Может быть, они думали, что правительство должно пребывать в Руми. Сильвино Кастро вечно напивался пьяный и потом шатался по деревне и стрелял. Он избрал своей мишенью цыплят и уверял, что может попасть им прямо в голову. И хотя выстрел не всегда попадал точно в цель, всё-таки цыплёнок всякий раз оказывался убитым. Девушки смотрели на солдат испуганными глазами. Однажды Чавеля, самая красивая девушка во всей деревне, в слезах прибежала домой и рассказала матери, что Кока-Комок изнасиловал её за оградой кукурузного поля. Ночная темь не раз оглашалась воплями других девушек. И день за днём небо на заре окрашивалось синью, словно предлагая этим мерзавцам выкроить из него те самые полоски, что они носили на шляпах и на рукавах.

Однажды Кока-Комок выстроил в ряд всех деревенских парней и выбрал самых сильных из них к себе на службу в качестве денщиков. На них возлагалась обязанность ухаживать за офицерскими конями. Росендо Маки отправился к майору Тельесу ходатайствовать за них, но Кока-Комок пригрозил ему:

— Не суйся ты не в своё дело, индейский осёл! Гляди, как бы я не пристрелил тебя за то, что ты не патриот.

И он замахнулся на Росендо, а майор Тельес не мог, или не хотел, заступиться за него.

Но всё изменилось в один прекрасный и вместе с тем чреватый тяжёлыми событиями день, когда «красные», конные и пешие, ворвались в посёлок. «Да здравствует

Касерес!» У них были красные, как кровь, нашивки на шляпах и на рукавах. «Синие» вопили, подбодряя друг друга криками.

— Мы должны защищать крепость, — сказал майор Тельес.

— Идём защищать крепость! — орал Кока-Комок.

«Какую крепость?» — подумал Росендо и от души пожелал им, чтобы все они отправились в свою крепость и там издохли. «Красные» наступали. Дым стоял над деревней, горы премели от выстрелов. Кто-то из «синих» бросился звонить в церковный колокол. Тельес и Кока-Комок поделили своих сторонников. Одна группа должна была забраться на чердаки и палить из слуховых окон; другие укрылись за каменными оградами. Несколько человек, самые отчаянные, взобрались на деревья. Всё это происходило в той стороне деревни, где пролегалла дорога, по которой двигались «красные».

— Да здравствует Касерес! Смерть предателям!

— Да здравствует Иглесиас! Да здравствует отечество!

Почему они так кричали? Они-то, наверно, знали, чего хотели. Когда всадники приблизились на расстояние выстрела, их встретили градом пуль. Многие из них повалились ничком на землю, а другим удалось спрыгнуть с коней. Они побежали, чтобы залечь за скалами и холмами, и оттуда открыли сильный огонь. Тут подоспела пехота и начала заходить с обеих сторон, непрерывно стреляя. Кое-кто из «синих» попадал с деревьев, других прикончили за каменными оградами. Отряд «красных» добрался до церкви и захватил её, заколов в спину двух «синих», которые стерегли дорогу. Тогда Кока-Комок, который сидел на бузине, понял, что их окружают, и отдал приказ отступать. Нельзя отказать ему в том, что он был очень храбрый вояка, потому что он один с десятью солдатами прикрывал отступление, и они палили в каждого, кто к ним приближался. Тельес с главными силами «синих», которые теперь частично покраснели от крови, укрылись за холмом, поджидая вестовых с лошадьми. Кока-Комок со своими десятью солдатами присоединился к ним и, надо сказать, во-время, потому что «красные» уже повскакали на коней и гнались за ними, размахивая саблями. Но дорога шла через узкое ущелье, и преследование не удалось: «красные» привели с собой только двух пленных.

Росендо Маки наблюдал за всей этой суматохой, стоя

неподалеку от того места, где сейчас сидел. Как только он увидел «красных», которые скакали вдалеке, он подумал: «Чего мне здесь дожидаться?» — и пробрался по склону холма в заросли кустарника, откуда можно было смотреть, оставаясь невидимым. Остальные поселяне, за исключением вестовых, попрятались в домах.

Когда Маки спустился с холма, в деревне стоял запах крови и пороха. Микаэла, вдова человека, который однажды воскрес из мёртвых, вопила вместе с другими ма́терями:

— Сыновья мои, где мои сыновья?

Как раз в это время двое верховых подъехали с пленными. Пленники сообщили, что майор Тельес, увидев лишних лошадей, всадники которых были убиты по дороге, приказал всем своим сесть на коней и оставил только пять коней для Коки-Комка и его солдат. Поэтому для некоторых нехватило лошадей, и вот они двое были взяты в плен. Женщины вопили, изрыгали проклятья и умоляли командира Порталью, начальника «красных», пристрелить пленных и всех раненых «синих», которых индейцы и солдаты принесли на руках и на похоронных носилках. Раненые не подавали голоса и вместе с пленными следили за движениями командира грустным напряжённым взглядом. Женщины-матери вопили, не унимаясь: «Пристрелить их, пристрелить!»

Раненых положили на землю, и кровь одного из них собралась лужицей в маленькой ямке.

— Пристрелить их! Пристрелить!

Порталья закурил папироску. Индейцы стояли вокруг густой толпой. Микаэла иступлённо кричала и кидалась к начальнику, а тот равнодушно смотрел на происходящее. Внезапно она бросилась на одного из раненых, словно бешеная пума, намереваясь вцепиться ему в горло своими длинными загнутыми ногтями. Двое солдат пытались оттащить её назад, но она вырвалась, упала ничком на землю и, припав к луже крови, начала пить её, хрипя, как зверь. Когда её подняли, всё лицо у неё было в крови, она испустила душераздирающий вопль и потеряла сознание.

Должно быть, это произвело сильное впечатление на командира Порталью, потому что он был известен своей неумолимостью к врагам, а тут, вместо того чтобы отдать приказ пристрелить их, он сказал:

— Откройте церковь и положите туда всех раненых.

У интенданта есть бинты и дезинфицирующие средства. Пленных возьмите под стражу.

И, обратившись к своему вестовому, добавил:

— Принеси-ка мне рому покрепче.

Позже поселяне подобрали убитых, всего двадцать пять человек, и понесли их на кладбище. Порталья распорядился так:

— Похороните всех вместе. В конце концов они все перуанцы. И неплохо будет им объединиться хотя бы после смерти.

Поселяне выкопали длинный, глубокий ров. Командир и Маки присутствовали на похоронах, и когда опускали тела «красных», Порталья о каждом сказал несколько слов:

— Вот этот маленький метис был сущий дьявол. Когда он пришёл к нам, у него не было ничего, кроме железной палки. В бою он добыл себе винтовку.... Вот этот высокий, правда, был большой любитель девушек... А этого мне жаль, его звали Росас... Превеликий был шутник.

Глядя на убитых «синих», он заметил:

— Красивый малый. Настоящий солдат!.. Какой выстрел! Пуля навывлет, прямо в лоб. Интересно, кто это из моих молодцов так постарался? Он заслуживает награды.

Росендо Маки вежливо кивал в знак согласия и думал, как счастливы пленные и раненые, что они остались живы. Когда они вернулись в деревню, он велел соскрести с земли пятна крови, потому что в конце концов ведь это была человеческая кровь, след их жизни, и нехорошо было топтать её. Затем он отправился в церковь и обнаружил, что дух братства объединил не только убитых перуанцев, но и раненых. По крайней мере сейчас они позабыли, кто из них был «синий», кто «красный». Они лежали на полу, в два ряда, укрытые полосатыми одеялами и церковной мглой. Те, что были ранены легко, разговаривали между собой и угощали друг друга папиросами; другие лежали неподвижно; у некоторых головы были белые, в бинтах. Они смотрели в потолок или на запрестольный образ. Кое-кто глухо стонал, стиснув зубы.

Перед алтарём индеец зажигал свечи, которые просили поставить самые богомольные из раненых. В нише стоял чудотворный образ св. Исидора, покровителя землепашцев. Он был одет в испанский плащ с капюшоном, а на голове у него была панاما с лентой национальных цветов. Под плащом видны были широкие штаны, заправленные в блестящие сапоги. Левая его рука покоилась на

груди, а в правой он держал заступ. Румяный, усатый, востроглазый, св. Исидор был похож на довольного, зажиточного фермера, снявшего богатый урожай.

Ещё кое-кто из солдат пришёл поставить свечу: они спрашивали, где образ св. Георгия, спрашивали об этом и раненые; и когда им сказали, что такого образа в церкви нет, они поставили свои свечи св. Исидору. На боковых стенах церкви, светлых от побелки, как ясный день, были намалёваны картины страстей господних. Солдаты, конечно, предпочли бы св. Георгия, этого непревзойденного воина. Другие святые воины сражались с людьми, а св. Георгий, тот вступил в бой со свирепым драконом, бился с ним и проткнул его своим копьём. Один из солдат достал образок своего излюбленного святого и прислонил его к щюску салага св. Исидора так, чтобы и перед ним тоже горели свечи. Это был красивый св. Георгий, с пронизывающим взглядом и решительным видом; он сидел на прекрасном белом коне и поражал своим копьём огромное чудовище, у которого была голова крокодила, когти льва, крылья летучей мыши, змеиный хвост, а из пасти вырывалось пламя. Признаться, он не очень нравился Росендо, потому что старик не мог себе представить лучшего святого, чем тот, который пашет землю; к тому же он был не совсем уверен, существовало ли когда-нибудь на свете такое чудовище.

В церковь вошло несколько индейцев; среди них была Чавеля. Они поставили свечи перед алтарём и, опустившись на колени, стали грустными голосами читать молитвы. У подножия алтаря, корчась, словно черви в темноте, раненые стонали, бредили, металась в беспокойном сне.

Когда Росендо вышел из церкви, он узнал, что Микаэла всё ещё была вне себя и, должно быть, помешалась. Он с трудом удержался от слёз, увидя её. Её отсутствующие глаза бессмысленно блуждали, она непрерывно стонала. Рот у неё был открыт, она сидела, беспомощно свесив руки, похожая на измученное, издыхающее животное.

Неспокойные это были дни. «Красные» пробыли в Руми неделю, а овец и коров они поедали столько же, сколько и «синие». Уходя, они оставили четырёх раненых. Трое из них, как только поправились, ушли, а четвёртый, который был похож на индейца, остался в общине, подружившись с одной вдовой.

Св. Исидор простил им дурные повадки и всем послал выздоровление. Бедная Микаэла оказалась единственной

жертвой — рассудок так и не возвратился к ней. Она немного пришла в себя и перестала стонать, но целые дни бродила, как дурочка, по деревне и всякому встречному твердила:

— Они скоро вернутся, не сегодня — завтра вернутся.

Наконец она умерла, и поселяне говорили: «Бедная помешанная, и лучше для неё, что померла».

Солдаты оставили после себя в Руми не только раненых, бедствия и неприятные воспоминания. Они оставили ещё и своих потомков. Природа оказалась сильнее, чем возмущение девушек: прошло должное время, и они родили детей от чужеземцев. Их называли Бенито Кастро, Ремихио Кольянтес и Серапио Варгас. Отцы их ушли навсегда, а может быть, и погибли в междоусобной войне, — они никогда не увидят своих сыновей. Был случай, о котором знал только Росендо. Один индеец, который отсутствовал, пока в деревне стояли солдаты, вернулся и застал свою жену тяжёлой. Он пришёл посоветоваться с Маки, и тот сказал ему:

— Это случилось не по её вине. И тебе не за что прекрять бедную женщину. Ребёнок должен носить твоё имя.

Так оно и было. С девушками дело оказалось посложнее. Молодые парни не хотели брать их в жёны. Маки твердил им:

— Вы поступаете несправедливо. Это не их вина.

Наконец, одна за одной, они все повыходили замуж.

Отчим Бенито не любил его, обращался с ним жестоко, несправедливо наказывал, — сердце мужчины — тёмный омут; в конце концов Росендо взял мальчика к себе. Он и Паскуалья заботились о нём, как о родном сыне. Бенито подрастал и звал их отцом и матерью. Но в жилах его текла бурная кровь. Ещё мальчишкой он прославился своим искусством метать из пращи. На расстоянии двух кварталов он ухитрялся попасть в церковный колокол, и тут поднималась суматоха, потому что Маки, для скорости, вызывал своих помощников колокольным звоном. С каждым помощником было условлено, сколько отбивать ударов. Так вот, когда камень попадал в колокол и тот начинал звонить, кто-нибудь из помощников бежал на звон, а когда выяснялось, в чём дело, он бросался на Бенито с палкой, но парнишка убегал со всех ног.

В лунные ночи дети собирались играть на площади. Месяц с невозмутимым величием плыл по небу, а дети, глядя на громадный волшебный светящийся диск, весело кричали:

Месяц, месяц,
Понграй!
Месяц, денежку подай!

Они думали, что месяц может послать им подарок.

Взрослые говорили малышам, что если приглядеться попристальней, то можно увидеть на лице луны осла, который везёт женщину. Одни говорили, что это дева Мария с младенцем Иисусом, а другие уверяли, что это просто узор.

Месяц, месяц,
Понграй!

В самый разгар игры Бенито Кастро, который прятался где-то за углом, вдруг выскакивал и бросался на них с рёвом и рычанием, изображая из себя быка или горного льва. Дети рассыпались во все стороны, их платки и плащи развевались по ветру, а он ловил кого-нибудь из них и начинал теревить изо всех сил, точно собираясь разорвать на части. А потом вместе со всеми скакал и кричал, гримасничая:

Месяц, денежку
Подай!

Эти воспоминания согревали сердце Росендо. Где-то он теперь, Бенито, жив ли он? Росендо надеялся, что жив. Он верил в это со всем жаром, который рождается от любви. Его старуха-жена всегда говорила, что в один прекрасный день Бенито вернётся счастливым и здоровым, как ни в чём не бывало. Она часто вспоминала своего Бенито и говорила, что из-за этого ребёнка пролила больше всего слёз. Может быть, потому-то она и любила его так сильно, с той глубокой нежностью, которую матери испытывают к непослушным детям или своевольным подросткам, чьи наклонности готовят им в жизни тяжкую борьбу.

Маки даже не хотелось вспоминать, как Бенито попал в беду, и ещё меньше о том, как он, справедливый старшина, однажды нарушил справедливость. Никто не мог упрекнуть его, но он сам упрекал себя, или, верней, ему становилось не по себе всякий раз, как он вспоминал об этом.

Медленно спускались сумерки. Пшеничное поле было похоже на волнующееся темноводное озеро, а селение в долине словно провалилось в пропасть. Но вот вспыхнул огонёк — один, другой, третий. Красные точки деревенских очагов весело замелькали в ночной темноте. Небо сверху застыло тёмной громадой, между тем как на гребнях холмов медленно угасали последние отсветы сумерек. Маки знал, что луны сегодня не будет. Ему представлялось, будто она уснула в какой-то далёкой стране теней и больше уж никогда не взойдёт в небе на радость людям и на забаву детям. Боже, каким он становится глупцом! Ведь он отлично знает, что на следующей неделе она опять вернётся и выведет его из этого густого мрака, который словно пронизывает его до самых костей. Маленькие деревенские домики подмигивали ему своими колеблющимися огоньками. В церкви появился слабый свет. Какая-то благочестивая душа пришла поставить свечу перед алтарём.

У церковного колокола был ясный, звучный, вибрирующий тон. Его было слышно далеко вокруг, когда эхо разносило его голос по горам. У него тоже есть своя история, или, вернее, легенда, ибо никто, даже и предание, не может полностью подтвердить её. Известно, что он был отлит знаменитым колокольным мастером Санчо-Хименесом де ла Куэва в 1780 году, ибо так было вырезано на его бронзе. Но никто не может сказать, как он был сделан. По преданию, мастер прибегал к чёрной магии, посредством которой его колокола и получали свой замечательный звук. Так как он брал за них не настолько дорого, чтобы примешивать золото в свой сплав, ходили слухи, будто он пользуется человеческой кровью. Хитростью завлекая к себе жертву, он перерезал ей горло в ту минуту, когда бронза начинала кипеть, и таким-то образом эта кровь вносила нотку человеческого голоса в застывающую твёрдость металла. Раньше верующие в Руми сзывались на молитву при помощи барабана, так было до тех пор, пока один богатый человек по соседству, который ездил в Лиму депутатом на конгресс и утратил там свою веру, не пустил с торгов знаменитый колокол, висевший на часовой в его ранчо. Жители Руми приобрели его за сто солей. И с тех пор звучный и ясный голос колокола, освящённый временем и тайной, сделался источником великой гордости для общины Руми. Во всей округе не

было другого такого колокола. В праздничные дни он весело пел и смеялся, когда же он извещал о смерти поселенца, он стонал с истинно сострадательной скорбью. Когда он вызванивал на все лады накануне праздника, голос его летел от холма к холму, сзывая батраков с далёких ранчо. А в праздничные дни, когда он звал к обедне или вторил хорам в движущейся процессии, он так громко и звучно возглашал славу св. Исидору, что горы радостно откликались, и сердца поселенцев сами начинали звучать, точно колокол. Св. Исидор был доволен и осыпал милостями Руми, и сеял благодать, как сеятель сеет зерно на вспаханное поле. Ибо у него был колокол, множество свечей перед алтарём, пышный праздник, и вся община почитала и любила его.

В торжественные дни престольного праздника устраивалась процессия. Повозка, на которую водружали образ св. Исидора, украшалась плодами. Св. Исидор был похож на капитана тяжело нагруженного судна, которое двигалось по многоцветной реке тесно толпившихся почитателей. Улица изображала собой русло этой реки. Сравнение было бы ещё более точным, если бы во главе процессии не шествовала упряжка быков, тащившая плуг, за которым шёл живой св. Исидор. Рога быков были увиты цветами, а юноша, направлявший плуг, был одет точь-в-точь в такие же плащ и шляпу, какие носил сам святой. Этот символический пахарь, ловко владевший мотыгой и плугом, вёл за собой борозду, которая свидетельствовала об искусстве святого земледельца. На второй и третий день праздника святой с порога церкви взирал на веселье своей паствы. Пили, ели и плясали день и ночь. Приглашённые на праздник бродячие певцы, поблёскивая стёклышками, нашитыми на их одежды, плясали и распевали стихи, посвящённые святому:

Святой Исидор,
Добрый пахарь!
Ты пашь землю
Крепко, глубоко.
Святой Исидор,
Добрый сеятель!
Каждый цветик завяжи
Спелым зёрнышком.

Вот было весело! Многое множество музыкантов играло, кто на флейтах, кто на барабанах: а теперь из года в

год и Ансельмо выступал со своей арфой. Он играл и играл, согнувшись над своим инструментом, точно упиваясь своим воодушевлением и своими собственными трелями. Конечно, случалось, бывали и засухи, и голод однажды длился целых два года, но всё это стёрлось в далёком прошлом, которое угасло в памяти Росендо, оставив только тусклые звёздочки воспоминаний. Священник, отец Хервасио Местас, служил обедню в день праздника, а уж кому, как не ему, было знать, как подобает молиться св. Исидору. И монахи, которые проходили через деревню, благословляли стада, чтобы они множились и чтобы у овец росла густая шерсть. Но тут надо было смотреть в оба, чтобы не попасться на удочку лжемонахов. Потому что как-то раз два странника, одетые монахами, появились в Руми; они проходили по всем горным деревням, собирая подаяния для своего монастыря в Кахамарке. Послушники, которые шли с ними, гнали большое стадо овец и коров — пожертвования ранчеров, фермеров и общин. С великой торжественностью монахи благословляли стада жертвователей, многократно осеняя их крестным знамением, произнося слова, которых никто не понимал. Но случилось так, что когда они пришли в Сартин, гоня перед собой чуть ли не целый гурт, навстречу им попался студент из университета, который по-настоящему знал латынь и всякие богословские науки. Он заговорил с ними, а обманщики-монахи стояли и не знали, что сказать, так он их застиг врасплох своими вопросами и учёностью. Но, конечно, на этом дело не кончилось. Собралась возмущённая толпа, и обманщики, покидав свои неуклюжие рясы, бросились улепётывать со всех ног. История эта быстро облетела всю округу, но были и такие места, до которых она не дошла. Маки в то время приехал в Кальяри продавать картофель и остановился там у одного крестьянина; тот, весь сияя от радости, начал рассказывать ему, как хорошо у него идут дела, и уж как он доволен тем, что овцы у него хорошо плодятся, и он приписывал это благословению двух монахов. У него прямо глаза полезли на лоб, когда Маки рассказал ему, что это не монахи, а воры, переодетые монахами, и что в Сартине их вывели на квежую воду.

В самом Кальяри — в деревушке, по имени которой назывался весь округ, не осталось ни одной живой души; одни только груды развалин. Грустно было представить себе, что там, где некогда трудились мужчины и женщины, где

они огорчались и радовались, дожидаясь в простоте души благ и невзгод каждого грядущего дня, там не было теперь ничего, кроме разрушения и тишины. Ни единой души. Говорят, что всех их скосила чума. А предание говорит, что это сделал Василиск — зловредная тварь, похожая на ящерицу, которая убивает одним взглядом. Но если человек увидит его раньше, чем тот на него взглянет, то Василиск издыхает. Эта бесовская гадина явилась в Кальяри, спряталась под порогом церкви и в один воскресный день, когда народ выходил из церкви после обедни, истребила своим сверкающим смертоносным взглядом целый город.

Маки печально смотрел на посёлок. Ярко сверкали огоньки, их рыжеватый свет озарял пустынную тьму, которая окутывала небо и землю, погашая сумеречное пламя заката, всё ещё тлевшее на вершинах холмов. Вот и жители Кальяри зажгли свои очаги, а потом ложились спать, чтобы наутро подняться и начать новый день, и так, один за другим, дни и ночи повторялись и исчезали во времени. Вплоть до самого того дня, когда Бенито Кастро, гоняясь за годовалым жеребцом, спустился за ним в заросли оврага. И что же он нашёл там? Труп, ещё не остывший труп женщины! Он перекинул его через плечо, принёс к дверям церкви и позвал старшину. Росендо осмотрел труп и не мог найти ни раны, ни какого-нибудь другого признака насилия. Он велел позвонить в колокол, чтобы собрать поселян. Покойница была молодая, статная и красивая, на шей была оранжевая юбка, белая, вышитая красным кофта и чёрная шаль. Никто не знал её, никто её никогда не видал. Жители Руми посидели возле тела, потом, когда пришёл окружной судья и подписали акт о смерти, её похоронили. Те, кому случалось бывать в окрестных деревнях, всюду рассказывали о её смерти и спрашивали:

— Не разыскиваете ли вы пропавшую? — и описывали, какая она была из себя и во что была одета.

Эта новость облетела всю округу. Никто ничего не мог сказать о покойнице. И все находили, что это очень странная история. Откуда взялась эта женщина? Убежала ли она? Зачем она забралась в заросли? Может, она отравилась? Но ведь она могла бы сделать это и там, откуда пришла, зачем ей понадобилось идти так далеко? Бенито нашёл её возле ручья, в глубине оврага, — она лежала так, словно просто спала.

Мысли Маки снова вернулись к Бенито. Юноша непрерывно приходил ему на ум. Может быть, змея начертала свой роковой знак на этой смелой жизни? Всё может быть... У него был крутой подбородок, непокорные усы прикрывали его пухлую верхнюю губу, а чёрные глаза сверкали ясной смелостью животного, выросшего на воле. У него была мощная, широкая грудь, сильные ноги, могучие руки. Он был объездчиком и пастухом. Где-то он теперь? Ведь это он когда-то спас корову Лимону от кондоров, когда она была ещё телушкой. Он подоспел как раз в то время, когда две огромные чёрные птицы готовились броситься на беззащитное животное; а телушка до того перепугалась, что не могла даже и на ноги подняться. Размахивая своим мачете, Бенито со всех ног бросился к кондорам и отпугнул их. Лимона выросла и принесла немало телят. Поглядеть на неё, такую кроткую и тучную, с тяжёлым выменем, полным молока, — никогда не подумаешь, что в прошлом она пережила такое страшное приключение. Это была хорошая дойная корова, и у неё была только одна соперница, чёрная Гуэначина. Та давала целое ведро. Ну, а что касается телят, ни одна не могла сравниться с Аньерой-годовихой, та приносила каждый год по телёнку, откуда и пошло её имя.

Коровы паслись хорошо. Иносенсио говорил, что это потому, что он закопал в загоне маленького каменного телёнка. Он купил его в одной усадьбе и точно помнил, куда зарыл. Он всегда выливал на это место немножко молока, а иногда приносил ещё и лепёшку. И маленькая фигурка опекала телят. Тот же Иносенсио уверял, что молоко от чёрных коров жирнее, чем от других. Знахарка Наша Суро советовала при зубной боли полоскать рот мочой чёрного быка. Но никто уже больше не слушал её — ах, неблагодарные индейцы! — и все предпочитали обращаться к кузнецу Эваристо, у которого были такие особенные щипцы. Одним рывком он вырывал больной зуб, но случалось также, что он выламывал ещё и кусок челюсти.

Чёрный бык Моско упал с горы и разбился — это было много лет тому назад. Падая, он ударился о выступ скалы, сломал ногу, вышиб глаз и разодрал себе всё тело. Наверно, он не видел куда шёл, или силы оставили его, потому что он был очень стар. Он был кроткого нрава и когда-то был очень сильный. Маки выхолостил его и приучил пахать плугом. Не было другого такого работника.

Вместе со своим парным, которого он наказывал, если тот ленился, он тянул прямые и глубокие борозды. Он двигался мягко, спокойно, природа отражалась в его больших, лишённых всякого выраженья глазах, а он пережёвывал свою жвачку и свою глубокую житейскую мудрость. И бодило никогда не пронзало его гладкие, мощные бока. Оно только слегка прикасалось к нему, чтобы указать, в какую сторону идти и когда поворачивать.

Когда какой-нибудь бык плохо работал в паре, его запрягали с Моско. И тогда он живо обучался всем правилам. Моско шёл вперёд, если тот отставал, и останавливался, когда другой не в меру прибавлял шаг. И тут ему на помощь приходил пахарь, который погружал свой плуг глубоко в землю. Мощная шея Моско, его крепкие ляжки и широкие копыта служили образцом размеренной скорости и сильной, но ровной тяги, а это и делает труд пахаря плодотворным. Кончив работу, он важно мычал и направлялся в загон. Когда трава на пастбище засыхала, он ел листья, а если не мог добыть листьев, то находил себе кактусы. Если продолговатые листья кактуса висели слишком высоко, он валил наземь всё растение.

Маки любил его. Как-то раз один из поселян запряг его в тяжёлый плуг и, чтобы показать всем его силу и резвость, погнался, вонзая ему в бока бодило, да так, что у быка выступила кровь. Маки пошёл к этому человеку и дал ему такого тумака, что тот свалился с ног. Это был один из редких случаев, когда Росендо применил силу к одному из своих подопечных. После сева скотину отправляли на пастбище, а в определённые дни пригоняли, чтобы дать ей соли, но Моско иной раз сам решал, что нуждается в соли; тогда он с невозмутимой решимостью перепрыгивал через рвы, заборы и каменные ограды, являлся в деревню и останавливался перед домом Росендо. Поселяне покатывались со смеху: «Гляди-ка, даже и бык знает, что наш Росендо — старшина!»

Маки выносил ему большой кусок каменной соли, и Моско, нализавшись вдоволь, спокойно отправлялся на выгон. Он вёл себя, как хорошее, разумное человеческое существо. Старику было больно вспоминать его окровавленное туловище, сломанные рога и пустую глазную впадину. Он долго плакал над мёртвым телом этого доброго товарища по работе, этой божьей и земной твари.

Были ещё и другие замечательные быки. Вот, например, Барросо, который мог таскать тяжёлые эвкалиптовые

брёвна; Чолито, который очень легко наливался жиром и весь лоснился, а сам был такой живой и весёлый; Мадрино — сильный и терпеливый, который тащил, бывало, на толстой верёвке, привязанной к рогам, упрямую или одичалую скотину, когда та не хотела уходить с пастбища. Но ни один из них, ни один, не мог идти в сравнение с Моско по тому, какая сила в нём была заложена, какой у него был живой разум и доброе сердце. А какой он был красивый! Крупный и такой чёрный, как только что добытый из-под земли уголь. Иной раз, когда поселяне приходили за скотиной на пастбище спозаранку, они не могли найти Моско, он лежал где-нибудь в тростниках или среди камней и его не видно было в темноте. Приходилось ждать рассвета, чтобы отыскать его. Словом, Маки не только любил, но и уважал его, и вспоминал о нём, как о добром члене общины.

Вол Сомбра и бык Чолоке тоже были чёрные. Сомбра был хороший, честный работник. Чолоке был сущий дьявол. Он ненавидел работу, и ничего другого не хотел, как только носиться с коровами. Он вечно удирали из загоня, а если случайно и удавалось заарканить его во время сева, он с величайшей неохотой работал один день, а ночью снова вырывался и убегал. Выждав некоторое время, он появлялся снова с самым невинным видом, как будто ничего и не случилось. Когда он действительно был необходим для работы, его приходилось привязывать на ночь кожаной или волосной удавкой, потому что верёвку он перегрызал. Зато к плодам работы он питал такую же любовь, какую ненависть питал к самой работе; более алчного мародёра на кукурузном или пшеничном поле не было во всём стаде. До гороха он был такой же охотник, как лани. Он дочиста опустошал поля и уходил оттуда, только когда доведённые до отчаяния поселяне начинали обстреливать его из пращей.

Вся община решительно настаивала на том, чтобы его охолостили, но у Маки рука не поднималась, потому что это было великолепное животное, и хотя Чолоке был сущий дьявол, зато он был прекрасный производитель. Как и всякое избалованное животное, он не терпел, когда какой-нибудь другой бык переходил ему дорогу, или приставал к корове, или хотя бы щипал траву и лизал соль в его присутствии. Он тотчас же затевал драку, чтобы поставить соперника на место, улизнуть его или прогнать. Если предполагаемый соперник находился в некотором

отдалении, он начинал рыть землю, вызываясь мычал, тряс головой и проделывал всё, что только мог придумать, лишь бы затеять драку. Другие быки боялись его. Все они испытали на себе его силу, потому что когда они стояли друг против друга, лоб ко лбу, рог к рогу, чуть ли не плечо к плечу, как казалось Росендо, им ничего другого не оставалось, как уступить ему и признать себя побеждённым этой крутой, могучей, упрямой волей. И когда они отступали, Чолоке, для вящего торжества, ещё бодал их в бок или ляжку. Итак он был полным хозяином до тех пор, пока был Гранисо не решил положить этому конец. Кто знает, сколько ударов рогами, насилья над невинностью и унижений терпел Гранисо? Во всяком случае он решил, что с него довольно.

Раз, на исходе дня, Порфирио Медрано, переходя деревенскую площадь, увидел вдалеке двух дерущихся быков. Позади кукурузного поля, на склоне крутого холма, лежал выгон; с одной стороны его, уступами, наподобие лестницы, поднимались крутые красновато-чёрные скалы. Среди этих-то скал и шла битва, и Медрано остановился посмотреть, чем она кончится. Так как конца драки не было видно, он поспешил к старшине, а тот позвал ещё индейца Шанте, который славился своим зрением. Шанте сказал: «Это быки Гранисо и Чолоке». И они стали дожидаться, скоро ли Чолоке заставит храбреца показать спину.

Однако этого не случилось. Издалека они казались точками, но точки эти оставались на месте. Ни тот, ни другой не сдавались, и упрямая борьба продолжалась. Временами, из-за неровности почвы, они вынуждены были расходиться, но тотчас же снова сходились и, упершись лоб в лоб, толкали друг друга с удвоенной силой.

— Как бы тут чего не случилось, — сказал Маки, — лучше бы их разнять.

И они пошли к быкам. Им пришлось сделать крюк и подняться чуть ли не на самую вершину, чтобы подойти к холму с той стороны. Хотя это было и не очень высоко, но тропинка была крутая и неровная, и прошло немало времени, пока они туда добрались. Подойдя к уступам и увидев, что бой всё ещё продолжается, они начали поспешно спускаться с криками: «Стойте, бык, стой!» Шанте стал обстреливать быков из своей пращи. У него был верный глаз, и его круглые камешки летели прямо, как стрела. Несмотря на дальность расстояния, ему удалось попасть в свою цель несколько раз. «Стойте, бык, стой!» — и ка-

мешек летел, рассекая воздух, и ударялся в быка или подскакивал на земле. Но быки ничего не слышали и не замечали. Иногда они вдруг переставали толкать друг друга, словно собираясь разойтись, но, повидимому, это был только приём боя, потому что тотчас же вслед за этим они снова бросались друг на друга, и опередивший теснил противника, пока тому не удавалось остановить его.

Бой происходил около ущелья, и оба они избегали пятиться к этому краю, а топтались на отлогой стороне. Они мерялись силой друг с дружкой, и оба тяжело пыхтели. Поселяне подошли совсем близко и теперь хорошо видели их. Каждый из быков старался поддеть свои рога под рога другого, чтобы пихнуть сильнее. Чолоке был опытный драчун, и ему это удавалось много чаще. После одного из таких толчков Гранисо вдруг отскочил в сторону и побежал вверх, словно собираясь удрать, а Чолоке, не помня себя от ярости и гордости, бросился за ним, мотая головой, чтобы боднуть его в бок. Воспользовавшись этим, Гранисо круто повернулся, запустил свои рога под рога Чолоке и начал толкать его изо всей силы. Когда Чолоке бросился за Гранисо, он очутился спиной к ущелью и не успел повернуться. Гранисо напал на него неожиданно и теперь, напирая на него сверху всей тяжестью своего тела, быстро и безостановочно толкал его к обрыву. Поселяне, увидев, что Чолоке неминуемо упадёт, остановились. Чолоке отчаянно силился удержаться на краю, но его задние ноги соскользнули, и он с хриплым ужасающим рёвом покатился вниз. А потом слышно было только, как он глухо ударялся о выступы скал, пока не докатился до зарослей кустарника на дне ущелья. И это уже был не Чолоке, а сплошная кровавая бесформенная масса.

Гранисо, постояв на краю пропасти, огляделся вокруг, издав короткий торжествующий рёв и затем стал подниматься по той самой тропе, которая помогла ему одержать победу над тираном. Но он не унаследовал дурных замашек драчуна, характер у него был спокойный, и он вступал в драку не иначе, как по уважительной причине, которую Росендо мог себе представить, но не задавался целью выяснить. Старшина считал, что животные — они, как люди, и ошибаются те, кто полагает будто у них нет чувств. Поглядеть только, как ведут себя коровы, когда одну из них ведут на бойню. Все они собираются на запах

крови вокруг места жертвоприношения и мычат протяжно и жалобно, словно оплакивая погибшую. И на это мычанье собирается всё больше и больше коров, и так они стоят и мычат целый день, а иногда и не один день.

Маки расценивал животных, как людей, — по их поведению, и потому не очень горевал о смерти Чолоке. Он не одобрял его чрезмерной заносчивости, хотя и признавал его хорошие качества. Чолоке однажды боднул коня Фронтину. Фронтиню был светлый гнедой, одна нога у него была белая, и на лбу было белое пятно, которое ночью светилось, словно звезда. Из разных деревенских пословиц о лошадях две как раз подходили к нему: «Светлый гнедой умрёт, да не устанет». «Белая нога — лёгкая нога». Он был самый крупный из жеребцов общины и очень сильный. Лучшие пастухи садились на него, когда нужно было заарканить лошадь. А когда кто-нибудь ехал в далёкий путь или по важному делу, всегда запрягали Фронтиню. Как-то раз пастух Иносенсю, объезжавший стадо верхом на Фронтиню, хотел перерезать дорогу Чолоке, который собирался удрать. Пастух остановился посреди тропинки, по которой намеревался пройти бык, но тот и не подумал повернуть назад, а бросился на Фронтиню и боднул его в грудь. Рана начала гноиться, образовалась опухоль, которая всё твердела и росла. Росендо лечил коня керосином и лимонным соком, так как Паща Суро не знала никаких лекарств для лошадей. А лимоны очень хорошо помогают больным лошадям и овцам. Нужно только нашить их на верёвочку и надеть её на шею животного. Забавно смотреть, как они ходят с этими жёлтыми ожерельями.

Овечьё стадо общины было большое и, милостью бога да стараниями пастухов, всё увеличивалось. Ребятишки в сопровождении нескольких собак гоняли овец на горные пастбища, и пока овцы паслись, дети пели, играли на самодельных флейтах, а собаки зорко стерегли стадо. Овец надо было стеречь от горных львов и лисиц, а ягнят от кондоров. После жатвы наступало время стрижки овец. Важно было не упустить это время, чтобы до дождя с градом овцы успели обрасти шерстью, а то они погибали от холода. Был один такой год, когда и стричь собрались поздно, и бури налетели слишком рано и начали хлестать своими серыми и белыми бичами ещё в октябре. Вот

тут-то и погибли сотни овец. Когда наступило утро, они лежали в загоне, застывшие и твёрдые, как брёвна. Маргича, девочка, которая ходила за овцами, горько плакала, когда один ягнёнок пытался сосать свою мёртвую мать. Но после этого случая опыт и здравый смысл взяли своё, и овец стали стричь во-время. А кроме того, поселение построили крышу над одним из углов овчарни, как это делалось на ранчо.

Маргича расцветала, словно цветок на солнце. Теперь уж её все звали Марга. Её губы и щёки стали подобны цветам, а юные груди, как спелые плоды. Её крепкие бёдра сулили плодородие. Глядя в её чёрные глаза, молодые парни Руми мечтали о счастье. Короче сказать, она была сама жизнь, которая приносит плоды и длится вечно, ибо назначение женщины таково же, как и назначение земли. И снова Маки задавал себе вопрос, что лучше — женщина или земля?

Внезапный порыв ветра покачул колосья пшеницы и разогнал его мысли. Было уж совсем темно, и хотя огоньки в долине весело мигали ему, старый Росендо чувствовал себя совсем одиноким в этой ночи.

Такова была история Руми. Может статься, он кое-что позабыл, мог бы и ещё покопаться в своих воспоминаниях. Время проходило иной раз, словно плуг, который выворачивает целый слой земли, иной раз пронеслось, подобно буйному ветру, ломающему ветви деревьев. Но земля оставалась вечно неизменной, сильной, и в её любви благоденствовал человек.

Росендо Маки спустился со скалы и медленно двинулся по тропинке, которая раздваивалась на крутом холме Кучилло и делила пополам пшеничное поле. Колосья пшеницы ласково шуршали, и там, и сям — повсюду трещали сверчки и кузнечики, словно вели между собой оживлённый разговор из какой-то старой, знакомой Росендо сказки. Обременённый годами, он спускался вниз по извилистой тропке... Внезапно в тишине ночи, прорезая мрак и будя холмы, раздался крик:

— Росендо-о-о!. Отец Росендо-о-о!..

Скалы откликнулись, эхо понеслось дальше и замерло, потонувши в шелесте пшеницы, в трескотне кузнечиков и

сверчков. Лента дороги белела в темноте, и Маки прибавил шагу, стараясь в то же время идти осторожно, чтобы не оступиться и не упасть. Его усталые глаза немножко побаливали. Тёмная быстрая тень, тяжело дыша, взбиралась по склону. Это был его пёс Кандела. Он потёрся о ноги Росендо, тихонько поскулил, а потом бросился обратно на дорогу. Ясно было, что он прибежал сказать ему что-то и теперь торопил его идти поскорей в деревню. От времени до времени Кандела останавливался и скулил, а потом снова бежал вперёд. Маки быстро шагал за ним. Вот уж пошли первые каменные стены, возле которых росли пальмы и колючие группы. Вот, наконец, и дома, мерцающие огнями очагов. Маки быстро шагал посреди улицы, появляясь, как призрак, в тусклом свете огней. Кое-кто из индейцев, сидевших на крылечках, окликались его. Церковный колокол огласил воздух долгим протяжным звуком, а потом зазвонил медленно и непрерывно. Старик хотел бежать, но он сдерживался, сознавая, что должен вести себя так, как подобает его возрасту и званию. Вот, наконец-то, наконец, на той стороне площади его собственный каменный дом, и кажется, крыша его будто провалилась в темноту. Перед домом стояла кучка индейцев. Свет из двери резко очерчивал их силуэты и далеко протягивал их тени. Индейцы, не говоря ни слова, посторонились, давая дорогу Маки. Донг... донг... — горевал колокол. И горькое рыдание женщины раздалось в тишине. Старик заглянул и остановился, молча, не двигаясь. В сенях на одре из веток и трав лежало тело. Глаза его заволокло слезами. Паскуалья, его жена, умерла.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 2

СЕНОБИО ГАРСИЯ И ПРОЧАЯ ЗНАТЬ

Тело покойницы Паскуали одели в лучшие одежды и положили на ложе из одеял в сенях дома. Вокруг горели свечи, вставленные в комки сырой глины. Как только свеча догорала, её заменяли новой. У изголовья стояли «дары» — любимая пища Паскуали: сладкая кукурузная похлёбка, поджаренные початки кукурузы и печёное зерно в жёлтых тыквенных плошках. Всё это было нужно её душе, для того чтобы насытиться и набраться сил для своего долгого путешествия.

Тереса, старшая дочь, сидевшая возле тела, произносила похвальное слово покойнице, рассказывала о счастливых днях её жизни и причитала. По другую сторону ложа на низенькой скамеечке сидел Росендо и жевал свою коку. Там и сям на площади и в сенях сидели поселяне; кое-кто поместился на корточках перед огнём. Рядом со старшиной сидел калека-арфист Ансельмо, он грустно поглядывал то на Росендо, то на тело покойной. Он рассказал своему приёмному отцу о последних минутах его старушки-жены. Она сидела у очага и готовила ужин. И вдруг застонала:

— Ой, сердце схватило... Уж прости ты мне, Росендо, все мои грехи перед тобой... дети мои...

С этими словами она упала навзничь и умерла.

Росендо плакал. Что ему было прощать ей? Это ему бы следовало просить у неё прощения. И он просил его теперь у её души.

Глаза старого Росендо были устремлены в темноту. Взор его рассеянно блуждал от звезды к звезде, а потом снова обращался на жену. Её уже не было среди живых. Она была в обители смерти. В красноватых отблесках свечей морщинистое лицо и хилое тело были исполнены

необыкновенного величия и безграничной тишины. Вот эту-то тишину, этот мирный покой и стремились прорвать рыдания и вопли Тересы, призывавшей прошлое.

Волосы старшей дочери свисали распущенными прядями на её смуглое лицо. Развязанная шаль открывала её полную грудь, колыхавшуюся под белой кофтой. Она причитала и стонала:

— Ай-ай-ай... ай-ай-ай... маменька моя!.. Где же на свете сыщешь такую другую? Сердце-то у неё чистое золото было, а речи — звонкое серебро. Лишь только увидит, бывало, калеку, больного, несчастного, сейчас же на помощь придёт — лечить, утешать. Ай-ай-ай... А из уст её только добрые слова люди слышали, а уж коли случалось ей посудачить ненароком, так сейчас же, бывало, сама себя оборвёт, скажет: вот мы, мол, сплетничаем, стыдно нам, стыдно, нехорошо сплетничать. Ай-ай-ай, маменька моя!.. А уж какая она была красотка в девушках! Да и в замужестве, когда уж столько ребят родила. всё так же собой пригожа была, и когда совсем уж старой стала, всё людям приятно было на неё посмотреть.

И доказательством того, что все слова её правда, было это спокойное смуглое лицо, озарённое свечами. Несмотря на морщины, оно дышало какой-то своеобразной красотой. Полные губы были спокойно сомкнуты, глаза были закрыты, тонко очерченный нос продолжал линию спокойного лба, прикрытого седыми волосами. И ясно было, что эта старая женщина никогда не могла быть неприятной людям. Тереса продолжала причитать и плакать.

— Иная женщина, коли у неё муж в силу войдёт, кичливая становится да заносчивая. И когда мой отец стал старшиной, люди говорили: загордится теперь Паскуаля, не подойдешь к ней. Она — да загордится! Всё та же она осталась: добрая ко всем, как была. И всё-то у неё, бывало, спорилось и в хозяйстве, и в домашних делах; и место своё она хорошо знала. Мастерница она была и ткать, и прясть, и красить. И мужу своему много она хорошей одежды понашила, и дети её никогда ни в чём не нуждались, пока у неё под крыльшком жили. И для бедного калеки Ансельмо она ткала. Любила она бедняжку-калеку.

Ансельмо, съживившийся около старшины, прятал свои искалеченные ноги в складках красного плаща. Он опустил голову. И слеза, пробежавшая по его худой щеке, оставила на ней блестящий след.

Тереса окончила свои причитанья как раз к тому времени, когда вернулись поселяне, которые ходили за ромом в соседний округ Мунча; впереди них семенели три серых ослика. Каждый из осликов вёз на себе по два толстопузых кувшина.

Мунча славился своим источником. И это отнюдь не шутка. Во всем округе только и был один малосенький источник, и по этой причине обитателей посёлка прозвали чуки-куаджес, что значит — сухие пузыри. А попросту их звали чуки. Летом, когда нельзя было собирать дождевую воду с крыш, как это делали зимой, постоянная нехватка воды была самой примечательной чертой посёлка. Источник бежал по склону холма и потом тонкой ниточкой стекал по жолобу из кактусовых листьев. И перед этим жолобом обыкновенно стоял целый ряд женщин с кувшинами подмышкой. И пока тоненькая струйка нежно напевала, сбегая в кувшин первой из них, другие женщины болтали между собой, дожидаясь, когда придёт их очередь. Так они просиживали часами, и все деревенские истории, сплетни, ссоры и нелады возникали не иначе, как здесь. Иной раз дело доходило и до кояотушек, которые сыпались не только на головы друг дружке, но превращали в черепки и кувшины, только что столь бережно наполненные водой. Женские ссоры переносились в посёлок, а там уже страсти разгорались пожаром, и в распрю вовлекались мужья и родственники. Однако необходимость вступить в соглашение, чтобы добиться очереди у источника, приводила к перемириям. А эти перемирия закреплялись благодаря зиме. Если же ссоры возникали зимой, то женщины угрожали друг дружке: «Подожди-ка, придёшь к жолобу, там я тебе покажу!»

Можно подумать, что чуки были просто слишком ленивы и не позаботились прорыть канал, чтобы отвести к себе воду с гор. В оправдание им можно сказать, что они подумывали об этом, но до ближайшего от них холма Руми было три лиги и им пришлось бы на большом протяжении взрывать скалу динамитом. А на это у них не было денег. Однажды некий кандидат в конгресс обещал добыть им казённое ассигнование на это дело, если они отдадут ему свои голоса. Они честно проголосовали, но над ним одержал верх его соперник из Лимы, а тот ничего им не обещал, да они его даже и в глаза не видели. Все они на

один лад — эти депутаты. Может быть, они и понятия не имели, что такое Мунча. В летние месяцы на голой земле только и выделялись крытые красной черепицей крыши. На досуха выжженных полях спалённые кусты и трава чахли и поникали, задыхаясь на коричневой пыльной земле. Вокруг источника росло несколько зелёных кустиков, но они не разрастались, потому что жители Мунчи отнимали у них всю влагу. Вокруг тоненькой струйки собирались женщины в чёрных шалях и пёстрых юбках, словно стая ястребов вокруг добычи.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что чуки имели такое пристрастие к рому. Им хотелось пить. Кроме того, ром помогал им в трудные минуты и позволял иной раз одержать верх над женщинами. А так как, помимо этого, всегда найдутся и разные огорчения, которые хотелось бы облегчить, и радости, которые желательно стряхнуть, легко можно понять, почему у жителей Мунчи неизменно находился предлог для выпивки. Они ездили за ромом далеко, в долины Мараньон, а иногда просто привозили отсюда сок сахарного тростника и сами его перегоняли. У них были большие и очень хорошие перегонные кубы, так что они даже поставляли ром в лавки, а те торговали им здесь же, в яосёлке, продавали и на сторону. Жители Руми тоже приходили к ним покупать ром, когда какое-нибудь непредвиденное обстоятельство мешало им приготовить добрый запас их излюбленной красной кукурузной водки. Отношения с чуки у них были хорошие, те часто испытывали недостаток в овощах, они были мало предприимчивы, да и всё равно огороды засохли бы у них. Поэтому они всегда покупали в Руми пшеницу, кукурузу и овощи и расплачивались либо деньгами, либо ромом.

Итак в эту ночь вместе с поселянами, которые ходили за ромом из Мунчи в Руми, явилась делегация во главе с начальником округа, метисом, круглым и красным, как глиняный кувшин для воды. Часть рома из того, что они привезли, была преподнесена начальником, он же дал и третьего осла. Слава о нём шла далеко за пределы Мунчи. У него было два перегонных куба, один металлический, а другой глиняный, дом на горе и красавица-дочка. У неё была своя служанка, а на террасе стояли горшки с гвоздикой. Чтобы не брать воду вместе с толпой, которая стояла днём у источника, служанке было приказано по-

ливать цветы ночью. В этой жёлтой пустыне, насквозь прокуренной перегонными парами, приятно было увидеть душистый уголок с красными и белыми гвоздиками. А за рядом цветочных горшков, томно откинувшись в качалке, сидела сама их хозяйка. Глаза у неё были большие и глубокие, а рот — точь в-точь как гвоздика. Её округлые груди, полные бёдра, казалось, только и ждали радостей материнства. Она никогда ничего не делала и, конечно, никогда не ходила за водой. Она ухаживала за своими цветами, а родители ухаживали за синьоритой Розой-Эстеллой. Ибо такое она носила имя, и оно тоже было похоже на цветок.

Начальника звали Сенобио Гарсия. Он прошёл со своей свитой мимо уступающих ему дорогу поселян и направился к дому Росендо Маки. Они поздоровались и обменялись несколькими словами. Гарсия сказал старшине, что жители Мунчи выражают ему своё глубочайшее соболезнование в его горе и что он сам со своими друзьями пришёл от их имени принять участие в поминках. Затем все они отошли в сторону и уселись вместе, особняком. Их соломенные шляпы и полотняные одежды выделялись белыми пятнами в темноте.

Ром поделили между всеми поселянами. Медленно, как это и подобало столь скорбно торжественному случаю, поселяне подходили за своей долей кто с бутылкой, кто с глиняным кувшином или тыквенной флягой самого разнообразного размера и формы. Дети и родственники Маки разливали ром, от которого распространялся сильный, пряный запах. Поселяне возвращались на своё место, усаживались маленькими кучками, и посудина с ромом начинала переходить из рук в руки. Ночь свежела, а ром согревал кровь, подобно коке, которую все жевали с большим усердием, поддерживая в себе этим бледное пламя бодрствования.

А потом поселянин Доротео Киспе, широкоплечий индеец, опустился на колени перед одром покойной и снял шляпу, обнаружив густую шапку волос. За ним и все остальные преклонили колена и сняли шляпы. Кучка гостей в сторонке выделялась из мрака бледным пятном. И тогда Доротео начал читать «Орче наш» хриплым, монотонным голосом, торжественно, но с запинкой: «Отченашижеесинанебесех...» Посреди молитвы он остановился, чтобы другие могли подхватить. Хор приглушённых голосов был, словно жужжание насекомых. Наконец молитва закончилась громким «аминь». А затем всё на-

чали снова. Так юни молились довольно долго. Индеец Доротео был великий мастер по части чтения молитв и, кроме обычных молитв, он знал ещё двенадцать заклинаний, которые предохраняют от злых духов и ядовитого воздуха, когда люди ищут зарытый клад или прокладывают копи. И ещё он знал «Величит душа моя...», что исцеляет больных и даже умирающих, коли будет на то воля господня. И ещё молитву пресвятой деве Монсерратской — молитву, которую священники хранят в тайне, дабы люди не воспользовались ею со злыми целями. И, наконец, молитву судие праведному, которая лучше всех других помогает спастись от преследования, предотвращает смертельную опасность, даёт победу в сражении и выводит человека из темницы. Но молясь за добрую душу Паскуали, он прочёл только «Отче наш», «Богородицу», «Верую» и «Святой боже».

Наступила уже глубокая ночь, когда молитвы были окончены и подали еду. Часы тянулись медленно, и многие из бодрствующих улеглись прямо на земле. Вокруг тела попрежнему горели свечи, а небо в вышине засветило все свои звёзды.

Росендо Маки не смыкал глаз. В памяти его проходила вся жизнь его жены, и смерть её вставала перед ним, наполняя его бесконечной скорбью, к которой применивалось омутное чувство веры и приобщения небу и земле.

Наконец занялась розовато-золотая заря, и за скалистыми вершинами Руми забрезжил день. Свет нежно и мягко плыл по холмам, по черепичным крышам домов и церкви, по каменным оградам, по фигурам бодрствующих людей.

А когда солнце, наконец, поднялось в небе на ладонь от горизонта, они завернули тело в одеяла, положили на носилки и понесли на кладбище. Процессия была очень длинная, потому что шли все жители посёлка, даже и те, кого не было на поминках. Рядом с телом жены шёл Росендо Маки, шли его сыновья и дочери, помощники старшины и гости из Мунчи. А позади шло всё население Руми, мужчины и женщины, молодёжь и старики — всего, наверно, человек до пятисот. Дома остались только дети да калека Ансельмо. Когда Ансельмо увидел, что его мать уносят, он, в отчаянии забыв о своём увечьи, попытался подняться на ноги, но едва только привстал, беспомощно вамажав руками, как бы стараясь за что-то ухватиться, как тут же упал на скамейку и застыл неподвижно, словно подрубленное дерево.

А сердце рвалось у него из груди, как рвётся преданное животное, которое посадили на цепь.

На кладбище выкопали глубокую могилу и опустили в неё тело Паскуали. Многие из присутствующих, по благочестивому обычаю, бросали в могилу пригоршни земли. Потом поставили крест из толстых ветвей. Дочери снова начали плакать. А сыновья не отходили от старика-отца и поддерживали его под руки.

Так проводили и так похоронили Паскуалио, жену Росендо Маки. Земля, что прикрыла её тело, честью выполнившее свой долг, прикрыла вместе с ним и частицу прошлого, частицу добрых старых обычаев.

Когда всё кончилось, начальник Сенобио Гарсия, окружённый своей свитой, остановился на минутку посреди деревенской площади. Долгое ночное бдение покрыло его красноватое лицо лёгкой бледностью. Сдвинув соломенную шляпу на затылок, засунув большие пальцы за кожаный пояс, он осматривал кругом с необыкновенно важным видом и от времени до времени барабанил пальцами по своему толстому животу. Разговаривая со своими, он окидывал внимательным взглядом деревню и её окрестности. Наконец гости попрощались с Росендо и ушли.

Никто из поселян не заметил ничего особенного в поведении людей из Мунчи. Они явились, как друзья, на поминки и похороны, а теперь возвращались к себе в город по старой привычной дороге, над которой каждый день сияло яркое доброе солнце.

Г Л А В А 3

ДНИ ПРИХОДЯТ, ДНИ УХОДЯТ...

Дни приходят, дни уходят... Эти слова и есть время.

После смерти Паскуали время текло попрежнему.

На обширных полях общины зрела пшеница и кукуруза, а в маленьких огородах, что росли позади домов, мягко покачивался сахарный горох в цвету, бобы наливали свои пухлые стручки, а кочны капусты казались гигантскими изумрудами в чёрной оправе земли.

Вверху с громкими криками пролетали стайки попугаев; одни были маленькие, синие, а другие большие, зелёные. Эти воздушные эскадрильи кружили над землёй, а потом стремглаз устремлялись вниз — синие на пшеницу, а зелё-

ные на кукурузу. Ребята, сторожившие поля, метали в них камешки из пращей, и тогда они, крича ещё пронзительнее, взлетали вверх и отправлялись на поиски других полей.

Уанчачо, красивая серая птичка с красной грудкой, большая охотница до нежных зёрнышек свежей кукурузы, весело заливалась с утра до ночи. Пенье её обозначало, что кукуруза вот-вот поспеет.

Тёплый, мягкий ветер, пропитанный пылью и шелестом пшеницы, приносил с собой благоухание этой плодоносной жизни.

Чтобы Росендо не оставался один, Хуанача с мужем перебрались к нему. Она была самая младшая из его дочерей, и юность щедро осыпала её своими дарами. Ловкая, сильная, румяная, быстроглазая, она проворно и деловито хлопотала по хозяйству и трещала таким высоким, звонким голосом, что казалось, будто идёт он из глубоко лежащей золотой жилы.

Ансельмо, Росендо и пёс Кандела, которого звали так, потому что он был огненного цвета, всё ещё не могли забыть об умершей. Ансельмо припрятал свою арфу в дальний угол и прикрыл от соблазна её струны одеялом. Росендо большую часть дня сидел на крыльчке, поглощённый своим молчаливым горем, а Кандела, свернувшись клубочком, лежал у его ног. Верней, Кандела лежал у него на ногах, и Росендо это было приятно, так как пёс грел его своим жарким телом. Кандела целый день пребывал в какой-то унылой сонливости, а по ночам жалобно выл.

Жизнь так резко струилась по жилам Хуаначи, что её грусть или, верней, её тихая сдержанность была просто выражением почтительного сочувствия отцу. Она очень любила мать, но её пышущее здоровьем тело не позволяло скорби гнездиться в её сердце. А что касается её мужа, о его переживаниях трудно было что-нибудь сказать: это был спокойный индеец, который редко выказывал свои чувства.

У Хуаначи был маленький мальчик, который ползал и уже пытался вставать на ножки и дотянуться до таинственного мира столов и кроватей. Случалось, что, ползая, словно маленький червячок, он натёкался на ноги деда, когда они не были прикрыты телом Канделы. Он хватался маленькими пухлыми ручонками за ремешки сандалий,

шлёпал ладошками жёсткие ноги, а потом запрокидывал голову и смотрел на великана. Росендо брал его на руки, говорил ему что-нибудь ласковое, а малыш стягивал с деда соломенную шляпу и вцеплялся в седые волосы. Дед смеялся и шутливо отчитывал его:

— Ах ты, плут этакий! А ну-ка,пусти!

И сердце Росендо согревалось нежностью и радостью.

А в деревне память о Паскуале мало-помалу угасала, словно зола в очаге поздней ночью. Однако нельзя сказать, чтобы её забыли. Разговаривая меж собой о том, как горюет Росендо, поселяне считали, что иначе оно не может быть. А когда по ночам начинал выть пёс Канде-ла, они говорили:

— Пёс-то о Паскуале воеет. Может быть, он дух её видит?

— Говорят, собаки видят духов, а вот если человек возьмёт слезу из собачьего глаза и намажет себе глаз этой слезой, так и он будет видеть духов по ночам.

— Вот страсти-то какие! Ведь это колдовство.

— Бедняжка Паскуалья!

— А почему бедняжка? Она уж старая была и время ей пришло помирать. Не вечно же человеку жить на свете.

Росендо держался того же мнения. В жизни мужчины и женщины всему своё время. Приходит время и помирать. Горько, конечно, когда смерть подкашивает жизнь в полном её цветении, ну а уж если человек пожил, то так оно и должно быть. И он чувствовал свою близость к земле, когда думал так. Он неизменно видел, что всякая живая тварь рождается, живёт, умирает и возвращается в землю. Вот теперь и он, как Паскуалья, как все другие, состарился, скоро и ему придёт черёд вернуться в землю.

Около церкви, в благоухающей тени эвкалиптовых деревьев, каменщики строили школу. На деревенской площади, согнувшись над твёрдой утопанной землёй, каменщик старательно формовал кирпичи. Два помощника месили ногами глину в яме, а потом таскали её ведрами к нему. Он протягивал форму, помощник набивал её глиной, а затем, прижав и выравнив её дощечкой, мастер ловко опрокидывал форму, и из неё выскакивал готовый кирпич. Тут подоспевал другой помощник, с ведром, и так работа шла без задержки. Прямоугольные кирпичи выстраивались длинными рядами. А доброе летнее солнце тоже

принимало участие в работе и сушило их. Высушенные кирпичи, которые лежали в передних рядах, постепенно отправлялись на стройку.

Каменщик сидел на стене на корточках и, гордясь своим собственным проворством, то и дело покрикивал: «А ну, кирпичей, кирпичей!» Фундамент стен был выведен из плотного камня. Каменщик Педро Маита крепил кирпичи жидкой глиной и для прочности выравнивал кладку так; чтобы края кирпичей не приходились прямо один над другим.

Как-то раз Росендо Маки, который наблюдал за стройкой с порога своей хижины, подошёл к ним.

— Добрый день, танта! — сказал ему Педро, укладывая кирпичи и подравнивая глину лопаткой. — Рад тебя видеть.

Все другие рабочие, и даже те, что месили глину вдалеке у кукурузного поля, подошли потолковать с ним. Маки приветствовал их довольной улыбкой. Ему нравилось, когда у людей руки вылащиваются в земле или на них видишь другие следы их труда — сорные травы, усики кукурузы, мякнину, приставшую к платью, — потому что это, по его мнению, были почётные следы.

— Ну, как идёт дело, мастер Педро?

— Гляди сам, танта. Смотри-ка, у нас скоро и школка будет.

— Школка. Нет уж ты скажи — большая школа! Войдёт в неё сотня ребят?

— Да хоть две.

— А что ж, может, и две наберётся.

Маки вошёл внутрь постройки. Жёлтая стена уже доходила до груди. Пахло свежей глиной. Вот здесь будет дверь, а тут — четыре окна: два на восход солнца, а два с той стороны, где дверь.

— Ты понял, что я тебе говорил, Педро? А то ведь этот проклятый школьный инспектор скажет, что это... Как же это он говорил? Что это... что это... вот не вспомню! Может быть, ты припомнишь?

Маита отвечал, что не знает и даже понятия не имеет, о чём у них был разговор. А сам, стараясь перед старшиной, начал снова покрикивать: «Кирпичей, а ну кирпичей!»

Росендо, постоял, поглядел и даже попробовал своей палкой прочность стены. Стены в самом деле были крепкие.

— А как с крышей, отец? Тростником, что ли, будем крыть, или черепицей?

— Да, я думаю, черепицей. И надо будет пол хорошенько утрамбовать. Да ещё хорошо бы Мардокео попросить, чтобы он цыновку сплёл, чтобы это было...— вот, наконец-то вспомнил! — чтобы это было гигиенично.

— Да верно, так он тогда и сказал, этот инспектор, — гигиенично. А что это такое значит?

— А это значит то, что полезно для здоровья. Так он сказал.

Маита перестал укладывать кирпичи и расхохотался. Росендо смотрел на него вопросительно. Наконец тот отдышался и сказал:

— Ишь как у него язык-то подвешен, у твоего инспектора. Уж я-то его знаю, знаю. Он целые дни сидит у Альбино и пьянствует. Верно, думает, что для его здоровья очень полезно пить с утра и весь день до полудня. Подумаешь, какой гигиенический.

И оба они расхохотались от всей души, повторяя между взрывами хохота: «Какой гигиенический». Оба были очень довольны. А затем Маки сказал:

— А ведь у нас и взаправду будет школа. Хотелось мне попозже родиться, — был бы теперь мальчишкой да ходил бы в школу. Но ведь и то не плохо, что теперь мы можем сказать ребятам: а ну-ка, идите учиться.

— Это верно, таита. У меня вот у самого двое. Они чему-нибудь да научатся. Ну, а уж насчёт себя-то хоть и стыдно в этом признаваться, но голова у меня теперь совсем стала плохая. Стоит мне только увидеть бумажонку с этими самыми буквами, и то мне как-то не по себе делается. Знаю ведь я, что мне теперь уж их не выучить, так от этого, что ли, но меня прямо в дрожь кидает.

— Это потому, что мы никогда ничему не учились, — ответил Маки. И тут же с воодушевлением добавил: — Зато они будут учиться.

Он пошёл к яме с глиной, где на полметра в глубину видна была светлокоричневая, а ниже вязкая жёлтая глина, потом направился туда, где делали кирпичи. С каждым из рабочих он перекинулся словечком, потолковал, пошутил. Он чувствовал, что люди любят и уважают его. Возвращаясь к себе, он думал, что эта постройка самое лучшее из всего, что когда-нибудь затевала община, и что школа у них будет очень красивая. Ребята звонкими голосами будут отвечать уроки, а потом будут бегать вперегонки по площади на солнышке или вон там, в тени эвкалиптов. Росендо Маки был доволен.

На полях желтеющие колосья гнулись под тяжестью зерна, а красные маки мягко покачивались на своих стеблях. Кусты и деревья, чьи корни глубоко уходили в землю, хранили свою пышную зелень и радовали глаз роскошными плодами.

Колючие груши, что росли вдоль каменной ограды или на самой ограде в начале и в конце большой улицы, начинали созревать. Их мясистые листья были унизаны плодами, похожими на рубины и топазы.

Голубоватые стволы алоэ, которые росли около колючих груш и кое-где по полям, протягивали ввысь свои прямые жёсткие листья, как воплощённый образ тишины. Вверху их серая нагота распускалась цветущим белым султаном или наливалась прозрью блестящих плодов. Это было редкое зрелище, потому что алоэ цветут только раз в своей жизни, когда им исполнится десять лет, и после этого погибают. Но сейчас даже и этот длинный голый ствол с волокнистой сердцевинной приносил прекрасную дань жизни.

Лозы уныкосов, которые давно дразнили глаз, теперь уже налили соком свои ягоды. В овраге по склону холма Руми они прикрыли землю, точно большим лиловым одеялом. Их ягоды были похожи на крошечные пузатые чашечки, а на вкус отдавали приятной терпкой сладостью.

Мальчишки и девчонки из Руми, ведя малышей за руку, отправлялись на целый день в овраг и возвращались оттуда с лилово-красными ртами. Они любили эти ягоды не меньше, чем горлинки. Когда созревают ягоды уныкосов, целые стаи горлинок прилетают в эту умеренную полосу из знойных долин тропических рек, где они питаются семенами коки. Прилетают они и в Руми, и главным образом в этот овраг. Наклевавшись досыта с утра, они усаживаются на самые высокие деревья и начинают петь — такой уж у них обычай. Несметные стаи их собираются на вершинах пауко. Одна из них начинает долгую меланхолическую трель, повторяющуюся на все лады, а другие отвечают ей нежным воркованьем. Но вкрадчивость этой звонкой мелодии не умаляет её силы, и как голос певца, так и ответный хор слышны издалека.

Эта песня то нарастает, то затихает, нежная и настойчивая. И она наполняет душу каким-то неизъяснимым благодатным спокойствием, чуть пронизанным лёгкой грустью.

Однажды утром Росендо Маки, возвращаясь по большой улице от Доротео Киспе, увидал красивого всадника, за которым ехали ещё двое других. Они выезжали из-за поворота дороги, ведущего к холму, откуда некогда появились «красные».

Всадники быстро приближались, вздымая облака пыли, и въехали на площадь в ту самую минуту, когда на неё ступил и Росендо. Тут они встретились. Первый верховой остановил лошадь, а за ним и другие. Серая в яблоках лошадь в красивой кожаной, украшенной серебром сбруе горячилась под удилами. Всадник, белый человек с жестоким лицом, орлиным носом и жесткими торчащими усами, был одет в светлый полотняный пончо с белыми и синими полосами, на голове у него была белая соломенная ланама, а на ногах тяжёлые со шпорами сапоги. Спутники его, простые надсмотрщики, казались рядом с ним совершенно незаметными.

Это был дон Альваро Аменабар-и-Рольдан собственной персоной, которого поселяне звали попросту: дон Альваро Аменабар. Они не знали ничего о его знатности, но всегда помнили, какой это влиятельный, богатый землевладелец.

Росендо Маки поклонился. Аменабар, не отвечая на приветствие, высокомерно промолвил:

— Ты знаешь ли, что эта земля моя. И я подал иск.

— Община, сеньор, имеет документы на владение.

Владелец ранчо не обратил на эти слова никакого внимания и, показывая на площадь, презрительно спросил:

— Что это вы такое здесь строите около церкви?

— Это будет у нас школа, сеньор.

И Аменабар ещё более пренебрежительно процедил сквозь зубы:

— Вот это мило! Храм религии с одной стороны, а храм науки — с другой.

Сказав это, он прищпорил лошадь и ускакал в сопровождении своих спутников. Всадники исчезли за углом, где начиналась дорога в Мунту.

Старшина долго обдумывал и передумывал слова Аменабара, он хорошо понимал всю коварную опасность этой наглой угрозы и этого холодного пренебрежения. За что он так оскорблял их? Правда, они бедные, невежественные землепашцы, но ведь они никогда никому не делали зла. Откуда же такая злоба? Первый раз в жизни Маки почувствовал, как ненависть вспыхнула в его сердце, и

хотя чувство это было вполне оправдано, оно так потрясло его, что он даже пошатнулся. До чего же это горько и больно... Ну что ж... время покажет.

Попозже к вечеру Росендо приказал отвести в сарай четырёх лошадей. На следующий день, до рассвета, в тот неопределённый час, когда тени словно медлят отступить перед лучами зари, лошадей оседлали. Когда все подпруги и ремни были затянуты, Абран Маки со своим сыном Аугусто, рослым парнем, который крепко сжимал ногами бока недавно объезженного жеребца, выехали на дорогу, и вместе с ними помощник старшины, Гойо Аужа, который держал на поводу коня Фронтину. Они проехали несколько шагов и остановились перед домом старшины.

В кухне пылало яркое пламя очага, и Хуанача, сидя на корточках перед огнём, что-то готовила.

— Он сейчас выйдет, — сказала она им.

Они соскочили с коней, и через некоторое время Росендо Маки вышел из полумрака своей комнаты. Он коротко ответил на их почтительные приветствия, похвалил их за то, что они позаботились приготовить лошадей, и уселся вместе с ними у очага. Хуанача принесла им бобовую похлёбку, сушёное мясо и поджаренное зерно в больших тыквенных плошках. Они стали есть, громко чавкая и время от времени бросая кусочек лсу Канделе, который лежал тут же и следил за ними умоляющими глазами.

Заря приоткрыла небосвод, словно белую пещеру.

Тогда они сели на коней. Абран почтительно помог старику взобраться на Фронтину. Стало уже совсем светло, и от дыханья людей и лошадей пар поднимался тоненькими струйками в прохладном воздухе.

Руми просыпался с сонной медлительностью. Кое-где спозаранку открывалась дверь, цыплята соскакивали с наместов у задней стены дома, а спесивые петухи звонко кричали, внушительно хлопая крыльями. Женщины начинали раздувать очаги, а те, у которых жар совсем потух, шли за огнём к соседке. Коровы в сараях томно мычали. Внезапно солнце выбросило свои золотые стрелы из-за холмов, и запели птицы. Жаворонки, уанчачо, рокотеро и воробы — все соединили свои голоса в радостном гимне утреннему свету.

Звонкий топот лошадей, поспевавших за крупной рысью Фронтину, разносился по главной улице. Пастух Иносенсио с двумя женщинами доили коров на скотном дворе. Коровы любовно облизывали своих телят, а из набухшего

вымени, под смуглыми руками, звеня стекали в ведра мелодичные струи молока.

Одна из женщин крикнула:

— Таинто Росендо, вылей-ка парного молока.

Росендо и его спутники подъехали и выпили густого, ещё тёплого молока. Донли две молоденькие девушки; чёрные, как смоль, волосы, заплетённые в косы, обрамляли их круглые гладкие лица, полные пубы хранили выражение безмятежного спокойствия, а тёмные глаза были чудом невыразимой нежности. Одна из них была в красной, другая в зелёной юбке. Они скинули шали, чтобы было половчее доить, и простые белые кофты с вышитым воротом показывали их круглые руки и нетронутую красоту их юных грудей. Пока другие пили молоко, юный Аугусто со своей выгодной позиции услаждал взоры, заглядывая девушкам за вырезы кофт, и рассыпался в любезностях:

— Что за красотки-девушки! Я теперь буду вставать спозаранку и приходить помогать им. Вот коли бы они меня так любили, как вот этих телят любят!

Они улыбались, опускали глаза, молчаливые, смущённые и довольные.

Старшина, сделав вид, будто он ничего не слышал, сказал им:

— Не забудьте отнести двойную порцию Леандро. Как он — поправляется?

— Да, ему поллучше, — ответила одна из девушек.

Путники заложили себе за щёки по доброй порции коки и отправились дальше, а за ними трусился и Кандела, которому удалось обмануть бдительность Хуаначи. Они ехали по дороге, которую знали наизусть, по той самой дороге, по которой некогда пришли «красные» и совсем недавно явился дон Альваро Аменабар. Они ехали вдоль склона холма, потом пересекли ручей Ломбрис, по которому проходила граница между владениями Руми и ранчо Умай.

Густая чаща вокруг ручья карабкалась вверх по холму, потом скрывалась из глаза крутыми скалами, снова появлялась ниже и, наконец, совсем исчезала в ущельи за горой, которая примыкала к гряде гор Пеанья. Ручей Ломбрис бежал параллельно ущелью Руми, но поселяне не ходили к нему. Они брали воду у источника, что вытекал из ущелья, а ручей Ломбрис был такой мелкий, что летом его почти не видно было. Зимой он набухал от дождей, но в остальное время он питался только водой из горного ключа. А шумный источник, который прорыл себе

такое глубокое русло, бежал из большого озера, лежавшего на широком плато за холмом Руми.

И на этот раз поселяне переехали через ручей, даже не заметив его; только Росендо внимательно проследил его течение от ущелья к скалам. Копыта лошади замутили прозрачную воду. Кандела старался не замочить ноги, перепрыгивая с камня на камень. По берегу ручья росли ягоды, и кругом было много горлинок и других птиц.

Дорога перешла в горную тропку, которую проложили копыта лошадей, а не заступ или лопата.

Рука человека обнаруживалась только кой-где в редких ступеньках, которые были высечены на отвесном скалистом склоне, чтобы облегчить путникам крутой спуск. По обе стороны росли густые кусты да изредка попадались деревья, которые, по мере того как тропинка поднималась вверх, исчезали, уступая место острым обломкам скал да редким жёстколистым кактусам и алоэ, стоявшим подобно зелёным канделябрам перед громадными каменными алтарями.

Тропинка вилась, делала петли, карабкалась и кружила. Она словно страшно торопилась, бежала чуть не впопыхах. Лошадки, маленькие горные пони, уверенно ступали своими копытами. Фронтиньо, который был более рослой породы, ступал осторожно, ставя копыта с той ловкостью, которая даётся только долгой сноровкой. Так как шаг у него был крупнее, он намного обгонял других, и время от времени Росендо приходилось останавливаться и поджидать их. Фронтиньо поворачивал голову и с дружелюбной снисходительностью посматривал на своих косматых оставших товарищей — карего, вороного и гнедого.

Маленькая кавалькада продолжала свой путь. Росендо припоминал последние события и старался привести в порядок свои мысли. «Я скоро умру, отец приходил за мной нынче ночью», — сказала Паскуалья. А вслед затем змея переползла ему дорогу, предвещая недоброе, и он старался угадать, что бы это такое могло быть. Тогда он ещё не придавал большого значения этому сну. Теперь Паскуалья уже была со своим отцом и с другими поселянами в той таинственной жизни, в которую человек переселяется из этой, словно переносясь по воздуху, — вернее, душа его улетает туда. Падре Местас рассказывал им про ад, но Росендо и верил и не верил в ад. Ну, что тут можно сказать? Во всяком случае, на самый худой конец,

у них есть Доротео Киспе со всеми его молитвами. Ведь вот и сами священники говорят, что помолиться никогда не мешает. Но раз одно несчастье случилось, теперь уж им нечего опасаться, и общине не должно грозить ничего недоброго. А вот насчёт границ придётся всё-таки подать в суд.

— Осторожней, не поскользнись, Фронтиньо, ты, брат, чуть не упал сейчас. Да перестань ты дрожать и фыркать! Мы сейчас перевалим на ту сторону.

Они поднимались по краю ущелья. Камень выскользнул из-под копыта Фронтиньо, и тот чуть не оступился. Камень покатился вниз, подпрыгивая на скалистом склоне, пока не разлетелся на мелкие куски. Однажды Росендо предложил дону Альваро Аменабару соорудить здесь настоящую дорогу, на половинных началах: половину — община, а половину — ранчо Умай. Дон Альваро отказался, ответив, что он редко ездит по этой дороге, а тропинка не так уж плоха.

Наконец они достигли вершины. Тут четверо всадников остановились, и Росендо, глядя на оставшиеся далеко позади скалы, от подножья которых бежал ручей Ломбрис, сказал:

— Слушайте-ка хорошенько. В особенности ты, Аугусто, ибо ты ещё молод и должен знать это и помнить, когда уж нас не будет. Вон там, возле этих утёсов, — Росендо протянул руку, и его узловатый палец высунулся из-под края плаща, — где вытекает ручей Ломбрис, там и начинается наша граница; место это отмечено грудой камней примерно в метр или полтора вышиной; оттуда она идёт до самой вершины Эль-Альто.

Все знали эти камни, которые отмечали границу, а в особенности Гойо Аука, — ему, как помощнику старшины, полагалось быть полностью осведомлённым в такого рода делах. Росендо продолжал, показывая пальцем:

— Через плато Эль-Альто до самой вершины вот этих чёрных утесов граница идёт мимо озера Янаньяун и подходит к скалам, которые возвышаются у селенья Мунча, потом, мимо этих скал, спускается к белым пескам реки Окрос. Вот это и есть граница Руми...

Всадники смотрели внимательно и любовно на яркую, пёструю и весёлую деревню и на земли, которые принадлежали им, — им и общине. Прекрасные и обширные земли! Если они даже кой-где и были слишком каменисты для распахки, всё же они по-своему радовали глаз.

И господствуя надо всем этим в могучем величии своей скалистой вершины, громадный Руми беседовал с облаками.

Росендо Маки повернул коня обратно на тропинку, которая вилась теперь уж не так круто и, наконец, привела их к высокому горному плато. Это была широкая равнина, покрытая высокой травой и камнями; здесь постоянно дул резкий ветер, и поэтому было холодно, хотя солнце сияло на небе, а небо казалось совсем низко над головой. Яркая синева неба с разбросанными там и сям белыми облачками резко выделялась на фоне желтеющих полей и рыжевато-чёрных или синеватых скал. Росендо любил это суровое, дикое величие, но это не мешало ему ценить красоту более тёплых и не столь пустынных мест.

Пёс Кандела, который всю дорогу бежал за Фронтини, начал возбуждённо рыскать по плато. Он, лая, бросался на чёрно-белых корикингов и коричневых ликлик. Крича и хлопая крыльями, они взлетали, едва приподнимаясь над землёй, и садились на таком расстоянии, чтобы в них нельзя было попасть камнем. Почти все горные птицы, исключая кондора, летают очень низко над землёй, словно они уже пресыщены расстилающимися перед ними просторами и им достаточно того, что они постоянно взирают на эту беспредельную высь неба и солнца. Гнедой мустанг, на котором ехал Аугусто, решил, что теперь, когда все трудности подъёма позади, для него самое время заявить о своих правах. Он внезапно поднялся на дыбы и повернул кругом, с явным намерением отправиться домой. Крепко охватив коня ногами и откинувшись всем телом, всадник натянул повод так туго, что удила врезались коню в губы, и стал изо всех сил хлестать его плетью по бокам. Борьба между мустангом и Аугусто продолжалась довольно долго, пока, наконец, дрожа от бессилия и весь в мыле, конь не уступил. Тогда Аугусто, желая довести до конца свою победу, погнался вперёд, заставив опустить голову так низко, что морда его коснулась стремени, а затем вдруг остановил его на всём скаку. Прорывавшись это со всем мастерством — а совершенство в этой области достигается не в один день, — он вернулся снова на тропинку и занял своё место за старшиной. Чёрная грядь прилипла к его вспотевшему лбу, а в глазах сверкало торжество. Абран, сам мастер объезжать лошадей, и Гойо Аука, ничего в этом деле не понимавший, оба в один голос принялись хвалить его. Росендо обернулся и сказал только:

— Молодец мальчик!

Но в глубине души он гордился своим внуком, и ему было приятно, что поселанин, который недавно только научился сплёвывать коку, способен показать такое мастерство.

Тропинка подошла к более широкой дороге, которая пролегла с севера на юг, светлой лентой тянулась по поднимающимся и спадающим склонам холмов, исчезая на поворотах, снова появляясь и, наконец, терялась вдалеке, обратившись в тоненькую ниточку там, на лиловых вершинах. Дорога эта шла из далёких и неведомых стран и селений и вела она тоже в неведомые страны. Она таила в себе какое-то непостижимое очарование.

Внезапно с одной стороны плато в каменной гряде скал показался просвет, и далеко-далеко открылась широкая равнина.

— Вот где живёт этот дьявол, — сказал Росендо, прищипывая лошадь.

Равнина была изрезана пашнями и полями люцерны, а посреди них возвышалась группа больших строений с красными крышами.

В центре двора, вокруг которого стояли эти строения, росло большое эвкалиптовое дерево, а длинные ряды тополей, которые легко было узнать по их стройной прямоте, бежали, словно кайма, по обе стороны дороги. На выгоне паслись коровы, в загонах стояли лошади, а люди, которые суетились там, были похожи на муравьёв. Там жил дон Альваро Аменабар со своей семьёй и слугами. Эта прекрасная долина и плато, с которого они сейчас глядели вниз, — всё это принадлежало ему, так же как и вся земля, по которой они ехали, после того как пересекли ручей Ломбрио. И ещё много, много земли и на той и на другой стороне. Столько земли, а ему всё было мало! Гойо Аука, поглядывая на тропинку, которая шла из ущелья к ранчо, сказал:

— Хорошо бы сейчас поехать туда да потолковать с донём Альваро.

Росендо Маки ничего не ответил и повернул на дорогу, которая вела с севера на юг. Фронтину бежал далеко впереди всех. Росендо Маки сделал знак Гойо Ауке и придержал лошадь, пока тот не догнал его на своём жеребце.

— Я должен сказать тебе кое-что, — промолвил старшина, — в тот день, когда дон Альваро Аменабар заез-

жал к нам, я понял, что говорить с ним — толку мало и что добром с ним ничего не поделаешь. Я давно уже приглядываюсь к нему, и скажу тебе: всё можно смягчить, даже железо, если его бросить в огонь, но только не жестокое сердце. Он оскорбил и меня и всех нас, наглумился над нами. Я ничего не рассказывал об этом, — какой толк рассказывать. Если поселяне видят, что их старшину оскорбляют, а тот ничего сделать не может, они перестают на него полагаться. А если люди перестают надеяться на тех, кто ими управляет, то из этого ничего хорошего не получается. Верно я говорю?

— Верно, таита, — отвечал Гойо Аука.

Абран с сыном, ехавшие позади, обсуждали между собой, как надо объезжать лошадей. Абран поругивал сына за то, что он в такую минуту упустил стремя, а это очень опасно. Главное, о чём всегда должен помнить наездник, это чтобы ни на минуту не упускать ни поводьев, ни стремян. Если он помнит об этом и если у него достаточно силы в руках и головы он не теряет, пусть лошадь упрямится, вскидывает задом и становится на дыбы сколько ей угодно.

Они ехали рысью. Ветер трепал их плащи и гривы лошадей. Они поравнялись с большим медленно двигавшимся стадом овец. И Кандела из озорства начал гоняться за овцами.

— Кандела, сюда, сюда! — крикнул Росендо, и пёс опустил голову и спрятал хвост между ногами, сильно пристыженный.

Немного подалее им встретились пастухи-индейцы, мужчина и женщина, оба оборванные, в войлочных, собственного изделия, шляпах. Мужчина сидел на выступе скалы, пожёвывая коку. Женщина, укрывшись за камнем от ветра, пыталась сварить в глиняном горшочке несколько картофелин на костре из узловатых сучьев и сухой травы. Костёр еле тлел, и дым валил густыми клубами. Росендо и Гойо остановились, а Абран с сыном догнали их. Старшина обратился к мужчине:

— Вы пастухи дона Альваро Аменабара?

Грязная шляпа, которую индеец надвинул себе на глаза, была похожа на шляпку гриба. Он не пошевелился, будто и не слышал. После долгого молчанья он промолвил:

— Да. Овечьи...

Поселяне почувствовали жалость к этим людям, хотя Аугусто с трудом подавил улыбку.

— Да я вижу, что вы овец пасёте, — продолжал терпеливо старшина. — Но я хотел узнать, на кого вы работаете, не на дона ли Альваро Аменабара?

Неразговорчивый пастух посмотрел на свои штаны, через которые кое-где проглядывало смуглое тело, и сказал:

— Рвётся одежа...

Гойо Аука предположил, что, может быть, пастух знает только надсмотрщиков, а владельца ранчо никогда и в глаза не видал. Росендо сделал попытку спросить его по-другому:

— Ты из ранчо Умай?

— Да.

— Давно вы там пастухами-то?

Грязная плоскогрудая женщина с вклокоченными волосами подошла к пастуху и стала что-то шептать ему. Её убогое безобразие внушало жалость. Нищета сильнее сказывается на женщине, чем на мужчине.

— Как вам живётся там?

Пастухи упорно молчали, глядя на овец, которые рассыпались по холмам и долине. Они не отвечали на слова. Казалось, они не видели и не замечали ничего, кроме овец. Они укрылись в своё молчание, и тишина окружала их, словно эти скалы, за которыми тлеет не желавший разгораться костёр. Абран предположил, что они, может быть, боятся, нет ли тут какой-нибудь ловушки со стороны хозяев ранчо, и поэтому не хотят вступать в разговор. Итак путники снова поехали своей дорогой, и Росендо сказал:

— Этих несчастных лупят кнутом за каждую пропавшую овцу. Не слышали вы разве, как Касьяна и Паула рассказывали об этом. Удивительно, чего это они расположились здесь, обычно они пасут гораздо выше в горах.

Но тут внимание их было привлечено появившимися вдалеке всадниками. Они ехали на прекрасных конях, а за ними шли погонщики, гоня перед собой целый караван мулов, нагруженных большими белыми тюками.

— А что, коли это бандиты? — опасливо спросил Гойо Аука.

— По их клады видно, что это мирные люди, — отвечал ему Росендо.

А Абран шутливо сказал:

— Если это бандиты, хорошо бы нам сюда Доротео, и чтобы он помолился судие праведному.

— Что верно, так уж верно! — и они дружно расхохотались.

Когда они поравнялись со всадниками, стало ясно, что это отнюдь не бандиты. Это были зажиточные путешественники — может быть, купцы, землевладельцы или золотискатели. Одеты они были хорошо, по-богачему. А вереница мулов тоже говорила о достатке.

— Эй, приятели! — окликнул тот, что ехал впереди, и, спустив плащ, которым закрывался от ветра, он круто остановил лошадь. — Куда это вы путь держите?

— В город, сеньор, — ответил Росендо и тоже придержал лошадь. Обе группы остановились и внимательно разглядывали друг друга, как делают дальние путники, которые устали от однообразия пустынной дороги. Первый сказал:

— А не знаете ли вы кого из здешних, кто был бы непрочь заработать деньжонок, и немало?

— Все мы, сеньор, из общины Руми, непрочь были бы заработать, — ответил старшина.

— Но ведь сидя дома ничего не заработаешь. Я предлагаю вам отправиться в джунгли на добычу каучука. Там можно заработать пятьдесят, сотню, а то и две сотни солей в день. Да и больше, коли повезёт. Я снабжу вас всем, что требуется. Вот в этих тюках у меня и инструменты и всякие принадлежности.

— Мы хлебопашцы, сеньор.

— Да ты что думаешь, требуется образование, что ли, какое, чтобы надрезать дерево и сок из него выпустить? Премудрость небольшая...

Аугусто смотрел на говорившего, и по глазам его видно было, что он потрясён громадными цифрами, которые тот называл. Всадник заметил это и, обращаясь к нему, продолжал:

— А чтобы вернее было, я даже плачу вперёд пятьсот солей, которые потом мигом из жалованья выплатишь.

Росендо снова отказался:

— Сеньор, мы хлебопашцы.

И он двинулся вперёд в сопровождении своих. Аугусто не мог прийти ни к какому решению, потому что он был неопытен и потому что разговор был очень стремителен, а главное потому, что на него подействовала простая сила слов его деда. Итак он поехал за Росендо, внимательно прислушиваясь к тому, что тот говорил.

— Эти проклятые джунгли опасное место. Там дикие

звери, дикие индейцы, лихорадки, а самое страшное то, что человек там уж не принадлежит самому себе.

Уж не в первый раз Росендо Маки встречался с людьми, которые решили отправиться в джунгли, но ему ещё не приходилось встречать никого, кто бы вернулся оттуда разбогатевший и довольный. И всё же люди шли туда, и рассказы о богатстве, которое там можно добыть, переносились из одной горной деревушки в другую, словно блуждающие огни. Бедняки, которым надоела их бедность, и богатые, которые мечтали стать ещё богаче, обзаводились ружьями, набивали свои седельные мешки и отправлялись в джунгли. Кто компанией, а кто и в одиночку. Но едва только они вступали на эти тропы, в эти туннели, прорезанные в лабиринтах чащ, как их навсегда поглощала мрачная зелёная пропасть.

Росендо обернулся к Аугусто и посмотрел на него, словно собираясь сказать ему что-то. И хотя он не сказал ни слова, видно было, что он стыдит его за этот чрезмерный интерес, за восторженное удивление, которому он так легко поддаётся. Юноша огорчился и почувствовал себя так, словно уж сделал что-то нехорошее. Ему показалось, что вот он уже покинул общину, и все упрекают его. Джунгли! Это была его первая встреча с далёкой и таинственно-страшной действительностью джунглей.

Они продолжали путь. Тропинка, словно утомившись однообразием плоскогорья, отделилась от большой дороги и побежала вниз по склону, в поисках каких-нибудь приключений. Но спуск был отлогий, и она шла теперь мягкими изгибами. Они уже приближались к городу, и городские власти, на случай приезда архиепископа или, быть может, начальника полиции, постарались привести окрестности в более цивилизованный вид. Спуск кончался у реки, около которой росли приятно тенистые гуаланго. И дорожка побежала берегом вверх по течению. Здесь было приятно ехать, в воздухе веяло прохладой, а сквозь высокие и густые вершины гуаланго дул ветер; эти вершины бросали круглые тени, скрадывая нестерпимый зной солнца, которое безраздельно царило в широких синих небесах. Река бежала, журча, по тонкому песку, по красным и жёлтым камешкам и пела свою неизменную весёлую песенку вечного путешественника. Лошади и всадники ехали довольные. Аугусто, который уже успел забыть о молчаливой взбучке, полученной им от деда, стал тихонько напевать. У него всегда была готова песня:

Если есть любовь на белом свете,
Я зову её — приходи ко мне.
По земле брожу я одинокий,
И никто не знает обо мне.

Аугусто казалось, что и речка поёт вместе с ним. Это легко может показаться, когда поёшь и едешь вдоль реки.

Говорю я птичке белокрылой,
Горлинке я милой говорю:
Где гнездо твоё, скажи мне, птичка,
Дай мне, птичка, там передохнуть

Росендо слушал внимательно, так же как и Гойа Аука и Абран. Эта песенка напоминала им о их юности, о том прекрасном времени, когда и они тоже воспевали любовь. Так отрадно было вспомнить об этом.

Ночь на землю темнотой ложится,
Как идти мне, я боюсь упасть,
Как пойти тебя, скажи мне, птичка,
И с тобою рядом я усну.

Дорога повернула, и вон уж там, за бугром, вставал город. Казалось, что он тут весь, как на ладони, с его красными крышами, белыми и жёлтыми стенами и домиками, столпившимися возле внушительной церкви, у которой они словно искали защиты. Кругом зеленели деревья и люцерновые поля, а почти безлюдные улицы были полны спокойным ровным гулом, который говорил о том, что там внутри идёт деятельная жизнь. Когда стук лошадиных копыт зазвенел по булыжникам мостовой, скучавшие лавочники вышли из-за своих прилавков поглядеть, что там такое.

Пёстрые плащи индейцев, — только один Росендо был в тёмном, — резко выделялись на белизне городских стен.
— Это индейцы из общины.

— Вот этот старик — знаменитый старшина Росендо Мави.

— Посмотри, какой у них независимый вид!

— Только, кажется, дон Аменабар собирается сбавить им спеси. Так я слышал...

— Да что ты?

— Да, да. Скоро будет суд.

— А ну-ка расскажи мне всё толком, пойдём-ка.

Слухи, догадки и предположения сыпались в изобилии.

Всадники повернули на площадь возле здания суда. Площадь была большая, пустынная, мощённая крупным и мелким камнем, а между камнями буйно росла трава. Посреди площади был фонтан, у которого несколько женщин, вероятно служанки богачей, набирали воду в кувшины. Две женщины разговаривали с индейцем, который сидел на низком каменном парапете фонтана и следил за своей тощей, убогой лошадкой, жадно щипавшей траву. Церковь была закрыта, а на одной из башенок красовался оловянный флюгерок в виде петушка, готового вот-вот закукарекать. Большинство домов, из тех что выходили на площадь, были двухэтажные, внизу, в витринах магазинов, были выставлены пёстрые товары и блестящие инструменты, за которыми индейцы ездят на ярмарку в воскресные дни. Лавочники тащили бутылку за бутылкой своим постоянным посетителям. У входа в суд стоял полицейский в уродливой, синей с желтыми вышивками, форме, которая вносила в этот пейзаж неизменный для всех провинциальных городов оттенок казённости. Город по своему значению имел не только супрефекта, но и иные власти с весьма звучными названиями, вроде окружного судьи первой инстанции, военного коменданта, инспектора здравоохранения, школьного инспектора и прочее.

Эти ревностные чины редко пахотились при исполнении своих обязанностей, а занимались тем, что сочиняли для своих подопечных или для вышестоящих чинов различного рода совершенно безобидные бумажки. Да что им было ещё делать? Судья был совершенно завален горами гербовой бумаги, являющейся символом и плодом той любви к справедливости, которая отличает перуанцев. Подавленный одним только видом этой необъятной массы бумаги, судья решил, что разобраться во всех этих бесконечных заявлениях, прошениях, приложениях, протестах и всяческих «принимая во внимание» не по силам человеку, и оставил надежду одолеть их. Клиентам же он объяснял свою медлительность тем, что ему требуется всесторонне изучить дело, чтобы вынести справедливое решение: «Я изучаю ваше дело, оно требует в высшей степени напряжённого внимания».

Супрефекту почти никогда не приходилось подавлять беспорядки: индейцы с каждым днём становились всё послушней; а штрафы да взыскивание денежек с поручителей — это отнимало у него по утрам не более часу времени. Обязанности остальных чинов были ещё менее

обременительны. Рекруты, годные к военной службе, набирались в один приём. Никаких средств для того, чтобы бороться с эпидемиями или предупреждать их, в городе не имелось; не имелось и школьных принадлежностей, а учителя были одинаково невежественны и бессменны, ибо назначение их производилось в высших политических сферах. Так что ж в сущности оставалось делать этим чинам? Тем более что их бездействие подкреплялось ещё одним весьма мудрым соображением. Они твёрдо верили в известную поговорку: «В Перу всё делается само собой». Только когда какой-нибудь богатый человек или влиятельная персона случайно прибегали к их услугам, они проявляли поистине необыкновенную энергию.

Всадники остановились перед домом Бисмарка Руица. Его контора, выходявшая на улицу, была закрыта, и поселяне направились во двор. К ним вышла женщина с ребёнком на плече. Огромные синяки под глазами и измождённое лицо говорили, что ей частенько приходится плакать.

— Что? — вскричала она. — Что? Вы спрашиваете Бисмарка? Вы явились искать его у него в доме. Как это вам пришло в голову?

Голос у неё был пронзительный и злой. Поселяне переглянулись, плохо соображая, почему это так глупо, — искать человека в его собственном доме? Женщина, видя что они недоумевают, пустилась в объяснения.

— Он торчит у Ля Костеньи. Днюет и ночует там. Я знаю, что эта гнусная тварь приворожила его. Ах, подлюга! Он теперь почти и не приходит домой. Бросить своих детей! Бедных, беспомощных малюток.

Повидимому, не все её дети были малютками, потому что в эту минуту появился довольно великовозрастный сыночек, который исполнял обязанности папашинного секретаря. Он, видно, был большой любитель петушиных боёв, потому что он держал в руках рыжего петуха и привязывал к его ногам тщательно отточенные шпоры. Эти светлые острия, которые должны были пронзить глаза или голову противника, поблескивали весьма угрожающе. Когда юнец узнал Росендо, он осторожно опустил птицу на пол — это был породистый боевой петух с коротко обрезанным гребешком, толстым клювом и широкими лапами — и предложил проводить их к отцу.

Действительно, Бисмарк Руиц обретался в доме Ля Костеньи. Они подъехали к выложенной плитками галлерее,

которая выходила во двор, где цвели гвоздика, фиалки и жасмин. В каждом углу стояло карликовое апельсинное дерево с круглой зелёной шалкой.

На другом конце галереи была дверь в комнаты. Сейчас там, повидимому, было много народу, оттуда доносились хохот, пение и весёлые звуки гитар. Поселяне сошли с лошадей, и вышедший им навстречу «юридический защитник» с объятиями и радостными восклицаниями повёл их к дверям гостиной.

— Ах, как я рад вас видеть, друзья мои! Прежде всего должен сообщить вам, что дело, которым вы интересуетесь, идёт самым лучшим образом, уверяю вас. Входите, входите! Выпейте по стаканчику, присоединяйтесь к нашей компании!

Открыв дверь, он окликнул своих собутыльников и женщину, которую назвал Мельбитой и которая была известна также под именем Ля Костенья. Она взглянула на индейцев со снисходительным равнодушием. Она была высокая и красивая, довольно полная, у неё были длинные ресницы и пухлые красные губы. Зелёное шёлковое платье с богатой отделкой плотно обтягивало её грудь, а из глубокого выреза белела нежная кожа.

Мельба Кортес приехала сюда в город несколько лет тому назад, откуда-то с побережья. Она тогда была хрупкая и бледная и старалась заглушить свой кашель маленьким кружевным платочком, на котором потом оставались красные пятна. Сначала жизнь её протекала тоскливо — вернее, её общественная жизнь, — ибо физическое её самочувствие улучшилось в этом горном, сухом, солнечном климате. Спустя несколько времени здоровье её настолько поправилось, что она стала появляться на вечеринках, а там у неё завелись друзья. Она очень похорошела, и у неё оказалось множество поклонников. Ходили слухи, что она близка с судьёй, но те, кто так говорил, были плохо осведомлены, потому что единственный человек, с кем её действительно связывали нежные узы, был молодой Урбино — сын богатого землевладельца из Терпано. Однако лавочник Касседо, повидимому, тоже был с ней на короткой ноге, и кто знает — не была ли она влюблена в члена городского управления Рамиреса, потому что однажды она танцевала с ним целую ночь. А возможно, счастливец был лейтенант Кальдерон, которому она как-то особенно улыбалась, или, может быть, студент-юрист Рамос, который не отходил от неё во время своих каникул. Однако

ближайшие её подруги, девушки Пиментель, уверяли, что больше всех ей нравится нотариус Мендес. Словом, Мельба Кортес вызвала настоящий переполох в городе.

Её кокетство, естественно, возбудило крайнее негодование всех скромных, добродетельных жен и девиц; опасаясь, что подобное бесстыдное, безразличное, порочное поведение может оказать злое влияние на добрые старые нравы, они принимали все меры к тому, чтобы изолировать и не допустить в свою среду столь пагубный соблазн.

Как раз в эту минуту на сцене появился Бюмарк Руиц. Она познакомилась с ним на обеде, куда её пригласили простодушные Пиментель. Несмотря на своё воинственное имя, юрист, оказался человеком, совершенно несведущим по части тактики и стратегии. Он ринулся в атаку, не обеспечив связи со своим арьергардом, и пришел момент, когда отступить ему было некуда. Он безнадежно запутался в сетях Ля Костеньи. Он одевал её и одаривал, купил ей этот дом, и хотя он ещё не совсем покинул собственное жилище, большую часть времени проводил у неё. Он устраивал вечера, на которых бывали Пиментель и другие не слишком щепетильные барышни. Мужчины, пропуская мимо ушей наставления своих жён, премилно проводили время на этих вечерах. А дамы были вне себя от негодования. Они дошли до того, что обратились к властям с требованием выслать эту особу из города, но власти оставили их претензии без внимания. Они были светские люди и не видели никаких оснований для такого скандала. К тому же они не пропускали ни одной из этих вечеринок.

— Позвольте представить: мои лучшие клиенты, — сказал адвокат, — это поселяне из Руми, достойные и благородные труженики. И против них замышлен самый постыдный грабёж.

Несколько пар в гостиной танцовали медленный индейский вальс. Двое-гитаристов играли на гитарах и пели громкими, высокими голосами:

Он оставил славную память,
И люди помнят о нём,
На далёкой земле итальянской
Смелый Чавес упал.

В песне говорилось о лётчике Хорхе Чавесе, который на своей лёгкой машине перелетел через Альпы впервые в

истории авиации. После того как он совершил этот подвиг и должен был сесть на землю в Домодосоле, его самолёт разбился, и он погиб. Это событие подействовало на воображение тех, кто слышал о нём, и они выражали свою горе и свои восторженные чувства в безыскусственных песенках собственного сочинения:

И один на своём самолёте
Он альпийскую высь одолел,
Теперь вся вселенная славит
Перуанца и храбреца.

Певцы были смуглые метисы; их пружистые пальцы неуклюже перебирали струны гитар. Струны брэнчали и стонали, словно готовые лопнуть. Пары выступали плавно, не кружась, выделявая чёткие, простые па. Это был перуанский вариант вальса, который стал таким же креольским, как его музыка и ритм.

Он украсил родину славой,
Наш доблестный лётчик-герой,
И с гордостью мы, перуанцы,
Повторяем имя его.

Поселяне не могли разобрать всех слов и не совсем понимали, о чём говорилось в песне.

— Вы слышите, — сказал им Бисмарк Руиц, — это про великого Хорхе Чавеса. Он перелетел через Альпы двадцать третьего сентября тысяча девятьсот десятого года, — вы понимаете, каких-нибудь два года тому назад! Вот такие-то люди и создают страну.

Должно быть, так оно и есть, раз это говорит дон Бисмарк. И они смиренно думали про себя: тёмные мы люди, только на то и годимся, чтобы землю пахать и делать то, что нам положено на каждый день. Правда, и они старались выполнять свои обязанности как можно лучше. А может быть, может быть, думали они, человек должен не землю пахать, а через Альпы летать?..

— Дайте-ка пива моим клиентам, — крикнул адвокат.

И все его приятели заулыбались. И даже Мельба Кортес чуть-чуть улыбнулась. Им подали пиво в больших кружках с шапками белой пены. Абран и его сын отказались от пива. Росендо и Гойо Аужа из вежливости выпили.

Старшина, решив, что с него хватит музыки, спросил адвоката, как идёт дело. Руиц повел его в соседнюю комнату.

— Ах, как это досадно! Видите ли, сейчас тут гости... и не очень удобное время говорить о таких важных делах.

Адвокат был одет в зеленоватую пару, пальцы его были унизаны толстыми кольцами, а по животу из одного жилетного кармана в другой ползла золотая цепочка. Глаза у него были мутные, и от него так несло ромом, точно он был весь пропитан им. Они вошли в комнату, и адвокат слегка притворил дверь.

— Так вот, в двух словах; этот Аменабар претендует на земли общины вплоть до оврага Руми. Он утверждает, что они принадлежат ему. Видали вы такое нахальство? Но я представил акты и написал весьма убедительное заявление. Теперь он не знает, что ему делать. Его поверенный, этот болван Аранья, пока что даже не собрался ответить. Но что бы он ни ответил, я сумею ему заткнуть рот, — напишу новую бумагу. Что он воображает? Я — Бисмарк, как тот — великий человек. Вы знаете, кто такой был Бисмарк?

Поселяне ответили, что не знают, а сами подумали: уж не летал ли он тоже. Но адвокат больше ничего не мог сообщить о своём тёзке, и так они и остались в полном неведении на этот счёт.

— Так вот, Росендо Маки, вы можете быть совершенно спокойны. Вот здесь, в этих мозгах, — он постучал по своей лысине, — целая уйма серого вещества. Я оставлял Аранью в дураках всякий раз, как мне приходилось сталкиваться с ним. Вам нечего беспокоиться. Приезжайте ко мне через месяц, потому что они, повидимому, ждут, когда истечёт законный срок для того, чтобы ответить... Между прочим, Маки, не можете ли вы мне дать пятьдесят солей?

Росендо дал ему деньги, и Руиц проводил их до ворот. Когда они садились на лошадей, он повторил ещё раз: —

— Так вот запомните: можете быть совершенно спокойны, у вас нет никаких оснований для беспокойства. Дело ясное, законы на вашей стороне. И я сумею обуздать этих мошенников. Они всё настаивают на том, что вы должны представить доказательства, но кто же не знает, что эти земли принадлежат общине? Ваши права, несомненно, будут подтверждены. Так что не беспокойтесь.

Поселяне отправились на постоянный двор поблизости, чтобы перекусить немного и покормить лошадей. Девушка, которая прислуживала им, произвела очень сильное

впечатление на Аугусто. Просто невероятно, чтобы на свете была такая пропасть хорошеньких девушек. Досадно было только, что Маки торопился домой.

Возвращаясь домой, Росендо и его спутники раздумывали над тем, что им сказал поверенный. Разумеется, он говорил правильно. Если уж на то пойдёт, так весь посёлок Мунча и немало людей, проезжавших через Руми, подтвердят, что земля принадлежит общине с незапамятных времён и насчёт их прав никакого сомнения быть не может...

Путешествие было утомительное, особенно для старика. Ночь застигла их на полдороге, в горах. На счастье, погода была хорошая, а вот во время дождей можно было заехать в такую трясиину, где засасывало и копыта и всадника. Резкий, порывистый ветер завывал в тростниках. Стук лошадиных копыт отдавался у Маки в голове, а спина ныла от усталости.

Когда едешь назад, то от усталости путь всегда кажется дольше. Но когда они стали спускаться с последнего холма, они увидели вдали уютные деревенские огоньки, ласково мерцавшие в темноте, и это подбодрило их. Это были их дома, их земля — все, что было их жизнью, их счастьем... Они забыли усталость, и даже лошади, несмотря на колочий кустарник, прибавили шагу.

На следующий день Аугусто вскочил пораньше, чтобы помочь доить коров. По правде сказать, это совсем было не его дело, но он внезапно воспылал усердием. Он старался найти какой-нибудь предлог, чтобы оправдать своё появление, и тут как раз увидал, что пастух Иносенсио не может справиться с коровой.

— Эй, Иносенсио, — крикнул он подходя. — Дай-ка я помогу тебе.

Корова была уж привязана к столбу, но ей надо было спутать ноги. Она только что отелилась первым телёнком и не давалась, когда её пытались доить. Вон уж один кувшин разбила! Все они так, пока не привыкнут. На земле, в молочной луже, валялись осколки кувшина. К великому удивлению Аугусто, сегодня доили совсем не те девушки, которых он видел накануне. Вот ещё новое осложнение! Сегодня здесь была Маргича с другой девушкой, которую Аугусто даже и не заметил. Но ему было приятно посмотреть на Маргичу, — у Маргичи бы-

ли розовые губы и щеки, груди, как молодые плоды, тело, которое говорило о плодородии, словно сама земля, глаза чёрные... И он помог спутать корову, вывел других коров, привязал телят, потом стал подавать кувшины, ведра — словом, был очень предупредителен и всячески помогал во всём. От времени до времени он бросал два-три слова Маргиче, а та отвечала ему живым, весёлым взглядом, и Аугусто уже начинал парить на крыльях надежды. Когда Маргича проходила мимо — о, любовь, любовь! — даже камни начинали трепетать. Аугусто пришёл и назавтра, явился и послезавтра. Он знал много песен, и, в то время как молоко густыми струями стекало в ведро, он тихонько напевал. Маргича никогда не слыхала этих песенок и не раз задавала себе вопрос, не сам ли Аугусто придумывает их, потому что похоже было, что в них говорилось про неё.

О глазки, милые глазки,
Чёрные вишенки-глазки,
Довольно вам блуждать по горам,
Остановитесь на мне.

Иносенсио, спокойный, мешковатый малый, сначала как будто ничего не замечал. Он был очень добродушный, и, несмотря на разницу в годах, они с Аугусто стали приятелями. И вот как-то раз он стал спрашивать Аугусто. А тот, как и всякий влюблённый, обрадовавшись случаю поговорить о своих сердечных делах, полусхутя, полусерьёз рассказал ему всё. При этом он признался пастуху, как ещё совсем недавно готов был влюбиться в первую попавшуюся девчонку и сюда-то пришёл, надеясь увидеть одну из тех девушек, которые угощали их молоком, а вместо неё встретил Маргичу. И теперь он видит, что только Маргичу только её он искал, когда заглядывался на других. Её одну он любит. В ней, в Маргиче, он нашёл ту, которую искал.

Аугусто с пастухом стояли и разговаривали; Маргича и другая девушка ушли, неся каждая кувшин с молоком на голове и по полведра в руке. День занимался над Руми, телята громко сосали, тыкаясь мордами в вымя, «выдаивая» молоко. В воздухе стоял запах нагретого солнцем навоза.

Добродушно посмеиваясь, Иносенсио пустился в философские рассуждения:

— Женщины — они вроде как горлишки в лесу. Вот ты

берешь ружьё и идешь в лес, и видишь — большая стая горлинок, ты и не знаешь, в какую целиться. Конечно, если хороший стрелок, и если у него ружьё бьёт без промаха, так он не одну штуку убьёт, но для примера возьмём охотника, который больше одной не убьёт. Уж он постарается прицелиться, чтобы маху не дать. А случается, только он приготовится стрелять, как она вспорхнёт да и спрячется. Или может случиться так, что другая как раз и сядет туда, куда он целится. Бах! — она и падает вместо первой. Понимаешь? Ну, вот так-то оно и с женщинами выходит. Много тебе попадалось девушек, и пришёл ты за одной, а нашёл другую... И уж ты теперь не можешь сказать, что на самом деле нашёл ту, которую искал. Я тебе верно говорю, женщины — они как птицы в лесу.

Не успел ещё Иносенсио окончить свою бессвязную притчу, как на лице Аугусто появилось оскорблённое, негодующее выражение. Что этот осёл хочет сказать своими дурацкими рассказами? Неужели он до того глуп, что не может понять? Неужели он думает, что Маргича такая же, как другие девушки? Или что он, Аугусто, мог бы любить кого-нибудь так, как любит её? Ясно, что Иносенсио — болван. Не ответив ни слова, Аугусто отошёл, решив, что не стоит тратить много слов на такую дубину.

Иносенсио усмехнулся и, пощёлкивая кнутом, погнал коров на пастбище. Он не обиделся на Аугусто, нет — он отнёсся ко всему происшедшему вполне благодушно.

— Эх, молодость, молодость!.. Эх, скотинка, скотинка!.. — бормотал он, помахиывая кнутом и при этом не задевая ни одной из коров. Иносенсио относился с большим терпением и к животным и к людям. Пастухи и погонщики в Андах вообще отличаются терпением. Если они с самого начала не обладают этим качеством, они его приобретают со временем, ибо немало надо иметь терпения, чтобы вести упряжку или стадо и не впасть в отчаяние, шагая по непроходимым дебрям этой страны, где нет ни постоянных дворов, ни пристанища, ни дорог, а только дикие тропы; без мостов, без оград, вьются через эти пустынные горы, леса, над реками и ущельями... Иносенсио с малолетства был пастухом, и он умел запасаться терпением.

— Эх, молодость, молодость!.. Эх, скотинка, скотинка!..

Но, независимо от всяких притч, многие поселяне действительно охотились на горлинок. Это были последователи и ученики ставшего ныне легендарным Абдона.

Ружья палили, и испугнутые птицы растерянно металась над лощиной Руми и ручьём Ломбрис. С каждым маленьким облачком порохового дыма падали одна или две птички, а остальные уносились ввысь сильней, стремительной, перепуганной стаей. Обычно они усаживались на каком-нибудь определённом дереве, которое служило им наблюдательным пунктом. А когда новые жертвы падали с этого дерева, они перелетали на другое. Охотники уже научились разбираться в их повадках, а горлиники, в свою очередь, изучили приёмы охотников. Как только они видели медленно идущего человека, который нёс хотя бы палку в руке, они поднимались и улетали. Тогда охотники — ведь недаром же они были люди, а следовательно, наделены разумом — прятались у подножья дерева, к которому устремлялась стая. И едва только птицы успевали сесть, как раздавался выстрел, и несколько штук падало. И снова горлиники обращались в бегство, испуганно вспархивая, кружили в воздухе; а затем снова раздавался выстрел, и падали новые жертвы.

Чтобы не распугать их совсем, охотники не мешали им клевать ягоды по утрам, а охотились обычно на исходе дня. Но горлиники уж не могли клевать, а ещё того менее — петь.

Многие из поселян жалели птиц; им доставало пения горлинок. Больше всех огорчался этим Деметрио Сумальякта, флейтист. Его пленяли эти нежные мелодии, он слушал их каждый день, особенно в сумерки. Ему казалось, что это пение — словно новый оттенок в красках заката, как если бы краски и звуки сливались воедино; ему казалось, что сумерки как бы волшебным окрашиваются музыкой, или что пение — это цвет, положенный на музыку. И он приходил в себя, только когда уже становилось совсем темно.

По временам Деметрию слышалось вдалеке неясное, тихое, жалобное пенье. Оно исходило из его собственного сердца.

Как-то раз неожиданно к Росендо пришла Наша Суро. Наша Суро всегда одевалась во всё чёрное, и о ней шла чёрная молва. Она пришла уже совсем в сумерках, и Росендо показалось, словно её изрыгнула тьма.

— Тапта, тапта, — промолвила она зловещим голосом,

а на ее смуглом лице выражался ужас, — я спрашивала коку, и лукошко падало с розового дерева всякий раз, как я упоминала о землях общины. Это худо, таита!..

Росендо сразу не нашёлся, что ответить. Но в сердце его зашевелилось подозрение, и ему вдруг показались сомнительными самоуверенные речи Бисмарка.

— И это ещё не всё, таита, — таинственно продолжала Наша Суро, — как я ни ворожила на коку, а ответ всегда получался к худу... Недоброе она говорит, таита...

Таково было предсказание знахарки, слышшей к тому же и колдуньей, по поводу тяжбы с ранчо Умай, которая за последнее время стала главной темой деревенских пересудов. Наша гордилась своей репутацией гадалки и, хорошо понимая человеческую природу, всегда предсказывала людям либо то, на что они надеялись, либо то, чего они боялись.

— Посмотрим, Наша, — грустно ответил Росендо, невольно подумав о том, что поселяне поддались дурным предчувствиям, — у нас есть защитник, а разбирать это дело будет суд.

Наша исчезла в темноте, бормоча что-то невнятное, — может быть, это были ничего не значащие слова, а может быть, колдовские заклинания.

В своё время, как обычно, в деревне появился Чародей. Он приехал на старой кляче, которая ю головы до самого хвоста была увешана мешками, набитыми до того, что они чуть не лопались. И сам всадник тоже был похож на мешок, привязанный к седлу.

Он остановился, как всегда, в доме Мигеля Панты: дом этот был удобен для него тем, что стоял посреди Калье-Реаль, наискосок от площади.

Гостеприимный Панта расседлал его лошадь и отвёл её на выгон. А Чародей, который был в сущности коробейником, начал распаковывать в сенях свои тюки.

Чего только не появилось оттуда!

Пёстрый товар, белый товар, соломенные шляпы, зеркала, дешёвые кольца и серьги, нитки, гармоники, грошовые книжонки — «Бертольдо», «Бертольдино», и «Каказено», и «Оракул Наполеона», ножи, железные заступы, плащи, башмаки, белые носовые платки, большие красные платки с узорами, изображавшими каких-нибудь животных или бой быков, пуговицы, иголки и уйма всякой мелочи. Всё это пестрело яркими красками.

Пришли поселяне поглазеть на все эти чудеса.

— Эй, дон Контрерао, что это ты нынче так рано собрался? Подождат бы до уборки урожая.

Чародей улыбнулся, обнажив свои гнилые зубы.

— Да я к тому времени успею ещё приехать... Я люблю ездить к людям, которые меня хорошо встречают и платят исправно свои долги. — Такими речами он умел расположить к себе поселян и польстить их наивному тщеславию.

— А ну, покупайте, покупайте! Вот отрезок ситчика. Всего восемьдесят центаво за метр...

Коробейник был высокий костлявый человек лет пятидесяти. Лицо у него было длинное и белое, словно ломоть сала. Жидкие тёмные усы переходили в редкую светлую поросль на щеках, которая должна была изображать баки. Его бледные губы обладали способностью мгновенно складываться в автоматическую улыбку, свойственную его профессии, а его грязные костлявые руки ощупывали мелочь и банковые билеты с такой ловкостью, что, казалось, деньги сами складывались в пачки и выдавали сдачу, в то время как он занимал покупателей и расхваливал свои товары. Круглая широкополая шляпа прикрывала его маленькую голову, а плащ висел мешком на худом теле, напоминавшем вронье пугало. Жёлтые штаны морщились складками на его тощих икрах и прятались в нечищенных сапогах. Но самое поразительное в нём были глаза: они были чёрные, быстрые, как у птицы, необыкновенно пронзительные, и когда они останавливали свой взор на каком-нибудь предмете, то разглядывали его с тщательностью полицейского. Глаза придавали ему вид решительный и энергичный. И если бы не такие глаза, Чародей очень был бы похож на приведение, либо на жердь, переодетую человеком, которую вот-вот унесёт ветер. Но оценить все своеобразие этого человека можно было только в то время, когда он продавал свои товары.

— Эх, ну и красотка девушка! Как ей пойдут эти серёжки. А ну-ка, покажи свои хорошенькие ручки, — гляди-ка, колечко как раз для тебя... всякий залюбуется на такую ручку с эдаким колечком. И всего только сорок солей за серёжки, а за это хорошенькое серебряное колечко один соль.

Девушки мялись, опасаясь, не станут ли матери бранить их за то, что они переплатили. А Чародей всё громче расхваливал свой товар, примеривал безделушки то той, то

другой, призывал стоявших около подтвердить, как эти украшения к лицу девушкам, и с жаром подхватывал их похвалы. И уж если ему удавалось воунуть товар покупателю в руки, то никак нельзя было отделаться, не купив.

— Ну-ка, донья Чайо, пора вам купить ещё пару башмаков.

Донья Чайо ощупывала бессовестно тонкую ткань, за которую с неё просили пятьдесят центаво за метр.

— Башмаки! Да те, что он продал мне прошлый раз, совсем оказались гнилые, оглянуться не успела, как развалились.

— Вот мошенник-то! Вот плут! — без стеснения подхватывали окружающие.

Но Чародей не проявлял никаких признаков негодования. Он был совершенно равнодушен к подобного рода поношениям, — наоборот, они, как видно, льстили ему, ибо, слушая их, он с особенной готовностью улыбался своей профессиональной улыбкой. В глубине души он считал эти ругательства почётными и принимал их как комплименты своим способностям хитрого и ловкого торговца. Пусть себе болтают, пусть ругаются. Ему бы только воунуть им товар. В жизни преуспевают ловкачи, а если люди позволяют себя одурачивать, так это их дело.

В дружеском разговоре с Пантой или с кем-нибудь из приятелей Чародей частенько сетовал на то, что его мать умерла, когда ему было всего год отроду, а вырастил его нянчуга-отец, и вот поэтому-то ему и не удалось изучить медицинские науки. Он говорил это главным образом для того, чтобы произвести впечатление на слушателей, ибо на самом деле ученье мало интересовало его.

Много лет тому назад у себя в деревне, в одной из тех бесчисленных деревушек, что затеряны в северных горах, он возглавлял шайку юных сорванцов, — шайку, которая пользовалась громкой славой. Они дочиста опустошали сады и огороды, невзирая на град крупной дроби, которой их угощали, они портили попадавших им на дороге лошадей, носясь на них без седла во весь опор, они меняли по ночам вывески у городских лавок, так что утром на аптеке красовалась вывеска гробовщика, и наоборот.

— Эх и дрянной же народ, эти парнишки! — говорили люди.

Но никто не мог сравниться с Хулио Контрерасом — так звали Чародея — в искусстве запускать змея с привязанными к хвосту острыми осколками стекла, чтобы перерезать ими бечевки чужих змеев, а также в стрельбе из пращи. Десятки соперничавших змеев уносились неизвестно куда, и сотни воробьёв и диких горлинок падали жертвами меткой руки Хулио и его ястребиного глаза.

Всё это озорство считалось в посёлке делом обычным и не приводило ни к каким печальным последствиям, но Хулио всегда ухитрялся придать какой-то особенно отвратительный душок своим выходкам, так что в конце концов ему пришлось бежать из посёлка. Однажды он поймал горлинку, которой перебил крыло камнем из пращи. Вместо того чтобы убить её и этим избавиться от мучений, как сделал бы всякий другой мальчишка, он возымел блестящую идею: притащил свою жертву в школу, связал ей лапки и, перед тем как начать урок, посадил её под самую морду балованного кота учительницы, так что тот мог достать её лапой. Надо было посмотреть, как испуганная птичка делала тщетные усилия ускользнуть, поворачивая голову то туда, то сюда, трепеща своим единственным крылом, даже пыталась подпрыгивать, но только судорожно дёргалась и дрожала всем своим маленьким тельцем. В эту минуту в класс вошла учительница. И так как она по опыту знала, что выговор и наставления здесь ни к чему не приведут, она отослала его домой с запиской отцу, требуя ответа.

Отец его был пьяницей и вспоминал о сыне, только когда до него доходили жалобы учительницы или соседей. Тогда он задавал ему порку. На этот раз Хулио Контрерас, которому минуло двенадцать лет, не передал отцу записку и исчез из посёлка.

Он бродяжничал, зарабатывал чем пошло. Он даже пристроился к труппе третьеразрядных акробатов и шатался с ними до тех пор, пока их главный исполнитель не спомал себе шею в Чилете, и труппа не распалась в Кахамарке после четырёх выступлений перед пустым залом.

К этому времени Контрерас стал взрослым мужчиной и законченным жуликом. На скопленные гроши он приобрёл ярмарочную рулетку и при помощи этой штуки обчищал карманы у доверчивых простаков. Однажды он попал со своей рулеткой в округ Сан-Маркас, как раз когда ярмарка была в самом разгаре. В качестве выигрышей рулетка сулила пуговицы, носки, катушки, карточки, кален-

дарь, — календарь был рекламный, он стянул его в аптеке, — зеркальца и дешёвые часы, которые были главной приманкой, но, разумеется, никогда никому не доставались. Каждый играющий уплачивал двадцать центаво. Любопытствующие прельщались главным образом часами, они уплачивали денежки и пускали рулетку. Колесо вертелось, вертелось и внезапно останавливалось, указывая на календарь, рекламировавший какое-нибудь средство от всех болезней, или на кусочек картонки с полдюжиной пуговиц для воротничков. Хозяин рулетки собирал денежки, — однако, не так много, как ему хотелось.

Ярмарка была не из удачных. На площади вертелось всего несколько плясунов в масках, — патер не разрешил устроить ночную процессию; быки, выпущенные на арену, оказались трусливыми и не желали нападать, а торреро, сообразив, что его, вероятно, могут заставить показать свое искусство с быками, которые уже выступали в боях и знают все тонкости этого дела, сбегал ночью. А в довершение всего начальник полиции, который только что прибыл из Кахамарки, издал приказ, воспрещающий торреро-любителям переступать бревенчатую ограду арены. Толпа носила губернатора, который распорядился ярмарочными церемониями. Жадина, скряга, скупердяй! — все эти эпитеты сыпались на него за то что он поскупился отпустить средства на ярмарку. Начальник полиции и его молодцы награждали крикунов ударами саблей плашмя. И тут-то Хулио Контрерас пришёл поделиться с губернатором внезапно осенившей его блестящей идеей.

— Сеньор, — сказал он, — я могу вывести вас из затруднительного положения. Дайте мне ярмарочную площадь, и я устрою там представление. Я знаю это дело, я работал о цирком.

— Вот как, — протянул губернатор, не зная, радоваться ему или опасаться какого-нибудь жульничества.

Контрерас показал ему программу выступлений акробатов, на которой красовалось его имя, и сомнения губернатора рассеялись. Решили назначить представление на следующий вечер. Губернатор предложил Контрерасу сто солей, но в конце концов, принимая во внимание громкое имя актёра, согласился уступить ему также и часть сбора. Губернатору казалось, что Контрерас ниспослан ему небесами, дабы вывести его из затруднения. Он тотчас же объявил о представлении, чтобы улучшить настроение своих подданных, а на следующее утро явился собствен-

ной персоной полюбоваться громадными рекламами, установленными на площади. Гигантскими черными буквами они возвещали, что сегодня вечером на ярмарочной площади выступит знаменитый чародей Хулио Контрерас и покажет всяческое волшебство: волшебный канат, волшебную петлю, волшебный полёт. Кто-то из хвостовства сболтнул, что он как-то раз видел волшебный полёт, и что это действительно очень страшно и таинственно. Новость распространилась по всему городу. Днём Контрерас снова явился к губернатору.

— Послушайте, сеньор. Публика у вас очень требовательная, и я прямо не знаю, что они со мной сделают, если им не понравится моё представление. Не разрешите ли вы мне получить сто солей сейчас, чтобы я мог послать их матери, на тот случай если со мной что-нибудь стряётся.

Губернатор был порядком навеселе, а потому растрогался и дал ему сто солей; однако он не был настолько уж пьян и настолько растроган, чтобы у него не зашевелились некоторые подозрения. Он призвал к себе начальника полиции и приказал ему отрядить человека для наблюдения за Хулио.

Предусмотрительный артист позаботился обо всём: он заручился двумя сообщниками — один продавал билеты, другой держал для него наготове оседланную лошадь по ту сторону ограды. Он не предусмотрел только одного — полицейского надзора.

Наступил вечер. Импровизированный цирк был битком набит народом. И что это была за бурная публика! Кукурुзной водки и лива было море разливанное. Время от времени кто-нибудь в зале вытаскивал револьвер и бахал в воздух. Беда была в том, что над головами всё же имелась, хоть и тонкая, крыша, и каждый выстрел отдавался оглушительным эхом. Те, что успели изрядно выпить, считали, что этот грохот входит в программу представления, и раздражались восторженными аплодисментами. Другие, надрывая глотки, орал: «Чародея, давай сюда чародея!»

Тем временем Контрерас метался, обливаясь потом, не зная что ему предпринять. Полицейский, бдительности которого он был поручен, ходил за ним по пятам и даже поднялся вместе с ним на импровизированную сцену, воздвигнутую в глубине балагана. В заднем углу эстрады была дверь, за которой ждала его оседланная лошадь, но

из этого могло ровно ничего не выйти. Непревзойдённый артист имел понятие о некоторых акробатических трюках, мог пройти по канату и даже проделать двойное сальто, но как быть с волшебным полетом. Он не видел никакой возможности угостить зрителей хэга бы подделкой этого трюка. А ведь такая публика, раскусив истинное положение вещей, способна была убить его или, по меньшей мере, переломать ему кости. Начальник полиции и его молодцы, стоявшие у входа, похожи были на голубую пену прибоя народных волн.

— Чародея, давай сюда чародея!

Пулл ю грохотом бахали в потолок. Один из шутников заорал: «Врата небесные рушатся!» — за что был награждён громкими раскатами хохота.

Контрерас не знал, что ему делать. Он уж долго тянул с представлением и дурачил полицейского, выдумывая предлог за предлогом. Наконец его кассир появился с деньгами в руках. Делать было нечего, приходилось идти на сцену. Жребий был, как говорится, брошен. Чародей уже облачился в огненно-красное трико, распорядился поднять грошовый занавес. Он собирается начать как раз с волшебного полёта — самая трудная штука во всём его выступлении, — пояснил он полицейскому и добавил, бросая последнюю свою карту:

— Способ, при помощи которого я поднимаюсь в воздух, — отрожайший секрет, лучше бы вам выйти и поглядеть на этот фокус из зала.

Полицейский, не совсем доверяя возможности волшебного полёта, но любопытствуя поглядеть на то, как чародей оскандалится, вышел в зал и присоединился к публике. Он держал у себя подмышкой маленький узелок — одежду Контрераса. Со свойственной полиции прозорливостью, он решил, что если Контрерас теперь и удерёт, то его ничего не стоит отыскать по его ослепительному наряду.

— Чародея! — завопил кто-то, нарушая тишину, наступившую вслед за открытием занавеса — Чародея! — подхватил зал.

Но сцена оставалась пустой. Чародей не появлялся. Наконец полицейский, несколько обеспокоенный, отправился разузнать, что там делается, и обнаружил, что Контрерас растаял в воздухе. Это было поистине волшебное исчезновение!

А Контрерас между тем мчался во весь опор, являя

необычайное зрелище, какого ещё не видывали здешние горы. Поставив всё на карту, он едва успел оунуть деньги за пазуху и, как был в красном костюме акробата, шмыгнул в заднюю дверь, прыгнул в седло и пустился вскачь. Он промчался по улице с быстротой молнии, не задумываясь свернул в темноте на первую попавшуюся дорогу и скакал сломя голову, не останавливаясь, до самого рассвета. Пастухи, гнавшие стадо, или крестьяне, испозаранку направлявшиеся в город, в ужасе шарахались или застывали на месте при виде красной фигуры, мчащейся, как вихрь, — они были уверены, что это сам сатана несётся за какой-нибудь погибшей душой или летит в бездонную пещеру, которая ведёт прямо в преисподнюю.

Теперь уже полицейский не знал, что ему делать, как ему вывернуться. И когда он явился к начальнику, показав в виде оправдания узелок с одеждой, то заработал полную затрещину и отправился на двое суток под арест. Публике надоело ждать чародея, и она бросилась искать его за сценой. Когда люди, наконец, поняли, что их обманули, они переломали всё, что было возможно, и даже пытались сжечь балаган; полиции стоило большого труда утомонить их. Атмосфера сгустилась до того, что самому губернатору пришлось исчезнуть, и он отсутствовал целых две недели.

Всадник продолжал свою бешеную скачку, сея недоумение и панику всюду, где бы он ни появлялся, пока, наконец, не доскакал до одного из своих приятелей и тот снабдил его одеждой, в которой можно было появиться на людях.

Так-то Хулио Контрерас заработал три сотни солей и кличку Чародея. Никогда ещё у него в руках не было столько денег. Он накопил на них всякого грошового товара, и с этого-то и началась его карьера коробейника. Он оставался ей верен до конца своих дней. Люди поговаривали, что у него в банке в Трухильо накоплено денег, и что он частенько ездит туда и пополняет свои сбережения. Он этих слухов не отрицал, но и не подтверждал. Но каждый год, появляясь в деревне, он говорил, что приехал в последний раз.

Однако Чародей каждый год появлялся на своей терпеливой кляче, для которой вес его набитых тюков был гораздо более обременителен, нежели вес самого хозяина.

— Вот заступ, чистая сталь! Режет землю, как масло! Подходи, покулай!

Один из охотников на горлинок, проходивший мимо с ружьём в руках, остановился посмотреть, что тут делается.

— А вот хорошо, что ты мне напомнил, — воскликнул Чародей и весь просиял, — не продать ли ружьё? Мне нужно хорошее ружьё. Заплачу как следует.

Охотник покорно протянул ружьё, и Контрерас стал его осматривать с видом знатока.

— Нет, мне надо не такое. Мне один пастух из Уйюми заказал ружьё. Пумы нападают на его коз, вот ему и нужно хорошее ружьё и свинец. Он хочет сделать большие пули для пум. Лучше, пожалуй, ему самому приехать да посмотреть. Как тебя зовут-то, чтобы сказать ему?

— Херонимо Кауа.

— Ну, вот и хорошо! Я думаю, он сам придёт, и ты с ним сторгуешься. Ему поскорей надо, он за ценой не постоит. У кого тут ещё есть подходящие ружья?

Херонимо и кое-кто ещё из стоявших около назвали ему имена немногих охотников, у которых были ружья. Парнишки порасторопнее побежали искать их, и те пришли с ружьями, кто из дома, кто из лощины, в которой охотились.

У всех были старые шомпольные ружья. Чародей, посмотрев, одно за другим возвращал их владельцам: это слишком маленького калибра, в этом трещина, у этого ложа расшаталась. Да, все они с изъянами, но, может быть, пастух придёт, посмотрит и выберет.

— А как тебя звать-то? А тебя?

Затем он снова принялся расхваливать свои товары и уговаривать нерешительных покупателей:

— Нет, сегодня я ничего в рассрочку не продаю, я уезжаю надолго. Да ты возьми в долг у кого-нибудь из соседей. Тебе всякий поверит. А старщина поручится.

— Да ведь ты только что говорил, что скоро вернёшься.

— Так ведь это я говорю, когда мне не хотят в долг поверить.

Всегда он чем-нибудь насмешит, такой шутишка дон Контрерас!

Многим в этот день удалось осуществить свои мечты — закупить пёстрых тканей, обзавестись колёчками или серёжками. Чародей торговал, пока не стемнело.

Хозяйка дома приготовила поесть. И Мигель Панта со своим старым приятелем поужинали вместе, а потом уселись у очага и беседовали допоздна. Чародей знал всю обширную территорию, по которой разъезжал, как свой собственный двор, и много мог порассказать о далёких городах и ранчо, об индейцах-фермерах и общинах, о деревенских празднествах... Материал для рассказов он черпал из собственного опыта и умел придать своему изложению драматический оттенок.

— Случилось мне как-то раз быть в Пиуре. Есть там такое место, где водятся тьма гадюк, и там у меня с этой гадюгой было такое приключение, какого, можно сказать, ни с кем не бывало. Заползла она ко мне каким-то образом в седельный мешок, да так и ездил со мной всюду. А я даже и не замечал. Удивительно, как это я её не раздавил. Так вот, еду я в Кахамарку, а дорога туда ведёт через высоченный перевал. Лошадь моя устала, ну я остановился, и расседлал её; смотрю, а из мешка ползёт гадюка. Боже ты мой, господи, говорю я себе, как это она меня не укусила, когда я лазал в мешок. Ползёт она это, ползёт, и вдруг, смотрю, застыла на месте, потом дернулась разок-другой и совсем замерла. Оказывается, ей стало плохо на такой высоте, с ней сделалась сороча — горная болезнь. Ну, говорю я себе, погляжу-ка, что дальше будет. Поджёг траву кругом, — змея земного отогрелась, опять поползла. Я не стал её убивать, всё равно подохнет. Ну, вот ты скажи, видал ли кто на своём веку змею с горной болезнью. Нет такого человека, кроме меня.

Годы не проходят даром, в особенности если человек всю жизнь трясётся по дорогам, и у Чародея был сильно потрепанный вид. Спина у него согнулась, а по углам рта залегли глубокие складки. Много лет прошло со времени его «волшебного исчезновения», не один десяток. Рассказывая об этом происшествии, он смаковал его, вроде как букет старого вина, и вздыхал о своей ушедшей юности.

Что может быть на свете лучше летнего утра — прохладного, свежего, золотого, синего, да ещё когда оно сулит тебе хорошенькую девушку, вроде Маричи. Чувствуешь себя так, словно у тебя крылья за спиной выросли. Аугусто Маки попрежнему вставал на рассвете. И девушка-коровница относилась к нему по-дружески. Иногда

она просила помочь ей в чём-нибудь, иной раз давала ему какое-нибудь поручение. Аугусто сиял. Но с Инносенцио отношения у него были довольно прохладные или, сказать попросту, никакие. Аугусто даже не разговаривал с пастухом и делал всё возможное, чтобы не замечать его присутствия. После двух-трёх дней такого поведения терпеливый пастух отозвал его в сторонку и сказал:

— Дуришь ты, Аугусто. А ведь следовало бы тебе понимать, что старших уважать полагается. Не так уж я глуп, как тебе кажется, и кое-что смекаю. Ты — парень, она — девушка. Я помалкиваю. А всё-таки старших уважать следует. Ты, может быть, скажешь, какое мне дело? Верно, никакого... Но только я здесь хозяин над коровами и над скотным двором... Я тут распоряжаюсь. И я могу сказать тебе, что не очень ты здесь нужен, что ходить тебе сюда незачем. Понял?..

Аугусто понял. Он постарался загладить свою вину, а со временем даже привязался к простодушному, доброму пастуху. Они стали настоящими друзьями, и нигде Аугусто не чувствовал себя так хорошо, как на скотном дворе. И от струй молока, от пшеницы, которая покачивалась вдалеке, от задумчивых коровьих глаз, от рук Маргичи, от нагретого солнцем навоза, от пенья птиц, от всеобъемлющего сердца земли — от всего этого в душе его рождались новые прекрасные песни. Аугусто пытался научить доброго Инносенцио одной песенке, которую он очень любил. Но у Инносенцио не было слуха, и ему никак не удалось запомнить весь мотив целиком.

Горлянки, которым надоело перелетать с места на место и погибать, улетели, как они это делали каждый год. На будущий год они возвратятся снова, забыв о том, как с ними здесь обращались, или, может быть, это прилетят уже новые стаи.

Деметрию Сумальякта, флейтист, очень горевал, когда горлянки улетели, и страшно сердился на охотников, в особенности на самого завязтого из них, Херонимо Кауа. Он бы с величайшим удовольствием поколотил Кауа, но боялся дать волю рукам, — ведь тот был кровельщик, и как раз сейчас им очень дорожили, потому что над школой возводили крышу. Её ровные жёлтые стены были уж совсем готовы. Вот вздуешь его, а старшина и помощники заставят заплатить штраф в пользу общины. Может, ещё

из общины выгонят, если признают, что для побоев не было уважительной причины, чего доброго ещё и городской судья впутается, чтобы выудить из него деньги, и арестует его за бесчинство.

...А уж коли супрефект узнает, так и в тюрьму засадит, чтобы содрать с него как следует. А всё-таки обидно, что нельзя выколотить дурь из этих болванов.

Но вот надежды его возродились. Охота прекратилась. Может быть, горлинки вернутся. Всё следующее утро он ждал. Но ни одной стайки не появилось над уныкосами и даже вдали их не было видно. Улетели. Уж не услышишь больше их звонкого, нежного пения...

Тут он вспомнил о своей флейте, и ему страшно захотелось поиграть. Он полез за ней на полку, где она всегда лежала, но там оказались только его пастушьи дудочки, — наверно, кто-нибудь из братишек стащил. Они все боялись Деметрио: он был не только старший, но и сильный, и нрав у него был вспыльчивый, а лицо угрюмое, и весь он был какой-то нескладный. Девушки говорили о нем:

— Вот урод какой Деметрио!

— Да, а как хорошо играет-то.

Деметрио всюду искал свою флейту, а когда уж потерял всякую надежду найти её, то увидел, что она валяется у канавы перед самым домом. Она была вся в трещинах, а на конце разбухла от сырости. Он даже не решился поднести её к губам, чтобы не расстроиться ещё больше от её хриплого стона. Только он собрался было проучить негодных братишек, как заметил, что мать следит за ним глазами. Тогда он швырнул флейту в потолок и убежал из дома. Он слышал, как братишки давятся от хохота... Когда он бросил флейту вверх, воздух засвистел в ней, вот это их и рассмешило.

По обе стороны поля росла развесистая бузина, покрытая пучками крупных тёмных ягод. Чёрные дрозды в блестящем оперении перелетали с ветки на ветку, поклёвывая ягоды. Конечно, их пенье нельзя было сравнить с пеньем горлинок, но теперь, когда горлинки улетели, и это, как-никак, было приятно. Деметрио слушал их с удовольствием, и всё вокруг него как будто светлело. А вот и удача! На одной бузине он увидел сухую ветку, — это избавляло его от лишних хлопот, а то бы ему пришлось срезать зелёную и ждать несколько дней, пока она высохнет. Кроме того, флейта получается много лучше, когда её сделаешь из ветки, высохшей на дереве.

Он срезал ветку ножом, когда-то купленном у Чародея, обстругал её и обрезал как раз по размеру хорошей флейты, тщательно обточил с одного конца, чтобы придать ему нужную форму, потом тонкой палочкой выдавил сердцевину, она была мягкая и отделялась совсем легко. Он позабыл обо всём на свете, пока возился с этой хрупкой веточкой. Потом он оделал пищик, подогнав его к выдолбленному отверстию, и оставил только маленький зазор, чтобы проходил воздух; наконец он приладил этот пищик и прорезал ровный тоненький жолобок. Когда воздух проходил через него — получалась музыка. Он с сомнением поднёс своё изделие к губам и дунул. Звук раздался высокий, чистый, нежный. Хорошая вышла флейта! Деметрию подумал было пойти домой, где у него имелся необходимый железный прут, но ему не хотелось видеть сейчас противных озорников-братишек. И он пошёл к Эваристо. Кузнец положил шило на красные угли ручной кузницы. А когда металл накалился докрасна, он просверлил им отверстия, четыре наверху и одно внизу — для большого пальца. Кроме того, он дал Деметрию кусок наждачной бумаги, чтобы тот мог отшлифовать свою флейту. Затем Деметрию подул в неё, чтобы попробовать, — каждое отверстие давало звук определённой высоты. Приятно было смотреть на эту длинную дудочку, чуть-чуть изогнутую, как полагается настоящей флейте. Деметрию чувствовал себя счастливым. А когда он спросил кузнеца, сколько ему заплатить, тот не захотел взять ничего и сказал просто:

— Я люблю слушать, как ты играешь.

Уже смеркалось, и Эваристо оставил его ужинать. Они поели, а затем флейтист исчез, не сказав даже, будет он играть или нет. За ужином он был очень молчалив, и Эваристо предложил ему выпить, чтобы он немножко развесялился. Деметрию отказался. Тогда кузнец засмеялся и выпил двойную порцию, заметив, что ему волей-неволей приходится пить за двоих.

Деметрию вышел из деревни и отправился бродить по полям. Сначала он шёл вдоль кукурузного поля, прислушиваясь к резкой, торжественной мелодии шелестевших на ветру увядших листьев, потом мимо пшеницы, откуда доносились мелодические вздохи, похожие на звуки рояля. Когда он несколько поднялся по тропинке, ему стала видна густая лесистая тень ущелья, мрак, таивший в себе горькие жалобы погибших птичек. Красные огоньки

посёлка слабо мерцали, догорая, а в небе зажигались яркие звёзды. Немножко попозже вышел молодой месяц, белый, изогнутый, как нудая флейта. Деметрио присел на бугорок и подумал: «А что же мне сыграть?» Теперь, когда у него была флейта, он не знал, что играть. Все те песни, которые он когда-то учил, сейчас как-то не вязались с окружающим. Но само сердце подсказывало ему то, что нужно. Он начал мягко, тихо. Сначала выходило что-то неопределённое, а потом вдруг мелодия запела, — верней, то был голос самой флейты. И в деревне те, что ещё не легли спать, сидели и слушали, а тем, кто уже успел уснуть, наверно, стали сниться сны. И слушавшие окликались друг друга в темноте:

— Ты слышишь? Это, должно быть, Деметрио.

— Похоже, будто кто-то поёт и плачет.

Магь Деметрио, которая ещё не легла, разбудила мужа и сказала:

— Если бы я даже не знала, кто это играет, я бы сразу сказала, что это он и никто другой.

Голос нарастал, он разносился, чистый и высокий, мощный и в то же время печальный, мелодия превращалась в светлый гимн плодоносной земле и в горькое стенанье о погибших птицах. И вдруг словно запела одинокая ночная горлянка. Но нет — в этом пении слышались слёзы, человеческие рыдания слышались в этих долгих, протяжных звуках, которые доносил ветер. А потом снова вернулась первая мелодия, и теперь она звучала спокойно, глубокой безмятежностью обильной и щедрой земли, чистотой и ясностью бессмертной жизни, переходящей из корня в семя.

Временами казалось, словно флейтист то приближается, то уходит, то умолкает совсем, но это был только ветер, он то затихал, то поднимался с новой силой. Мелодия возвращалась, возникала снова и разливалась, как весенний поток. И всё кругом, казалось, застыло, слушая её. И маленький месяц старался взглянуть на музыканта, который играл один на холме, а вторила ему вся необъятная ночь.

Уже совсем поздно Деметрио Сумальякта вернулся домой, чувствуя себя блаженно счастливым. Мать поджидала его, а когда она услышала, что он лёг, слеза скатилась по её щеке. Они не обменялись ни единым словом, и прекрасная тишина, наполненная музыкой, распростёрлась в безмолвной ночи.

Леандро Манта, брат каменщика, поправлялся от малярии, которую он подхватил во время поездки на реку Мангос за кокой. Кто говорил, что его вылечила хина, другие уверяли, что он выздоровел от питья, которым его поила Наша Суро.

У крестьянина Ромуло Кинто и жены его Хасинты родился мальчик. В ожидании праздника, когда придёт падре Местас и окрестит младенца, они окрестили его сами и назвали Симоном.

Дни приходят, дни уходят...

Так шло время для поселян Руми. Так одно за другим в растительном мире, в мире животных и человека сменялись события, из которых складывались жизни этих детей земли. И если бы не угроза из ранчо Умай, нависшая над ними, как летняя буря над созревшим хлебом, то их доверчивая любовь к земле и её дарам наполнила бы миром и радостью их существование.

ГЛАВА I

ЭЛЬ ФЬЕРОВАСКЕС

Однажды под вечер на главной улице Руми появился всадник; он ехал рысцой на красивом чёрном коне. Сбруя коня была отделана серебром, а сам всадник, в чёрном вишневом плаще, тяжело развевавшемся по ветру, казалось, сливался в одно с чёрным глянцево-крупным коня. Чёрная фетровая шляпа, надвинутая до самых бровей, довершала его облик. Всадник проехал всю улицу и, ловко осадив коня, остановился перед домом Доротео Киспе. Привлечённый фырканьем коня и позвякиванием шпор, хозяин вышел на крыльцо.

— А, добро пожаловать, Васкес! Добро пожаловать!

Всадник уже юпешился и, бросив хозяину несколько слов, с довольным видом открепил недоуздок, привязанный к луке седла. Это был широкоплечий, мускулистый человек, в движениях его чувствовались спокойствие и сила. Его сапоги оставляли на земле чёткий след. Он отвязал от седла дорожный мешок, перекинул его через плечо и вошёл в дом.

Новость быстро разнеслась по деревне, её передавали

друг другу с каким-то особенно серьезным и взволнованным видом.

— Фьеро Васкес приехал! Фьеро Васкес приехал!

Хуанача принесла эту весть старшине.

Росендо Маки, сидевший на крылечке с Ансельмо и своим псом Канделой, ответил:

— Пускай его...

Он, разумеется, говорил это уже не первый раз, а Фьеро Васкес приезжал в Руми, когда бы ему ни заблагорассудилось. Но Хуаначе приятно было являться с этой новостью, — в деревне любили такие волнующие события.

— Фьеро Васкес приехал! Фьеро Васкес приехал!

Следует сказать, что Фьеро Васкес был бандит. Этот весьма незаурядный человек прозвище своё, заменившее ему с годами настоящее имя, получил не за свои кровавые подвиги, хоть о них и шла промкая слава, а за своё изрытое оспой лицо. Фьеро — прозвище, которое в горных областях Северного Перу даётся людям, чьи лица испорчены оспой. Кроме оспы, на лице у него были ещё другие, более глубокие рубцы — следы огнестрельной раны. Другой его особенностью было пристрастие к чёрному цвету. Конь, пончо и шляпа — всё было у него чёрное, так же как сапоги и седельный мешок, а одежда если и не всегда была чёрная, то, во всяком случае, тёмная. Он знал толк в вещах, и всё, что ему принадлежало, включая коня, было самого отменного качества. Он получал свои вигоневые плащи с юга, так как на севере они были редкостью. Друзья говорили ему:

— Перестань носить чёрное. Это выдаст тебя когда-нибудь...

Но он отвечал невозмутимо:

— Чему быть, того не миновать. И жизнь у меня чёрная, и страдания чёрные, и судьба чёрная...

Чёрной тенью проносился он по дорогам и жёлтым степным пространствам, Андов. Его бронзовое лицо, с большим ртом, прямым носом и выдающимся вперед подбородком, было бы обычным лицом метиса, если бы не следы оспы и не уродливые шрамы. Обезображенному шрамами лицу его придавала ещё более злоеший вид белая плёнка, закрывавшая один глаз. Но широкая улыбка, обнажавшая крепкие белые зубы, заставляла забыть

вать его безобразие, а решительный вид внушал уважение. Таким образом достоинства и недостатки Фьеро Васкеса находились в известной гармонии, и в целом он отнюдь не был отталкивающей фигурой. Приятный, звучный голос и ореол таинственности, окружавший его имя, также делали своё дело, и бандит возбуждал в мужчинах восхищение, а порой и страх; и любопытство, смешанное с более нежным чувством — в женщинах. На окраинах городов, где ютится беднота, и на фермах, разбросанных по всей сьерре, можно было найти немало девушек, которые отдали ему своё сердце. Он принадлежал к той плеяде романтических разбойников, чья слава достигла зенита во времена Луиса Пардо и начинала меркнуть с развитием движения на дорогах и появлением конной полиции.

Луис Пардо, бандит,
И жизнь ему не дорогá.
С тех пор, как убит его отец,
Он знает, что она не будет долгой.

Песня, в которой оплакиваются злоключения Луиса Пардо и рассказывается о его подвигах, известна от одного края горной страны до другого, она дошла до побережья и проникла даже в чащу джунглей. Луис Пардо был известен тем, что грабил богатых и помогал беднякам. Если говорить правду, Фьеро Васкес хотя и широко тратил деньги всюду, куда бы ни приехал, всё же отнюдь не был таким филантропом, как Пардо. Богатых он грабил везде, где только мог, но когда ему приходилось туго, бедняки тоже страдали от него. Именно таким путём свёл он знакомство с Доротео Киспе.

Как-то раз Доротео отправился на своём ослике в главный город провинции, чтобы купить ракет, хлопушек, огненных колёс, римских свечей, воздушных шаров и всего прочего, что нужно для устройства фейерверка в день св. Исидора; праздник был не за горами, и в седельном мешке у него лежали сто солей, полученные от Росендо для этой цели. Старшина наказал ему смотреть в оба, чтобы все эти предметы не терлись один о другой, особенно огненные колёса, так как они легко могут воспламениться, взорваться и убить осла — однажды такой случай уже был с кем-то. Доротео был очень озабочен этим поручением и счастлив услужить св. Исидору.

Когда он углубился в степь и вокруг него раскинулись

безлюдные поля и пустынные холмы, он увидел в отдалении приближавшуюся к нему зловещую чёрную фигуру... Фьеро Васкес! Кровь застыла у него в жилах, но он подстегнул своего ослика, в надежде спрятаться где-нибудь и остаться незамеченным. Укрывшись со своим ослom в небольшом овражке, он принялся читать молитву судие праведному, которую он когда-то с великим благоговением и немалыми усилиями выучил наизусть, а теперь впервые применял на деле. Но бандит направлялся прямо к нему. Доротео слышал всё ближе топот его коня, и вдруг конь и всадник, закрыв своей чёрной массой полнеба, появились на пригорке, с которого вся лощина была видна, как на ладони. Поперёк седла Фьеро держал ружьё, а из-под распахнутого пончо выглядывали заткнутые за пояс пистолеты с рукоятками, отделанными жемчугом. А у бедного Доротео всё вооружение состояло из ножа да молитвы судие праведному.

— Эй, ты, тупоголовый индеец! А ну-ка, вылезай! — грубо крикнул бандит.

Доротео выбрался из овражка, таща за собой осла, который упирался и тянул верёвку назад. Бедняга-индеец успел дочитать молитву как раз в ту минуту, когда остановился перед бандитом.

— Ну-ка, давай сюда деньги!

— У меня нет денег, тапта, какие у меня деньги? — ответил Доротео, напуская на себя придурковатый вид. — Всего-навсего четыре реала, — с этими словами он вытащил монеты из кармана.

Бандит свирепо посмотрел на него.

— Куда ты едешь?

— Да в город, купить немного соли.

— Вот как! Чтобы купить соли на четыре реала, ты тащишь с собой осла? Давай сюда деньги да благодари счастливую звезду, под которой ты родился, за то, что у меня нет охоты убивать нищего индейца.

Желая показать, что он не шутит, бандит хлестнул Доротео поводьями и стукнул кулаком по мешку, висевшему у того на плече. Монеты зазвенели, и Фьеро Васкес громко расхохотался. Смуглое лицо индейца посерело от страха, и он, дрожа, протянул бандиту мешок. Васкес пересчитал монеты и положил их в карман.

— Сто солей! — сказал он восхищённо, протягивая обратно мешок. — Откуда у тебя столько денег?

Доротео Киспе сказал, что деньги принадлежат общине,

и он должен был купить на них фейерверк для праздника св. Исидора. И он торжественно добавил, что по сути дела деньги эти теперь уже принадлежат даже не общине, а самому св. Исидору. Словом, он дал понять без лишних слов, что подобный грабёж — мерзкое кощунство. Фьеро Васкес тотчас понял его намёки и ответил со смехом:

— Вот как, ты хочешь запугать меня святым Исидором! Ничего, у общины денег куры не клюют, а я ограбил не святого Исидора, а общину. Ступай домой и скажи им, чтобы дали тебе ещё сто солей.

Он тронул коня, потом, как видно передумав, повернулся к Доротео:

— Если тебя отпустить, ты, пожалуй, побежишь в город и донесёшь полиции. Придётся тебя проводить немного. Поехали!..

Доротео ползёл впереди, погоняя своего осла, всадник ехал за ним.

«Куда это он меня тащит? — размышлял Доротео. — Уж не хочет ли он завести меня куда-нибудь да убить?» — И он продолжал бормотать про себя молитву судие праведному.

Фьеро Васкес заговорил с ним:

— Никак не могу понять, почему я не всадил в тебя пулю? Ты это заслужил, потому что ты хитрый, наглый обманщик и хотел провести меня. Подумать только — меня! Вот я и думаю: чего ради мне мучиться и таскать тебя за собой, когда я мог бы сразу тебя прикончить?

Доротео с жаром продолжал молиться судие праведному.

— Что это ты сам бормочешь себе под нос? Дождёшься ты у меня, наглый индеец!

Фьеро пришпорил коня и наехал на Доротео. Тот заверил бандита, что вовсе не думал браниться или оскорблять его и вообще не говорил ничего неподобающего, а всего-навсего читал про себя молитву судие праведному и, конечно, только благодаря этой святой молитве дон Васкес не убил его.

— Вот оно что! — воскликнул Васкес. Он сошёл с коня и приказал Доротео повторить всю молитву вслух. Прислушав её, бандит сказал:

— Похоже, что ты действительно знаешь эту молитву. Никак не думал, что от молитвы может быть какой-нибудь толк, а только, как видно, она и в самом деле помогла тебе. По правде говоря, я в толк не возьму, почему я не всадил в тебя пулю за твою наглость. Да, верно это хо-

рошая молитва, и я хочу её выучить. Кто знает, может, когда-нибудь и пригодится.

Он внезапно сделался очень любезен с Доротео и даже угостил его водкой из фляжки, которую достал из мешка. Если бы Доротео курил, его попотчевали бы ещё и сигаретой. В конце концов Васкес вернул ему все деньги, оставив себе только двадцать солей. Мало-помалу они совсем подружились, и было решено, что Фьеро придет в Руми, чтобы выучить молитву судие праведному. Когда они прощались, Васкес вынул из кармана ещё десять солей и, со словами: «Это мои собственные деньги», отдал их Доротео, чтобы тот купил свечей и поставил их св. Исидору от его имени. Он не может вернуть остальные десять солей, потому что деньги ему дозарезу нужны. Но так как они теперь подружились, он даст новому другу этот вот платок с узелком на конце. Если на пути в город кто-нибудь набросится на него из-за скал, что тянутся вдоль дороги, то ему достаточно показать платок с узелком, и он может спокойно идти своим путём — никто его не тронет. А уж если и этого будет мало, он может совсем утратить своего врага, стоит ему только сказать: «Фьеро-спаситель». Но всё это он должен держать в тайне.

Прощаясь с Доротео, бандит широко улыбнулся, блеснув белыми зубами, и тронул коня. Доротео затрусил дальше, а Фьеро вместе с конём укрылся за высокими придорожными валунами, в ожидании нового путешественника. Когда Доротео взобрался на перевал и оглянулся, он ещё мог различить неясный силуэт всадника, притаившегося в засаде...

Праздник св. Исидора прошёл, и Доротео Киспе начал уже забывать об этом происшествии, но вот однажды, в сумерки, бандит появился в Руми и осведомился о своём друге. Жители деревни хотели было обмануть бандита и сказали, что Киспе в поле, убирает урожай, но в эту минуту сам Киспе вышел на крыльцо и, увидав Васкеса, направился прямо к нему. Они сердечно приветствовали друг друга, а поселяне разинули рты, — их немало удивила странная дружба между Доротео Киспе, которого все знали за простого и хорошего человека, умевшего только сеять хлеб да читать молитвы, и мрачным бандитом, чья жизнь была полна опасностей, а слава черна, как его одежда. Затем бандит вместе с Киспе направился к его дому, и оба скрылись за дверью.

За этим посещением последовали другие; Фьеро Васкес

хотел вызубрить наизусть молитву судие праведному так, чтобы без единой ошибки читать её всю от начала до конца. Очень важно было совсем не делать ошибок — даже из-за одной ошибки молитва наполовину теряла свою силу. Но если читать её хорошо, с должной старательностью и упованием, эта молитва обладала такой силой, что бог непременно должен был её услышать, хотелось ему того или нет. Выучив молитву, Фьеро Васкес пожелал уплатить за обучение, но Доротео ответил, что не знает, сколько стоят молитвы; если Фьеро хочет его отблагодарить, пусть сделает подарок его жене. Васкес привёз подарки — куски пёстрого ситца, серьги, кольца, сласти — не только его жене и детям, но и свояченице, которую звали Касьяна. В конце концов всякий раз, как Васкес приезжал в Руми, он останавливался в доме у Доротео. Свояченица Доротео, индейка, тихая женщина лет тридцати, такая молчаливая, что её жизнь, казалось, была заключена в молчание, как в раму, стряпала ему пищу и готовила постель. Она стелила ему у входа, потому что бандиты с гор никогда не станут спать в комнате, где только одна дверь, а в доме Доротео было всего две комнаты с одним общим выходом наружу. В полночь, когда звёзды горят особенно ярко и будят своим светом одиноких, Касьяна приходила разделить с ним постель. Мужчину, преследуемый законом, и женщина, жившая в молчании, искали и нашли друг друга в животворном союзе плоти.

Фьеро Васкес и Доротео научились понимать друг друга и понежному очень сблизились. Они шутили, смеялись и отводили душу в беседах. Однажды Доротео спросил бандита, не говорил ли ему кто-нибудь из его людей, что повстречал человека, который показал ему платок с узелком и назвал пароль.

— Нет, никто не говорил.

Доротео рассказал бандиту, что однажды на плато ему встретился человек, похожий на настоящего дикаря: весь обросший волосами, босой, он был одет в штаны и пончо, накиннутый прямо на голое тело, голову покрывала дырявая шляпа; лицо его, обветренное, обожжённое солнцем, выражало тупую жестокость. Это было животное, лишь отдалённо напоминавшее человека. Ни слова не говоря, дикарь направил на него старое заржавленное ружьё. Доротео показал ему платок, но у дикаря не шевельнулся ни один мускул. Грозно уставив дуло ружья прямо в

грудь Доротео, он продолжал требовать у него денег, а не то грозился его убить. Тогда Доротео, дрожа от страха, произнёс: «Судия праведный, спаситель наш!» В маленьких глазках дикаря промелькнула как бы тень колебания, но затем внезапно они наполнились яростью. Поняв свою ошибку, Доротео закричал, что было мочи: «Фьеро, спаситель наш!» И это и вправду спасло ему жизнь. Не сказав ни слова, человек исчез.

— О да, это настоящее животное! — ответил Фьеро. — Он трёх слов не скажет за день и вообще никогда ни о чём не рассказывает. Он не носит башмаков, потому что может ходить босиком, не чувствуя ни камней, ни колючек. Не нужна ему и рубашка — холода он тоже не боится. Поверишь ли, он спит прямо на голом полу. А если иной раз и ляжет в постель, так ему кажется, что одеяло душит его, и он не может уснуть. Это настоящий дикарь. Главное, что и втолковать-то ему ничего нельзя. Он признаёт только то, что может увидеть своими глазами или пощупать рукой. Его и пальцем не тронь — сразу набросится, как дикий зверь. Он уже убил двух своих товарищей. Его зовут Валенсио, а полного имени я никогда не мог узнать. Думаю, он и сам его не знает.

Друзья посмеялись над испугом Доротео и над его ошибкой с паролем, которая едва не стоила ему жизни. Потом они долго сидели в задумчивости, размышляя над несчастной судьбой дикаря Валенсио.

— Конечно, он понимает кое-что, — сказал Фьеро, — если ему говоришь о самых простых, привычных предметах, и обижается, когда его сравнивают с животным. Кто назовёт его ослом или скотиной — тому конец. Когда он понимает, чего от него хотят, он выполняет приказание, чего бы это ни стоило; и он очень предан...

Этой ночью Касьяна, лёжа в крепких и нежных объятиях бандита, вдруг заговорила, и это было неожиданно и так непохоже на неё:

— Валенсио — мой брат.

В простых, безыскусственных словах, запынаясь от непривычки говорить, она рассказала ему свою историю, умолкая порой — то ли от переполнявших её чувств, то ли от неумения произносить необычные слова.

Родители Касьяны и родители её родителей были пастухами на большом — ещё больше, чем Умай, — ранчо, рас-

положенном по ту сторону города, в двух-трёх днях ходьбы от него. Пастбище находилось на пустынном плато, высоко в горах, и Касьяна, так же как её сестра и брат, родилась там, в степях, — где-нибудь в каменной хижине или просто под открытым небом, и выросла на пастбище, помогая пасти овец. Раз в год на плато поднимался надсмотрщик с ранчо в сопровождении двух индейцев; они пересчитывали стадо и приносили с собой соль для овец и для пастухов. Отец Касьяны сажал картофель на небольшом клочке земли, и вся их пища состояла из картофеля с солью. Они хранили картофель в ямах, вырытых на склоне холма. Если при проверке нехватало овец, — потому ли, что их потаскали лисицы, или от каких-либо других причин, — надсмотрщик неизменно помечал у себя в книжке: «Пропали». Даже если их убивало молнией, всё равно он писал: «Пропали». Таким образом, отец Касьяны всегда был в долгу. Год за годом работал он, как работали его предки, и никогда не мог отработать свой долг. Что же касается прироста стада, то от этого, само собой разумеется, был барыш только хозяину ранчо.

Им не всегда приходилось жить в своей каменной хижине. Случалось, что надсмотрщик говорил:

— Перегоните овец на другое пастбище на том конце плато; нельзя вечно пасти скот на одном и том же месте.

Тогда они должны были уходить высоко в горы и жить в пещерах среди диких скал или в самодельных конусообразных хижинах из соломы, которые похожи на грибы, выросшие посреди высокогорного плато. Там они приучились переносить холод. Они были так бедны, что ходили в лохмотьях, хотя мать сама пряла и ткала, — ведь их было пять человек в семье, а надсмотрщик, когда наступало время стрижки овец, давал ей только жалкие клочки шерсти. Они мало говорили друг с другом, потому что знали только свой тяжкий труд да свою суровую жизнь, а людей, кроме надсмотрщика и пастухов, почти не видели. Лишь изредка в отдалении проходило другое стадо овец, или одинокий, гонимый холодом всадник галопом пронёсся по плато, спеша миновать эти неприятные места. Что ж мудрёного, если они были молчаливы.

Однажды по плато проезжали какие-то люди во главе со священником. Отец окликнул его: — Таита патер, таита патер! — и попросил окрестить детей. Священник вместе со своей свитой подъехал ближе, но когда они слезли с лошадей, детей нигде не могли найти. Пугливые, как на-

стоящие дикари, они убежали и спрятались среди груды валунов в расщелине, похожей на лисью нору. Их долго звали, но они не хотели выходить из своего убежища и ничего не отвечали. Тогда священник в сопровождении своей свиты и пристыженных родителей приблизился к скале, помолится и, пробормотав несколько слов по-латыни, окропил скалу святой водой и посыпал в расщелину соли.

Чтобы пастухи не резали овец, надсмотрщик за каждую пропавшую овцу отпускал отцу десять ударов плетью. Если нехватало много овец, он не утруждал себя подсчётом, а усердно работал плетью, пока не устанет рука. Но бывали годы, когда картофель родился плохо или гнил, а иногда прорастал в ямах. Тогда они голодали, и отец брал нож и резал овцу, говоря: «Бедные вы, мои ребятки, ничего, как-нибудь выдержу порку». Они знали, когда наступит пора появиться надсмотрщику, потому что отец каждое новолуние клал в определённом месте камень, и этими камнями измерялось время. Когда камней набиралось штук двенадцать — четырнадцать, появлялся надсмотрщик. Если овец нехватало, надсмотрщик, закончив подсчёт, начинал кричать на отца, нарочно стараясь сильнее распалить себя.

— Ну что, опять молния, или мороз, или лисицы? Ты вор! Ты их съел, а теперь придумываешь всякие небылицы. Ступай сюда и получай свою порцию.

Он отвязывал от седла длинную плеть и заставлял пастуха стать на колени. Здесь, высоко в горах, плеть взвивалась вверх над линией горизонта, словно стремясь рассечь самое небо и обвиться вокруг облаков, и падала на обнажённую спину отца. После каждого удара отец глухо стонал. Время от времени он терял сознание. Его спина превращалась в иссиня-чёрную массу, вдоль которой до самых бёдер тянулись багровые полосы. Когда надсмотрщик уходил, мать лечила отца припарками из трав.

Так бывало всегда, из года в год. Из поколения в поколение, от отца к сыну, пастухи получали в наследство труд, нищету, плеть и неоплатный долг. Убежать? Кое-кто делал попытки, но хозяин ранчо снаряжал погоню, и рано или поздно беглецы попадались ему в руки. К чему рассказывать об их страданиях и постигавшей их каре? Пастухи ожесточались в своём одиночестве, замыкались в молчание, и слёзы никогда не проливались из их глаз.

Настал день, когда отец умер, и они похоронили его в

степи. Вскоре умерла и мать. Как повелось, долг их перешёл на детей. Когда появился надсмотрщик, он не стал считать овец, а увёл с собой юестру Паулу, теперешнюю жену Доротео. Дочь хозяина ранчо собиралась поселиться в городе, и ей нужна была служанка. Валенсио и Касьяна, тогда ещё почти дети, почувствовали себя совсем одинокими, затерянными среди необозримого пространства степи. Но что было делать? Кого просить о помощи? И они продолжали пасти овец. Они боролись с враждебностью неприютных скал, слушали заунывный свист ветра в высокой траве, прятались от яростных ураганов.

Настал день, и явился надсмотрщик с тремя индейцами считать овец. Овец пропало много. Валенсио понял, что теперь настал его черёд, и опустился на колени, чтобы получить порку. Но тут с ним что-то призошло. Быть может, страдания, долгие годы таившиеся под спудом, в конце концов прорвались наружу. С диким воплем вскочил он на ноги, размахивая ножом, которым пастухи снимают шкуры с овец, убитых молнией. Надсмотрщик, никак не ожидавший подобного бунта, был безоружен; он бросился к лошади, вскочил в седло и поскакал прочь. Индейцы в изумлении глядели на Валенсио. Пастух с визгом бросился на них, высоко подняв над головой сверкающий нож.

— Дьяволы! Скоты! Гады!

Индейцы тоже обратились в бегство, но так как лошадей у них не было, они, скользя и падая, помчались вниз с горы, как валуны, катящиеся с кручи. Валенсио из своей пращи посылал им вдогонку камни. Затем он зарезал двух овец, — одну они с Касьяной съели, а другую он положил себе в мешок. Потом связал в узел штаны и одеяло и сказал:

— Я ухожу. А то они теперь целой толпой нагрянут меня сечь.

Касьяна просила взять её с собой, но он отказался. Он и сам не знает, куда пойдёт, и что с ним будет. И вот Валенсио ушёл один, куда глаза глядят. Он шёл по холмам, по узким горным тропам, взбирался на скалы...

На следующий день рано утром появился надсмотрщик и с ним ещё один работник — оба с ружьями. Они думали захватить Валенсио сонного. Теперь им оставалось только ругаться и клясть его на чём свет стоит. Через несколько дней надсмотрщик приехал снова; он привёз с собой двух пастухов-индейцев — мужчину и женщину — и передал им стадо. Они жили где-то на другом конце ранчо, и за ними

был давнишний долг. Касьяна должна была отработывать свой долг, помогая им пасти овец.

— Не вздумай последовать примеру своего брата, — сказал ей надсмотрщик. — Мы ищем его и скоро найдём. И тогда заживо сдерём с него шкуру.

Но однажды на плато снова появился человек — и это не был надсмотрщик. Он с трудом взбирался по кругому склону, а за ним, легко ступая, шла женщина, как видно привыкшая к горным тропам. Сердце Касьяны забилося от радости, когда они окликнули её.

— Касьяна! — воскликнула женщина.

— Касьяна! — закричал мужчина.

Она побежала к ним навстречу. Это была Паула со своим мужем. Доротео Киспе познакомился с сестрой Касьяны в городе и решил взять её с собой в общину. И они пришли за Касьяной и Валенсио. Они погоревали, узнав о его судьбе, а потом все трое покинули плато. Они смеялись от души, думая о том, как взбесится надсмотрщик. Он искал их повсюду, но так и не нашёл.

— С этого дня для сестёр началась новая жизнь. Паула — та даже детей народила. И теперь у них всегда были пища и одежда, никто не бил их плетью, не заставлял работать против воли. Касьяна не сказала, что теперь она счастлива, — должно быть, она просто не знала этого слова. Она закончила свой рассказ так:

— И вот я тоже нашла себе мужа.

Бандит ничего не ответил, боясь, как бы голос не изменил ему. Его сердце ещё не настолько огрубело, чтобы не отозваться на страдания бедняков, ведь когда-то он и сам испытал всё это. Он знал, какое место занимает в жизни Касьяны, и ласково притянул её к себе. Он любил, когда её упругие груди с жадными сосками приникали к нему. Тонкий серп молодого месяца скользил по небу. Фьеро шопотом рассказывал Касьяне, как Валенсио примкнул к его банде.

Фьеро Васкес послал двух своих людей с ружьями устроить засаду на одного купца, который должен был ехать через горы. Но его люди сами сделались жертвами очень странного нападения. Какой-то парень, вооружённый ножом и похожий с виду на дикаря, выскочил на них из засады и потребовал пищи. Оба бандита держали на виду ружья и сразу смекнули, что бродяга сам не понимает, что делает. Переглянувшись с товарищем, один из них сказал:

— Ты голоден? Ну что ж, у меня в мешке найдётся кусок хлеба.

Он сделал вид, что хочет развязать мешок, а бродяга подошёл ближе и потянулся за хлебом. В эту минуту другой бандит ударил бродягу прикладом по голове, и он замертво свалился на землю. Когда он пришёл в себя, руки у него были связаны за спиной. Бандиты заставили его рассказать о себе всё и хохотали до упаду над его наивными бандитскими подвигами. Однажды он остановил каких-то индейцев, они швырнули ему мешки с жареной кукурузой и сухой пшеничной кашей и бросились врассыпную, словно увидели самого чорта. Валенсио в конце концов признался, что не решался приближаться к ранчо или к городу, боясь, что его посадят в тюрьму, будут бить, а может, и повесят. Бандиты решили развязать его и накормить. Когда он досыта наелся хлеба и мяса, на лице его появилось довольное выражение. Как только бандиты предложили ему присоединиться к ним, он тотчас согласился. Не дождавшись купца, они вернулись назад со своей невиданной добычей.

Крик петуха возвестил рассвет; рассказчику пришло время покинуть ночлег, и повесть о приключениях Валенсио в бандитской шайке осталась незаконченной.

Приехав снова в гости к своему другу, Фьеро поздоровался с хозяином и сел на каменную скамью перед домом.

— Я скакал пять часов без передышки.

Его лошадь дышала часто и тяжело.

Паула, Касьяна и ребяташки — девочка и два мальчика — с громкими приветствиями высypали на крыльцо. Ребята взобрались к Фьеро на колени и вытащили у него из мешка тряпичную куклу и большой пакет с леденцами. Затем бандит протянул мешок хозяйке дома:

— Здесь у меня несколько отрезков ситца, платки и ещё кой-какая мелочь. Распорядитесь, донья Паула, как найдёте нужным. Я ничего не понимаю в этих делах.

Женщины и ребята ушли в дом, а Доротео сел на скамейку рядом со своим другом. Он заметил, что у Фьеро усталый вид. Бандит перекинул уздечку через балясину крыльца — должно быть, собирался заночевать у них, иначе не трогал бы уздечки: его конь был приучен часами стоять на месте, поджидая хозяина, и его не нужно было ни привязывать, ни ставить в стойло. Он был цвета воро-

нова крыла и звали его Тордо. Это было благородное животное, с большими блестящими глазами, гордой посадкой головы и сильными, прекрасно вылепленными мускулами. Доротео любил его не меньше, чем сам хозяин, и летом, когда травы было мало, таскал ему траву целыми охапками, срывая её вдоль оград, где она растёт дольше. Видя, что Фьеро Васкес не расположен к беседе, Доротео встал и ослабил у Тордо поддругу, чтобы дать коню отдохнуть. Усевшись опять на скамейку, он спросил, просто чтобы сказать что-нибудь:

— Ты ещё не забыл молитву судие праведному?

— Помню всю от слова до слова, — ответил бандит.

И не дожидаясь, пока Киспе попросит его, начал торжественно читать молитву — не слишком быстро и не слишком медленно, повышая голос, когда хотел подчеркнуть свою просьбу, но ни на минуту не спадая с набожного и благоговейного тона.

Оба сняли шляпы. У Васкеса волосы были причёсаны на пробор; у Киспе голова была похожа на колючее жинвьё. Доротео смотрел на Фьеро, щуря свои маленькие глазки, чтобы видеть, как можно лучше, так что в конце концов остались лишь узкие, хитро поблёскивавшие щёлки. Губы он выпятил так, что они едва не коснулись кончика крючковатого носа, который, казалось, всегда что-то вынюхивал. Да, в наружности Доротео Киспе отнюдь не было ничего мистического. Он скорее походил на лисицу, подстерегающую добычу, или на бурого медведя, — потому что у него была тёмная кожа и грузное, неповоротливое тело. Фьеро читал молитву:

«Судия праведный, царь царей и владыка владык, ты, что един в трёх лицах — бог-отец, бог-сын и бог-дух святой, — сотвори волю свою, помоги мне, защити и избави меня — на суше и на море — от всех, ищущих погибели моей, как избавил ты святого апостола Петра и благочестивого пророка Иону спас из чрева китова. О всемогущий боже, помоги мне — ибо я твой раб — во всех делах и начинаниях моих, и в различных играх, сиречь: в петушних боях и в картах; да будет надо мной благословение святого праведного судии, с ним же и пресвятая троица. Да помогут мне все небесные силы, и все преблагие мощи, и сия святая молитва, и да защитят они меня от всякого зла, дабы я мог находить сокрытые клады так, чтобы ни злые духи, ни привидения не потревожили меня, а на бранном поле или в схватке с врагами ни пуля, ни нож злодея

не поразили меня. Пусть оружие моих врагов дрогнет в их руках и будет против меня бессильно, а моё пусть не знает промаха и поражения; пусть враги мои падут к моим ногам, как пали иудеи к ногам Иисуса; пусть двери тюрем, кандалы и цепи, замки и ключи, и железные решётки рассыплутся в прах. И ты, о судия праведный, рождённый в Иерусалиме и меж двух разбойников распятый, защити меня от врагов, преследующих меня, дабы глаза их не увидали меня, и руки их не схватили меня, и язык их со мной не заговорил, и ноги их не догнали меня. Да буду я оружием Георгия-победоносца опоясан, и в пещере льва ключом святого апостола Петра замкнут, и в Ноевом ковчеге укрыт; молоко пречистой девы Марии да окропит меня, и твоей пресвятой кровью крещён буду. И во имя святой молитвы, тобой к престолу бога-отца вознесённой, и трёх святых просфор, освященных тобою, молю тебя, о господи, приди ко мне и войди в жилище моё, и пребудь в доме моём в покое и веселии. Судия праведный да хранит меня, благодатная дева-мать да покроет меня своим покровом и пресвятая троица да будет мне щитом в моем правом деле. Аминь».

Они опять надели шляпы, и горделивая улыбка раздвинула выпяченные губы Киспе, — он был доволен своим учеником.

— Странно, что у меня ещё не было случая испробовать её на деле, — задумчиво произнёс Васкес.

В эту минуту появился старый Росендо Маки; он шёл медленно, опираясь на свой тяжёлый посох. Он, казалось, был удивлён, увидав здесь Васкеса, и похвалил Доротео за его гостеприимство. Росендо знал о появлении бандита и шёл сюда, чтобы встретиться с ним. Что же касается гостеприимства, то он уже говорил с Киспе об этом, и не очень одобрительно. На людей, облечённых властью, положение накладывает обычно свой отпечаток, но Росендо Маки всегда держался дружелюбно и просто, как свойственно людям его расы; он хорошо помнил испанскую поговорку, которая говорит, что на мёд ловится больше мух, чем на уксус, хотя другие члены общины иной раз забывали это мудрое правило. Старшина опустился на деревянный табурет и с задумчивым видом следил за пробегающими по небу облаками. В лице его была какая-то смутная печаль, и тёмнокоричневый пончо, сменивший его обычный плащ в красную и синюю полосы, ещё усиливал это впечатление.

— Что это вы читали? Молитву? — спросил он как бы вскользь. — Я как будто слышал слова молитвы?

Бандит не таясь рассказал, как было дело, и тогда Росендо Маки исподволь повёл речь о том, что привело его к кому Доротео. Осторожно нащупывая почву, начав с хвалебного гимна во славу мирной трудовой жизни, он сделал попытку убедить Фьеро Васкеса, что ему не следует все надежды возлагать на молитву, а лучше самому исправить свою жизнь. Стараясь не говорить резко, чтобы не обидеть бандита, он, с присущей ему чуткостью, дал понять, что человек должен вести честную жизнь; он знал, как далеко можно зайти, не оскорбляя чувств собеседника.

Васкес выслушал его с почтительным вниманием, а по лицу Киспе пробежала лукавая улыбка.

Затем на минуту воцарилось смущённое молчание, — старшина, казалось, ждал ответа, и Васкес, помолчав ещё немного, заговорил ровным, спокойным, уверенным голосом, таким же ясным, как его улыбка. Этот голос разгонял угрюмый сумрак пещеры, гремел и зажигал сердца отвагой в минуты кровавых стычек, нежно ворковал в часы любви и покорял всех своей силой. В нём звучали твёрдость, уверенность в себе, и Фьеро всегда — рассказывая, негодуя, умоляя — приковывал внимание слушателей.

— Дон Росендо, скажу вам правду: ваши слова — хорошие слова. Но что остановит лошадь, если она понесла? Только обрыв, и тогда она летит вниз с кручи. Я знаю — можно остановить её и силой; но где сила, там должно быть и прощение. А кто прощает? У кого есть хоть капля сострадания к бедняку? Вы ответите: у общины. Но община не в счёт... А закон не прощает, люди же и того меньше. Хотите выслушать меня — попробую вам объяснить... Я скажу правду, истинную правду, потому что доброе слово требует прямого ответа... Я расскажу вам, как я был прощён и много лет жил честным трудом, никого не страшась, — а чего ещё может пожелать себе человек? — и как всё это пришло к концу...

Фьеро говорил долго, час или два, он рассказал свою историю обстоятельно и подробно. Вот она вкратце.

Это произошло в те годы, когда Фьеро вёл дурную жизнь и заслужил себе славу поножовщика и головореза. Он с головой ушёл в эту жизнь, потому что человек привыкает к злу так же, как и к добру. Само собой разумеется, полиция охотилась за ним, и у него было много врагов. Эти были всего опасней. В глаза задевать его они

боялись, но только и ждали случая всадить ему нож в спину.

Как-то раз он был на вечеринке в местечке, называвшемся Пампо, и в полночь, несмотря на все уговоры хозяина, тронулся в путь. Да, так вот оно всегда бывает, и, видно, чему быть, того не миновать. Его лошадь артачилась, беспокойно прыдала ушами, и он подумал: «Она что-то чувствует», — ведь лошадь иной раз понимает больше человека. На всякий случай он вынул револьвер. Дорога сужалась, пролегая между двумя рядами диких груш и агав, как вдруг — бах! — выстрел, и он, обливаясь кровью, без чувств падает с лошади.

Он так и не узнал, сколько времени пролежал там, уткнувшись лицом в землю, — полуживой, полумёртвый, ибо дух его был мёртв, но тело жило, оно не хотело умирать. Когда он очнулся и пощупал своё израненное лицо, он понял, что кто-то из его врагов устроил ему засаду и выстрелил в него железными стружками. Он очень ослабел и подумал было, что умирает. Но если человек хочет выжить, он выживет. Фьеро поднялся на ноги, увидел, что лежал в луже крови и весь перепачкался, и заковылял по дороге. Лицо его жгло, оно страшно раздулось и от каждого шага болело всё сильнее; его словно налило свинцом, и оно тянуло его к земле, но он не сдавался. Пройдя несколько шагов, он нашёл свою лошадь; враг не украл её — это могло его выдать. Увидав Фьеро, лошадь направилась к нему, испуганно фыркая и подозрительно прыдая ушами. Бедное животное, должно быть, никак не могло признать своего хозяина в этом жалком, согнутом в три погибели создании. Когда они сошлись, Фьеро обвил руками шею лошади и почувствовал, что нашёл друга. Но, увы, лошадь не могла его вылечить, а ему нужно было перевязать рану. Кто же позаботится о нём в его одинокой жизни? Он подумал было вернуться в тот дом, где был накануне в гостях, но решил, что враг может оказаться где-нибудь поблизости и не упустит случая прикончить его, увидав его плачевное состояние. Он подвёл лошадь к скале и, придерживаясь за камни, кое-как взгромоздился на седло, а чтобы не упасть, обеими руками уцепился за луку.

Тизон потихоньку затрусил вперёд. Это была славная лошадка, чёрная, без отметины, — он и тогда уже держал только вороных лошадей, — преданная и доброго нрава. Ей, конечно, далеко было до Тордо, но она старалась, как могла, а в конце концов добрая воля важнее всего. Он

ехал, ехал, и ему казалось, что утро никогда не настанет. И он спрашивал себя: «Кто же залечит мои раны? Вот я попал в беду и теперь вижу, как плохо, когда человек совсем одинок». Были у него две любовницы, но они жили в двух-трёх днях пути, и он, конечно, не мог бы туда добраться. Лицо у него пылало и всё сильнее наливалось свинцом. Снова мысль о смерти пришла ему на ум. Быть может, тот, кто стрелял в него, — ну и собака же, подлая собака! — смазал куски железа какой-нибудь дрянью, в надежде, что Фьеро если и не будет убит, то умрёт от заражения. Есть подлецы, которые так делают. Фьеро ехал, раздумывая над своей бедой, и никак не мог решить, что ему делать.

Лошадь дошла до разветвления дорог и остановилась. Одна дорога уходила в горы, другая, проложенная по равнине, вела к городу Кахабамба. Горная дорога была привычна для Тизона, но сейчас лошадь остановилась. То ли она раздумывала — ведь иной раз животные бывают умней людей, — то ли правда, что от судьбы не уйдёшь, но, так или иначе, Фьеро рассудил, что в горах ему не миновать гибели, а в городе... И он вспомнил одну молодую сеньору... когда-то, много лет назад, он носил ей на дом дрова. Это была худенькая белая женщина, славившаяся своей добротой. Он даже припомнил её имя — Елена Лунч. Говорили, что она теперь замужем. Много лет прошло с тех пор, как он видел её в последний раз, и, быть может, сердце её теперь уже не то, что прежде. Тогда она была добра к беднякам. Ну, что ж, надо попытаться. Риск был немалый...

Он ехал, ехал... Наступило утро, и в верхушках вишен запели птицы. Впереди раскинулся город, свежесмытый утренней росой. Фьеро въехал в город, — ведь если жизнь поставлена на карту, стоит рискнуть. Улицы были ещё пусты. Фьеро отыскал дом, большой, с резной дверью, кое-как сполз с лошади и свалился на пороге; потом, собравшись с силами, стукнул что было мочи в дверь и услышал, как его стук разнёсся по вестибюлю и эхом отозвался среди старых стен.

Служанка открыла тяжёлую дверь и, увидав его, взвизгнула и убежала. Да и кто бы не испугался при виде человека, истекавшего кровью на пороге дома. Затем появилась сама сеньора Елена, и он сказал ей:

— Сжальтесь над бедняком, добрая хозяйюшка!

Госпожа позвала слуг, и они перенесли его в комнату

на заднем дворе. Один из слуг — конюх, славный парень, — быстро подружился с Фьеро; он отвёл Тизона на конюшню, и Фьеро поразился, при мысли о том, как его косматая, грязная лошадка, привыкшая питаться чем попало, будет довольна, жуя люцерну из одной кормушки с красивыми, выхолощенными лошадьми. На долю самого жалкого создания порой выпадают в жизни светлые минуты.

Сеньора Елена сама занялась Фьеро. Она промыла ему лицо какой-то жидкостью — сначала одного цвета, потом другого, — щипчиками удалила из раны застрявшие там куски железа, смазала и перевязала рану. Хлопоча над ним, она приговаривала:

— Ах, дети, дети, зачем вы причиняете друг другу столько зла? Что сделал ты этим людям? За что они тебя так искалечили?

— Да ведь мы часто сами не знаем, что творим, хозяйюшка.

Фьеро видел, что его рана напугала её, и она его жалеет. Закончив перевязку, она приказала слугам позаботиться о нём, и они уложили его в чистую постель и принесли ему столько еды, что хватило бы на двоих. Боль утихла, Фьеро уже почти не чувствовал её. Когда он понемногу пришёл в себя, увидел, как о нём заботятся, и понял, что опасность попасть в тюрьму или на виселицу не угрожает ему больше, он подумал, что мир не так уж плох.

На следующий день сеньора Елена снова навестила его. То ли какое-то подозрение закралось ей в душу, то ли она лишь теперь заметила следы оспы на его лице, но, перевязывая его рану, она спросила:

— А кто же ты такой?

Он подумал, что, пытаясь её обмануть, только усилит её подозрения, и потому сказал:

— Васкес.

Сеньора Елена переспросила:

— Фьеро Васкес?

И когда он ответил: — Да, хозяйюшка, — она едва не лишилась чувств от страха.

Всё же она закончила перевязку, а потом стала расспрашивать его, как приключилась с ним эта беда, и что довело его до такой горькой жизни. И он рассказал ей всё как есть, одно за другим, умолчав лишь о наиболее сомнительных сторонах своего существования, ибо: «скрыть — не значит солгать, — так выразился он, — по-

чему не помолчать о том, чего не спрашивают?» Она слушала его молча, и Фьеро испугался, не задумала ли она его выдать, но когда он кончил, она сказала:

— Скоро приедет Теодоро, и я попробую замолвить за тебя словечко.

Они ждали его со дня на день, а дон Теодоро Алегрия всё не ехал. В здешних краях он слыл за человека гордого, искусного наездника и был любим всеми. В день его именин, — правильнее, впрочем, сказать — в дни его именин, так как это празднество, на которое он приглашал два городских оркестра, длилось целых две недели, — к нему стекались друзья и знакомые со всей округи и привозили кучу подарков; он славился своим хлебосольством да и другими хорошими качествами.

Раненый стал уже понемногу поправляться; дети сеньоры Елены приходили навещать его, и он развлекал их всевозможными рассказами о животных и птицах — о пумах, лисицах, кондорах.

Но вот однажды, это было в субботу вечером, дон Теодоро вернулся домой. Копыта его коня громко зацокали по двору, жена и дети радостно выбежали навстречу.

— Хозяин приехал! — закричали слуги.

Впервые в жизни Фьеро был обеспокоен тем, что подумает о нём посторонний человек. Подозвав проходивших мимо слуг, он просил их узнать, что сказал о нём хозяин.

После обеда конюх Эмилио заглянул к нему поделиться новостями. Сеньора Елена начала рассказывать мужу о Фьеро, но дети перебили её и закричали:

— Он однажды встретил пуму величиной с осла! — и дон Теодоро рассмеялся от души.

Потом сеньора сказала:

— Мне кажется, он не такой уж преступник, скорее несчастный человек.

А хозяин, умевший разбираться в людях, ответил:

— Ладно, поглядим на него. — Он велел детям рассказать ему ещё что-нибудь о пуме, и смеялся, слушая их болтовню.

На следующее утро дон Теодоро, в сопровождении сеньоры Елены, вошёл в комнату к раненому.

— Ну-ка, дайте мне взглянуть на этого страшного бандита, — сказал он полушутя, полусерьёзно.

Дон Теодоро был высокий, плотный мужчина; он держался спокойно, уверенно; наиболее примечательным в его наружности были густые усы и большие чёрные глаза; ко-

жа у него была светлая и тип лица испанский. Он был в костюме для верховой езды, своей излюбленной одежде.

— Я к вашим услугам, хозяин, — сказал Фьеро, умевший вывернуть нужное слово в пужную минуту, — жив и невредим благодаря заботам доброй сеньоры.

Дон Теодоро сказал жене:

— Ступай, Елена, я хочу побеседовать с ним, как мужчина с мужчиной.

Сеньора вышла, и они поглядели друг другу в глаза, причём Фьеро глядел только одним глазом, другой был скрыт повязкой. Потом дон Теодоро привычным ему строгим, но дружелюбным тоном спросил Фьеро, как попал он в эту передрагу, и прибавил, что желает знать только чистую правду и не станет слушать никаких небылиц, — пусть Фьеро запомнит это хорошенько с самого начала, иначе у них не выйдет ничего путного. Фьеро обещал говорить правду и рассказать всё, как есть. Затем он спросил:

— Есть у вас мать, хозяин?

Дон Теодоро ответил, что есть, и Фьеро начал свой рассказ.

Когда у него умер отец, мать осталась на попечении Фьеро. Они жили в маленьком домике на краю лампасов. Кроме домика, у них было два клочка земли: на одном они сеяли пшеницу, на другом — кукурузу. Домик и сейчас ещё стоит там, полуразрушенный, с дырами вместо окон, а поля заросли сорняком. Да и как может быть иначе, если некому за всем этим присматривать? Земля родила плоховато, и, чтобы немного подработать, Фьеро рубил в горах деревья и продавал их в городе на дрова. Тут-то и познакомился он с сеньорой Еленой. Да и вообще он не гнушался никакой работой, лишь бы мать ни в чём не терпела нужды; ему случалось даже собирать навоз и продавать его черепичнику для обжига черепицы. Как-то раз один скотовод нанял его гнать скот на побережье, Фьеро быстро освоился с ремеслом погонщика и начал мало-помалу покупать и продавать скот; сегодня немного, завтра побольше — и дела шли неплохо. Эта работа заставляла его отлучаться из дома на неделю-другую, а порой и на месяц.

У них был сосед Малакиас — сущий дьявол, если верить в нечистую силу; и у этого Малакиаса был бык — точное подобие хозяина. Бык перескакивал через ограду и забирался на поле к Фьеро, а дон Малакиас, человек за-

житочный, ни разу даже не подумал прогнать своего быка с чужого поля. Когда Фьеро бывал в отъезде, его матери то и дело приходилось гонять быка, чтобы он не погубил им урожай. Всё же как-то ночью быки дона Малакиаса сломали ограду, забрались в пшеницу и пожрали всё до чиста. Утром дон Малакиас, как ни в чём не бывало, взирал на это опустошение.

Мать Фьеро сказала ему:

— Вы должны уплатить мне, дон Малакиас. Почему вы не смотрите за своей скотиной? Разве вам больше нигде её пасти? Мой сын на последние гроши нанял упряжку, чтобы вспахать поле, а теперь ваша скотина вконец нас разорила.

Но дон Малакиас, вместо того чтобы пожалеть о случившемся, закатил ей пощёчину и сказал:

— Я не позволю всякой суке учить меня.

Фьеро вернулся домой весёлый и довольный — ему удалось выручить двести солей, и он мог теперь снова купить скота и заработать ещё. Когда он увидел потравленное поле, мать сказала ему:

— Не знаю, сынок, как это случилось, то ли скотина дона Малакиаса потравила наше поле, то ли ещё чья соседская.

Бедная женщина сказала так, потому что она была прежде всего мать и готова была проглотить любую обиду, лишь бы не причинить неприятностей сыну. Фьеро ответил:

— Я выручил немного денег и поставлю крепкую ограду; надо будет привезти колючей проволоки с побережья. Вот так мы часто загадываем наперёд.

Дни шли за днями, и Фьеро ни о чём не подозревал. Но как-то раз он повёз пшеницу на гумно, и там была одна женщина, которой он всегда сторонился, потому что она любила затевать ссоры. Ничего нет на свете хуже женщины, которая любит сплетничать, а в тот день она ещёхватила лишнего. Вот она и говорит:

— Да, не всем удаётся собрать урожай. Есть такие трусы, что и этого не могут. Не могут даже заступиться за родную мать.

Он сначала не обратил внимания на её слова, но потом заметил, что все вдруг уставились на него. Тогда он подошёл к одному парню, с которым всегда дружил, и спросил:

— Если ты мне друг, скажи, о чём это она болтает? — И парню пришлось всё ему рассказать. Фьеро света не

взвидел. Сердце у него жгло, как огнём, и когда он вернулся домой, мать спросила:

— Что с тобой такое? Ты словно болен?

И он ответил:

— Я, должно быть, выпил лишнее.

Но мать видела, что с ним творится что-то неладное. Он вошёл в дом, но тут же опять куда-то собрался и ушёл, сказав:

— Я скоро вернусь.

Дон Малакнас сидел на крыльце своего дома; когда он увидел перед собой соседа, — верно, страшен был Фьеро в эту минуту, — он вскочил с криком: «Где мой револьвер!»

Фьеро бросился на него и схватил за горло.

— Ты думал, что я тебя испугался? Я ничего не знал.

И он воткнул нож в бычью грудь соседа. Когда он вернулся домой, мать воскликнула:

— Что ты наделал! Я уже и позабыла об этом.

Так он стал преступником, но, бог свидетель, он никогда раньше и не помышлял об убийстве. У него было доброе сердце, и он хотел жить со всеми в мире. Но у каждого человека бывает в жизни час испытания, и это — всё равно как перейти реку: одним удаётся, а другие тонут. Всё зависит от того, найдёшь ли ты брод, иными словами — от удачи. Теперь он поневоле должен был стать беглецом, жить скрываясь. А это самая большая беда, которая только может случиться с человеком.

Нашлись люди, которые, едва узнав, что он кого-то убил, стали вызывать его на драку — им хотелось показать, что они головорезы не хуже него.

Мало-помалу он стал привыкать к этой жизни, и она засасывала его всё глубже и глубже. Если с ним не затевали новых осор, то старались свести старые счёты, и в конце концов он так запутался, что уже не мог со всем этим покончить.

И видя, что дон Теодоро не задаёт ему никаких вопросов, Фьеро ещё раз вспомнил свое правило: умолчать — не значит обмануть, раз тебя не спрашивают.

И так он закончил свой рассказ, прибавив:

— Сжальтесь над несчастным бедняком. Вы видите, я поступил так из-за матери. Позвольте мне задать вам вопрос, хозяин: как бы поступили вы на моём месте?

Дон Теодоро помолчал, потом сказал:

— Не знаю... Сам не знаю, что бы я сделал.

Теперь слово было за ним, а он знал, как нужно гово-

рить с людьми. Сдвинув набок свою панаму и озабоченно почесав голову, он сказал своим обычным тоном — дружеским и вместе с тем властным:

— Чорт возьми!.. Чорт возьми, приятель, ты меня поставил в тупик. В моей семье и в семье жены истарин существует правило — никому не отказывать в гостеприимстве, кто бы ни пришёл к нам в дом. А у Елены к тому же еще очень доброе сердце. Ну, что ж, мы исполнили свой долг, позаботились о тебе, а теперь я мог бы отпустить тебя на все четыре стороны, и совесть моя была бы чиста. Но вот тут-то и есть загвоздка: ты просишь у меня защиты. С одной стороны, люди скажут: «Он укрывает преступника»; с другой стороны, я спрашиваю себя: «Если я дам ему уйти, он, конечно, опять примется за старое, а как знать, быть может, он способен стать другим человеком?» Вот я и ломаю себе голову: как быть?

— Клянусь вам памятью покойной матери, — поспешно сказал Фьеро, — я исправлюсь.

Дон Теодоро подумал ещё немного, сдвинул свою огромную панаму и сказал:

— Ладно, я верю, что ты не кривишь душой. С сегодняшнего дня беру тебя к себе на работу. Елена даст тебе новую одежду и пончо. Для начала советую тебе выбросить все эти чёрные тряпки.

Фьеро поблагодарил его, и дон Теодоро ушёл, прибавив на прощанье:

— Завтра мы поедem в Туко; благодарить меня ты будешь не словами, а делом.

Туко была сахарная плантация, расположенная в долине реки Кондебамба. На следующий день они отправились туда. Когда они проезжали по улицам Пампо, — а это ведь большой город, — каждый, кто встречался им на пути, приветствовал Теодоро, а он неизменно отвечал всем: «Будь здоров, приятель! Будь здоров, приятель!» Проехав город, он пустил коня во весь опор, и конь не посрамил чести своих арабских предков.

Приятно было скакать бок о бок с человеком, пользующимся такой любовью, и к тому же таким прекрасным наездником. Когда по приезде в Туко Фьеро стал расспрашивать о своём хозяине, ему отвечали: «Он шутить не любит, но человек он справедливый». И все уважали его, потому что бедняки больше всего на свете ценят справедливость, даже если порой она сочетается с суровостью. Фьеро скоро понял, что дон Теодоро был хозяином не только в

Туко; он в сущности был главным лицом и в городе, да, пожалуй, и во всей провинции. Он был ещё молод и крепок и умел всех заставить себя слушаться. Фьеро гордился своим хозяином и готов был за него в огонь и в воду, да и многие питали к нему такие же чувства. Если кто-нибудь из представителей власти в Кахабамбе — мэр или судья — поступал неправильно, народ шёл к дону Теодоро требовать справедливости, и дон Теодоро отправлялся вершить правосудие: обидчика сажали на осла и, под бой барабана и треск хлопнушек, изгоняли из пределов города. Тот, кто был однажды так изгнан, никогда уже больше не возвращался.

Дон Теодоро говорил в таких случаях:

— В столице нас никто не станет слушать, сколько бы мы ни приставали. В Лиме только и знают, что смеяться над провинциалами да сбывать нам всяких мошенников. Почему бы и нам над ними не посмеяться.

Год проходил за годом, и Фьеро держал слово, а дон Теодоро, со своей стороны, опекал его. Когда Фьеро бывал в Туко или сопровождал куда-нибудь хозяина, никто не осмеливался его тронуть. Но нет на свете тайны, которая рано или поздно не выплыла бы наружу, и однажды дон Теодоро позвал к себе Фьеро и сказал ему:

— Я узнал кое-что о твоих старых грехах. Когда ты описывал мне свою жизнь, ты постарался обойти их молчанием. Я мог бы вышвырнуть тебя вон. Но я вижу, ты утаил их не затем, чтобы меня одурачить и при первом удобном случае взяться за старое; похоже, что ты и вправду решил исправиться. Словом, я тебя прощаю.

— Истинная правда, хозяин, — ответил Фьеро, — другого у меня и в мыслях не было. — Слова хозяина перевернули ему всю душу.

Годы шли. Фьеро, как релейник, прилепился к своему хозяину и был с ним неразлучен. Чего-чего только не пережили они вместе.

Как-то раз в феврале река Кондебамба вышла из берегов и разлилась на два километра, а ширина брода достигла трёх километров. Дон Теодоро был мастером переправляться через реки вброд, но Фьеро был ещё искуснее его, особенно при ночных переправах. Была суббота и канун именин señores Елены. Дон Теодоро задержался в этот день позже обычного: как всегда в конце месяца, нужно было

проверить счета и выплатить жалованье рабочим. Уже начинало темнеть, когда он покончил, наконец, со всеми делами; молодой месяц, похожий на тонкий ломтик яблока, выглядывал временами из-за тяжёлых серых туч и бросал тусклый, водянистый овет.

Хозяин сказал:

— Едем, Фьеро. Вот хороший случай проверить, кто достоин называться мужчиной. —

— Едемте, сеньор, — ответил Фьеро.

Они оседлали самых сильных лошадей. Когда они подъезжали к реке и до неё оставалось не больше как полкилометра, хозяин сказал с довольным видом:

— В такую погоду Елена не ждёт нас раньше завтрашнего дня. Мы сделаем ей приятный сюрприз к именинам.

Фьеро согласился — ему не хотелось показаться трусом, но про себя, ещё прежде, чем увидеть реку, он подумал, что хозяин, очертя голову, лезет прямо в омут.

Подъехав к реке, они увидели, что вода подмыла берег, образовав крутой обрыв. Пришлось отправиться вверх по реке на поиски брода. Брода не было; везде, повидимому, было очень глубоко. Наконец они нашли отлогий берег и спустились к воде. Фьеро — большой мастер по переправам вброд, ехал впереди. Копыта лошадей зашлёпали по воде, затем вода поднялась выше, и дно начало уходить из-под ног. Вдруг раздался плёск, потом снова... и вода поднялась лошадям по грудь. Они попали в глубокую вымоину.

— Здесь глубоко, Фьеро.

— Глубоко, сеньор.

Но ни тот, ни другой и не подумали повернуть обратно. Они продолжали ехать вперёд, лошади шли против течения, рассекая грудью воду, — это было лучше, чем переправляться по течению: лошади легко могли поскользнуться, и течение увлекло бы их за собой. Ничего не может быть опасней, как пустить слабую или пугливую лошадь по течению. Рано или поздно её унесёт поток. У Фьеро и его хозяина лошади были хорошие, и оба они не боялись смотреть в воду. Чёрная клокоцущая река местами образовывала воронки, местами неподвижные заводи, а кой-где текла почти спокойно. Тот, у кого при переправах вброд кружится голова, должен смотреть на небо или на какой-нибудь отдалённый предмет, а лошадь его надо вести на поводу. Иначе он почувствует дурноту, его начнёт тошнить, и он свалится в воду.

Наружность обманчива — и это особенно верно в отношении рек. На мелких местах вода бурлит всего сильнее; разбиваясь о лежащие на дне камни, она образует воронки, и именно тут лучше всего переправляться вброд. Там же, где река течёт спокойно, таится наибольшая опасность, потому что в этих местах она особенно глубока и может поглотить и лошадь, и всадника. Река Кондебамба в зимнее время переполняется водой, разливаясь во всю ширь, а ближе к устью коварно разветвляется, образуя множество каналов, рукавов, поворотов и омутов, которые в свою очередь изобилуют ямами и водоворотами. Вода то едва доходит до колен лошади, то захлестывает её всю вместе с всадником. Дух захватывает от восторга и сознания опасности при переправе через эту величественную реку. Здесь нужна сильная лошадь, острый глаз и трезвая голова.

Они всё ехали вперёд и выбрались из ямы. Теперь вода доходила им до стремян. Над всей ширию реки, от одного берега до другого, поднимался неумолчный монотонный ропот, звучащий, как глухое, ворчливое предостережение. Слабый свет луны пробился, наконец, сквозь тучи, и Фьеро увидел брод. Река в этом месте была неглубока, и они направились вниз по течению, чтобы объехать рукава и омуты, видневшиеся впереди. Они долго ехали по течению, так как река нанесла здесь пруды камней, возвышавшиеся наподобие плотины. Когда они снова повернули против течения, вода опять поднялась, и теперь временами лошади плыли, высоко подняв головы, чтобы их не захлестнуло волной... Одежда на всадниках промокла насквозь; они чувствовали у себя на теле упрямые струйки воды и скользкое, покрытое валунами дно под копытами лошадей.

— Гей! Держись! — кричали они лошадям, у которых мускулы напрягались, как туго натянутые струны. Лошади поджимались и шли медленно, нащупывая дно и боязливо фыркая.

Время от времени река словно набухала водой; вода всё прибывала, волны набегали одна на другую. Должно быть, где-то выше по течению шёл дождь. Голоса путников резко и хрипло звучали в ночи. Наконец им ещё раз удалось выбраться на мелкое место. И они продолжали ехать вперёд, сворачивая то вверх, то вниз по течению, стараясь избегать опасных мест, а если уж выбора не было, ехали напрямик.

Они уже миновали середину реки, когда увидели, что добрались до самого бурного места; вода нанесла здесь глыбы песка и камней и избородила дно глубокими ямами. Фьеро задержался на краю одной из песчаных отмелей, глядя вниз в воду, как вдруг, с громким плеском, очутился под водой. Рыхлый песок подался, и всадник с лошадью попали в глубокую вымоину. Лошадь барахталась в воде, стараясь выплыть. Фьеро, чтобы помочь ей, соскользнул с седла, и течение подхватило и понесло обоих.

А что же было в это время с доном Теодоро? Хозяин ехал следом за своим проводником, и вдруг оказался в одиночестве. Он увидел, как Фьеро исчез впереди вместе со своей лошадью, и, думая, что они выплывут где-нибудь ниже по течению, закричал:

— Фьеро! Фьеро-о-о!

Ему ответил только сердитый плеск воды. Дону Теодоро не впервой было переправляться вброд, и он решил во что бы то ни стало добираться до берега. Он направил лошадь вверх по течению, держась ближе к середине реки, чтобы избежать краёв отмелей и самому не попасть в беду. Его лошадь пугалась, артачилась и всё рвалась туда, где исчезла лошадь Фьеро. Выше по течению река текла спокойней, и русло её слегка расширилось. Там же, где упал Фьеро, нанесло много песку, и вода бурлила, разбиваясь об отмель. Дон Теодоро увидел это, когда луна выглянула из-за облаков. Теперь, при свете луны, тускло поблёскивавшей на чёрной илистой поверхности реки, мрачные воды Кондебамбы казались не такими уж грозными. Оставшись один, дон Теодоро осмотрел переправы и осторожно повернул лошадь к одной из них. Храбрая лошадка фыркала, борясь с течением, а всадник туго натягивал поводья, стараясь, чтобы лошадь не соскользнула и не провалилась в яму. Внезапно, как это всегда бывает при переправах через реки, они очутились на противоположном берегу. И что же сделал тут дон Теодоро?

Фьеро никогда не мог забыть, как разыскивал его хозяин, и очень этим гордился. Вниз по течению поскакал дон Теодоро, выкрикивая громко:

— Фьеро! Фьеро-о-о!

Кругом расстилалась плоская равнина, лишь где-то вдали виднелись вершины гор — и крики его замирали, не встречая отзвука. Слышался только глухой, однообразный шум реки. Тогда хозяин достал спички, которые преду-

смотрительно положил во внутренний карман куртки, и развёл костёр. Он высушил одежду, подседельник и овчины, — хотя кожу не следует сушить у огня, потому что она от этого коробится, — а тем временем и лошадь его немного отдохнула. Как только начало светать, он снова вскочил в седло и опять пустился вниз по реке, время от времени принимаясь звать своего Фьеро. Но ответа не было, и порой он думал: «Быть может, мне удастся хотя бы найти его тело, чтобы похоронить с честью».

Что же произошло в это время с Фьеро? Соскользнув с седла в воду, он ухватился руками за шею лошади. Он видел, что они попали в глубокую яму, но лошадь плыла спокойно. И всё же она, должно быть, порядком перепугалась, потому что не слушалась повода и, сколько ни тянул её Фьеро в сторону, продолжала плыть вниз по течению, упорно держась середины потока, а Фьеро понимал, что чем дальше, тем труднее будет им отсюда выбраться.

— Гей! Держись!

Лошадь его не слушала. Она всё плыла и плыла вперёд; их отнесло теперь уже далеко вниз по реке. Выглянула луна, и у Фьеро появилась надежда, что лошадь, увидав деревья, поплывёт к берегу. Но лошадь ничего не видела, она обезумела от страха. Временами у Фьеро мелькала мысль, что лучше, пожалуй, скинуть пончо, оставить лошадь и пуститься одному вплавь к берегу. Но потом он решил: «Нет, стыдно бросать лошадь. Дела пока не так уж плохи». А тем временем их с каждой минутой уносило всё дальше и дальше вниз по реке, и видно было, что лошадь совсем измучилась — того и гляди, начнёт тонуть. Вдруг Фьеро заметил, что река впереди делает крутой поворот влево, и воды её, вместе с многочисленными впадающими здесь притоками, всей своей массой ударяются о правый берег и заливают его. Туда же понесло и Фьеро вместе с его лошадью, и они, как щепки, закружились в водовороте.

Но тот, кто тонет, нередко бывает спасён в последнюю минуту самым неожиданным образом. Фьеро быстро отпустил шею лошади, потянул за поводья, и животное послушно вышло из воды, дрожа всем телом и еле переступая ногами. «Вот ещё одно чудесное спасение, Фьеро! Пришлиши его своей удаче». Усевшись на берегу, Фьеро вспомнил о хозяине. Быть может, он тоже упал в воду и будет плыть здесь, а Фьеро даже и не увидит его в

этой чёрной пучине. Впрочем, лошадь-то, он, конечно, заметит, если их понесёт мимо. Но, быть может, лошадь выбралась на берег? А быть может, оба они целы и невредимы, и хозяин отправился дальше, думая, что он утонул.

Наступило утро, но никто не появлялся. Вокруг была только вода да редкие деревья вдоль берега. Немного ниже того места, где сидел Фьеро, на реке был большой водоворот, в котором он неминуемо бы утонул, если бы его не выбросило на берег. Счастье, что он попал в такое сильное течение. Такова судьба. Правда, он опять очутился на том берегу, откуда они начали переправу, но это его мало беспокоило; исчезновение хозяина — вот, что было плохо. Что же могло с ним приключиться? Фьеро начал медленно подтягивать подпругу.

Внезапно откуда-то издалека донёсся крик: «О-о-о! О-о-о!..» Вскоре крик повторился ближе, и Фьеро показалось, что он раздаётся где-то напротив. Это был голос хозяина. Затем и сам дон Теодоро появился на противоположном берегу. Фьеро тоже закричал, и хозяин увидел его; они стали махать друг другу шляпами, стараясь объясниться знаками. Потом они поехали вниз по течению, пока не достигли места, где река делала поворот вправо, но на этот раз спокойно и плавно, и где был широкий брод. Тут не было особенно глубоких мест, и при дневном свете, да ещё на радостях свидания, переправа показалась им совсем нетрудным делом. Фьеро понукал лошадь, которая снова ожила.

Когда, наконец, они опять сошлись вместе, они рассказали друг другу о своих злоключениях, съели несколько слив, случайно оказавшихся в карманах, и снова пустились в путь. Они оставили позади широкую коварную реку с её злыми бурливыми водами, такими чёрными от ила, словно река не хотела, чтобы добрые христиане могли заглянуть в её ненасытную пучину. Вторично благодаря своей отваге и ловкости им удалось пересечь её; они вместе пережили опасность и вышли победителями, и это ещё крепче привязало их друг к другу.

Годы шли. Как-то раз в Кахабамбе дон Теодоро позвал к себе Фьеро и сказал ему в присутствии своих друзей:

— Вот деньги, которые я должен Луису Рабинесу. отвези их ему. Он у себя на ранчо.

Он протянул Фьеро две тысячи солей звонкой монетой,

и тот положил их в свою сумку, оседлал лошадь и уехал. Он ехал целый день и к вечеру приехал на ранчо; он отдал деньги и на следующий день вернулся домой. Хозяин встретил его, как всегда, и не сказал ни слова; казалось, никакие сомнения не приходили ему на ум. Но от слуг Фьеро узнал, что друзья дона Теодоро говорили ему: — Зачем ты это сделал? Он удерёт с твоими деньгами.

А дон Теодоро отвечал:

— Он стал теперь честным человеком.

Этой ночью, запершись у себя в комнате, Фьеро чуть все глаза не выплакал от радости. Нашёлся, наконец, человек, который верил ему, полагался на его честность и сделал из него нового человека. Да, это была счастливая пора в жизни Фьеро. Тогда же он встретил женщину, которая его полюбила; её звали Гумерсинда, — это была красивая девушка, дочь одного работника из Туко. Жизнь снова улыбалась Фьеро, и он опять находил, что мир хорош.

Как-то раз он задумал навестить свой домик в пампасах, но хозяин сказал:

— Ты думаешь, они простили тебе? Лучше подожди ещё. Люди ненавидят тех, кто, попав в беду, сумел снова стать на ноги и (даже живёт лучше их. Потерпи. Ты ещё не знаешь, как черны сердца людей.

Фьеро подумал: уж не потому ли хозяин не хочет его отпускать, что дорожит им как работником? Эта мысль роняла дона Теодоро в его глазах. Всё же он остался, сказав себе: «Я в долгу перед ним и не хочу быть неблагодарным, — поработаю у него ещё годик-другой». Никогда не следует поддаваться первому порыву, и жизнь нередко открывает нам глаза на то, что вначале бывает от нас скрыто.

В последующие годы произошло немало разных событий, и Фьеро уже успел забыть, что остался только для того, чтобы уплатить хозяину свой долг. Самым примечательным из этих событий был захват Маркабалья — ранчо, принадлежавшего родственникам сеньоры Елены. Один негодяй с помощью каких-то махинаций сумел предъявить на него права и, вооружив своих людей, завладел ранчо и начал им управлять, как своим собственным. Владельцы ранчо хотели подать на него в суд, но дон Теодоро сказал:

— Что — тяжба? Да она затянется лет на двадцать. Предоставьте это дело мне.

С волками жить — по-волчьи выть, и дон Теодоро тоже вооружил своих людей: он отобрал пятнадцать молодцов с крепкими кулаками, и они отправились на ранчо. Весть об этой экспедиции долетела до захватчика, и он выставил дозорных. Вдоль всей дороги, начиная от местечка, называвшегося Касагуато, на расстоянии километра друг от друга, были расставлены индейцы; заметив приближение неприятеля, первый индеец должен был мчаться стремглав ко второму, второй — к третьему и так дальше, по цепи. Обитатели Маркабаля полагали, что таким путём они будут иметь точные сведения о приближении дона Теодоро и встретят его во всеоружии.

Только в одном просчитались враги, — они забыли, какой любовью пользовался дон Теодоро среди индейцев. И вышло так, что первый же индеец, который должен был, едва увидит врагов, мчаться с этой вестью к следующему, преспокойно остался на месте, а когда всадники поравнялись с ним, подошёл со шляпой в руке, чтобы приветствовать дона Теодоро:

— Добрый день, хозяин!

Когда же его спросили, что он здесь делает, он тотчас всё выложил и присоединился к людям дона Теодоро. То же самое произошло со всеми остальными дозорными по очереди. Некоторые из них говорили:

— Ох, хозяин! Теперь вы приехали и спасёте нас от этого мошенника. — И они рассказали о бесчинствах, которые творил захватчик вместе со своей вооружённой бандой.

Дон Теодоро успокоил их и сказал своим спутникам:

— На этот раз история не повторилась. Этот негодяй хотел уподобиться королю инков, и вот, поглядите, как его одурачили его же дозорные. — Он сказал так потому, что в давние времена было такое племя, которое прозывалось инками, и эти инкиставляли цепи дозорных.

По пути к ним присоединилось восемь дозорных. Дон Теодоро и его спутники поднялись по крутому склону холма и в километре от ранчо встретили последнего дозорного. Тут дон Теодоро, хорошо знавший ранчо, сказал:

— Нужно застать их врасплох. Мы не поедем обычным путём, а обогнём холм Кандо. — И, съехав с дороги, они пустились прямо через поля и лощины, стараясь пробраться незамеченными.

Они скоро достигли холма, покрытого жёлтыми цветами кандо. Отсюда до строений ранчо, раскинувшихся на обширном пространстве, оставалось же больше полмили.

Кругом всё было тихо, и они подумали: не ждёт ли их всё же засада, несмотря на измену дозорных. Тогда дон Теodoro выехал вперёд и сказал, обратившись к своему отряду:

— Пришпоримте коней, друзья, и попытаемся застичь их врасплох!

И они на всём скаку, как вихрь, ворвались на ранчо. Часовой, сидевший на крыльце господского дома, едва успел вскочить на ноги и схватить винтовку, как подскочил Фьеро и ударом приклада по голове сшиб его с ног.

Часовой без чувств свалился на землю.

А сражение, которого они ждали? Ничего — ни единого выстрела. Дом был пуст. Они обошли все комнаты, не встретив ни души. На кухне тайна раскрылась. Там стряпуха-индейка, готовившая обед, рассказала им, что все обитатели дома отправились к ручью купаться. Они целиком полагались на принятые ими меры и даже оставили дома своё оружие — двадцать винтовок, поручив единственному часовому поднять тревогу, если он что-нибудь заметит.

Дон Теodoro велел своим молодцам взять эти винтовки и сказал:

— Ну, теперь мы можем позабавиться, ребята.

Они спустились к ручью. Ещё издали увидели они своих беспечных противников. Они могли бы окружить их и перехватать всех до единого, но дон Теodoro не захотел этого делать. Враги с весёлыми возгласами плавали и барахтались в большом пруду, беззаботно наслаждаясь купаньем. Дон Теodoro сказал своим молодцам:

— Ну-ка, два выстрела в воздух, ребята!

Пятнадцать человек дружно разрядили винтовки, и купальщиков охватила паника. Схватив в охапку своё платье и не пытаясь даже одеться, они нагишом помчались через поля к дому. Индейцы, жившие по соседству, высылали из хижины посмотреть, что такое происходит. Дон Теodoro велел своим ребятам, которые прямо помирали со смеху, продолжать стрельбу. А голые люди, как безумные, бегали по полю, пока не укрылись, кто за камнем, кто за кустом, после чего, кое-как набросив на себя одежду, опять пустились наутёк. Скоро все скрылись из виду. Когда дон Теodoro со своими ребятами вернулся в дом, он увидел, что часовой, которого Фьеро оглушил прикладом, очнулся, и вокруг него хлопочут женщины. Бедный малый думал, что дон Теodoro хочет его убить.

— Что ж, по-твоему, я такая же низкая тварь, как твой хозяин? — спросил его дон Теодоро. И, не дав ему опомниться от удивления, добавил: — Убирайся отсюда живо и скажи этой собаке, Карлосу Эстевану, — так звали человека, захватившего ранчо, — что я хотел было прикончить тебя, да пожалел.

Хозяин всегда говорил что-нибудь в таком духе. Да, скучать с ним не приходилось. А при воспоминании о двадцати цыплятах, которых индейки зажарили тогда для дона Теодоро и его ребят, у Фьеро до сих пор слюнки текли. Они съели цыплят, запив доброй виноградной водкой. Да, хорошая была жизнь!

Годы шли, и вот однажды хозяин продал Туко и купил ранчо Маркабаль у родственников своей жены. Тогда Фьеро опять попросил отпустить его домой, и хозяин сказал:

— Ладно, поезжай, но помни, что я тебе говорил.

Однако судьба, казалось, была к Фьеро благосклонна. Даже семья дона Малакнаса уехала куда-то. Правда, своё хозяйство Фьеро нашёл в самом плачевном состоянии. Но Фьеро и Гумерсинда, которая к тому времени уже родила ему сына, горячо принялись за дело, — поставили новую крышу, очистили поле от сорняков, починили ограду и вскопали затвердевшую почву.

В то время к дону Теодоро на новое ранчо явилась делегация от города Кахабамбы просить его выставить свою кандидатуру в конгресс от провинции. Само собой разумеется, никто не решился против него выступить; он был избран и уехал в Лиму. Фьеро сразу почувствовал себя осиротевшим, он знал, что плохо придётся ему без дона Теодоро. На душе у него было тревожно, и он стал замечать, что его выслеживают, шпионят за ним. Вскоре его подозрения оправдались. Однажды он промотылживал кукурузу на своём поле, и в это время какой-то человек, на вид обыкновенный прохожий, остановился у ограды; внезапно незнакомец выхватил револьвер и в упор выстрелил в Фьеро. Фьеро упал, притворясь убитым, а сам в то же время успел незаметно достать револьвер. Человек толкнул ногой калитку и с револьвером в руке направился прямо к Фьеро, ни на секунду не спуская с него глаз и, как видно, намереваясь его прикончить. Фьеро лежал затаив дыхание, зная, что малейшее движение будет ему стоить жизни. На пути у человека оказалась канава, и он на мгновение опустил глаза, готовясь её перепрыгнуть, но

в ту же секунду Фьеро поднял револьвер и выстрелил. Человек свалился в канаву — пуля пробила ему грудь навывлет.

Всё это произошло куда быстрее, чем можно передать словами. Меж тем любопытство уже привлекло к дому Фьеро кое-кого из соседей и проходивших мимо погонщиков мулов. Жена Фьеро была уже подле него, хоть и не знала, чем помочь.

— Ты знаешь его? Кто это? Почему ты его убил?

Фьеро рассказал всё, как было, и прибавил, что совсем не знает этого человека. Он говорил правду, он никогда прежде его не видал или, по крайней мере, не помнил его. Но соседи переговаривались между собой, недоверчиво на него поглядывая:

— Да это он так говорит, а почём мы знаем, как на самом-то деле было?

— Кто же не помнит, как он зарезал дона Малакиаса!

— А какую ужасную жизнь он вёл, пока дон Теодоро не подобрал его.

— Теперь дон Теодоро уехал — вот он и принялся за старое.

— Пойдёмте отсюда, пока он и нас всех не поубивал.

— Надо бы сообщить куда следует.

Гумерсинда заплакала, а за ней и ребёнок, ещё ничего не понимая в том, что творилось вокруг, залился горькими слезами. Фьеро убил, защищая свою жизнь, но это не могло смягчить его участь. Никто не склонен был его щадить. Всё произошло так, как предсказал хозяин. А теперь хозяин был далеко. Фьеро понял, что жизнь его разбита. Он обнял жену и ребёнка, вскочил на коня и ускакал, пообещав скоро вернуться.

Он вернулся через полгода и нашёл на месте дома развалины. Один рабочий из Туко сообщил ему, что Гумерсинду посадили в тюрьму за соучастие в убийстве, и там, в тюрьме, их ребёнок умер от оспы. Фьеро узнал от него также, что тюремные сторожа вошли в камеру, где сидела Гумерсинда, обесчестили её и заразили дурной болезнью. Заливаясь слезами, бедняжка сама рассказала всё это своему отцу, когда тот пришёл её навестить.

Отец, вернувшись в Туко, сказал:

— Говорил я ей: не путайся с этим проклятым разбойником.

Но сейчас Гумерсинда была на свободе. Судья предложил освободить её, если она согласится поступить к нему

кухаркой, а ей теперь было всё равно, и она согласилась. Так она стала кухаркой в доме судьи. Фьеро слушал, и ему казалось, что хищный зверь вцепился ему когтями в самое сердце. Если они причинили такое зло его бедной, ни в чём не повинной жене, что же сделают они с ним? Мир не знает сострадания. И так как зло всегда порождает новое зло, он вернулся к своей прежней жизни... а может быть, и худшей.

—Фьеро Васкес кончил свой рассказ. Касьяна и Паула подошли послушать его; помощник старшины Порфирио Медрано, молодой парень Каликсто Паужар и другие индейцы, проходившие мимо, тоже остановились и слушали. Они так уставились на Фьеро, что заметили друг друга, лишь когда он умолк.

— Я стал опцепенцем, — закончил Васкес, — и вот однажды я встретился с ребятами из галлайянской разбойничьей шайки и присоединился к ним. Там я выучился многому, чего не знал прежде... но мне посчастливилось уйти от них, прежде чем их всех переловили. Я слышал, что смерть их была мучительна.

Никто не заметил, как прошло время. Закат горел, и полнеба полыхало пожаром. В эту минуту на дороге, ведущей в горы, появились четыре всадника: это был начальник округа Сенобио Гарсия и с ним ещё трое каких-то людей. У всех четверых были с собой ружья. Гарсия посмотрел на Фьеро, поклонился Росендо и проехал мимо. Либо он побоялся тронуть бандита, либо очень спешил по какому-то важному делу. Васкес, положив руку на пистолет, следил за всадниками, пока они не скрылись за поворотом дороги. Потом пристально посмотрел на старшину своим единственным зрячим глазом и сказал:

— Вот и всё. Что вы мне посоветуете, дон Росендо? Пойти опять к дону Теодоро? Он вернулся на своё ранчо, потому что такой человек, как он, не может долго заниматься политикой, и на следующих выборах его побил другой кандидат из Лимы. Но разве я могу теперь пойти к нему? Много воды утекло с тех пор. Прежде за мной не было таких дел, как теперь. Если я пойду к нему, на его доброе имя падёт тень. Коли уж камень покатилося вниз, он так и будет катиться, пока не разобьётся вдребезги или не достигнет дна, иначе говоря — до самой смерти. Другого пути для меня нет.

Росендо Маки задумчиво постучал посохом по носку сандалии и ответил:

— Пожалуй, вы правы. Вы знаете, что мы вам всегда рады, и откажись вы от теперешней вашей жизни, мы бы допрежнему... Пожелай вы заняться сельским хозяйством... А иначе уж очень для нас опасно принимать вас здесь. Мы ведём тяжбу, а это щекотливое дело. Вы понимаете, они могут придрататься к тому, что вы приезжаете сюда, и заявить, что мы вас укрываем.

Фьро печально улыбнулся, показав свои ослепительно белые зубы, и взглянул на Касьяну. Она стояла на пороге дома — его новая жена, некрасивая, но добрая и желанная для него. Сила заменяла ей красоту. Она стояла, окутанная своим молчанием, молчанием горных высей, словно плащом, и печаль её росла. Теперь им не суждено больше встречаться. Но как бы то ни было, а сегодня он приехал в Руми нарочно, чтобы поговорить с Росендо.

— Как раз насчёт этой тяжбы я сам хотел поговорить с вами. Это всё сплошное жульничество. Я предупреждаю вас, как друг, — это всё жульничество. Не спрашивайте, откуда мне это известно, но я знаю, что дон Аменабар стакнулся с этой старой лисой Сенобио, который только что проехал здесь, да ещё с этой крысой Чародеем. Они частенько встречаются теперь и о чём-то шушукуются. Говорю вам — всё это сплошное жульничество. Куда это, по-вашему, отправился Сенобио, на ночь глядя? Да ещё со спражей и с ружьями? К чему эти предосторожности? Никогда прежде они не брали с собой ружей. Ясно, что они отправились в Умай на всю ночь. Откуда вдруг такая дружба? Не спрашивайте меня, как я это узнал, но только это так, дон Росендо. Вы хотите, чтобы я поселился здесь и занялся сельским хозяйством? Дай бог, чтобы я ошибся, но, быть может, вам, друзья, самим скоро негде будет сеять свой хлеб.

Росендо Маки слушал, как всегда, спокойно, серьёзно и с достоинством. Доротео Киспе посмотрел на своего друга так, словно хотел сказать: «Вот парень — никогда не упустит случая пошутить». Касьяна почувствовала, как острая боль, словно иглой, пронизала всё её тело при мысли о предстоящей разлуке с мужем. Остальные плохо понимали, о чём говорил Фьро, но на душе у них стало тревожно, — казалось, бандиту известна какая-то страшная тайна, грозящая им неисчислимыми бедами.

Стемнело, и в сенях зажгли свечу. Все молчали, и молчание было насыщено тревожными думами. Доротео Киспе не знал, надо ли расседлать лошадь Фьро, и спросил

своего друга, останется ли он у них на ночь. Васкес ответил:

— Я думал остаться, но не захватил с собой ружья, а рисковать не хочу. Сеноблио и его молодцам может притти охота сцапать меня здесь сонного. Поэтому я уезжаю.

Фьеро Васкес вынул пистолет, проверил заряд, вскочил в седло и поскакал прочь. Скоро он растаял во мраке.

ГЛАВА 5

ПШЕНИЦА И КУКУРУЗА

По дороге домой Росендо Маки задумался над словами бандита. Может быть, Фьеро и на этот раз чего-то не договаривал? Нет, он говорил серьезно, а слова этого человека стоили того, чтобы не раз над ними призадуматься. Да! Не раз, и не два. Надо сегодня же собирать совет. Пять умов всегда лучше одного, к тому же помощники должны разделить с ним бремя ответственности, которое становилось чересчур тяжелым для его старых плеч.

И за ужином, жуя сладкую кашу, Росендо Маки всё размышлял над словами Фьеро. Хуанача понапрасну старалась втянуть его в разговор, звонко болтая о том, о чём. Росендо отвечал «да», «нет» и снова погружался в молчание. Ансельмо молчал, из уважения к старику, который явно был чем-то озабочен. А муж Хуаначи, Себастьян Пома, был неразговорчив от природы. После ужина старшина попросил его пойти позвонить в церковный колокол. Пёс Кандела тем временем насыщался объедками ужина.

Дин... дон... дин... дон... Четыре удара следовали один за другим, через равные промежутки, так чтобы их легко было сосчитать; они плыли по долине и эхом отзывались в горах. Эти превожные звуки всколыхнули тишину. Деревня зажужжала, как улей.

— Собирают совет.

— Насчет уборки урожая, должно быть.

— Нет, я слышал дурные вести о нашем деле.

— Быть этого не может.

— Так говорят.

— Вон идёт выборный Медрано.

— В толк не возьму, зачем мы его выбрали? Пришлый он.

И, словно затем, чтобы рассеять последние сомнения, четыре удара снова отчетливо прозвучали в тишине ночи.

Помощники собрались в доме старшины. Первым пришёл Порфирио Медрано, за ним Гойо Аука, потом Кlemente Яку и, наконец, Артидоро Отейса.

Медрано был тот самый солдат армии «синих», который обосновался в Руми, после того как слюбился с одной вдовой. С трогательной заботливостью она ухаживала за ним, перевязывая его искалеченную ногу, и её доброта заставила раненого забыть об её увядшей красоте. Она была много старше Медрано и теперь уже давно лежала в могиле. После её смерти он влюбился в молоденькую девушку лет двадцати и убедил её, что она поступит очень умно, поручив себя заботам человека пожилого, умудрённого опытом. Она народила ему детей. Не было сомнения, что Медрано пустил глубокие корни в Руми. Его зазубренная сабля ржавела на стене, а со старым ружьём он охотился на ланей. Несмотря на своё имя, он уверял, что его родители были индейцами; впрочем, его индейская кровь сказывалась в резких чертах его лица, темной коже и глубокой, неискоренимой любви к земле. Только внезапные вспышки гнева, овладевавшие им порой, заставляли Росендо Маки, который не мало размышлял над этим, считать Медрано не чистокровным индейцем. Этим он напоминал старнику его любимого приёмщика Бенито Кастро.

О Гойо Ауке ничего особенно не скажешь. Это был коренастый человечек, твёрдый, как тот валун, что, будучи брошен ловкой рукой Росендо, бьёт больно и метко. Он был всей душой предан старшине. «Так, так, таита», — неизменно отвечал он всякий раз, когда Росендо делился с ним своими мыслями; в эти слова он вкладывал всё своё уважение и преданность старшине. Его сила была совершенно несоразмерна его росту; громко фыркая и отдуваясь, он всегда старался быть первым во всех трудах общины. Это было у него единственным проявлением тщеславия.

Кlemente Яку был человек гордый и рассудительный. Когда он, сдвинув набок соломенную шляпу и перекинув через плечо плащ, прямой и величественный, проходил по улице, поселяне толковали между собой, что быть ему, как видно, старшиной. Но в этой мирной деревне ни сам он, ни неторопливое время не прибавляли шагу, чтобы ускорить приближение этой минуты. Яку славился своей осведомлённостью во всём, что касалось земли. «Эта земля хороша для пшеницы», «а эта — для кукурузы»,

«а эта — для картофеля», — торжественно изрекал он, рассматривая горстки земли, когда наступало время сева. И на поверку всегда выходило, что он прав.

Артидоро Отейса был белый, и его имя, так же как цвет кожи, говорило о его испанских предках. Тем не менее его родители и родители его родителей были членами общины, и никто не мог припомнить в их роду смешанных браков. Однако Росендо видел много белых среди Отейсов. Какой-нибудь далёкий конкистадор в стародавние времена Завоевания сошёлся с индейкой, и кровь его время от времени возрождалась в его потомках. Во всём остальном Отейса ничем не отличался от других членов общины, и никто не смотрел на него, как на чужака. Больше всего на свете он любил животных и, обладая большой силой, особенно незаменим был в ту пору, когда загоняли стадо. У него были маленькие торчащие усики над весёлым, вечно улыбающимся ртом.

Как и все помощники старшины, он был женат, — человек холостой не мог занимать в общине столь ответственное положение. И как у всех помощников, у него были дети, — хотя, по неписанному закону общины, наличие потомства и не являлось для них столь уж непременным условием, но оно всё же увеличивало их долю ответственности и ещё крепче связывало их судьбу с судьбой посёлка.

В этот вечер, перед приходом помощников, Хуанача наскоро перемыла все горшки и тыквенные фляги, после чего и она сама, и её муж, и Ансельмо исчезли. В очаге неярким ровным пламенем горели дрова. Росендо усадил помощников на глиняную скамью, угостил их кожей из большой домотканной сумки и приступил к делу. Время от времени он подбрасывал полено дров в очаг, чтобы не угасло ленивое пламя. Вспышки огня играли на бронзовых лицах, румянили щеки Артидоро Отейсы и весело переливались на разноцветных полосах пончо, а большие поля шляп окружали головы венцами теней.

Росендо, как всегда, торжественно и неторопливо, рассказал о том, как он вместе с Гойо Аукой посетил Бисмарка Руица; Гойо, разумеется, не упустил случая присовокупить своё: «Так, так, таита». Затем старшина упомянул о предсказаниях Наши Суро, известных, без сомнения, уже всей деревне. Наконец он сообщил им сведения Фьеро Васкеса, вернее его подозрения. Он от слова до слова передал им весь свой разговор с ним, при котором присут-

ствовал и Порфирио Медрано, и прибавил, что Васкес теперь едва ли появится в Руми. Заканчивая это длинное и подробное повествование, во время которого не одно полено дров было подброшено в огонь, Росендо сказал, что сам он уже всё обдумал, но хочет услышать, что скажут помощники, так как решение нужно принять сообща. Ведь, как-никак, дело идёт о судьбе общины.

Помощники молчали, как видно не решаясь высказать свои суждения в сознании столь тяжкой ответственности. Наконец Порфирио Медрано промолвил твёрдо:

— Что ж тут скажешь, когда имеешь дело с богачом? Думается мне, нам всем не мешает помнить поговорку: «Кто легко верит — легко и погибает». Да только чужая беда никого не учит. А я по горькому опыту знаю: столкнулся с богачом — жди беды... У моего деда богач отнял судом право на пользование водой. А что делать бедному старику без воды? Пришлось ему продать землю — попросту говоря, отдать за бесценок. Потом он арендовал клочок земли. Все мы это видали, да только на своей шкуре не пришлось ещё испытать. Если этот Бисмарк Руиц пьяница и бабник, тогда плохо наше дело. Ну а Наша... Я помню много разных её предсказаний. Порой они сбывались, порой нет. Все гадалки на один лад. Вот то, что сказал Фьеро, по-моему, хуже всего. Очень может быть, что Сенонио впутался в это дело, а уж Чародей — тот и подавно...

У остальных помощников тоже мало-помалу развязались языки. Кто-то упомянул о брате Наше, известном промывателе, а Росендо напомнил об её отце, пользовавшемся заслуженной славой во всей округе. Однако Наша не долго занимала их мысли. Не взять ли им кого-нибудь другого, вместо Бисмарка Руица. Но кого? Это не так-то просто. Аранья был на стороне врагов, а остальные адвокаты едва умели читать и писать. Что касается Фьеро Васкеса, то, спору нет, ему было известно многое. Он получал вести отовсюду. Но можно ли верить всему, что он говорит? А если он тоже подослан Аменабаром? Это подозрение сильно их встревожило. Так они толковали долго. Уже во всей деревне в домах потухли огни. Поселяне, глядя на огонь, светившийся в окнах Росендо, говорили:

— Нет, не об урожае толкуют они так запоздно.

Наконец помощники решили послать на завтра Гойо Ауку к Бисмарку Руицу, чтобы обо всём его расспросить, — как-никак, одно дело будет сделано. А Росендо по-

шлёт Мардокео в Умай, чтобы тот под предлогом продажи цыновок разведal там, что и как. Бог весть, что будет дальше, а потому община должна не медля приниматься за уборку урожая. Порфирио Медрано сообщил, что чича для жнецов уже готова.

— Завтра можно начинать уборку кукурузы.

Уже взошла луна, когда помощники разошлись по домам. Росендо накрыл огонь в очаге глиняным горшком и лёг спать.

Легкий ветерок весело шелестел стеблями кукурузы, перебирал пшеничные колосья — и это была сладостная музыка деревенского лета. На обширном поле, раскинувшемся по склону холма, пшеница стояла густая и спелая, вытягивая навстречу солнцу золотые стрелы своих колосьев, а початки кукурузы были похожи на усатых добродушных человечков. Недаром в старинной загадке говорится о сходстве кукурузы с человеком:

Меж горами, меж скалами
Живёт старый старичок.
И с зубами, а не ест,
И с усами, а не человек.
Кто же этот старичок?

Разгадку знает каждый — кукуруза. Это хоть и не человек, но вроде как живое существо. С незапамятных времён судьба человека так тесно сплелась с судьбой этого растения, что люди стали считать его своим братом.

Маргича подоила коров и теперь была свободна, весела и, как всегда, неуловима, хотя Аугусто и ходил за ней по шлям. Маргича знала, что она самая корошенькая девушка во всей деревне, и никак не могла сделать выбор из десятка парней, которым она вскружила голову.

— Завтра начинается уборка, Маргича...

— Завтра, Аугусто...

Она вспомнила загадку о кукурузе и спросила его, знает ли он ещё какие-нибудь загадки. В ответ он спел ей нежную песенку, похожую на дикий и прекрасный цветок, который ему хотелось приколоть к её груди:

Как хороши маргаритки
Нежные лепестки!
Милый цветок —
Моя отрада!

Как хороши глаза
Моей Маргариты!
Девушка-красотка
Лишила меня сна!

Пусть наша любовь
Милая голубка,
Будет, как тот цветок,
Что зовётся бессмертник.

Маргича поняла его. Аугусто был певцом, и своей Марге, Маргиче, Маргарите он пел.

Они сидели на каменной ограде, окружавшей кукурузное поле. Маргича была тронута, но никак не могла решить, хочется ей поцеловать его или нет. Быть может, она всё-таки влюблена в Деметрио?

Внезапно она схватила руку Аугусто, сжала её, соскочила с ограды и с лёгким криком бросилась бегом к дому. В её крике были радость и страх. Аугусто не знал, что и подумать, и ему стало грустно.

Уже совсем стемнело, когда Гойо Аука вернулся в деревню. Он был у Бисмарка Руица, в его конторе. Адвокат сказал ему, что истцы совсем голову потеряли и не знают, что делать. Как видно, потому они до сих пор и не удосужились написать ответ. Что же касается Сенобио Гарсии, то он не имеет никакого отношения к их делу, а Чародей ещё того меньше. И, уж коли на то пошло, у суда есть с ними кой-какие старые счёты, и если он, Руиц, извлечёт эти грешки на свет божий, то врагам не поздоровится.

Эти вести подбодрили всех. К тому же: «Завтра, завтра начинается уборка».

И уборка началась. Все — мужчины и женщины, старики и дети — собрались на кукурузном поле. Тёмные лица и яркие одежды живописно выделялись на бледном золоте спелой кукурузы. Утро было ясное, тёплое, и казалось, сама земля радуется налитому сою зерну, которое она породила.

Деревянной палочкой, подвешенной к руке, или просто рукой сборщики раскрывали верхушку початка, обе-

ими руками сдирали с початка шелуху и выдёргивали его. Полосатые мешки раздувались от разноцветных початков — красных, пурпурных, жёлтых, белых. Другие поселяне обрывали стручки гороха lima и бобов, обвивавшиеся вокруг стеблей кукурузы, или собирали чиклайос — разновидность тыквы. Початки кукурузы свозили в кауро, сложенный из алоэ, где их складывали крест-накрест (такая укладка называлась «мукура»), чтобы солнце помогло вызреть зёрнам, ещё молочным в сердцевице. В Северном Перу кечуа и другие диалекты исчезли, вытесненные языком белых и метисов, и уцелели только среди индейцев лампасов Кахамарки и в горных ущельях Уайляса. Но старый язык остался в названиях растений и полевых работ, и эти названия бережно хранились в памяти людей, как зёрна в доброй почве.

Кауро помещался на площади перед домом старшины. Рядом с кауро поселяне тремя большими трудами насыпали чиклайос, горох и бобы. Опоразнивая свои мешки и видя, как горы стручков поднимаются всё выше и выше, поселяне славят щедрость земли.

Да, на поле вышли все — юноши и старики, взрослые и дети. Росендо, пожалуй, немножко отставал от других, но он был тут, вместе со всеми, и казался им сейчас не старшиной, а просто старым крестьянином, таким же довольным, как и они. Ансельмо-музыкант, сидя у мешки на камне, играл на арфе. Звуки арфы, крики и смех, шорох сухих листьев, треск обдираемых початков — всё сливалось в радостном гимне урожаю. Девушки с тыквенными флягами в руках бегали от кувшинов с чичой к сборщикам урожая и обратно, разнося рубиновый праздничный напиток. Никто не пил лишнего, но чича бежала по жилам и пела свою песню о мансовом соке, созданном, чтобы веселить сердца людей. А там, где налитые зерном, тяжёлые початки были уже сняты, расстилалось море бледной мягкой шелухи.

Юноша Хуан Медрано, сын помощника старшины, разговаривал с Симоной, той самой девушкой, которую Аугусто видел как-то утром на коровьем выгоне. Они всего два дня провели вместе. Но полдень, напитанный острыми испарениями земли и запахом спелых плодов, настит их в своём мерцающем зное. Хуан была подобен гибкой ветке, а Симона — плоду, и каждому из них ещё не сравнялось двадцати лет. Они резвились, шаг за шагом удаляясь от сборщиков урожая. Симона убегала, смеясь,

оглядываясь через плечо, а Хуан притворялся, что не может её догнать. Внезапно он схватил её, и они проникли друг в друга взглядом. Наконец он сказал:

— А ведь я поборю тебя, девушка.

— Нет, не поборешь.

Они долго боролись в шутку — Симона была ловкая и сильная, — пока не упали в люцерну. И поле своим немолчным шелестом, своими зрелыми плодами и жёлтыми стеблями укрыло радостный союз их бронзовых тел. Над ними стройной аркой спускался к земле ослепительно синий свод неба. Тело Симоны познало радость слияния с женщиной, а Хуан, не мало девушек ласкавший в полях и под навесами, внезапно ощутил то ликованье плоти, которое заставляет мужчину из тысячи женщин выбирать одну. Спускался вечер, и в последних лучах солнца чётко вырисовывались бронзовые тела и стебли кукурузы. Тень горы Пеанья удлинялась, пока не поглотила всё поле. Работа была окончена. Сборщики урожая вернулись в деревню. Кауро был полон доверху, и горы стручков поднимались к небу.

Снова заиграла арфа. Послышался голос певца. Все были счастливы, не пытаясь даже понять почему; каждый познавал правду жизни, утверждая свою власть над землёй — на благо всех, и над быстротечной жизнью — во имя труда и отдыха.

Пора было согнать скот с гор, чтобы пустить его на свежее жнивье, а кобыл поставить на молотьбу. Адриан Сантос, старший сын Амаро, едва дождался этого дня. Родители произвели Адриана на свет, сами будучи почти совсем ещё детьми, и у него было четыре брата-погодка, но вот на днях родители объявили ему, что он уже взрослый мужчина. Хотя ему было только одиннадцать лет, но он хорошо держался в седле и накидывал аркан без промаха. Загон скота был для него боевым крещением.

Пятьдесят сильных молодых индейцев пришли к Росендо выслушать его приказания. Старшина с помощниками должны были разделить молодых загонщиков на группы, а те — обшарить каждый уголок общинной земли, так чтобы ни одна корова, ни одна лошадь, ни один осёл не могли от них укрыться. Адриан Сантос чувствовал себя несчастным — он не был включён в число избранных. Внушительный голос старшины выкликал имена:

— Кайо Сулья.

- Здесь!
- Хуан Медрано.
- Здесь!
- Амадео Ильяс.
- Здесь!
- Антонио Уилька.
- Здесь!

Вызвав десять — пятнадцать человек, Росендо сказал:

— Вы пойдёте по склону Норпы.

Затем он назначил группу для ущелья Руми с прилегающими к нему лощинами, для горы Пеаньи, для местности, где протекает ручей Ломбрис, для долины реки Окрос. Одни загонщики были конные, другие — пешие, потому что не все были хорошими наездниками, да и лошадей на всех не хватало.

Последними Росендо вызвал тех, кому предстояло отправиться в долину Норпы, сплошь заросшую густым лесом, — настоящее испытание для всадников. Казалось, все надежды Адриана разлетелись в прах. Его имя не было названо. Но в последнюю минуту Росендо сказал, обращаясь к группе юношей:

— А мальчик Адриан Сантос отправится с вами.

Он бросил это мимоходом, словно хотел сказать: «Это так, между прочим». Но не все ли равно!

— Ох, таита!

Адриан готов был задушить старика в объятиях, но резким движением руки Росендо остановил его, и он замер, получив свой первый урок индейской сдержанности.

В эту ночь Адриан не мог унуть от нетерпения; услышав голоса на скотном дворе и ржанье лошадей, он выбежал из дома и увидел, что вся деревня собралась на загон скота. Женщины готовили пищу, освещённые пламенем костров, а мужчины седлали лошадей, скатывали арканы и, наспех поев, садились на лошадей. Повсюду слышались толки о скоте да названия пастбищ. Росендо с помощниками тоже был здесь, и Артидоро Отейса, с арканом, перекинутым через плечо, велел Адриану оседлать лошадь Руано. Ночь была ясная, и в небе висела ущербная луна.

Отейса и Адриан пустили лошадей в галоп; на разветвлении дороги они должны были расстаться, и Отейса предостерег юношу: |

— Смотри, не заблудись в Иньяне. Одна из дорог ведёт в Уйюми. Не сбейся с пути.

— Нет, нет, я найду дорогу, — уверенно отвечал Адриан, подхлестывая Руано.

И он поскакал дальше по тропе, которая вилась у подножья Пеаньи. Он пересёк ложе высохшего ручья, проехал через пролом в ограде и выехал на склон Такуаль. Ветер развевал его пончо.

Время от времени с разных сторон доносились свист и крики загонщиков, спешивших на пастбища и перекликавшихся друг с другом с холма на холм. Земля, тропинки и сухая трава казались совсем жёлтыми в лунном свете.

Адриан поехал по дороге, которая пролегла по склону холма, покрытого глыбами камней, и выехал около Пьедрас Гордас. Огромная, массивная группа скал закрывала небо и отбрасывала густую тень. Адриан не без тревоги вспомнил всевозможные рассказы о таинственных сборищах привидений и чертей, якобы избравших местом своих встреч тёмное ущелье между этими скалами. Он мог бы объехать их, но то был длинный путь, а все загонщики, верно, уже собрались в Норпе. Поэтому он подхлестнул Руано, и лошадь галопом понеслась по тёмному ущелью, мрак которого кое-где прорезывали бледные полосы мерцающего света, а тишину нарушал лишь громкий стук копыт и шорох катящихся камней. Он скакал не останавливаясь на на минуту, пока не достиг отвесного, как стена, пика Иньяна. Тропинка вилась по краю пропасти и, спускаясь с одного выступа на другой, становилась всё уже и уже, — здесь уже нельзя было скакать во весь опор. Адриан не сошёл с лошади, и ему казалось, что он совершает настоящий подвиг. У подножья скалы он въехал в лесную чащу и тут обнаружил, что ночью все дороги, как две капли воды, похожи одна на другую, и он, возможно, едет как раз по той, на которую Отейса не велел ему сворачивать. А черт! Он повернул обратно и предоставил выбор дороги Руано, и тот не опеша затрусил по правильному пути. Здесь им встретила ещё одна каменная ограда; ворота были открыты.

Дальше за оградой тропинки разветвлялись, дробились, снова сходились, извиваясь между кустарником и деревьями и образуя паутину дорог, проложенных копытами животных. Но Руано знал дорогу, и Адриан, убедившись, какая это умная лошадка, сразу проникся к ней симпатией. Луна зашла, и в огустившемся мраке путеводной звездой белела узкая лента ручья, журчавшего с краю тропинки.

Но уже занималась заря, и вершины далёких гор начинали выступать из мрака: это были горы на противоположном берегу реки Окрос, в местности, принадлежавшей соседним ранчо. Когда на посветлевшем горизонте отчётливо вырисовались цепи гор, Адриано достиг подножья Норпы. Все загонщики, назначенные сюда Росендо, были уже в сборе и, спешившись, стояли возле своих косматых лошадок. Некоторые сняли с лошадей уздечки, и лошади пощипывали сухую, колючую траву. Большие лохматые собаки растянулись у ног хозяев.

Адриан подъехал к загонщикам, и они равнодушно приветствовали его; никто не спросил, не заблудился ли он в чаще Иньяна и как спустился он с утёса — верхом или вёл лошадь под уздцы; и даже о дьявольском ущельи Пьедрас Гордас хоть бы кто словом обмолвился. Так Адриан получил второй урок индейской сдержанности.

— Все в сборе? — спросил Антонио Уилька, вожак группы.

— Все, кроме Дамиана.

— Он догонит нас. Поехали!

Всех загонщиков было пятнадцать человек вместе с вожакom. Они скинули пончо, расстелив их как попону, поверх седел, и рубашки их белели в утреннем тумане. Антонио торопливо отдавал распоряжения. Каблуками загонщики горячили лошадей, и те выгибали шеи, готовясь рвануться вперёд.

— Ты, Роберто, отправляйся к Аяпате, и, как только встретишь Дамиана, бери его себе на подмогу.

— Идёт.

Роберто ослабил поводья своей пышногривой серой кобылы и пустил её в галоп. Он уже был далеко, когда Артемио Чауки крикнул ему вслед:

— Роберто! Назад... назад!

Резко натянув поводья, Роберто поднял лошадь на дыбы и повернул обратно.

— Что-то я не пойму, как это ты собираешься загонять скотину?

— А что?

— Да ведь у тебя только одна шпора, значит твоя кобыла всё время будет скакать боком.

Все ребята, не исключая и самого Роберто, расхохотались дружно и весело, и смех, раскатившись в горах, словно ударами арапника подстегнул серую кобылу, уже снова скакавшую во весь опор по направлению к Аяпате.

Долина была покрыта паутиной арабисков и колючих уньегатосов, поэтому ехать здесь нужно было осторожно. У некоторых из загонщиков на ногах были сапоги из оленьей кожи.

— Ну, хватит дурачиться, — с притворной строгостью заявил Антоню.— Вы, втроём, отправляйтесь к Шанго; вы — на Пуквию; а вы — дальше по склону. Я поеду в ту сторону, и мы сгоним их всех на луг к Норпе.

Вскоре все загонщики и собаки рассыпались по широким, покрытым зарослями склонам горы и принялись сгонять скот в долину. Коровы редко выходили из лощин, — они стрелой пересекали извилистые горные тропы и скрывались в чаще. Выгнать их оттуда было нелегко. Они норовили снова разбежаться кто куда, а загонщики вместе с собаками должны были скакать стремглав вперёд, чтобы опередить их и опrezать им путь. Там, где чаща перемежалась кустарником, загонщики накидывали аркан на рога наиболее упрямых. После этого одни уводили пленниц, а другие гнали остальной скот к условленному месту.

Когда солнце поднялось над вершинами гор и заблестело на широких склонах Норпы, в долине собралось уже довольно большое стадо; животные с мычанием сбегались сюда отовсюду, словно из-под земли вырастая то тут, то там на склонах гор.

— Сюда... сюда... сюда! — кричали пастухи, и в ответ им эхом откликались скалы.

Лошади совсем не паслись на Норпе, так как летом трава на пастбищах высыхала, и только коровы могли питаться кактусами и сухим кустарником.

Загон скота продолжался весь день до позднего вечера. Некоторые коровы старались укрыться в густых тростниковых зарослях, куда не легко пробраться человеку и даже собаке. Тогда загонщикам приходилось слезать с лошадей и пускаться в ход пращи или продирааться сквозь заросли и ударами палки выгонять оттуда упрямых.

Внезапно на склоне Аяпаты появился коварный враг — чёрный медведь, преследуемый собаками. Все замерли, наблюдая за ним; число преследователей всё увеличивалось, собаки сбегались со всех сторон. Шесть лохматых собак с лаем прыгали вокруг медведя, а тот — спокойный, лукавый — неторопливо шествовал вперёд, переваливаясь с лапы на лапу, но видно было, что он всё время на-чеку.

— Жаль, что я не захватил с собой ружья, — заметил один из ребят. — Так всегда бывает — только оставишь

ружьё дома, непременно попадётся такой вот дьявол. Нельзя же вечно таскать ружьё с собой, а оставлять, как видно, тоже нельзя. Как тут быть?

Хуан Медрано тоже вспомнил о своём старом «пибоди».

Медведь уходил, собаки гнали его, держась на некотором расстоянии. Одна подскочила слишком близко, и медведь ударил её лапой по голове; коротко взвизгнув, она покатила на землю и больше не встала. Остальные собаки ещё яростней атаковали медведя, но проявляли теперь большую осторожность. Они с лаем прыгали вокруг него, порой вырывались вперед, но всё же не решались его укусить, а отскакивали обратно, воя от ярости и страха. Медведь подошёл к краю обрыва и начал медленно спускаться по отвесным красноватым скалам.

Это дало собакам благовидный предлог к отступлению, так как естественные препятствия были для них непреодолимы. Одна за другой они отказались от преследования, и вскоре одинокая неповоротливая туша скрылась за кактусами и ачупалласами.

Загонщики возобновили работу. К полудню, когда солнце начало сильно припекать, огромное серое пространство долины было уже почти заполнено скотом. Часть коров укрылась в тени арабискос. Оставалось только загнать самых неисправимых бродяг и ещё раз обшарить все закоулки. В болотистых тростниковых зарослях душистые черимойи были покрыты цветами и плодами. Добраться до них было нетрудно, и ребята немного утолили голод. Откуда-то издали доносились крики других пастухов, гнавших ослов по долине реки Окрос. Вот у кого была жаркая работа.

То одна, то другая корова, спускаясь по склону горы, старалась свернуть в сторону, спрятаться в дальнем ущельи. Если бы им удалось туда забраться, выгнать их было бы нелегко. Поэтому Адриан, а с ним ещё несколько парней поскакали наперерез коровам, чтобы погнать их обратно. Адриан выбрал узкую скалистую тропинку, взбегавшую вверх по склону горы, и целый каскад мелких камней посыпался с кручи из-под копыт его лошади. Один камень, круглый и большой, как черимойя, летел вниз, прыгая со скалы на скалу.

— Берегись!

Камень со свистом пролетел над головой лошади, на которой скакал Кайо.

Коровы пустились бежать, загонщики устремились за

ними. Адриан низко пригнулся к седлу, стараясь полями своей соломенной шляпы защитить лицо от ударов колючих веток.

— Берегись! Берегись!

Опять камни? Адриан поднял голову и в одну секунду понял, в чём дело. Его лошадь скакала прямо на гору огромных арабисов, и Адриан неминуемо разможил бы себе череп об их толстые ветви. Нечего было и думать спрыгнуть с седла на узкой тропинке, пролежавшей среди густых зарослей уньегатосов или осадить лошадь на полном скаку. Адриан приподнялся в седле, ухватился за первый попавшийся толстый сук и повис. Лошадь поскакала дальше, а юноша так и остался висеть, словно обезьяна, уцепившись за сук. Издали доносился смех ребят, которые опередили коров и гнали их теперь обратно; Адриан не торопясь слез с дерева, стараясь сделать это как можно ловчее. Его лошадь стояла поодаль.

Большое огненное солнце спускалось за далекую цепь гор, когда пятнадцать загонщиков съехались в долину, гоня перед собой последних коров.

— Надо загнать их в ущелье, чтобы они ночью не разбежались, — сказал Антонио.

Они согнали стадо в широкую расщелину между скалами и затем разделились на две группы, чтобы стеречь с двух сторон. Из седельных мешков появились тыквенные фляги, сушёное мясо, лепёшки и глиняные горшочки. Горшочки поставили на камни, между которыми разложили костры; огни ярко запылали во мраке, тёмным пологом, нависшем над ущельем. Поодаль лошади ющипывали листья с деревьев, а собаки настороженно следили за коровами, которые беспокойно бродили взад и вперёд в глубине ущелья и с мычаньем кидались друг на друга. Временами то одна, то другая корова выбегала к краю ущелья посмотреть, нельзя ли как-нибудь отсюда вырваться, но загонщики и собаки тотчас гнали её обратно в стадо, одни — метко пущенным камнем, другие — сердитым лаем.

Под мычанье коров и ржанье лошадей загонщики ели густую похлёбку с кусочками сушеного мяса, сваренную тут же на костре, и печёную кукурузу, которую привезли из дому. Над кольцом костров поднимался заманчивый запах жареных цыплят и сочный аромат картофеля, тушёного с кусочками кролика, — чувствовалось, что заботливая женская рука потрудилась тут. Потом за-

гонщики приготовили коку и распределили между собой ночные дежурства. Пончо и подседельники расстелили на земле. Бледный свет, предвестник восходившей луны, разлился в прозрачном воздухе. Усталость сковала отяжелевшие тела. Когда первый из дежурных попросил Амадео Ильяса рассказать сказку, он не получал ответа: Амадео спал.

Наутро погнали стадо назад в деревню. Большинство коров отказалось от борьбы и послушно бежало вперёд, и лишь отдельные дикарки попрежнему доставляли немало хлопот. Но была минута, когда, казалось, всё стадо готово было последовать их дурному примеру. Солнце уже садилось, когда животные, блестя потными спинами, стуча копытами и поднимая тучи пыли, появились на главной улице деревни. Поселяне высыпали из домов полюбоваться стадом, пока его не загнали на скотный двор. Пёстрая движущаяся масса заполнила загон. Загоны для кобыл и ослов также были переполнены. Росендо Маки и помощники его, стоя на широкой каменной ограде, обсуждали, хорошо ли проделана работа. Вся ограда была обсыпана зеваками. Дети кричали, а девушки не столько любовались скотом, сколько заглядывались на молодых загонщиков, которые, казалось, вернулись домой возмужавшими; лица их огрубели от росы и солнца, и голоса звучали хрипло.

Пришли пастухи из Умая и жители Мунчи, получившие от Росендо извещение. Они отбирали свою скотину и угоняли её домой, чтобы пустить на жнивье, покормить солью, переметить или заколоть... Жители Мунчи платили по одному солю в год за каждое животное, пасшееся на общинных землях. Но дон Альваро Аменабар не желал платить ни одного центаво, полагая, что это дело общины — не пускать на свои пастбища чужой скот. Впрочем, на своём ранчо он отнюдь не придерживался этого правила. Всякий раз как его пастухи ловили чужую скотину на пастбищах Умая, они загоняли её, и владелец, чтобы получить животное обратно, вынужден был платить пять солей — годовую плату, взимаемую доном Альваро за каждое животное, пасшееся на его земле. У Росендо Маки всё это никак не укладывалось в голове, и не только потому, что казалось ему бесчестным, — он не мог понять, что ещё нужно человеку, владевшему половиной всех земель в провинции, — ведь они и без того лежат необработанные. «Сухие пузыри» уплатили старшине сто восемьдесят солей за своих коров, ослов и лошадей, а

пастухи Умая, тщательно отобрав свою скотину — около пятисот голов, — угнали её, не заплатив ни цента; так уж повелось из года в год.

Порфирио Медрано, стоявший рядом с Росендо, заметил: — Богач на всём сумеет нажиться, а деньги хоть и много весят, а всё норовят залететь повыше.

В ответ старшина кивнул головой и произнёс одно из тех своих изречений, которые уже давно прославили его:

— Да, они либо забираются высоко, либо падают на землю, чтобы бедняк пресмыкался и ползал за ними.

Загоны заметно опустели; кроме рабочей скотины, там осталось всего-навсего тридцать коров, двадцать кобыл и примерно столько же ослиц. Это было племенное стадо общины.

По сравнению с тем стадом, которое пригнали с гор, это было немного. Но пусть для сегодняшних нужд стадо было маловато, оно много сулило в будущем. Росендо сказал:

— Мы не станем сейчас продавать скот. Нам нужны быки для работы, а коровы на племя. Нам нужна сотня голов. Пусть даже часть из них погибнет — одних медведи задерут, других украдут, — всё же со временем мы сможем продавать двадцать голов в год, и у нас ещё хватит скотины и для работы, и на племя. То же самое и с другим скотом. Тогда у общины будут деньги, и мы откроем школу... Лучших учеников пошлём в город учиться... Они станут докторами, инженерами, юристами, профессорами... Видит бог, нам, индейцам, нужны люди, которые могли бы обучать нас, лечить, блюсти наши интересы. Кто может нам помешать? Так почему же нам этого не сделать? И сделаем — не сомневайтесь! Другие общины уже давно опередили нас. Мне-то уж не придётся этого увидеть, я слишком стар... а вот вы, помощники, вы увидите. Хорошая будет тогда жизнь — а, как вы думаете? Верно я говорю? Нужно всем рассказать об этом. Это все поймут.

Помощники дружно поддержали Росендо, и Гойо Аука произнёс своё «Так, так, таита» ещё благоговейней, чем всегда.

Аугусто Маки не слышал этих разговоров и держал замыслов. Он проскакал мимо на своей гнедой кобыле, со свистом распустив аркан над убегающей от него лошадкой. Он накинул аркан и сильным рывком пригвоздил животное к месту. Маргича следила за ним, сидя на ограде. Она забыла и думать о Деметрио.

В каменной ограде, окружавшей кукурузное поле, открыли ворота и погнали туда скот. Коровы, лошади, ослы, оттирая друг друга, принялись жадно шипать жнивье. Потом они понемногу успокоились и лишь временами выражали своё удовольствие коротким мычаньем и фырканьем.

Солнце заклосилось пшеницей, и пшеницу собрали в снопы. Это была жатва. Весёлая, светлая жатва на тёмном лице земли. Серпы сняли со стрех, где им уже прискучило висеть, и они замелькали на пшеничном поле. Они со свистом резали пшеницу, упругие стебли гнулись, и колосья покачивались и дрожали, когда их несли и складывали в стога для молотбы. Люди исчезали под своей опромной ношей, и казалось, что снопы двигаются сами собой. Но из-за снопов доносились шутки и смех. На гумне гора снопов поднималась всё выше и выше; жнецы, сбросив свою ношу и наскоро глотнув прохладной чичи, снова присоединялись к тем, кто подрезал золотистую стену, которая, казалось, не падала, а отступала. Наконец всю пшеницу снесли на гумно. Высокая круглая золотая гора была как бы живым символом чистой веры этих людей, целый год склонявшихся над землёй в трудах, уподобляющих человека богу.

На другой день началась молотба. Снопы сложили в большие стога у въезда в деревню. Несколько индейцев взобрались на груду снопов и деревянными вилами сбрасывали верхний слой вниз, на твёрдый глиняный пол гумна. Потом привели кобыл, пасшихся на жнивье, и все поселяне — мужчины, женщины и дети — встали в круг, взявшись за канат, сплетённый из арканов, и образовали живую многоцветную стену. Молотильщики на сильных лошадях, разгорячённые хорошей порцией чичи, один за другим перескакивали верхом через канат. Молотба началась. Крики, стук копыт, сыплющееся зерно, изломанные пустые колосья... И над всем этим солнце — солнце жатвы. Солнце плавилось золотом на горах зерна, рассыпалось блёстками у ног людей, державших канат. Тыквенные фляги, наполненные чичой, сверкали на солнце, переходя из рук в руки, чтобы каждый мог хлебнуть освежающего напитка. Всадники покрикивали, лошади бежали, солнце, горы, сердца — всё принимало участие в молотбе. Яркие краски, крики, сыплющееся зерно и чича веселили сердца.

Один из молотильщиков, тот, у которого был самый

звонкий голос, издал протяжный музыкальный возглас на высокой ноте: Уууааай, а остальные на разные голоса вторили ему тоном ниже: Уаай... Уоой... Уосй... Уаай... Уооой, и голоса их, сливаясь в общем хоре, звонко отдавались в горах. Время от времени кто-нибудь из всадников выходил из круга, и ему на смену вступал другой, со свежими силами и крепкой глоткой.

Один из них, пьяный от счастья и водки, сошёл с коня и стал поодаль, неблюдая за молотьбой. Его сынишка подошёл к нему и спросил:

— Отец, почему они так кричат, словно один зовёт другого, а тот ему отвечает?

— Так у нас поют.

Да, те, кого природа не наградила голосом, чтобы петь настоящие песни, или даром игры на музыкальных инструментах, — те раз в году могут слить свои голоса в мощном, ликующем гимне. Это гимн солнцу, которое наливает колосья пшеницы и помогает людям в обмолоте. Это гимн плоду, ибо он есть начало и конец, зерно и семя, и залог простого чуда превращения. Это гимн созидательной силе земли, и дождю, и неутомимым рукам и вере сеятеля, оплодотворяющего землю под божественной эгидой солнца. Гимн могучим силам, раздирающим солому и мякину, чтобы дать выход изобильным сокам жизни. Гимн праведной пище, священной пище людей, которая подобна крови в их жилах.

Груда снопов растаяла, и на полу гумна был сделан последний круг. Лошадей увели, и мужчины вилами набросали на середину гумна соломы, а женщины большими метлами смели все зёрнышки до единого. Невысокая сыпучая гора, на верхушке которой догорали последние лучи заката, свидетельствовала о том, что труд окончен. Канат уже валялся на земле, многоцветный круг распался, и голоса замерли в отдалении. И когда сгущавшиеся ночные тени уже готовились окутать всё дымкой печали, слышались вибрирующие звуки арфы и жужжанье деревянных скрипок, а вскоре к ним присоединились напевы флейт и пронзительные голоса антаров. Бубны гремели, и барабан глухо гудел. Побеляне ели и пили. И ещё долго во мраке, освещённом вначале лишь мерцаньем звёзд, а потом бледным светом луны, продолжала звучать музыка; потом её заглушили весёлые голоса плясунов. Многочисленные пары двигались в ритмичном диалоге тел, сближаясь и отдаляясь под размеренные такты песни.

Кукурузу ободрали и пшеницу провеяли. Веяли долго, не спеша, да и как могло быть иначе, если помощником в этом деле был лёгкий, ленивый ветер.

-- Ветер, ветер, ветер... — сладко вздыхали женщины, а мужчины заклинали его особым свистом, который начинался бесконечными модуляциями и кончался на тонкой жужжащей ноте, похожей на свист пули.

Время от времени томный ветер шире расправлял свои крылья, и тогда вилы подкидывали зерно на вершину сыпучей горы: зерно ссыпалось вниз, а ветер подхватывал и уносил солому. Когда тяжёлая солома была вся отвеяна, вилы сменились деревянными лопатами. Гора росла и росла, ливень зерна обрушивался на неё сверху. В стороне ветер намёл груду соломы.

По ночам крестьяне жгли костры из отвеянной соломы и жарили на них тыкву. Они весело переговаривались, поасывая сладкие ломтики, а потом с наслаждением жевали коку и слушали сказку, которую рассказывал кто-нибудь из присутствующих. Как-то раз попросили Амадео Ильяса, и он рассказал сказку «Справедливый судья». Он рассказывал её однажды в городе, и какой-то господин, услышав её, заметил, что в этой сказке много мудрости. Амадео это никогда не приходило в голову, быть может потому, что он не вполне понимал, что такое мудрость; он рассказывал сказку просто потому, что она ему нравилась. Этой сказке выучила его мать — теперь она уже лежала в могиле, — а сама она услышала её от знаменитого сказочника, известного под именем Сказочного Человека.

Амадео Ильяс был красивый парень; у него была гладкая кожа, и он всегда носил тёмнокрасные панчо в синюю полоску — их ткала ему жена, такая же молодая, как и он. За ним уже утвердилась слава хорошего рассказчика, а кое-кто из поселян в своём увлечении немного хватили даже через край — объявили его лучшим рассказчиком, чем все прежние сказочники Руми. Но, так или иначе, он всегда собирал много слушателей. Вот какую сказку рассказал он на этот раз:

Жила-была на свете жаба, которая очень гордилась своим голосом и все ночи напролёт пела: ток, ток, ток... И жил по соседству сверчок, который гордился своим полусом ещё того лучше и не только почти, но и целый день стрекотал: чир, чир, чир.

Как-то раз повстречались они друг с другом, и жаба сказала сверчку:

— А мой голос лучше твоего.

— Нет, мой лучше, — ответил сверчок.

Тут они заспорили, и, казалось, их спору, не будет конца. Жаба сказала, что она поёт все ночи напролёт, а сверчок сказал, что он поёт и день и ночь. Жаба сказала, что её голос разносится повсюду, а сверчок сказал, что его голос слышен всегда. Принялись они петь наперебой: ток, ток, ток... чир, чир, чир... и никак не могли переспорить друг друга.

Тогда жаба сказала:

— Тут неподалеку, на берегу озера, живёт цапля. Пусть она шаю рассудит.

Сверчок согласился и сказал:

— Пусть.

Они поскакали к озеру и скакали до тех пор, пока не увидели цаплю. Цапля была серая, она стояла на одной ноге и смотрелась в воду.

— Цапля, ты умеешь петь? — кричал ей сверчок.

— Конечно, умею, — ответила цапля, глядя на них сверху вниз.

— Ну-ка спой, а мы послушаем. Мы хотим знать, можешь ли ты быть судьёй в нашем споре, — сказала жаба.

Но у цапли было всё на уме, и она сказала:

— А вы кто такие, чтобы требовать у меня доказательств? Моё пение слишком искусно для вас, жалкие пискуньи. Если вы хотите узнать моё мнение, можете обратиться ко мне; а если нет — ступайте своей дорогой. — И со скучающим видом она вытянула вторую ногу.

— Она права, — сказала жаба. — Как можем мы судить нашего судью?

— Цапля, — сказал сверчок, — мы хотим только, чтобы ты сказала нам, кто из нас лучше поёт.

— Тогда подойдите поближе, — сказала цапля, — чтобы мне вас лучше слышать.

Жаба сказала сверчку:

— Стоит ли нам подходить к ней близко, может быть, лучше бросить всю эту затею?

Но сверчок от тщеславия забыл всё на свете, он не сомневался в том, что выйдет победителем, а потому сказал спешиво:

— Ну, ещё бы! Ты ведь знаешь, что твой голос хуже моего, вот ты уже и на попятный.

Жаба рассердилась и сказала:

— Ах вот как! Ну, сейчас ты услышишь, что такое настоящее пение. — И она поскакала со всех ног прямо к цапле, а сверчок запрыгал за ней. Цапля обернулась к ним и сказала жабе:

— Ну-ка, спой ты сначала.

Жаба начала петь, и так была она уверена в своей победе, что в упоении не замечала ничего вокруг. А цапля тем временем проглотила сверчка. Когда жаба кончила петь, цапля сказала:

— Ну, теперь вы можете разрешить свой спор у меня в зобу, — и с этими словами проглотила и жабу. Вслед затем, очень довольная собой, она подогнула одну ногу и, как ни в чём не бывало, снова стала глядеться в воду.

Все разошлись по домам, и только Фабиан Кайпо с женой остались у груды пшеницы последить, чтобы её не затоптала скотина. На пшеничном поле тоже раскрыли ворота, и скот днём и ночью свободно бродил по полям и по деревне. Люди и животные жили здесь в самой тесной близости.

В одну из ночей Маргича и Аугусто сделали открытие, что на большом стоге соломы очень мягко, и не торопились возвращаться домой. Уж очень хороша была ночь. Большая полная луна, медлительная и круглая, освещала мирные склоны холмов, спящую деревню, высокие горы, одинокие онежные вершины на горизонте. В ветвях бузины запела птичка. Рядом со стогом стояли две лошади; кобыла положила голову на шею коня. Ласковый полумрак ночи соединил Фабиана с его женой на их случайном соломенном ложе, и Аугусто молча притянул к себе Маргичу; она подчинилась, радостно отдав ему своё молодое тело, пронизанное лунным светом.

Урожай поделили между поселянами так, чтобы каждому хватило на его нужды, а остаток убрали для продажи.

Кто-то просыпал зерно на площади, и Росендо Маки раскричался:

— Соберите пшеницу, сейчас же соберите её! Уж лучше бы вы деньги бросали на ветер, чем это зерно, — ведь это божий дар, наша пища, благословенный хлеб наш!

Так ещё раз кукуруза и пшеница были сняты с земли

и убраны в житницу. Они были жизнью общины. Они были историей Руми. Для Росендо Маки именно из этих событий складывалась история его народа, потому что для него жизнь воплощалась в земле, а не в воспоминаниях людей. И эта история была богата событиями. А события повторялись пятьдесят, сто, двести лет подряд — о многих он знал лишь понаслышке, — и жизнь общины приобрела мирный и крепкий уклад и получила свой смысл в возделывании земли. Пахота, посев, уборка урожая — вот что было истинной основой их существования. Пшеница и кукуруза — «благословенная пища» — стали для них символами. И так же как другие люди строят здание своих надежд на знатности, богатстве, положении, талантах, — так поселяне Руми возлагали все свои надежды на землю и её плоды. И для них земля и её плоды были прежде всего символом братской любви.

ГЛАВА 6

БЕНИТО КАСТРО

Он ехал на юг, навстречу ветру, навстречу своей судьбе. С ветром они были старые друзья; ветер дул крепко, лаская его обожжённую солнцем кожу. Судьба же вела себя, как норовистая лошадь, и он, покинув дом, ехал все вперёд и вперёд, в надежде, что, быть может, сумеет её укротить. Возвращение домой сулило гибель. И всё же мысль о доме манила его. Особенно теперь, когда уже поспела пшеница и зерно ждало обмолота. Поселяне с весёлыми криками, с плясками выйдут на гумна. В Руми, верну, вспоминают о нём; покончив с жатвой, собираются и толкуют о тех, кто далеко. И никто не знает, где он. Да, грустно думать об этом. Бенито Кастро чувствовал себя одиноким и покинутым, и на бесконечной дороге только лошадь утешала его в этом одиночестве, — она ведь тоже была когда-то членом их общины.

— Такая уж наша судьба. Потерпи, дружок!

Абран Маки выучил его объезжать лошадей. Он вспомнил Аугусто — вот кому это дело тоже пришлось по душе. Когда Бенито уезжал, Аугусто уже умел держаться в седле так, чтобы лошадь не могла его сбросить. Хорошо иметь такую лошадку, как Лусеро. Лусеро была белая, без пятнышка, спокойная лошадка, и притом неглупая. Он

назвал её так в честь утренней звезды. Когда Бенито трепал лошадь по шее, она тёрлась головой о его плечо. Они проделали вдвоём не один десяток километров, а долгий путь сближает. Они пересекли, не останавливаясь, одну за другой несколько провинций, пока не достигли подножия Ямачуко.

Бенито Кастро нанялся пастухом на ранчо. Это была старая песня, старая исхоженная дорожка, которая вела в трясины нищеты, но сейчас ему было всё равно. Нужно было что-то делать — вот он и делал. Приближалось время карнавала, и работники ранчо готовились его отпраздновать. Утром поставили дерево, ушше, увешали его фруктами — апельсинами, бананами, манго, яблоками мэми и различными красивыми предметами: цветными платками, зеркальцами, бутылками с флоридской водой; подвесили также несколько ножей и свистулук. Бутылки привязали к стволу так, чтобы их поддерживали ветви. Парни и девушки, взявшись за руки, составили хоровод и принялись ходить вокруг дерева. Плоды на дереве легонько покачивались, и все предметы так и сверкали на солнце. Это было очень красивое дерево. Один парень, с зелёным флагом в руке, стоял у самого ствола; он тоже начал ходить вокруг дерева, но в обратную сторону, и громко затянул шутливую песенку:

Вот настал карнавал —
Гузэй силулято!
Праздник всех бедняков
И голодных, как я!

Это был танец под названием силулю. После каждого куплета вступал хор:

И раз, и два,
И три — вот и мы, вот и мы!
Четыре, пять
И шесть — поворачивай назад!

При этих словах запедало поворачивал обратно, а за ним весь хоровод. Все веселились от души. Запедало повторял снова и снова:

А теперь я вам скажу, я скажу вам, я скажу!
А теперь я вам скажу, я скажу вам, я скажу!

Плясуны в хороводе замирали, радостные, возбуждённые, ожидая, чтобы он крикнул:

— Выбирайте себе пару!

Тогда хоровод рассыпался на пары, и так как число плясунов было нечётным, кто-нибудь всегда оставался без пары. Оставшийся должен был взять топор, подойти к дереву и обрубить несколько веток. Первым без пары оказался Бенито, у которого ещё не было подружки; но когда он раза два ударил топором по дереву, какая-то девушка, довольно миловидная, хотя и не из самых молоденьких, подошла к нему.

— Я буду твоей парой, дон Бенито, и тебе не придётся больше оставаться одному...

Снова закружился хоровод, снова зазвучала песня:

Я люблю того, кто храбр —
Гуэйэй силулито!
Кто с большим ножом в руке —
Силуло!
Заберётся на гумно —
Гуэйэй силулито!
Крикнет: «Смерть индюкам!»
Силуло!

Все смеялись и спорили, долго ли простоит дерево. Многие, шутки ради, оставляли своих партнёров и с разбега толкали дерево. Кто его повалит — получает право ставить дерево на будущий год. В конце концов дерево упало, и все со смехом, с криками, толкаясь и падая, бросились на него. Бенито был сильный парень, и ему удалось раздобыть бутылку флоридской воды, два цветных платка и нож. Он отдал всё, кроме ножа, своей партнёрше, которую звали Хулиана. Хулиана сообщила ему, что она незамужем и живёт со своей замужней сестрой, а он сказал ей, что он тоже один-одинёшенек и попал сюда в поисках работы.

— Бедняжка! Так у тебя никого нет? И позаботиться о тебе никому? И ты всё-то, всё должен делать сам? — сказала девушка.

Всё шло очень славно, а под вечер ожидалась петушиные скачки. Устроитель скачек объявил приз в тридцать солей, и желающих принять участие в состязании и просто зрителей набралось немало. Работники ранчо со своими семьями растянулись лентой перед домом устроителя потехи. Между двумя высокими столбами натянули канат, укрепленный на блоке, а посредине к нему подвесили небольшую крепкую корзинку, сплетённую из гибких веток

и покрытую туго натянутым плотным холстом. С края из-под холста выглядывала голова петуха. У столба с блоком стоял парень — на его обязанности лежало следить за положением корзины. Устроитель состязания подошёл к толпе зрителей и крикнул:

— В этой корзине тридцать монет. Кто хочет попытаться счастья? Скакать нужно вокруг холма, вон до тех эвкалиптов...

Тут выехали вперёд десять всадников; похваляясь резвостью своих лошадей, они старались запугать оди другого. Бенито подумал: «Тридцать солей! Что ж, испытанием моего Лусеро». Парень у столба дёрнул за канат, корзина покачнулась, и монеты соблазнительно зазвенели. Петух время от времени испускал пронзительные крики. Зрители громогласно заключали пари. Всадники горячили лошадей, скакали взад и вперёд, пробуя дорогу. Равнина вначале полого спускалась вниз; потом нужно было подняться по склону холма, обогнуть его у эвкалиптов и спуститься по другому склону к месту старта.

Но вот и хозяин ранчо с женой и дочерьми пришёл посмотреть на состязание. Одна из дочерей взглянула на Бенито, улыбнулась и сказала:

— А верно ты возьмёшь приз.

Бенито очень хотелось, чтобы она оказалась права, но сам он не вполне разделял её уверенность. Среди наездников был один метис, высокий парень на большой горячей рыжей лошади; он многозначительно поглядывал на парня, державшего канат. Наконец состязание началось. Всадники выстроились в указанном им месте, пустили лошадей в галоп и понеслись мимо растянувшихся лентой зрителей. Корзина висела так, что до неё можно было дотянуться, но как только кто-нибудь из всадников, приподнявшись в седле, готовился её схватить, парень у столба резко дергал за канат, и корзина подлетала вверх. Сначала, чтобы затянуть развлечение, он никому не давал схватить корзину. Затем спустил её чуть-чуть пониже. Всё же нужно было обладать проворством и метким глазом и точно рассчитать свои движения, чтобы схватить корзину на всём скаку. Крепкая ручка корзины была привязана к канату тонкой бечёвкой, которую нужно было оборвать. Всадники снова и снова проносились под канатом, копыта лошадей звонко цокали о твёрдую землю, петух взлетал вверх, монеты звенели, зрители кричали, и ставки увеличивались.

— Три соля за того, что на белой лошади!

— Идёт!

— Восемь на рыжую!

— Идёт!

Кое-кому из всадников удавалось дотронуться до корзины. Метису на рыжей лошади это удавалось чаще других. Как только он приближался к петуху, все принимались кричать:

— Давай!

Наконец он и в самом деле добрался до корзины. Он с налёта сорвал её с верёвки и поскакал дальше, а остальные устремились за ним. Двое всадников сразу отстали и тут же отказались от борьбы, но другие изо всех сил старались догнать рыжую лошадь. Спускаясь в ложину, метис потерял расстояние, потом снова наверх стал его и опять потерял, взбираясь на холм. Преследователи, поднимая тучи пыли, нагоняли его. Зрители кричали, хотя всадники не могли слышать их на таком расстоянии.

— Рыжий!

— Белый!

— Нажмай!

Метис вылетел из-за холма, но к нему подскочил всадник на вороной лошади и схватил корзину. Видно было, как они боролись на всём скаку, пока всадник на вороной не вылетел из седла; он упал и выпустил из рук корзину. В этой схватке метис на рыжей снова потерял преимущество, и остальные всадники, обогнув эвкалипты, почти настигли его, спускаясь по склону холма. Три лошади, скакавшие во весь опор, поскользнулись, и всадники вылетели из седла; все решили, что они здорово расшиблись, но они тотчас вскочили на ноги и устремились за своими лошадьми. Ещё несколько всадников, увидав, как сильно они отстали, вышли из состязания. Остались только метис на рыжей лошади, Бенито Кастро на белой и ещё один всадник на караковой. Под гору почти все лошади скачут с одинаковой скоростью, и белая лошадь поравнялась с рыжей. Они одновременно достигли подошвы холма; воспользовавшись этим, Бенито вырвался вперёд и схватил корзину. Метис бросил на него свержающий взгляд и бешено рванул корзину к себе. Оба были сильны, и каждый почувствовал, как напряглось у него всё тело. Они боролись, тяжёло дыша, со всей силы сжимая бока лошадей, и чуть не вываливались из седла, стараясь покрепче ухватиться за корзину. Лошади бежали голова в голову, но вдруг Бенито, внезапно рванув повод, повернул лошадь

вправо, и его соперник, потеряв равновесие, вылетел из седла. Он повис, уцепившись за корзину, но Бенито гнал лошадь вперёд, и метис вынужден был отпустить корзину, боясь, чтобы лошадь не протащила его по колючим кустарникам, росшим вдоль дороги. Единственный оставшийся у Бенито соперник подскочил к нему совсем близко, но не делал попыток завладеть корзиной, и Бенито Кастро торжественно промчался между столбов, приветствуемый громкими криками и рукоплесканиями. Голова петуха безжизненно свешивалась из корзины. Скачки удались на славу. Как водится, не обошлось без потасовки и падений, и зрители были довольны. Сам хозяин ранчо подошёл к победителю, дал ему денег и сказал:

— Такие руки я не прочь иметь у себя на ранчо.

Хулиана поднесла Бенито чичи, и потом они, окружённые любопытной толпой, сняли крышку с корзины. Там лежали тридцать новеньких солей и в придачу мёртвый петух.

Подскакали побеждённые участники состязания, и Бенито, бросив взгляд на метиса на рыжей лошади, тотчас понял, что борьба ещё не кончена. Метису был бледен, как мертвец, а глаза у него от ярости так налились кровью, что стали похожи на кровавые сгустки. Найти предлог для ссоры было легче лёгкого, так как вечером предстояли танцы. Бенито помнил, как Росендо сказал ему на прощанье:

— Если хочешь меня уважить, обещай мне одно: не ввязывайся в ссору.

Бенито обещал, а вот теперь его явно хотят втянуть в драку, и ещё неизвестно, чем эта драка кончится. Как знать, не был ли нож, что достался ему с дерева, дурным предзнаменованием? И снова станет он беглецом, хотя и нет за ним никакой вины. Ну, что бы там ни было, а Лусеро нужно было отдохнуть, и он отвёл его к своему бараку, расседлал и пустил на пастбище. Потом пошёл к Хулиане:

— Пойдём, мне надоело здесь.

Но она, женским инстинктом учуяв неладное, спросила:

— Ты что ж, струсил? Драки боишься?

Бенито был бы не прочь побить своего соперника у неё на глазах, но тут же рассудил, что глупо так рисковать из-за какой-то вздорной бабёнки. Когда стемнело, он оседлал Лусеро, и хотя мысль о том, что его, наверно, сочтут за труса, была ему тягостна, он всё же уехал. На юг, всё дальше и дальше...

Год за годом в его жизни не происходило никаких событий, если не считать переездов с места на место. И повсюду были плохие заработки. Уж он ли не старался найти что-нибудь получше. Но на всех ранчо было одно и то же: везде платили ровно столько, чтобы ты не подох с голоду, и нигде не платили так, чтобы ты мог жить. Иногда ему давали объезжать лошадь, и он получал двадцать солей. Но это случалось не часто, — хозяева ранчо видели в нём чужака и побаивались, что в один прекрасный день он удерёт вместе с лошадью.

В своих странствованиях он пересёк Анды в департаменте Ла Либертад; перед глазами его стояла бесконечная вереница пейзажей, а в сердце росла тупая боль, омрачавшая его жизнь. Случайно встреченные женщины дарили его мимолётной любовью на беззаботных гуляках во время деревенских ярмарок. Он плохо помнил их, зато он помнил долгий, трудный, тяжкий путь под знаком: убирайся подобру-поздорову. Они с Лусеро думали, что им уже известно всё о разных путях-дорогах, но вот пришлось ещё кой-чему поучиться.

Он помнил также маленький городок Мольепату, где все жители занимались гончарным ремеслом, потому что город был расположен в местности, которая славилась хорошей глиной. На городской площади и во дворах, на каждом свободном клочке земли, — всюду сохли на солнце глиняные кувшины, тарелки, миски и горшки всевозможных фасонов и размеров. Это был странный мир гладких, округлых форм. На пороге домиков сидели обитатели Мольепаты, погружённые в свою работу; перед каждым помещалось небольшое колесо и опрокинутая глыба чёрной глины. На окраине города готовые изделия обжигались, от чего получали красноватый оттенок. Потом их упаковывали в большие корзины, перекладывали соломой, и длинные караваны осликов тянулись со своим грузом в город. Он помнил ещё... да много разных пустяков...

Как-то раз случайно заехал он в знаменитую Уайлясскую долину в департаменте Анкаш. На одном краю долины высился Чёрный хребет с тёмными пиками и недрами, полными металла, на другом — Белый хребет, более величественный, увенчанный ослепительным покровом вечного снега и такой неприступный, что лишь в немногих узких горных проходах его ступала нога человека. Уараскан, как крепость, господствовал над всей долиной. Недавно американка мисс Пек ухитрилась взобраться на одну из его вершин,

после чего эта вершина получила наименование пика Пек. Вот такая женщина не хуже мужчины!

И между этих хребтов, такая широкая, что не окинешь взглядом, такая длинная, что не проедешь и в неделю, расстилалась Уайлясская долина. Здесь множество ущелий и холмов, ранчо и посёлков, городов — больших и маленьких — и индейцев. Природа здесь красива, а жизнь людей печальна. Индейцы говорили на кечуа, и лишь немногие по-испански. Все они работали на ранчо или у богатых горожан. Работа тут тяжелей, чем на севере, а плата ещё меньше. Но Бенито хотел работать. И он убирал сахарный тростник на одной плантации, пшеницу на другой и присматривал за лошадьми на третьей. Одно только было хорошо — его лошадка отъелась здесь на доброй люцерне.

Однажды с пастбища утнали стадо коров: тотчас схватили двоих индейцев, работавших на ранчо. Их посадили в свинной хлев, полный жидкой грязью и навоза, а ночью хозяин ранчо и пять пастухов привели их под навес. Бенито Кастро видел все из своей каморки рядом с навесом. Была светлая ночь, ярко горели огромные звёзды, но сердца людей были беспросветно черны. У каждого из них за поясом торчал револьвер, и они вытащили их и совали дула прямо в зубы перепутанным индейцам.

— Признавайтесь!

Индейцы едва могли вымолвить слово, дула револьверов мешали им пошевелить языком.

— Мы ходить в город, таита, мы не красть. Мы не был грязные воры.

Хозяин ранчо сказал одному из пастухов:

— Раз они не сознаются, давай сюда палки.

Пастух, грубый, толстый малый, с едва приметными глазками на заплывшем жиром лице, вытащил из кармана связку палок и сунул их одному из индейцев между пальцами. Помощник его держал индейца за другую руку.

— Дави!

Пастух обеими руками сдвинул индейцу руку, и тот завыл, завизжал, корчась от боли. Сама ночь, казалось, жалобно застонала в ответ. Наконец они отпустили его. Потом второй индеец, под наведённым на него дулом револьвера, протянул вперёд дрожащую руку, и его тоже подвергли пытке. Казалось, даже камни стонут от жалости, но мучители не смягчились.

— Ну, сознаетесь вы теперь? Признавайтесь, не то худо будет.

Где-то залаяли собаки. Хозяин ранчо сказал:

— Даю вам эту ночь и завтрашний день на размышление.

— Тапта, — твердили индейцы, — мы не был дома, мы ходил в город, продавал черепицу. Мы не крад.

Бенито слышал, как хозяин зарычал:

— Подумайте хорошенько, не сознаетесь — завтра же вас повешу.

Он ушёл, ругаясь и брызгая слюной от ярости, а пастухи отвели индейцев обратно в хлев, заперли дверь на засов и повесили тяжёлый замок. Когда их шаги стихли в отдалении, Бенито вышел из своей каморки и тихонько подкрался к двери хлева. Индейцы стонали и жаловались друг другу:

— Болит у тебя?

— Ещё бы, все пальцы раздуло.

— И у меня тоже!

— Вот беда! Продали черепицы на три соля, а теперь они повесят нас, как воров.

Бенито больше не раздумывал. Он отыскал железный прут и взломал замок. И ночь озарила своим сияньем путь троих беглецов — индейцев и Бенито Кастро.

И так, всё на юг и на юг, навстречу судьбе и ветру, мимо полей, где уже вновь зрела пшеница, навевая сладкие думы об их общине... И вот однажды Бенито Кастро приехал в местечко, называемое Пуэбло Либре. Он купил связку люцерны и, стоя на углу площади, кормил свою лошадку. Внезапно откуда-то издалека до него донеслись крики, которые приближались и звучали всё громче и громче. Наконец на одной из прилегавших к площади улиц показалась шумная, беспорядочная толпа.

— Кто это? — спросил Бенито стоявшего рядом с ним метиса.

— Пахузело и его сторонники... Вот уже месяц, как он здесь. Он хочет поднять народ на борьбу против несправедливости.

— Неплохая мысль, — сказал Бенито.

И, ведя лошадей на поводу, он направился к большой толпе, собравшейся перед ратушей. Подойдя ближе, он увидел тёмноволосого человека, лет тридцати, в тёмном поношенном костюме, но с галстуком, взбиравшегося на ящик, чтобы произнести речь. Человек выпрямился, огля-

делся по сторонам и, остановив взгляд на своих слушателях, оплошь метисах или индейцах в пёстрых пончо, заговорил:

— Друзья мои! Я надеюсь, вы простите меня за то, что я плохой оратор. Я хочу только высказать вам те чувства, которые переполняют моё сердце, когда я думаю об обездоленном; униженном народе — моём народе. Да, я сам — полуиндеец, полубелый. Ребёнком жил в Уайрапампе, в нескольких километрах отсюда; там я родился в убогой хижине. Отец мой был рудокоп, мать — швея.

Когда я подросток и начал кое-что понимать, первое, что поразило меня, была несправедливость, которую приходилось терпеть нищим и бесправным жителям моего родного города, хотя город этот и назывался Пуэбло Либре. В чём же причина этой несправедливости? В плохом управлении. Существует сговор между богачами и извечными грабителями народа — теми, кто, на наше горе, всё ещё продолжают распоряжаться здесь под видом правителей, начальников, судей и податных чиновников.

Все те, что скрываются под маской властей, — это волки в овечьей шкуре, и с каждым днём они всё глубже и глубже вгрызаются в душу и тело нашего народа. Они не только эксплуатируют нас сами, они вместе с тем послушное орудие эксплуатации в руках богачей. В областях, которые являются колыбелью нашей расы, возвращаются зародыши зла. Если в каждом городке мы с корнем вырвем это зло, тогда, я уверен, мы создадим настоящую, свободную и справедливую, демократию...

— Bravo!

— Да здравствует Пахуэло!

Толпа кричала и хлопала в ладоши. Оратор ждал, пока стихнет шум; тёмный силуэт его чётко вырисовывался на выбеленной стене дома. Затем он заговорил снова:

— Я уже сказал вам, что в детстве я жил здесь и страдал от несправедливости сам и видел страдания моих престарелых родителей. Но я был бессильен, я не мог ни защитить себя, ни облегчить участь моих братьев по классу. И вот, видя вокруг только отвратительный паразитизм людей богатых и могущественных, я решил покинуть родной дом; но, покидая его, я в сердце своём дал себе клятву возвратиться сюда во всеоружии, чтобы призвать к ответу врагов моего народа. Эту клятву — стоять всегда за дело слабых против сильных — я носил с собой всюду, куда бы ни забросила меня судьба. Вот почему, по-

селившись, наконец, в главном городе провинции, я не искал счастья среди богатых и могущественных, хотя и мог бы это сделать. Нет, я предпочёл остаться нищим и бороться за права бедняков. Но я прошу вас запомнить одно: взгляните на тех, кто предаёт наше дело, кто яхшается с богачами, по собственной воле делая себя орудием угнетения своего класса; о тех, кто забывает, что их, равно как и нас, почитают отбросами человечества и что своего положения они добились только низостью и угодливостью. Таких людей нужно заклеить, чтобы они не могли проникнуть в наши ряды; кто они — вы знаете лучше меня, потому что я долгое время не жил здесь...

— Правильно, правильно!

— Долой предателей!

— Долой доносчиков!

А Пахуэло, ободрённый, как всякий оратор, сочувствием слушателей, продолжал с ещё большим жаром:

— Дорогие мои братья, бок о бок с вами я буду до конца бороться за восстановление наших прав, попираных грязными преступниками. Самые насущные вопросы, которые стоят сейчас перед нами, — это вода, земля и рудники — источники неисчерпаемых богатств. Прежде всего я хочу поговорить с вами о воде.

— В нашем округе права на пользование водой распределены несправедливо, и мы видим, что соседнее ранчо Масма привоило себе половину всех водных источников, потому что хозяин его — один из тех богачей, что захватили сельскохозяйственные богатства всей области; только пятьдесят процентов воды осталось в распоряжении города и соседних селений. Больше того, в дни, когда ранчо пользуется водой, оно забирает себе всю воду до капли и лишает народ этого насущного дара природы; в те же дни, когда наступает очередь города, ранчо требует, чтобы ему оставляли воду поить скотину. Значит, низкие свои выгоды хозяева ранчо ставят выше жизненных нужд города...

— Bravo!

Последние слова была встречены криками и аплодисментами, поистине оглушительными. Толпа росла. Когда Пахуэло заговорил о воде, те, кто прежде слушали его с недоверчивым видом, стоя поодаль, придвинулись ближе, громко выражая своё одобрение. Бенито и его лошадка оказались окружёнными толпой. А у Пахуэло галстук сбился на сторону, и пряди волос упали на лоб, но он еще

горячей продолжал свою речь, размахивая рукой, с угрожающе вытянутым указательным пальцем:

— По милости спесивых и жадных владельцев Масмы жители этого города и его окрестностей пятнадцать дней в месяц вынуждены брать воду из плохих, грязных колодцев и пить эту вонючую воду, полную микробов. В этом причина болезней и преждевременной смерти многих несчастных жителей города. Несправедливость существует во всём, даже в пользовании водой, и в этом повинны владельцы Масмы. Но ранчо Масма захватило не только воду, оно присвоило себе и землю, его чёрная тень легла на наш город и губит наших сыновей, которые могли бы стать большими людьми. Мы должны сделать всё...

Раздался выстрел, — никто не заметил, откуда стреляли, — и Пахуэло упал ничком, прямо на своих слушателей. В толпе закричали:

— Они убили Пахуэло!

— Кто это сделал?

— Кто это сделал?

— Он убит!

— Нет, он только ранен.

Толпа растаяла, и лишь несколько человек осталось около раненого, лежавшего на земле. Кровь лилась у него из раны на груди и окрашивала рубашку. Он сказал:

— Отнесите меня в дом к моей матери. Я умираю за народ!

В эту минуту появился начальник округа в сопровождении отряда вооружённых людей, они арестовали всех, кто был на площади, и отвели в тюрьму; не тронули только Пахуэло, — его под охраной отнесли в дом к его матери. Вместе с другими был взят и Бенито Кастро.

На следующий день арестованных отправили в главный город провинции, им предъявили обвинение в действиях, подрывающих государственные основы. В пути их сопровождал отряд конной полиции и несколько вооружённых горожан. К концу третьего месяца из всех арестованных в тюрьме оставался один только Бенито Кастро, потому что у него не было ни денег, ни друзей — никого, кто мог бы вызволить его из беды. Он был чужим в тех краях, а это делало его ещё более подозрительным в глазах властей. Его допрашивали снова и снова. Как-то вечером супрефект опять вызвал его к себе:

— Так ты, значит, не здешний?

— Я из Мольепаты.

Мольепата была далеко.

Супрефект впился в него взглядом. Твёрдый подбородок, тёмные живые глаза, полные губы с маленькими жёсткими чёрными усиками, широкая грудь, большие руки. Сдвинутая набекрень шляпа и пончо, накинутый на одно плечо, придавали этому парню дерзкий вид.

— Вид у тебя хоть куда! Можно не сомневаться, что ты отъявленный негодяй.

— Я никому не делаю зла, сеньор.

— Знаешь ты Пахуэло? Говорят, что ты из его банды и пришёл сюда вместе с ним.

— Нет, сеньор, я кормил лошадь люцерной и спросил человека, стоящего рядом, кто это такой, и он сказал, что это дон Пахуэло...

— Но ты веришь тому, что говорил Пахуэло?

— Как я могу знать, я ведь ничего не понимаю в том, что он говорил; я не знаком с здешними порядками.

— Ты ловко увиливаешь. Что ты здесь делал?

Супрефект был белый, и он был очень молод. Он носил костюм для верховой езды, желая показать, что беспрестанно занят ловлей преступников, подрывающих государственные основы, — сиречь, охотится за страшными, сеющими смуту ордами сторонников Пахуэло. Он из кожи лез вон, чтобы запутать этого парня, за которого некому было заступиться; он мог бы тогда передать в руки правосудия хотя бы одного из злодеев.

— Я дожидался здесь дона Мамерто Рейеса, — мы должны были гнать скот на побережье.

Бенито знал этого погонщика только по виду, но решил рискнуть; ведь если он скажет правду, они наведут о нём справки на ранчо, где он помог бежать индейцам, и тогда никто не поверит ему, что он не заодно с Пахуэло.

— Что-то не похоже, чтобы ты был когда-нибудь на побережье.

— Я прошёл всю дорогу до Уармея — сплошной песок, сеньор. Когда мы отгружали скот для Лимы, одна корова свалилась в море, и вот, представьте, эта глупая скотина пустилась вплавь, словно собиралась переплыть на другой берег, да под конец смекнула, видно, что не туда сунулась, и повернула обратно...

Эту историю он слышал от одного пастуха, и теперь, повторяя её, чувствовал себя не очень-то уверенно.

— Гм, — промычал супрефект с сомнением.

Он опустил глаза и поглядел сначала на стол, потом на полки, набитые бумагами.

Бенито решил перейти к жалобам.

— Мне, сеньор, совсем нечего есть. Я истратил все свои деньги и теперь не могу ничего купить. Есть здесь полицейский — добрый малый, он иногда даёт мне кой-какие поскрёбки. Да ещё один индеец, случается, даёт мне маленькую тыкву с кукурузой... но другой раз пройдёт целый день, а у меня во рту ни крупинки не было.

— Что ж, так тебе и надо, не устраивай беспорядков. Я тебя живо выведу на свежую воду. Рамирес!

Вошёл бледный молодой человек в полотняном костюме — секретарь супрефекта.

— Узнайте, можно ли связаться по телеграфу с Мольепатой, и, если можно, отправьте телеграмму начальнику округа. Наведите справки об этом человеке — он говорит, что пришёл из Мольепаты. Как тебя зовут? Ах да, Мануэль Касерес.

Секретарь вышел, и супрефект принялся читать и подписывать какие-то бумаги, а Бенито стоял, проклиная себя за свою глупость. Мольепата было первое, что пришло ему в голову. Теперь он попался...

Секретарь вернулся:

— Нет, сеньор, там нет телеграфа. Ближайший телеграф в сорока километрах отсюда.

— Гм... Ну, тогда позвоните в полицию и узнайте, нет ли сейчас в городе или где-нибудь поблизости погонщика Мамерто Рейеса.

Секретарь снова вышел. У Бенито было скверно на душе. Ясно, что они стараются найти против него хоть какую-нибудь улику. Теперь всё выплывет наружу; шаг за шагом они проследят весь его путь, доберутся, пожалуй, и до Руми... Минуты шли.

— Сеньор, — сказал секретарь, снова появляясь в дверях, — в полиции говорят, что не видали дона Мамерто ни в городе, ни в окрестностях. Повидимому, он сейчас где-то в другой провинции.

— Этому обманщику везёт.

— Сеньор, — произнёс секретарь с важным видом, — быть может, лучше обождать день-другой. Жители Мольепаты — сплошь горшечники, это мирный народ, они сидят на месте и занимаются своим делом. Парень врёт. К тому же со дня на день может объявиться и дон Мамерто Рейес.

— Да я и сам так думаю.

Бенито заговорил горячо:

— Мне надоело делать горшки, у нас их кругом такая пропасть, что дают за них гроши. А поехать куда-нибудь подальше, в другой город, — долгая история, да и горшки все перебеешь дорогой. Я хотел найти заработок получше, а меня ни за что, ни про что вдруг арестовали, да ещё заставляют голодать.

Супрефект и секретарь молча прикидывали в уме это дело. Бенито смотрел в окно, заделанное решёткой. За окном была площадь, голубое небо... Под этим небом нашлось бы столько хороших мест... и везде лучше, чем здесь. Люди шли по вымощенным булыжником улицам, за окном была свобода... Он заговорил снова:

— Что ж мне теперь делать? Дон Мамерто уже, верно, нанял себе другого погонщика... Я потерял работу, в кармане у меня ни центаво, и я голоден.

Супрефект решил показать себя человеком, умеющим уважать справедливость:

— Ладно, так и быть, я освобожу тебя, но убирайся вон из города. Я не потерплю смутьянов в своей провинции.

Но Бенито не унимался:

— Сеньор, когда меня взяли, полицейские увели мою лошадь. Пожалуйста, прикажите им вернуть мне моего Лусеро.

Супрефект стукнул кулаком по столу.

— Какого ещё Лусеро? Разве я обязан стеречь твою лошадь? Спрашивай с них. Да живее убирайся отсюда, пока я не передумал и не укоротил тебе твой наглый язык.

Бенито медленно вышел из комнаты и спросил у своего приятеля-полицейского о судьбе своей лошадки. Тот рассмехался и сказал, что Бенито, должно быть, совсем спятил, если думает получить у супрефекта свою лошадь обратно.

Итак, Бенито вышел из тюрьмы. Он стоял посреди улицы, он был свободен. Когда человек голоден, ему нелегко таскать ноги. Одна за другой раскрывались перед ним дороги, но он не знал, куда идти. И он был голоден...

Он работал то на одном ранчо, то на другом, и ему приходилось туго. Он вспоминал Руми, и у него становилось тяжело на душе; он думал о Лусеро, своём последнем друге, — ему становилось ещё тяжелей. А какая разница между работой на ранчо и работой у них в общине! В Руми индейцы работали охотно, весело, с песнями, и повседневный труд был для них сладок. На ранчо люди работали уныло, вяло, — все они казались пасынками на этой земле.

Даже те, у кого ещё были силы, не имели ни к чему охоты.

Шли дни. Бенито Кастро и не подозревал о том, какие дела творились в это время в Руми; он всё работал на ферме и вместе с сотней других индейцев гнул спину в поле, под проливным дождём. Хижинны индейцев были далеко, и во время полевых работ все спали под навесом. А Бенито, у которого не было своего дома, спал под навесом постоянно и свёл там дружбу со многими индейцами, стекавшимися сюда со всех сторон, так как это было очень большое ранчо. Индейцы говорили на кечуа и, как правило, были молчаливы. Бенито постигал понемногу этот язык, звучащий то как сердитое завывание ветра, то как журчание подземного ручья, и уже научился понимать их скорбные речи.

Индейцы здесь редко рассказывали занятные истории. Они говорили только о работе и порой о восстаниях. Окружённые тесным кругом слушателей, старики шопотом рассказывали о восстании Атуспарии.

Это было в 1885 году. Индейцы стонали под тяжёлым ярмом. Дважды в год они должны были платить подушный налог в два соля и всё время работать бесплатно «для республики» по постройке дорог, барачков, кладбищ, церквей, общественных зданий. А богачи старались стереть с лица земли их общины — айльюсы. Чтобы получить право на жизнь, индейцы должны были работать даром и молча сносить всё. Ну, нет, хозяева! Подождите, придёт день!.. Они написали протест префекту Уараса. Никто не обратил на него внимания. Педро-Пабло Атуспария, начальник Марианны и округа Уарас, первым подписавший протест, был брошен в тюрьму, избит, подвергнут издевательствам. Четырнадцать других мэров выступили с протестом против такого произвола. Их также бросили в тюрьму, избили, подвергли издевательствам. Ну, нет, подождите, хозяева! Придёт день...

Индейцы для виду смирились. А первого марта они спустились с гор в Уарас, неся связки соломы для починки крыш, — это была работа «для республики». Затем, по сигналу, вытащили из соломы мачете и железные брусья и бросились в битву.

Первые отряды индейцев были отброшены. Кавалерийский эскадрон атаковал их и смял ряды. Воодушевлённые успехом солдаты осадили Пумакайан, крепость инков, окружённую галлереей, спускавшейся крутыми уступами.

Каменные стены крепости были украшены красивыми барельефами с изображением сцепившихся пум, и префект Уараса хотел снести крепость и украсить барельефами новое кладбище и дома частных лиц. Крепость Пумакайан защищал Педро Гранадос с кучкой храбрецов. Гранадос один, вооружённый кожаной пращей, из которой он метал камни величиной с человеческую голову, убил шестьдесят всадников. Солдаты отступили, и индейцы осадили Уарас. На другой день Уарас пал. Индейцы напились крови храбрых солдат, чтобы ещё больше укрепить свою отвагу. Они хотели прикончить всех богачей, прятавшихся вместе со своими семьями у себя в домах.

Но вождь восстания, Атуспария, воспротивился этому:

— Я не хочу их крови. Я хочу только справедливости.

Восстание разрасталось. Индейцы, одетые в овечьи шкуры, подкрались к Юнгею, чтобы захватить противника врасплох. Вся Уайлясская долина была охвачена восстанием. Индейцы завладели всеми городами. В некоторых городах богачи организовали «гражданскую гвардию» и храбро защищались. Среди индейцев поднимались новые вожди. Один из них был Педро Кочачин — рудокоп, прозванный Учку Педро, потому что учку значит — яма, или копь. Он был очень кровожаден и постоянно ссорился с добрым Атуспарией. Был там также Хосе Оробио — Белый Кондор, прозванный так потому, что он был белолицый, как европеец, хотя и безбородый. Был ещё Анхель Байлон, зять Атуспарии, стоявший во главе тех ранчо, откуда началось восстание; и Педро Ноласко Леон, происходивший от вождей Сиспа; и немало ещё других. Сильные, властные, смелые, как пумы, но во всём подчинявшиеся великодушному Атуспарии, который заставлял их щадить женщин и детей побеждённых противников, они повели в битву свои отряды. Они победили. У индейцев было несколько ружей, сорок ящиков с динамитом и восемь бочонков с порохом, которые Учку раздобыл на руднике. Учку занял важнейшие горные проходы в Чёрном хребте. Его отряд был сильнее других. У остальных были только железные брусья и мачете. Они отправили посланцев в департамент Ла Либертад и Уануко, призывая помочь им, призывая присоединиться к восстанию. Но уже подходили батальоны правительственных войск, вооружённые хорошими винтовками и пушками. Индейцев истребляли, как мух. Солдаты берегли патроны, расстреливали пленных

индейцев, выстроив их в шесть рядов. Вождей схватили и тоже расстреляли. Когда они избивали Хосе Оробио и, вымещая на нём свою злобу, выпускали один заряд за другим, он воскликнул с презрением:

— Ну-ка, хозяин, ещё, ещё немножко!

Свирелый Учку Педро, повернувшись спиной к стрелявшему в него взводу, презрительно заголил задницу. Атуспария, раненный в ногу в битве за Уарас, упал, и тело его локрыли трупы павших вместе с ним его соратников. Своими мёртвыми телами они укрыли тело вождя. Так нашёл его один белый, умевший помнить добро, и спрятал его в своём доме. Вскоре совет индейцев объявил Атуспария предателем и приговорил его к смерти. Он должен был выпить отравленную чичу. Атуспария спокойно принял яд; он поднял свою чашу и, обратившись лицом ко всем четырём сторонам света по очереди, призывал время быть его судьёй. Он умер. И время, неподкупный судья, показало, что он был не предателем, а смелым и великодушным человеком.

Так индейцы, истомлённые тяжёлым дневным трудом, толковали ночью под навесом. Они чаще вспоминали победы, чем поражения. И ночь, казалось, была полна трагических и высоких чувств и воспоминаний, ставших почти легендами, о героях, о могущественных и хитрых борцах. Нет, они не были побеждены, и каждый день восстание могло вспыхнуть снова.

Но приходил сон, а за ним наступал день. Слышался голос надсмотрщика. Герои исчезали, картины эпических битв рассеивались. Слово ударом плети пробуждённые к действительности, чувствуя, как их надежда угасает и исчезают видения, индейцы шли на поля и склонялись над бороздами. Бенито Кастро, нищий и бесправный, как и они, брал свою лопату и гнул спину бок о бок с ними.

ГЛАВА 7

ТЯЖБА

Дон Альваро Аменабар-и-Рольдан, владелец Умая, хозяин над жизнями и угодыями на тридцать километров в округности, пришёл в ярость, узнав об ответе Бисмарка Руица и о том, сколь заносчиво этот адвокатишка позволил себе выражаться. Раскричавшись на слуг, дон Аменабар с письмом в руке вышел из своего кабинета на широ-

кое, увенчанное аркой крыльцо дома, но тут же овладел собой и снова принял свой обычный, угрюмо-замкнутый вид; дон Аменабар был слишком важной персоной, чтобы его можно было чем-нибудь расстроить или запутать. Но крики хозяина уже разнеслись по всему дому, и слуги дрожали от страха.

— Оседлай мне Монтонеро и скажи Браулио и Томасу, что они поедут со мной. Пусть возьмут лошадей покрепче. Ну, живо!

Монтонеро была немного пугливая, но очень сильная лошадка. Браулио и Томас были пастухами и заодно несли личную охрану владельца Умая; они жили тут же, в одном из домов, составлявших большой бело-розовый прямоугольник строений ранчо. Под старым эвкалиптом с толстым узловатым стволом и голубовато-зелёными, чуть начавшими краснеть листьями слуги оседлали лошадь, и дон Альваро, наскоро попрощавшись с женой и детьми, пустился в путь. У въезда в ранчо, где со скрипом отворялись тяжёлые ворота, скованные из крепких железных брусьев, его ждали Браулио и Томас. Оба пастуха, темнолицые, крепкие парни, были верхом и с винтовками. Все трое пустили лошадей в галоп по прямой, как стрела, дороге, обсаженной тополями, согретой тёплым, ласковым солнцем. Над хижинами поднимался дымок и стлался по склонам холмов, окаймлявших долину, по убогим полям индейцев-арендаторов. И индейцы, глядя на троих всадников, скакавших вдаль по дороге, говорили друг другу:

— Вон дон Альваро со своей свитой.

— Какую ещё подлость они задумали?

Взгляд владельца ранчо был прикован к дороге, а мысли — к тяжбе о границах владений. Всадники миновали тополевую рощу и выехали на извилистую тропинку, взбегавшую на плоскогорье. Взгляд дона Аменабара сверлил дорогу, а от тяжелых мыслей багровело лицо.

Дон Альваро был сыном дона Гонсало, человека весьма решительного, который при помощи каких-то тёмных махинаций оттягал земли Умая у монастыря. Перебрав в уме всех наследниц близлежащих имений, дон Гонсало в конце концов без памяти влюбился в Пакиту Рольдан, единственную дочку владельца одного из соседних ранчо, и женился на ней. Они соединили свои имения. Дон Гонсало был неутомим, хитёр и неразборчив в средствах. Он знал, когда полезно швырять деньгами и когда следует покрепче держать в руках ружьё.

Ранчо Умай разрасталось к югу, поглощая все лежащие на его пути ранчо, посёлки, общины. Оно росло, пока не достигло границ Морасбамбы — ранчо, принадлежащего семейству Кордова. Дон Гонсало начал тяжбу о границах и сделал попытку урвать себе и здесь лакомый кусочек. Но дело сорвалось. Кордова были сильны. Когда дон Гонсало со своими людьми, судьёй, супрефектом и отрядом конной полиции прибыл в своё новое владение, их встретил град пуль.

Борьба тянулась два года, то утихая, то разгораясь с новой силой. Супрефект, чувствуя, что он бессилён своею властью утихомирить владельцев ранчо, обратился за помощью к префекту департамента. Префект, в свою очередь, не рискнул восстанавливать против себя столь могущественных лиц и запросил указаний в Лиме. Но из Лимы, где оба тяжущихся пользовались большим влиянием среди министров, сенаторов и членов конгресса, ответа не последовало. А в горах на границе Умая и Морасбамбы стычки и убийства продолжались изо дня в день. Кордова выписали из Испании меткого стрелка — горца с Пиренеев, и построили каменную крепость с бойницами, в которой разместили гарнизон под начальством испанца.

Дон Гонсало был упрям, но рассудителен; он понял, что надо уступить. Эта борьба отвлекала его от других дел, и он решил дожидаться более благоприятного момента, чтобы завладеть «принадлежащей ему по закону собственностью». Он укрепит свои связи, и тогда властям в Лиме придётся стать на его сторону. Приняв это решение, он стал расширять свои владения на север. Но вскоре смерть унесла его, и на сцену выступил дон Альваро, унаследовавший от отца и честолюбие, и стремление к власти, и вражду с семейством Кордова. Дон Альваро очень скоро показал себя таким же хищником, как и его отец, и расширение земель продолжалось. Наконец ранчо Умай достигло границ Руми; община лежала на его пути — беззащитная, соблазнительно лёгкая добыча. Но другие предприятия в течение ряда лет отвлекали внимание дон Альваро от общины. Наконец, повидимому, её черед настал. Дон Альваро начал тяжбу о границах владений...

Владелец ранчо сошёл с коня перед домом известного крючкотвора Иньигеса, иначе называемого Пауком, — типичного ходатая по мелким делам, каких немало в провин-

циальных центрах. Иньигес три года проучился на юридическом факультете университета в Трухильо, и это для начала создало ему известный авторитет, который он постарался укрепить с помощью всевозможных юридических сальтомортале. В противоположность Бисмарку Руицу, своему главному сопернику, Иньигес был мал ростом и костляв. Он страдал бесчисленными недугами, что лишало его возможности принимать участие в городских развлечениях. Он питался жидкой кашцей, пил только минеральную воду, а жена его чахла от тоски. Все своё время он проводил в конторе, заваленной листами гербовой бумаги, по которой он и его два помощника усердно скрипели перьями за плотной завесой едкого табачного дыма. Цвет лица у него был жёлтый, а обвисшие усы и узловатые пальцы — ещё желтее, от чрезмерного употребления никотина. Скрытая за неприступными стенами этой бумажной крепости голова Иньигеса являла собой настоящий арсенал всевозможных орудий защиты и нападения.

Гербовая бумага существует в виде длинных белых листов, окаймлённых красной позолотой и снабжённых в верхнем левом углу печатью республики Перу. Этот красивый герб, символ рыцарского благородства, нигде не бывал ещё так посрамлен, как здесь.

Охапки, груды, горы гербовой бумаги в виде прошений, протоколов, заключений, покрывают всю республику Перу. Ими завалено всё — конторы адвокатов, настоящих и мнимых, нотариальные конторы и суды, правительственные учреждения и налоговые камеры, хижины бедняков и дворцы миллионеров. «Пишите свои заявления на гербовой бумаге», — неизменно гласит приказ. От столицы до самого глухого утолка страны вся Перу покрыта плотным белоснежным покровом гербовой бумаги. Хлеба здесь может недоставать, но гербовая бумага всегда найдётся. Это национальное зло. На гербовой бумаге и в кодексах законов записана половина всей трагической истории Перу; остальное написано винтовками и кровью. Закон, священные границы закона! Приказ, священные границы приказа! И страна, как солдат на ничейной земле, лежит меж этих двух огней, всегда побеждённая, всегда жертва.

Иньигес, адвокат-фокусник, с лютым элорадством палил изо всех орудий, укрывшись за стенами своей бумажной крепости. Дон Альваро умел выбирать людей. Ибо к тому, что уже сказано об адвокате, необходимо добавить ещё одно: крючкотвор Иньигес был сыном мелкого землевла-

дельца, у которого семейство Кордова отняло когда-то ферму. Когда отец Иньигеса впал в нищету, сын вынужден был оставить университет и возвратиться в провинцию. Вот почему теперь он с особым рвением старался угодить врагу своих врагов. Он прекрасно понимал, что дон Альваро, выиграв тяжбу, не возвратит ему фермы. Но зло, наносимое его врагам, служило вознаграждением за причинённое ему зло. Дон Альваро понимал это и, не теряя времени, изложил Иньигесу своё дело. Он приехал к нему под вечер и вслед за хозяином прошёл по пыльным, молчаливым комнатам в его личный кабинет.

Когда они уселись друг против друга, дон Альваро сказал тоном человека, привыкшего, чтобы ему повиновались:

— Вот что, Иньигес, наша главная задача — убрать с дороги Бисмарка Руица. Слов нет передать, как бесит меня его наглость. Но вы знаете, что Кордова чрезвычайно о нём пекутся и, случись что, уж, конечно, не преминут поднять вой в газетах. Итак, что вы мне посоветуете?

— Хе, хе... — юрист рассмеялся. В нём на самом деле было что-то паучье — сухонькое тельце совсем исчезало за длинными, костлявыми конечностями. — Быть может, не так уж трудно одурачить этого Бисмарка. Вы же знаете, какой он кутила и бабник... Можно попробовать... Вы понимаете...

— Что ж, попробовать можно. Руиц взялся за это дело, чтобы насолить мне. И знаете почему? Он считает меня причиной того, что мало преуспел. Когда он начинал делать себе карьеру как адвокат, ему захотелось забраться как можно выше. Он всего-навсего пешка, но честолюбие его непомерно. Он и мой сын Оскар — вы знаете, какой это шалопай — сдружились; их свело пристрастие к бутылке. И вот Руиц вообразил, что это поможет ему подняться наверх. Но не тут-то было. Я и не подумал приглашать его к себе на вечера, и вообще не позволил ему переступить порог моего дома; ну, разумеется, все люди нашего круга поступили точно так же. Он возненавидел меня с тех пор, ну а меня это только забавляло. Однако теперь я вижу, что всякий враг, как бы он ни был ничтожен...

— Хе, хе... Известно ли вам, что он совсем потерял голову от этой бесстыжей твари — Мельбы Кортес. Ну, а она дружит с дочерьми Пиментеля. Так же, как и ваш сын Оскар...

Дон Альваро хлопнул себя по лбу.

— Вы правы, любезный. Это верный путь. И Оскар сейчас как раз здесь. Он, вы знаете, вечно околачивается в

городе. Ну, а по другому вопросу что вы думаете предпринять?

— Дон Альваро, сеньор, я уже говорил вам: по моему мнению, вы должны забрать у общины всю землю. Кому нужны эти невежественные индейцы? Мы можем сделать это в рамках закона. Основания для иска есть.

— Нет, я уже сказал вам раз, — нет. Это не должно выглядеть так, словно мы хотим ограбить индейцев. О нет, мы только восстанавливаем свои права. Я вполне согласен с вами, что от этих невежественных индейцев стране нет никакого прока, их всех следовало бы отдать в руки предприимчивых людей, тех, что составляют цвет нации. Но Сенобио Гарсия сказал мне, что земля, на которую я предъявляю права, — лучшая земля общины. Дальше, там одни голые скалы. Всё получается очень удачно. Они, конечно, станут работать на меня, если я оставлю их на земле, — это ведь пахотная земля. Но они нужны мне на серебряном руднике, я собираюсь разрабатывать его по ту сторону реки Окрос. Получив Руми, я окажусь у самой границы ранчо, которому принадлежит этот рудник. Там тоже сколько угодно рабочих рук. Либо владельцы продадут мне ранчо, либо я буду с ними судиться. Если же я послушаюсь вас, может получиться скандал. А вы знаете, я собираюсь проходить в сенаторы и мне следует всячески избегать скандалов.

— В главном городе департамента имеется целая стая крикливых попугаев, которые вечно защищают индейцев и поносят почтенных людей, вроде нас с вами. Они издают газетку под названием «La Verdad». Теперь они, конечно, прицелятся ко мне, но я буду действовать в рамках закона и сумею защитить себя. Если же я заберу всю землю общины, люди скажут, что это грабёж, хотя бы даже закон и был на моей стороне. Я должен считаться с общественным мнением, если хочу стать сенатором. Когда я заберу землю общины и соседние ранчо и открою серебряный рудник, я стану первым человеком в провинции и одним из первых в департаменте. И я буду сенатором. А тогда, любезный, настанет очередь и Кордова, и они получат по заслугам. Я ничего не забываю. Это мой священный долг, завещанный мне покойным отцом. К тому же Перу нужны предприимчивые люди, которые заставят народ работать. Какой толк от всего этого дешёвого гуманизма? Работа нужна, работа, — а, значит, нужны энергичные люди, чтобы принудить народ к работе.

— Да, вы правы, правы. И ваше решение тем более достойно всяческих похвал, что вы выступаете один против четверых Кордова.

Дон Альваро, оживлённо излагавший свои планы, сразу помрачнел, когда разговор коснулся его семейных дел.

— Да, тут мне не повезло. Взять хотя бы моего брата Рамиро. Ещё со школьной скамьи это был учёный сноб. Ну, и кто он теперь в результате? Какой-то жалкий врач! Разве это не падение? А Элиас — тот и вовсе оскандалился. Доктор литературы и профессор исторических наук! Разве можно вообразить себе менее мужскую профессию? Если уж им захотелось получить образование, то они могли бы стать хорошими юристами, членами верховного суда. А сестрица Луиза? Живёт в Париже. Недавно написала кому-то из своих друзей, что собирается замуж за итальянского принца. Я посылаю ей три тысячи солей в месяц, и она вечно жалуется, что ей нечем жить. Надеюсь всё же, она не выйдет замуж, потому что принц этот, наверное, какой-нибудь сутенёр, и они начнут вдвоём выкачивать из меня деньги. У меня есть своя родовая гордость, но я разделяю людей на две категории: одни с честью носят своё имя, а другие его проматывают.

— С детьми мне больше повезло. Оскар, правда, заваяничал так, что совсем не желает заниматься делом, зато Фернандо любит землю, а девочки ведут себя вполне благоразумно, и я скоро подыщу им хороших женихов. И никаких учёностей! Пять лет начальной школы, затем девочки выходят замуж, а мальчишки принимаются за работу. Отец сделал ошибку, позволив моим братцам стать чересчур учёными. Нам нужны деловые люди. Впрочем, младшего сынишку, Пепито, я, пожалуй, отдам в университет. Он хочет быть юристом, а в этой области работы непочатый край...

— Да, да, вы правы, — согласился Иньигес с глубокомысленным видом.

— Ну, ладно, Иньигес, я заболтался с вами, потому что доверяю вам и вполне на вас полагаюсь. К тому же есть хорошая поговорка: «Врачу и адвокату говори всё». Словом, теперь вам известно, что я непоколебим, и будь их хоть двадцать, этих Кордова, — я не отступлю. Итак, я полагаюсь на вас. — Дон Альваро сжал кулаки и снова обрёл овой прежний решительный вид.

— Это для меня большая честь, дон Альваро. Теперь разрешите мне поставить вас в известность, что нам по-

требуются свидетели. Мы заявляем, что владения Умая простираются вплоть до так называемого ущелья Руми. Отлично, как же попали сюда индейцы? Да очень просто — они мошенническим путём захватили ваши земли, сознательно воспользовавшись чьей-то ошибкой. То, что сейчас называется ущельем Руми, на самом деле не что иное, как ручей Ломбрис, и таким-то вот незаконным путём община расширила свои владения. Мы добудем свидетелей из этих мест. Дальше мы заявим, что нынешний ручей Ломбрис назывался прежде ручей Кулебра и что настоящее ущелье Руми находится между скал, напротив Мунчи, там, где протекает этот маленький, высыхающий летом ручеек. И вот мы предъявим иск на земли, простирающиеся вплоть до так называемого ущелья Руми, которое по всем документам называлось и называется ручей Ломбрис.

— Превосходная мысль.

— Затем мы уберем межевые камни от ручья Ломбрис до хребта Эль-Альто и заявим, что общине принадлежат только земли, расположенные вокруг озера Янаньюи. Это будет заключительным аккордом. Я очень тщательно разработал иск, это и задержало меня немного. Теперь дело только за свидетелями.

Большие глаза дона Альваро сверкнули.

— Я пришлю к вам Сенобио Гарсию с его людьми и разносчика по прозвищу Чародей, который не раз оказывал мне услуги. Он выследил не меньше чем десятка два индейцев, удравших с моего ранчо. Само собой разумеется, он получал по десять солей за каждого, но, как-никак, это человек полезный, и на него можно положиться. Гарсия поддерживает меня давно. Оба они уже оказали мне кое-какую помощь в нашем деле. Не думайте, что я спал всё это время. Я уже уладил с супрефектом вопрос о вступлении во владение, как только судья...

— А как насчёт судьи?..

— Судья на моей стороне. Он обязан мне своим назначением. В своё время я нажал, где нужно, и он получил место, хотя и стоял вторым в списке кандидатов.

Дон Альваро самодовольно потёр руки; адвокат попросил позволения закурить папиросу и, получив милостивое разрешение, сказал:

— Видите ли, я не зря говорил вам, что нам следует обезвредить Бисмарка Руица. Я приставил к нему шпиона — молодого человека с хорошим почерком, который за

небольшую плату предложил ему свои услуги в качестве писмоводителя. Разумеется, я выплачиваю ему разницу. Так вот, эти индейцы уже кое-что пронюхали. На-днях один из них явился к Руицу и сообщил, что вы как будто стакнулись с Сенобио Гарсией и с этим самым Чародеем. Руиц ответил, что им нечего беспокоиться, он отведёт этих свидетелей, так как раскопал якобы какие-то их старые грешки. Вы понимаете? К тому же он может опротестовать решение судьи. Сами индейцы ничего в этом не смыслят. Но Руицу надо заткнуть рот.

— Вот подлые индейцы! Ладно, предоставьте это мне. Я скоро пришло к вам Гарсию и Чародея и ещё кого-нибудь, а вы подготовьте их к выступлению на суде.

— Прекрасно, дон Альваро.

— Ну, а теперь насчёт вашего гонорара... сколько вы хотите получить за хлопоты? — спросил Аменабар, вытаскивая бумажник.

— Сколько вы найдёте нужным, сеньор... Вы ведь знаете, я ещё доплачиваю этому шпиону, которого подослал к Руицу...

Дон Альваро отсчитал тысячу солей в больших синева-тых кредитках, и Иньигес принял их с учтивой улыбкой. Он проводил гостя до дверей, обсуждая последние детали. Охрана ждала дона Аменабара у крыльца, он вскочил в седло и поскакал к своему городскому дому.

Медленно надвигалась ночь. На углу улицы двое индейцев, вскарабкавшись на столбы, зажигали красные свечи в жестяных фонарях со стёклами, кое-где заклеенными полосками бумаги. Посреди улицы, пошатываясь, брёл пьяница в развевающемся пончо и, размахивая руками, громко славил Пиеролу. Это и был сам Эль Локо Пиеролиста, известный поэт, певец и бродяга. Дон Альваро едва не сшиб его с ног и продолжал свой путь, не обращая внимания на брань, которую в знак протеста посылал ему вдогонку Эль Локо. Но один из спутников дона Альваро, желая показать, что он понимает свои обязанности, стегнул поэта хлыстом и поскакал дальше. Поэт мог теперь сколько угодно изливать свой гнев в язвительных стихах.

Ворота двухэтажного дома, самого старого из всех домов, окружавших городскую площадь, медленно отворились. Слышно было как по двору и в вестибюле забежала прислуга. Отвечая на подобострастные приветствия, дон Альваро въехал во двор.

В Руми все животные, кроме ослов, жили вместе с людьми; ослы, пользуясь предоставленной им свободой, разбредались по своим излюбленным уголкам в жаркой долине реки Окрос. Четырёх резвых молодых осликов с гладкой глянцевиной шкурой, блестящими глазами и гордо поднятой головой, ещё не испытывших, что такое тяжёлый выюк, заперли в сарай, чтобы исподволь приучить к этому предмету. В других сараях с десяток индейцев позвякивали стальными ножницами, согнувшись над овцами, и по всей деревне стоял кислый запах состриженной овечьей шерсти. Ещё в одном загоне Артидоро Отейса со своими подручными клеймил скот. Посреди загона горело яркое пламя, на нём раскалялся железный прут, которым выжигали клейма; животных валяли на землю, скрутив верёвками, или просто держали за рога. Отейса был большой мастер своего дела. Схватив животное одной рукой за рога, другой за челюсть, — порой это был сильный молодой бык, — он сворачивал ему шею и валял его пабок. Это был волнующий поединок. Мускулы животного и человека напрягались, собирались в клубки, вздутые вены татуировкой выступали на тугой коже. Наконец животное падало, и тотчас слышалось шипение раскалённого железа, и буквы CR появлялись на гладкой шкуре. Это не было клеймом какого-нибудь одного хозяина — это было клеймо деревни.

Дальше, на лугу, Абран Маки, его сын Аугусто и ещё несколько человек объезжали молодых лошадей. Побрыкавшись и поартачившись день-другой, лошади приучались к послушной рыси. Росендо переходил от одного загона к другому, одних похваливал, другим давал совет, за всем наблюдал хозяйским глазом. Те, кто не был занят на этих работах, собирали бобы на маленьких огородах позади своих домов и потом пилкой обмолачивали стручки.

На жнивье кипела работа и пасся скот. Лошади и коровы испуганно наблюдали необычное для них зрелище: как клеймят скот и объезжают лошадей. Сначала животные дичились, потом мало-помалу привыкали и жили с людьми в дружбе. Солнце стояло в небе весь день, а чувство довольства не покидало людей ни днём, ни ночью.

Лаурига Пиментель веселилась всю ночь, а наутро пришла в спальню Мельбы Кортес, где та наслаждалась приятным ничегонеделанием — своим обычным занятием.

— Рассказать тебе, рассказать? — закричала она, избрав на лице величайший восторг.

Мельба села на кровати, обнажив полную грудь.

— Ну, что случилось?

— Замечательное дело, дорогая, просто замечательное!

— Послушаем.

— Великолепный случай, моя милая!

— Ну, говори же, в чём дело?

— И всё, всё зависит только от тебя!

— Да ну же, говори, ты видишь — я вся, как на иголках.

Аугусто Маки, гордый и торжествующий, отправился на только что объезженной лошадке в горы. Он ехал по той самой дороге или, вернее, тропе, по которой однажды проползла змея — предвестница несчастья. Аугусто не хотел заезжать на молодой лошадке слишком далеко, но лошадь бежала бодро. Поднявшись выше, туда, где ветер свистит в траве и завывает среди скал, Аугусто, огляделся по сторонам и вдруг заметил какую-то перемену. Точно появилось что-то новое... или, кажется, чего-то нехватало? Да, чего-то нехватало. Пирамидки пограничных камней, тянувшиеся от ручья Ломбрис до хребта Эль-Альто, исчезли. Аугусто смотрел, смотрел во все глаза. Ну, конечно, их не было. Он повернул назад и затрусил домой, отчаянно погоняя свою молодую лошадку.

— Таита Росендо, таита! Кто-то утащил межевые камни, их там больше нет...

Старшина поднялся с решительным видом.

— Друзья мои... друзья, идёте туда и положим на место межевые камни... на старое место, всё как было... Собирайтесь... собирайтесь!..

— Пошли! — дружно закричали поселяне.

Час спустя человек сто индейцев усердно собирали разбросанные по ущелью камни и снова укладывали их в конусообразные кучки на всём пространстве от ручья Ломбрис до Эль-Альто. Они не знали всех тонкостей закона и твёрдо верили, что отвратили от себя всякую опасность. Все пирамиды были в точности такие же, как раньше, и стояли на прежнем месте.

Мардокео был индеец — такой же бесхитростный, как его работа, заключающаяся в плетении цыновок и вееров.

Он плёл их из тростника, который рос по берегам озера Янаньяуи. Эти циновки, в зависимости от размера, либо устилали полы в домах богачей, либо служили подстилкой на кроватях бедняков. Поверх циновок стелили овечьи шкуры и одеяла. Веера служили для раздувания углей в очаге.

Сейчас Мардокео плёл очень большую циновку — для будущей школы. Стоя на коленях перед большой грудой тростника, он быстрыми и точными движениями сплетал гибкие стебли, и лёгкая, как пух, циновка росла в его руках, повторяя зеленовато-жёлтые оттенки озера.

Росендо пришёл к Мардокео.

— Есть у тебя готовые веера и небольшие циновки?

— Есть немного.

— Хорошо, собери их и навьючь на осла. Поезжай в Умай. Там сначала зайдёшь в дома к индейцам, а потом на ранчо. У индейцев разузнаешь, как бы невзначай, не появлялись ли в их местах Чародей и Сенобио Гарсия. Когда придёшь на ранчо, спроси хозяйку, донью Леонору, и тебя проведут на кухню; тут слуги, узнав, что ты из Руми, начнут, конечно, чесать языки и расскажут, что у них там затевается.

Мардокео задумался. Это поручение было ему не по душе. Он, по правде говоря, умел делать только три вещи: плести циновки, продавать их да возделывать землю. На лице его, изборождённом морщинами, опалённом горячим горным ветром с озера Янаньяуи, появилось озабоченное выражение. Росендо продолжал:

— Помощники старшины решили послать тебя. Каждый должен сделать всё что может, чтобы спасти общину.

И хотя Мардокео умел только плести свои циновки, продавать их да возделывать землю, но что тут можно ответить, когда надо спасти общину?

— Ладно, — сказал он.

Мельба Кортес умильными речами и сильно декольтированными платьями совсем вскружила голову Бисмарку Руицу. Она твердила ему, как восхищается она его талантом, его силой, как ей тоскливо без него и, наконец, как бы в порыве неудержимой страсти, отдалась ему. Потом всё чаще и чаще принималась жаловаться на то, что счастье их не полно. И грубый, неуклюжий Бисмарк таял,

держа в объятьях этот нежный, трепещущий цветок, и клялся, что сделает всё, чего она пожелает, что он любит её больше всего на свете.

Рамон Брисеньос явился к дону Альваро, терзаясь сомнениями, дрожа от страха. Он вошёл в кабинет хозяина, словно в логово пумы. Хозяин послал за ним с такими словами: «Скажите этому негодяю, чтобы он сейчас же явился сюда». Рамон Брисеньос не знал, конечно, о чём будет речь, но мог кое-что предполагать.

Дон Альваро сидел за большим письменным столом, скрестив руки на груди. На столе стояла чернильница, кварцевое пресс-папье, под которым не видно было ни клочка бумаги, и свеча в подсвечнике в виде лапы кондора. Лапа когтями вливалась в скалу, вылепленную из глины.

— Вот что, любезный, — начал дон Альваро свирело, — объясни-ка мне, что значит эта песня?

И он начал напевать вполголоса известную шуточную песенку, в которой, между прочим, говорилось:

Что случилось с красоткой,
С нашей звёздочкою ясной?
Головка поинкла на грудь,
А животик торчит вперёд.

Рамон не понял этого юмористического вступления и не знал, то ли ему смеяться, то ли уносить, пока не поздно, ноги. Дон Альваро, опев песенку, продолжал всё так же свирело и пристально смотреть на Рамона.

— Ну, говори! Я желаю, чтобы ты объяснил мне это.

Рамон краем пончо вытер пот, заблестевший на его тёмном лбу.

— Никак он стыдится! Ну, давай, давай, выкладывай! — продолжал дон Альваро неумолимо.

Рамон начал что-то бормотать, и дон Альваро слушал, втайне наслаждаясь его смущением. Он видел в этом ещё одно доказательство своей силы. Он был сегодня в превосходном расположении духа. Когда Рамон замолчал, так и не сказав ничего путного, дон Альваро рассмеялся:

— Эх и жулик же ты, полукровка! Итак, ты наградил Клотильду ребёнком? Ну ладно, сечь тебя за это я не собираюсь. Но Клотильда — любимая служанка доньи Леоноры, и я решил взять тебя к себе на службу. Вы,

Брисеньосы, всегда служили у меня, и я, по правде говоря, не припомню лучшего стрелка, чем твой отец.

Рамон глядел на него во все глаза и только кивал головой в знак согласия. Он всё ещё не мог опомниться от удивления. Ничего страшного не произошло, и дон Альваро смеялся от всей души.

— За моими коровами, которые пасутся на пастбищах Руми, совсем нет присмотра, и я хочу кого-нибудь к ним приставить. Если ты сумеешь уследить за ними, я сделаю тебя старшим пастухом. А пока что, я дам тебе ружьё.

Тусклые глаза Рамона засверкали.

— Да, очень хорошее ружьё. И научу тебя, как с ним обращаться. С этим винчестером ты всех ваших метисов заткнёшь за пояс.

Таков был обычный способ дон Альваро подстёгивать своих рабочих, разжигая между ними соперничество и натравливая их друг на друга.

Он принёс из другой комнаты новенький жёлтый винчестер и велел Рамону следовать за собой. Они прошли под высоким сводчатым порталом дома и направились через поле к холмам. Невдалеке паслось стадо овец. Рамон очень боялся, что не сумеет показать себя и хозяин не отдаст ему ружья. У отца его было ружьё, из которого совсем не трудно было попадать в цель. Однажды отец дал ему пострелять, и Рамон убил оленя; впрочем, по правде говоря, он только ранил оленя в ногу, и его загнали собаки. Да, а сейчас... Может быть, это ружьё с большой отдачей и, чего доброго, вырвется у него из рук? Оно казалось очень замысловатым, даже таинственным на вид. Дон Альваро неторопливо объяснил Рамону, как закладывать шестнадцать патронов в казённую часть, затем показал, как работает затвор, и блестящие патроны запрыгали один за другим, резво, точно кузнечики.

Прогремел выстрел, и пуля ударилась где-то о склон холма. Невдалеке девочка-индейка пасла овец, которые разбрелись по всему холму, и при звуке выстрела начала торопливо собирать их.

— Овцы! Овцы! — жалобно уговаривала она животных, вместо того чтобы поугаать бичом.

Хозяин ранчо пришёл в бешенство, глядя на неё, и заорал:

— Замолчи ты, безмозглая дура!

Маленькая пастушка в полной растерянности замерла на месте, а дон Альваро заорал снова:

— Убирайся за скалы, пока я тебя не пристрелил!

Красная юбка исчезла, кубарем скатившись с холма. Дон Альваро выбросил пустой патрон и протянул ружьё своему ученику. Овцы уже водворились на прежнее место и, со свойственной им невозмутимостью, пощипывали траву.

— Ну-ка, возьми её на мушку — вот ту, с левого края, — приказал дон Альваро. — Ту, что с чёрными пятнами... Это отучит её отбиваться от стада.

Рамон поднял ружьё. Оно было короткое и держать его было удобно. Ствол блестел на солнце, и мушка казалась сверкающей точкой. Наконец он поймал эту серебряную муху в прорезь прицела. Пятнистая овца мирно пощипывала траву. Кругом всё словно притихло и насторожилось. Даже сердце, казалось, замерло на мгновение, чтобы своим мощным биением не помешать руке.

Раздался выстрел, и овца упала. Стрелок выбросил пустой патрон. Ружьё стреляло хорошо, без отдачи, не то, что обыкновенные ружья.

— Ты раньше стрелял когда-нибудь? — спросил дон Альваро.

— Нет, — солгал Рамон.

— Ну, ну... тогда из тебя выйдет неплохой стрелок.

По дороге домой дон Альваро объяснил новому пастуху, какие обязанности возлагаются отныне на него и его винчестер, и добавил, что сообщит ему, когда нужно будет приступить к работе. А пока что он может жить на ранчо со своей Клотильдой.

Маленькая пастушка ещё долго пряталась за холмом. Наконец, заметив, что кругом всё стихло, она выбралась из своего убежища. Опустившись на землю рядом с убитой овцой, плача и всхлипывая, она повторяла снова и снова:

— Ах ты моя пятнашка, бедная маленькая пятнашка!

Так изливала она в слезах своё горе.

А в это время Мардокео, обойдя окрестные селения и разузнав у арендаторов всё, что мог, подходил к господскому дому, гоня перед собой своего ослика, навьюченного цыновками.

Донья Леонора, жена дона Альваро, завидев его, сказала:

— А, это ты, Мардокео! Я только что вспоминала о тебе — мне нужны цыновки для слуг.

— Хорошо, хозяйюшка.

— Ты, верно, голоден? Ступай на кухню, скажи, чтоб тебе дали варёной картошки. Потом мы посмотрим твои цыновки, если только ты не будешь запрашивать. Последний раз ты заломил втрёдорога.

— Я дешёво продам, хозяйшюшка.

Не дожидаясь вторичного приглашения, Мардокео поспешил на кухню, размышляя по дороге о том, как удачно всё складывается. У доньи Леоноры и вправду были самые хорошие намерения. Она любила побаловать Мардокео, — этот индеец такая простая, добрая душа. В эту минуту дон Альваро в сопровождении своего нового пастуха возвратился домой и увидел во дворе осла, навьюченного цыновками.

— Чей это осёл?

— Мардокео, индейца из общины; он продаёт цыновки.

Дон Альваро разразился целым потоком ругательства и кликнул пастухов и слуг.

— Вот, Рамон, посмотрим, на что ты годен. Притащи сюда этого индейца, привяжи к дереву и всыпь ему сто плетей; будет теперь знать, как шпионить!

Донья Леонора с дочками скрылись в свои комнаты. Страх, словно порыв ветра, пролетел по дому. Мардокео притащили к эвкалипту.

— За что вы меня? Я же ничего не сделал! — молил он.

С него содрали одежду и привязали его за кисти рук к стволу старого дерева. Хозяин наблюдал эту сцену из окна кабинета, и Рамон, желая доказать ему своё усердие, взял плеть. Длинная кожаная плеть просвистела в воздухе и опустилась с глухим треском. Мардокео закричал, завыл. Плеть взвивалась и падала снова и снова, и крики понемногу слабели; потом наступила тишина, и всё словно окаменело вокруг, слышались лишь глухие, яростные, неотвратимые удары плети. Когда Мардокео отвязали, он грузно, как труп, осел на землю. Тёмная кровь сочилась из его вздувшейся спины.

На запрос Бисмарка Руица Иньигес ответил в духе разговора, бывшего у него с доном Альваро Аменабаром. Поскольку в документах общины границы её земельных владений не были определены в географических понятиях широты и долготы, Иньигес заявлял, что это не просто оплошность невежественных или недобросовестных земельных чиновников, а сознательное мошенничество ин-

дейцев. Он утверждал, что индейцы намеренно изменили названия местностей, с целью захватить не принадлежащие им земли. Вся эта казуистика была щедро пересыпана юридическими терминами и ссылками на соответствующие прецеденты; в качестве свидетелей обвинения Иньигес выставил дона Хулио Контрераса, дона Сенобио Гарсию и любого из обитателей Мунчи или лиц, знакомых с этой местностью, которых суду угодно будет выслушать. Суд вызвал свидетелей в установленном законом порядке, и их набралось немало.

В кабинете судьи, пропахшем чернилами и плесневелой бумагой, над высокой конторкой появилась гладко причёсанная голова и большие усы судьи, изъяснявшегося исключительно с помощью юридических терминов. Рядом с ним сидел близорукий писец и автоматически записывал показания свидетелей. Свидетели один за другим давали свои показания, то тщательно взвешивая слова, то выражаясь более непринуждённо, но всё время, как видно, боясь сказать лишнее.

Дон Хулио Контрерас Карвахаль — разносчик, не имеющий, в силу своей профессии, определённого местожительства, холостой, в возрасте пятидесяти лет, и прочая, и прочая, — свидетельствовал, что он на протяжении двадцати лет неоднократно посещал Руми. Он не знает точно, как называются те или иные ущелья и ручейки, так как его трудное ремесло не оставляет ему ни минуты свободного времени в его скитаниях по городам и сёлам, но как-то раз, когда он останавливался в доме крестьянина Мигеля Панты, последний сказал ему, что жители Руми изменили названия некоторых ущелий и ручьёв, и никто якобы не посмел с ними спорить. На вопрос судьи, почему Панта рассказал ему об этом, свидетель отвечал, что тот попросту хотел похвалиться могуществом общины. Судья, приняв важный и суровый вид, подверг свидетеля подробнейшему допросу по этому пункту, и Чародей покинул свидетельское место с твёрдым убеждением, что Иньигес и дон Альваро имеют дело с человеком, отнюдь не склонным выносить поспешные решения.

Дон Сенобио Гарсия Мораледа — коммерсант (перегонный завод и торговля водкой), постоянный житель Мунчи и видное лицо в округе, занимающий пост начальника округа, женатый и прочая, и прочая, — свидетельствовал, что общину Руми он знает с самого детства и что как в Мунче, так и в прилегающих селениях всем испокон веков

известно, что община захватила чужие земли, изменив названия мест, служащих границами, и таким путём незаконно расширила свои владения. Прежде эта деревня была расположена в горах Янаньяуи, где до сих пор ещё сохранились остатки каменных строений. Суровый судья и на этого свидетеля обрушил град вопросов, пожелав, между прочим, узнать, не имел ли тот столкновений с жителями Руми? Свидетель отвечал, что столкновений у него не было, так как он всячески старался их избегать, хотя ему известно, что деревня укрывает у себя Фьеро Васкеаса с его шайкой и это создаёт большую опасность для Мунчи и всех окрестных ранчо. Когда Гарсия покидал кабинет судьи, лицо его было заметно краснее обычного, а на лбу от натуги выступили капельки пота. Он, как и предыдущий свидетель, нашёл, что судья шутить не любит.

Дон Агапито Карранса Чамис — коммерсант, занимающий видное положение в городе, и прочая, и прочая, — подтвердил все показания предыдущего свидетеля. На вопрос непреклонного судьи, какие он может представить суду доказательства, он ответил, что считает достаточным доказательством тот факт, что жители Мунчи — все, как один, бедняки — платят общине за свой скот, который пасётся на её пастбищах, по одному солю с головы, в то время как дон Аменабар, человек состоятельный, не платит ни центаво. Судья подверг свидетеля перекрёстному допросу, и дон Агапито покинул суд, уверившись не только в том, что судья человек неподкупный, но также и в том, что сам он свалил дурака, позволив Сенобио втянуть себя в это дело. Никогда в жизни не станет он больше советоваться с ним, а верить его обещаниям — и подавно. Пусть даже он сбережёт по одному солю с каждой головы скота в год. Ну а что, если его притянут к суду за лжесвидетельство?

Пятнадцать дней кряду судья допрашивал пятнадцать свидетелей и делал им очные ставки. А его писец в пространном, запутанном, многоречивом стиле, типичном для судебных отчётов, исписывал лист за листом горы гербовой бумаги. К тому времени, когда крестьяне Руми во главе с Росендо Маки пришли к Бисмарку Рунцу узнать, как обстоят дела, этой бумаги скопилось уже весьма внушительная груда. Адвокат сказал Росендо, чтобы он был готов дать свои показания на следующей неделе. Им беспокоиться не о чем. Он, Рунц, сделает отвод Контрерасу, Гарсии и другим свидетелям. А всё остальное пустяки.

Подобно Фьеро Вакесу, Наша Суро носила только чёрную одежду. У Фьеро, поставившего себя вне закона, эта одежда являлась как бы символом его отречения от мира, а у Наши она просто как нельзя лучше способствовала её мрачной и таинственной славе. Голову Наша покрывала платком, под которым прятала свои седые космы, и лишь старушечье лицо её, такое морщинистое и прызное, что казалось похожим на ветхую тряпку, коричневым пятном выделялось на чёрном фоне. В её тусклых глазах временами появлялся странный блеск. Она считалась хорошей повитухой, а также опытной колдуньей. Была она мала ростом, сгорблена и жила одна в маленькой хибарке с узкой дверью и без окон. В этой берлоге она и совершала свои таинственные обряды. Никто, кроме больных, не переступал порога её хижины. Но чаще она лечила своих пациентов у них на дому. Она заставляла поселян собирать для неё кой-какие лечебные травы, но травы для самых главных снадобий собирала сама в полях и по берегам ручьёв. Только её опытный глаз умел их отыскивать.

Наша, или — назовём её полным именем — Нарциса, была дочерью лекаря Абея Суро; у неё был брат Касимиро, который рано умер. Из них троих самым знаменитым был Абель. Вначале Касимиро, а потом и Наша не плохо преуспевали под сенью его славы. Он произвёл несколько чудесных исцелений, и сам дон Гонсало Аменабар был ему обязан жизнью.

Дон Гонсало, человек предприимчивый, решил однажды произвести разведку в скалистых утёсах вокруг дороги на Мунчу с целью заложить там рудник. Когда подрывали динамитом скалу, дон Гонсало стоял, как видно, слишком близко или недостаточно хорошо укрылся, и осколком камня ему пробило череп. Он не мог сесть на лошадь, и его спутники решили нести его на руках в Умай или в город. Но очень скоро они убедились, что и тот и другой путь слишком долг.

К тому же в те времена докторов в городе не было, а ранчо Умай было ничем не лучше всякого другого места. Дон Гонсало едва шевелил языком, и одна сторона тела была у него парализована. Они остановились в Руми и позвали Абея Суро. Он осмотрел рану. Осколки черепной кости попали внутрь раны и давили на мозг. Абель заявил, что нужно сделать трепанацию черепа. Один из слуг дона Гонсало сказал, что это дело хирурга, а не лекаря. Но дон Гонсало, который не помнил себя от боли и пуше

всего боялся остаться парализованным, кое-как прохрипел Абелью, чтобы он живее принимался за дело.

Было утро, Абель, спокойный, неторопливый, ответил, что спешить некуда. Прежде всего он напоил раненого настойкой из различных трав, чтобы унять боль. Понемногу дон Гонсало начал успокаиваться, и после каждого приёма настойки Абель спрашивал:

— Очень болит, сеньор?

— Нет, ничего, — бормотал дон Гонсало.

Абель взял совершенно новый горшок, налил в него воды и поставил на огонь, а потом достал ещё несколько маленьких новых горшочков и тоже поставил их на огонь. Затем он смешал в чашке различные настойки, которыми сначала поил раненого, и дал ему выпить их все зараз. Когда вода закипела, он разлил её по маленьким горшочкам, положил в каждый горшочек каких-то трав и окунул туда несколько тонких острых ножей и стальных шил. Затем он погрузил в воду руки, ибо, по его словам, такую операцию нужно делать «горячей», — иначе ничего не выйдет. Затем, пробормотав какие-то таинственные заклинания, он приступил к операции. Его помощники меняли воду в маленьких горшочках, следя за тем, чтобы она всё время была горячей, и Абель окунал в неё руки и брал то один нож, то другой, то одно шило, то другое, чередуя их так, чтобы они не успели остыть. Он удалил кусок черепа в том месте, где кость была раздроблена, и образовавшееся овальное отверстие прикрыл тонким слоем размоченной тыквенной кожуры. Поверх раны он положил припарку из трав, и через несколько дней дон Гонсало вернулся на своё ранчо. Вскоре он совсем поправился и прожил ещё много лет с черепом, заплатам кусочком тыквенной кожуры. Он умер от воспаления лёгких, схватив простуду в горах в бурю.

Когда хозяин ранчо выздоровел, он пожелал подарить Абелью упряжку волов, — а община в то время чрезвычайно в них нуждалась, — и, кроме того, предложил ему денег или продуктов, сколько он попросит. Но лекарь показал себя благородным человеком; он ответил:

— Сеньор, я — индеец, и прошу вас только об одном: не забывайте об индейцах. Жизнь так больно бьёт их, что у них-то черепа трещат частенько...

Дон Гонсало возразил:

— Ну, вам в общине живётся неплохо.

— Не все индейцы живут общинами.

Дон Гонсало сказал:

— Ладно, приятель, я сделаю, что могу, для твоих индейцев.

Абель завещал свои знания Касамиро; но он умел читать судьбу и знал, что сын рано умрёт, а потому обучил своей премудрости и Нашу. Много лет спустя в общину явились чиновники, навести справки о лекарях, и не нашли никого, кроме Наши. Колдунья сказала им, что никогда не делала операций на черепах, да и, доведись ей, нипочём не сумела бы, так как ни силы у неё нет такой, ни опыта. Один из чиновников начал сетовать:

— Вот ведь что получается. Во времена инков индейцы были вооружены дубинками с металлическим концом, которыми они ловко раскраивали черепа своим противникам, и ясно, что у их хирургов работы были полны руки, а теперь подобные ранения встречаются всё реже и реже, и черепные операции начинают забываться.

Приехавшие расспрашивали Нашу о травах, которыми она лечит, но Наша напустила на себя придурковатый вид и назвала им только те травы, которые и так известны всем и каждому.

У Наши, хотя она и не делала черепных операций, было много пациентов среди поселян и арендаторов из окрестных ранчо. Их число несколько уменьшилось, когда против малярии начали широко применять хинин, против засорения желудка — ревеня и соду, против различных других недугов — всевозможные новоизобретенные пилюли, а о зубной боли стали справляться при помощи щипцов. Зато, если нужно было спасти ребёнка от сглаза или заговорить его, чтобы он не боялся привидений в ущельях и лесистых каньонах, — тут уж Наша была незаменима. Против дурного глаза она прописывала особое купанье и вешала ребёнку на шею ладанку с петушьим гребнем, а чтобы опутить ребёнка бояться, она уводила его туда, где ему померещилось привидение, и строила такие страшные гримасы, что ребёнок пускался в рёв; тогда, что-то пошептав над ним, она хватала ребёнка и бегом возвращалась домой. Взрослых Наша обычно лечила с помощью морских свинок. Она крепко-накрепко тёрла тело больного морской свинкой до тех пор, пока животное не выпускало дух. После этого она разрезала маленький трупик и принималась внимательно изучать внутренности и, в зависимости от того, что находила там, устанавливала, в каком органе у её пациента гнездится болезнь.

Наша была не из тех колдуний, что насылают беды,— наоборот, она, как никто, умела спасать людей от злых чар. Как готовила она свои снадобья— этого никто не знал. Она запиралась с больным в своей каменной берлоге и изгоняла болезнь при помощи различных напитков и заклинаний. Это продолжалось всю ночь. Вокруг её хибарки родственники больного или кто-нибудь из поселян несли охрану; они стучали своими мачете клинок о клинок, чтобы напугать и прогнать прочь злых духов, которые могли прилететь сюда, чтобы помешать исцелению. Если больной всё-таки умирал, значит уж недуг зашёл слишком далеко и его невозможно было выгнать наружу.

Только безумец рискнул бы посмеяться над Нашей, рассчитывая, что это сойдёт ему с рук. Про неё говорили, что она может сделать человека хромым, — для этого ей стоило только поднять кусочек земли с дороги, по которой он проходил. А сделав чучело, похожее на наметенную ею жертву, и натывав в него колючек кактуса, она будто бы заставляла человека невыносимо страдать от боли. Случалось даже, что жертва умирала; всё зависело от того, куда были воткнуты колючки. Говорили также, что Наша может заставить худеть до тех пор, пока человек не высохнет, как палка. Говорили, что она может ослепить или лишит рассудка, напоив чичой, настоенной на волосах, на могильной земле и ядовитых травах. Говорили, что с помощью маленькой совы, называемой «чущек», она может снять со спящего голову, унести её с собой и заколдовать; или просто положить на место отрезанной головы полтыквы, так что голова прискакав назад, сколько бы ни старалась найти привычное место, уже не могла снова прирасти к шее; или же Наша просто переворачивала тело, и голова прирастала задом наперёд. Говорили...

Наша могла обернуться любым животным — чёрным цыплёнком, чёрной коровой — и проникнуть всюду, куда ей было нужно. И существовало поверье, что таких оборотней можно только ранить, а убить нельзя. При этом у колдуньи появлялась на теле рана в том месте, куда был ранен оборотень. Как-то раз Наша несколько дней ходила с завязанной рукой — уж, верно, неспроста! Наша умела узнавать судьбу по листьям коки и по полёту орлов, ястребов и кондоров, и по краскам заката.

В эти дни мысли всех поселян, за исключением самых неисправимых маловеров, были обращены к Наше не

меньше, чем к Росендо. Неужели колдунья, такая сведущая в разных премудростях, не может ничем помочь общине? Или уж дон Альваро неуязвим? Кое-кто начал даже подумывать — разумеется, эти мысли каждый держал при себе, боясь гнева колдуньи, — что, должно быть, Наша не знает и половины того, что ей приписывают, а все рассказы о её необыкновенном могуществе — пустая болтовня и ничего больше.

Но вот Наша заговорила. Это было в тот день, когда бедный Мардокео вернулся из Умая со вздутой багровой спиной и лицом, печальным и угрюмым, как январское небо. Наша положила ему на спину припарки из трав и потом, сжав в кулаки свои узловатые пальцы, прокляла дону Альваро Аменабара и предрекла ему страшный конец. После этого те, кто верил в Нашу, почувствовали успокоенье, — ясно, что колдунья готовит решительный удар. Однажды утром дверь её хибарки оказалась закрытой. Наша поднялась очень рано...

Целый день она шла через горы своим обычным неторопливым шагом, держась в стороне от проезжих дорог. В сумерки она достигла равнины Умая. Здесь она дождалась наступления ночи, и когда тишина и мрак окутали ранчо, прокралась к господскому дому и вошла в него, не потревожив ни тишины, ни мрака. Даже четыре свирепых дога, которых спускали на ночь с цепи, не слышали её шагов. Бесшумно, как привидение, прошла она по комнатам, проникла в зал и отворила одну из дверей. Небольшая лампада горела в нише перед статуей мадонны. При свете лампады она нашла то, что искала: портрет дона Альваро Аменабара. Он стоял на столе, в резной серебряной раме. Наша вынула портрет из рамы; пустая рама осталась на прежнем месте, только зловещая колючка кактуса оказалась воткнутой в её деревянную спинку. Затем, спрятав портрет под платок, Наша выскользнула из дома так же бесшумно, как и вошла в него, и скоро была уже далеко. Дом спал, погружённый в тишину и мрак.

На следующее утро пустая рама была обнаружена, и донья Леонора залилась слезами, а вслед за ней заплакали и три её дочери.

— Альваро, они хотят погубить тебя! Всем известно, что Наша Суро колдунья.

— Плевал я на колдовство. Следи только получше за моей пищей и больше ни о чём не беспокойся. Ни в какое другое колдовство я не верю.

Но донья Леонора и её дочери верили в колдовство; несмотря на благородную кровь и воспитание, они разделяли все местные предрассудки. Над дверьми их комнат, корнями к потолку, висели отростки кактуса, особой невянущей породы. В сундуках и шкапах среди вороха платьев, если поискать хорошенько, можно было обнаружить засохшую скунсовую лапку. Кактусы и скунсовые лапки считались превосходным средством против колдовства.

Несколько дней спустя дон Альваро отправился со своей охраной в город, и, когда они пересекали плато, чёрная фигура Наши Сура неожиданно выросла перед ними на повороте дороги. Испуганная этим внезапным появлением, лошадь дон Альваро встала на дыбы, и когда ему удалось, наконец, её успокоить, он сказал:

— Ты думаешь запугать меня, старая безмозглая ведьма! Счастье твоё, что твой отец спас когда-то жизнь моему отцу, не то я сию же секунду всадил бы в тебя пулю.

Согнутая в три погибели фигура была похожа на грудю лохмотьев, только широко раскрытые глаза на лице цвета глины смотрели злобно и вызывающе.

— Общитесь её, — приказал дон Альваро.

На лицах пастухов отразился страх. Медленно и неохотно они слезли с лошадей.

— Ну, живо! Общитесь её трусы!

Пока пастухи обыскивали старуху, дон Альваро продолжал бушевать:

— Смотри, если они найдут у тебя мой портрет, ты мне заплатишься за это, бесстыжая ведьма!..

Грубые руки пастухов со страхом и отвращением шарили по хилому телу. Но ничего не нашлось. Не сводя зловещего взгляда с владельца ранчо и его спутников, Наша Сура заковыляла по дороге.

Дон Альваро тоже отправился дальше; он сказал своей охране:

— У этих колдуний — два средства: ядовитые травы и запугивание. Глупо бояться их, это им как раз на руку.

Его спутники не ответили ни да, ни нет. Они надеялись, что Наша Сура понимает, что они отнюдь не по своей воле посмели коснуться её, и не станет их губить.

Донья Леонора послала в Руми человека; она предлагала денег тому, кто вернёт ей портрет дон Аменабара. Поселяне делали вид, что никак в толк не возьмут,

о чём это им говорят, но когда посланец ушёл, погрузились в размышления. Так вот где пропала Наша! Она теперь, верно, уж весь портрет истыкала колючками, а ведь все знают, как это действует, даже если воткнуть их в чучело, а тут настоящий портрет, — ну, Альваро, не жди спасенья! Уж, верно, она выжжет ему глаза плодами уайлулос, жаренными на несолёном масле. Уайлулос или «уайрурос» — красивые, очень твёрдые плоды, красные с чёрным пятнышком. Они растут в лесах, и ими торгуют все разносчики во главе с этим проклятым Чародеем. Эти плоды найдутся у каждого, потому что они, как говорят, приносят счастье, но колдуньи пользуются ими, чтобы ослеплять людей и ещё для каких-то своих колдовских дел. Масло непременно должно быть несолёным, так как соль разрушает всякое колдовство, даже чары гор и озёр. Ни один поселянин не выйдет в поле, не поев чего-нибудь солёного или не положив несколько крупинок соли на язык.

По деревне пошли толки: Наша Суфо, с её познаниями по части колдовства и разных заклинаний, уж, верно, сумеет заколдовать этого дьявола, сына того, кто не знал, что такое благодарность, и освободит от него общину. Что сделал дон Гонсало Аменабар для индейцев? Что делает теперь дон Альваро? Угнетает их, бьёт, убивает, грабит. Кого Абель исцелял, того Наша теперь погубит — это только справедливо. В жизни за всё приходит расплата, и зло, рано или поздно, бывает наказано. Так говорили те, кто верил в Нашу. Порфирию Медрано ничего не говорил, но видно было, что он не верит в колдовство. Росендо Маки и верил, и не верил. Может ли так быть, чтобы власть всемогущего бога, и всех его святых, и земли подчинялась воле человека — воле слабой, придурковатой старухи? К тому же гаданье на листьях коки не предрекало Наше успеха. Или же дон Альваро — это одно, а неотвратимая судьба — совсем иное? Росендо от всей души хотелось верить. Гойо Аука ждал, что скажет старшина. Но Росендо держал свои сомнения при себе, не желая расхолаживать тех, кто верил. Другие помощники старшины, когда к ним обращались с вопросом, тоже старались поддерживать надежду в людях. Доротео Киспе, со своими чудодейственными молитвами, был тайным соперником Наши: он презрительно фыркал, говоря, что спасения нужно ждать от бога, а не от колдуний.

Но время шло, и понемногу все стали поговаривать о том, что с доном Альваро не приключилось никакой беды. Он попрежнему ездил из Умая в город и обратно — скакал себе во весь опор, дюжий, здоровый, как бык. Очевидно, он без помехи продолжал своё грязное дело. Все знали, что показания Сенобио Гарсии и других свидетелей были даны под его диктовку. А где же хваленое колдовство Наши, какой от него толк?

Однажды под вечер она выползла из своей хижины; на лице её было написано уныние, потухший взгляд устремлён в землю, — и все поняли: Наша Суро потерпела поражение. Обратившись к Росендо, она сказала:

— Я не могу завладеть его душой.

— Мы поедem к морю, мой любимый. Не надолго, просто немножко развлечься. Я вовсе не хочу, чтобы ты бросил свою работу. Ты ведь знаешь, я сама не стану жить там долго. Один, два месяца не больше. Нам будет так хорошо! Вдали от этого города с его сплетнями. — Мельба, не переставая, уговаривала Руица.

Слабый свет проникал сквозь голубые шторы. Мельба была прекрасна. В полумраке комнаты её белая кожа, казалось, притягивала к себе все лучи.

— Оскар передаст Лауре пять тысяч солей. Ты ведь знаешь об их связи? От тебя хотят только одного: ты не должен ничего предпринимать. Просто не вмешиваться, и всё. Не делать отвода свидетелям.

Охваченная мечтами о пяти тысячах солей, — такую сумму она, в свою очередь, должна была получить за труды, — Мельба страстно поцеловала адвоката, не обращая внимания на липкий пот, покрывавший его лунообразное разгорячённое лицо. Бисмарк Руиц увидел, что возможность отомстить Аменабару за все оскорбления, за всё пренебрежение ускользает у него из рук. Но зато как приятно будет уехать отсюда далеко-далеко, вдвоём с этой женщиной, которая, как видно, всерьёз полюбила его.

— Мы поедem к морю на лето. Подумай, как хорошо в это время на пляже! Мы будем счастливы, любимый! Разве ты не говорил, что любишь меня больше всего на свете?

И Бисмарк Руиц сядет ещё раз.

Росендо Маки давал свои показания. Он говорил горя-

что и просто — о правах общины, о неоспоримом владении ею землями на протяжении долгих лет, о том, что эти земли испокон веков почитались собственностью общины. Голое его прерывался от волнения, и временами он умолкал, стараясь овладеть собой. Когда он кончил, судья подробно и обстоятельно принялся допрашивать его по поводу показаний свидетелей, представленных суду Иньигесом.

Бронзовое морщинистое лицо Росендо нахмурилось и потемнело от негодования, суровые глаза налились кровью.

— Это всё ложь, — сказал он, — они говорят так только потому, что хотят ограбить общину, отнять у неё землю. У общины есть документы, и он представит суду свидетелей, которые скажут правду. Ручей Ломбрис и ущелье Руми испокон веков назывались только так. Община и не думала менять их названия. Это правда, что Фьеро Васкес заезжал к нам в деревню, но точно так же заезжает он и в другие посёлки, и никто не смеет его тронуть, все боятся мести его банды. Сам Сенобио Гарсия, начальник округа, видел Васкеса, когда проезжал через Руми. Кто же мешал ему схватить бандита? Однако он и пальцем не пошевелинул, а ведь был не один — их было четверо, и все с винтовками. А если Аменабар не платит им за то, что его скот пасётся на их пастбищах, так это ещё ровно ничего не доказывает. Не платит он просто потому, что пользуется своим положением; на своих-то собственных землях у него совсем другой порядок. Ну, а раз они не могут заставить дона Альваро платить, им не остаётся ничего другого, как из года в год возвращать ему скот задаром.

Тут уж судья нашёл нужным выразить возмущение:

— Что ты хочешь этим сказать? Почему община не может заставить его платить? А где же справедливость, закон?..

Росендо промолчал. Он очень устал, и ему хотелось только одного — поскорее со всем этим покончить. Он почувствовал вдруг, что задыхается в этом мире бумаг и табачного дыма, в этом спёртом воздухе. На мгновение ему показалось, что все эти протоколы и судебные отчёты, грудями наваленные на полках и на столе судьи, сейчас задавят и его и всех их, задавят общину. Сколько бумаги, не счесть! Сколько букв, сколько слов, сколько кляуз! Что он понимает в этом? Бисмарк Руиц — тот по-

нимает, но ведь он не из их общины. Он не любит землю; он любит только одно — деньги! Росендо страдал, ему казалось, что он гибнет среди этих гор бумаги, как путник, заблудившийся в снежный буран в горах. Поэтому он ничего не ответил, и судья сказал:

— Я вижу, что у тебя нет должного уважения к закону. Да и как может быть иначе, когда вы там, в общине, совсем оторвались от жизни страны. А почему, позвольте спросить?

Допрос продолжался долго. Росендо был измучен и отвечал односложно; но временами он забывал усталость и говорил, говорил, защищая свою землю, как дикий зверь защищает свою берлогу. Когда он кончил, судья встал и, в знак благожелательности, положил руку ему на плечо.

— Ну, старик, я лично прощаю тебе твою нерадивость, так как вижу, что ты устал. Но долг судьи требует от меня другого: закон есть закон. Ну, ладно, не огорчайся. Приводи своих свидетелей. Они не должны быть членами общины, иначе будут просто повторять твои слова, к тому же все члены общины — лица заинтересованные. Но это должны быть люди, хорошо знающие Руми.

— Таких немало, ваша честь, — ответил Росендо.

Росендо посоветовался с Бисмарком Руицем, и тот подробно объяснил ему, что он должен делать. В сопровождении помощников старшины и ещё нескольких наиболее уважаемых членов общины Росендо отправился на поиски свидетелей. О судьбе Росендо думал, что он, хоть и суров на вид, но, должно быть, неплохой человек. Ясно, что он хочет решить дело по справедливости, в пользу того, на чьей стороне правда. Но эти ужасные горы бумаги — можно задохнуться под ними! Ну ладно, сейчас дело за тем, чтобы собрать свидетелей. Итак, вперёд!

Двери часовни стояли настежь, и перед образом св. Исидора неустанно возносились мольбы — свечи возжигались днём и ночью, а молились больше по ночам. Доротео Киспе, преклонив колена, гнул свою широкую спину и косматую голову, хриплым, умильным голосом читая молитвы. Позади него шевелилась пёстрая масса пончо и шалей, из которых высовывались благоговейно склонённые головы. Св. Исидор слыл великим чудотворцем. Он спасёт общину; его лицо казалось ещё спокойней и безмятежней, чем всегда. Праздник св. Исидора приходится на те дни, когда начинается наливать колос. Жители Руми

обещали устроить в этот день великое торжество, даже с боем быков, если святой спасёт общину. А пока что они горячо молились, и свечи на алтаре, мерцая, оплывали длинными восковыми слезами.

Росендо с помощниками в поисках свидетелей обошёл все селения — от Мунчи до Уйюми, побывал и на ранчо на том берегу реки Окрос, и на ранчо за зубчатым хребтом Эль-Альто. И везде они получали один ответ:

— Конечно, ваше дело правое, кто же не знает, что эти земли испокон веков принадлежали общине? Но как можно идти наперекор дону Аменабару? Вы же сами знаете, какой это человек — он ни перед чем не остановится, чтобы погубить нас, если мы вступаемся в это дело.

Так, и Росендо, и его помощники, и другие поселяне возвратились в деревню ни с чем, но каждый из них, переживая горькое разочарование, надеялся, что другим больше повезло. Однако грозная сила дона Альваро, как черная туча, застилающая небо, нависла над всей округой. Жители Руми пошли к Бисмарку Руицу рассказать о постигшей их неудаче, но он ответил беспечно, словно это дело его и не касалось вовсе:

— Ничего, главное — ищите, ищите свидетелей. Быть не может, чтобы во всей округе не нашлось ни одного честного, смелого человека.

Наконец честный, смелый человек появился в лице Хасинто Прието. Хасинто был кузнецом и жил в городе; в его бронзовой груди, выпиравшей из распахнутого ворота темной рубахи, билось большое сердце, и весь он был большой, с крепким телом, с сильными жилистыми руками. И дома и на улице он неизменно носил фуражку с небольшим козырьком — его лицо, изо дня в день опаленное жаром горна, не боялось лучей солнца. Огромные руки кузнеца были покрыты мозолями, а башмаки вечно обутлены от горячей золы. С его широкого смуглого мясистого лица не сходило напряжённое выражение, словно он всё время прицеливался — куда опустить свой тяжёлый молот или где ещё поскоблить напильником. Но суровость, которую придавали его лицу нахмуренные брови, смягчалась добродушной улыбкой полного рта. Уж много лет кузнец Прието был другом общины, а после того как он взял к себе в ученики Эваристо Маки, между ним и общиной завязалась ещё более тесная дружба. Из года в год, как

только соберут урожай, он появлялся в Руми с двумя упряжками мулов и закупал кукурузу и пшеницу.

— Вот и я, дон Росендо, приехал за своим пропитанием.

— Добро пожаловать, добро пожаловать, дон Хасинто! Очень приятно вас видеть!

Прието, как всегда, остановился в доме Росендо. Друзья завели беседу, и старшина, разумеется, рассказал кузнецу о тяжбе и постигшей их неудаче. Никто не хочет выступить от них свидетелем. Невозможно найти ни единого человека.

— Что за малодушный народ! — сказал кузнец.

— А вы не согласились бы пойти свидетелем, дон Хасинто?

— Конечно, почему же не вступить за правое дело? Лет тридцать хожу я сюда, с тех пор как был ещё подручным, и всегда эти земли принадлежали вашей общине. Что может быть плохого в том, чтобы сказать правду? Соседнее ранчо называлось в ту пору Чёрный холм, и там разводили овец. Тогда ещё оно не отошло к Умаю.

Росендо был очень благодарен кузнецу и хотел дать ему в подарок кукурузы и пшеницы. Но Прието отказался.

— Нет, дружище, это выйдет так, словно вы меня подкупили. Что правда, то правда, и нужно говорить правду, не думая о награде. Если я приму от вас этот подарок, он будет лежать у меня на совести и бередить её, как нарыв.

— Ладно, тогда пойдёмте к Бисмарку Руицу, и вы скажете ему...

— А нужно идти к Руицу? Ну, так пойдёмте скорей, пока я не передумал. Самую крепкую правду закон может сокрушить одним ударом, как кусок плохо закалённой стали.

Бисмарк Руиц долго расспрашивал кузнеца, какие он думает давать показания, и, наконец, сказал, что напишет заявление, и судья скоро его вызовет. У Росендо как гора с плеч свалилась. Хасинто Прието был честный труженик, он умел держать слово, и все уважали его — и владельцы ранчо, которым он подковывал породистых коней, и бедные крестьяне, чьи лопаты и мотыки точил задёшево. Он сдержит слово.

Прието спокойно возвратился в кузницу. Как у всякого сильного, уверенного в себе человека, нрав у него был весёлый и добродушный. Он заканчивал свои дневные труды, мурлыкая под нос песенку, а потом садился вместе со своими помощниками за стол, и его жена подавала им еду. Голод делал для них пищу особенно вкусной. Хозяин беседовал с работниками, обсуждая всё, что произошло за

день. Один из молотов того и гляди сломается. Прежде инструмент был не чета нынешнему. Какая сталь, какие напильники! Им износу не было. Не следует слишком охлаждать сталь, перед тем как опускать её в воду для закалки. Кто по-настоящему понимает, как надо закалять сталь, тот по звуку, по шипению сумеет определить, когда пора вынимать её из воды. Нужно немало поработать, чтобы этому научиться.

У индейцев было поверье, что вода, в которой закалялась сталь, становится целебной. Они приходили к кузнецу покупать эту воду. Он говорил им:

— Вы мне только натаскайте воды взамен той, что возьмёте, больше мне ничего не надо. — Он боялся, как бы они не вычерпали всю бочку. Да, прежде индейцы совсем ничего не смыслили, теперь мало-помалу они становятся умней. Но только им попрежнему от всех приходится терпеть. Вон ведь что случилось в Руми! Он будет выступать в суде свидетелем, потому что человек должен защищать правое дело, даже если от этого и не выйдет проку. Интересно, скоро ли его позовут давать показания. У него был когда-то ученик из Руми, теперь этот малый сам стал кузнецом. Всё бы ничего, вот только любит выпить лишнее. Можно, конечно, хлебнуть глоток, другой, даже и для здоровья худо, если человек совсем не знает вкуса водки, но на всё нужно знать меру.

Работники — все они были учениками кузнеца — слушали молча, из уважения к хозяину, который был владыкой их жизнью и железа.

Два дня спустя человек по имени Сурдо, бродяга и мошенник, живущий неизвестно как и чем, пришёл после обеда в кузницу. На нём были жёлтые бумажные штаны и куртка, заплатанные и грязные. Его измождённое лицо и беспокойный взгляд говорили о непутёвой жизни.

— Послушайте, дон Хасинто, я приносил вам заступ в починку, а он опять сломался. Что ж это у вас за сталь?

— Самая лучшая сталь. Какой ещё стали вам нужно?

— Нет, это не сталь. Это старое переплавленное железо, — сказал Сурдо, повысив голос. — Это надувательство.

Кузнец терпеть не мог этого ленивого, распущенного человека, — и вся жизнь его, и сам он были глубоко противны честному труженику.

— Ладно, — сказал Хасинто, — если вы говорите, что заступ сломался, принесите его, я ничего не возьму за починку.

Но Сурдо продолжал кричать:

— На заступ мне наплевать, а надувательства я не потерплю. Как же здесь бедных индейцев обкрадывают! А они не смеют даже жаловаться.

Кузнец отложил в сторону молот и посмотрел на Сурдо загоревшимся взглядом:

— Слушай, прекрати это! Если не хочешь приносить заступ, — вот, получи свои деньги обратно.

И он бросил на наковальню два соля, которые Сурдо поспешно подхватил.

— Ты что ж, думаешь этим отделаться? А кто не посмеет жаловаться, тот так и останется ни с чем?

Кузнец подошёл к нему.

— Убирайся отсюда, пока я не свернул тебе шею, подлый лентяй! Да ты хоть день-то проработал этим заступом? Ручаюсь, что ты его продал. Убирайся вон, чтоб духу твоего здесь не было.

Сурдо вышел из кузницы и, остановившись посреди улицы, начал кричать:

— Надувательство!.. Это не кузнец, а жулик!.. Пусть-ка выйдет сюда. Небось, стыдно людям на глаза показаться!.. Ну-ка, выйди сюда! Трус, вор!..

Толпа зевак начала понемногу собираться перед кузницей.

— Пусть все знают, — продолжал кричать Сурдо, — этот Прието — просто вор! Он починил мне заступ старым переплавленным железом, а не сталью. А теперь ещё сам бранится. Пусть-ка этот трус, этот вор выйдет сюда!..

Хасинто Прието, весь красный от возмущения, вышел из кузницы, намереваясь сказать что-то собравшимся зевакам, но не успел он раскрыть рта, как Сурдо выхватил левой рукой нож и бросился на него. Прието отшатнулся, Сурдо упал, и Прието схватил его за руку, скрутил её и заставил бродягу выронить нож.

— Пусти меня, трусливый вор!..

Кузнец вышел из себя и начал молотить Сурдо кулаками; три раза подряд сбивал он бродягу с ног, едва тому удавалось подняться. Затем схватил его за горло и сжал так, словно это была гадина, которую надо раздавить. Сурдо задыхался и корчился.

В эту минуту раздался жалобный крик:

— Хасинто, что ты делаешь?

Кузнец очнулся. Он отпустил Сурдо, и тот плюхнулся на землю. Нос у него был разбит в кровь, да и рёбра, надо

полагать, не все остались целы. «Что со мной, — подумал Прието, — что я делаю?» Жена с плачем повисла на его могучей руке. Появилась полиция и начала наводить порядок. Сурдо лежал на земле, закрыв глаза, и тяжело дышал.

— Ступайте за нами, дон Хасинто!

Крут зеваяк распался. Кузнец вошёл в кузницу, надел рубашку и пиджак и появился снова.

— Пошли! — сказал полицейский.

Так впервые за всю свою жизнь Хасинто Прието попал в тюрьму.

Сурдо нанял адвоката и привлёк Прието к суду за оскорбление действием и покушение на убийство. Прието тоже нанял себе защитника. Вызвали свидетелей. В пользу кузнеца говорило то, что он первый подвергся нападению, но он не мог предъявить суду *corpus delicti*, иначе говоря — нож. Кто-то подобрал его во время драки. По всему было видно, что дело грозило затянуться.

Жена принесла Прието просроченную повестку: его вызвали в суд для дачи показаний по делу общины Руми.

Он сказал ей:

— Ты знаешь, я подумал и решил, что всё это нарочно подстроено, чтобы я не мог выступить свидетелем. Заступ был в полном порядке. А Сурдо — лентяй и бездельник, кто ж этого не знает? Ручаюсь, что и заступ-то не его, он, верно, стянул его где-нибудь, отдал починить, а потом продал. Я ведь говорил, чтобы он снова принёс его в починку, да он сам не пожелал. И деньги я вернул — и всё ему было мало. Нет, ему нужно было только одно — втравить меня в драку. Может, он хотел убить меня? Ну, а теперь меня будут судить за оскорбление действием и покушение на убийство, — а им только это и надо. Почему судья так долго копаётся с предварительным следствием? Они хотят опорочить меня как свидетеля. Да, в хорошую я попал передрагу.

Ученики Прието не могли без него угодить заказчикам, и работа в кузнице мало-помалу иссякла. Старший сын Прието, который мог бы наладить дело, отбывал службу в армии. На него пал жребий, и он не пожелал прятаться или добиваться освобождения, как это делали сыновья богачей, а, исполняя долг патриота, явился на призывной пункт.

В камере у Хасинто было темно и сыро, холод пробирал его до костей; день за днём сидел он так в полном без-

дельи. Как-то там у этих бедняг-индейцев идут дела с их тяжбой? Жена его всё плачет, в кузнице теперь еле сводят концы с концами, сын далеко — служит родине. Они отнимут землю у крестьян — это уж как пить дать! Отечественные порядки с каждым днём всё меньше и меньше нравились Хасинто Прието. Почему у них так много продажных чиновников, так много несправедливости со стороны богатых и сильных, так много воровства? Его любовь к родине была крепка, как сталь, отраднa, как еда после трудового дня, а теперь... быть может, его родина и хороша, да только не для бедняков...

Итак, кроме Прието, не нашлось никого, кто решился бы выступить свидетелем на стороне общины. Бедняки боялись, богачи же, которые ничем не рисковали, придумывали всякие отговорки, а между собой говорили:

— Станем мы путаться в это дело из-за каких-то индейцев!

Иньигес вызвал экспертов по земельным делам, и они обнаружили на межевых камнях следы перемещений; отсюда они сделали вывод, что эти камни лежат здесь недавно. На некоторых камнях была грязь, — лежи они здесь давно, её смыли бы зимние дожди. Бисмарк Руиц объявил поселянам, что он, к сожалению, не может сделать отвод Сенобио Гарсии и Хулио Контрерасу, так как все изобличающие их документы исчезли. А затевать дело заново — бесполезно; никто не станет показывать против них, зная, что их поддерживает дон Альваро. Но всё же он крепко надеется на кое-что другое.

День за днём Росендо Маки в сопровождении помощников старшины или кого-нибудь ещё из наиболее уважаемых жителей деревни — старшине хотелось, чтобы как можно больше поселян присутствовало на суде, — отправлялся в город и ни с чем возвращался обратно.

— Пожарь-ка немного кукурузы, Хуанача. Завтра мы поедem в город на суд.

Хуанача недоверчиво улыбалась.

— Опять? — спрашивала она. Но всё же стряпала им кукурузу. И каждое утро, перед рассветом, Росендо со своими спутниками отправлялся в город. К восходу солнца они были уже далеко.

— Дон Бисмарк сказал, что ему нужны деньги для гербовой бумаги.

— Да, и ещё он сказал, чтобы я принёс ему четырёх цыплят, а у меня их нет.

— Ну ладно, дадим ему сегодня денег.

Бисмарк Руиц, подобно многим трусам, одну подлость громоздил на другую и не только тянул с индейцев деньги, но, пользуясь своим положением, вымогал у них ягнят, цыплят, яйца... Да ещё гордился тем, что так ловко одурачивал этих простодушных людей. А они старались, как могли, угодить своему защитнику, дону Бисмарку, который исписал для них столько листов этой красивой бумаги с красными полосками!

В городе поселяне обычно узнавали, что суд закрыт; судья либо был болен, либо уехал в деревню, либо занимался другими делами. Кругом суда толпился народ; дон Бисмарк ругался на чём свет стоит, — никто не хочет ему платить, говорил он. И они платили. |

Если случайно им удавалось поговорить с каким-нибудь важным представителем правосудия, они получали обещания. Индейцы и метисы, слонявшиеся вокруг суда — одни с грустным, другие с наглым видом, — прислушиваясь к их разговорам, вставляли свои замечания. А жители деревни чувствовали себя в этом мире гербовой бумаги, словно в дремучем лесу.

— Теперь уж вам недолго ждать, теперь уж недолго.

Всегда один и тот же неизменный ответ — они слышали его от адвоката, от письмоводителя, от судьи, если им в конце концов удавалось его поймать. Иногда они видели дона Альваро: в небрежно накинутом на плечо пончо он соскакивал с коня, бросив отделанную серебром уздечку, и, звеня шторами, входил в здание суда.

Бисмарк Руиц говорил:

— Я составил против него такую бумагу, что у него по спине мурашки забегают.

И он показывал толстую стопу бумаги, исписанную чётким, красивым почерком. Иногда он читал им оттуда абзац, другой. Это были отвлечённые разглагольствования в защиту индейцев, в защиту общины, их права на землю. Отдельные фразы звучали, как боевой клич. Индейцы, понятия не имевшие о том, что защита должна основываться на статьях закона, на неопровержимых доказательствах и тщательно продуманных выводах, не помнили себя от радости и не знали, чем отблагодарить своего спасителя. Бисмарк улыбался, — он чувствовал себя, как рыба в воде, в этом море обмана и подлости. Как только он со-

гласился принять те пять тысяч, ему тотчас дали ещё тысячу, и теперь он сознательно строил свою речь на патетических выкриках о несправедливости, с тем чтобы высшие судебные инстанции — если, паче чаяния, дело будет обжаловано — не смогли бы обнаружить в защите ничего, кроме демагогической агитации. Ну и дураки же эти индейцы!

Когда поселяне возвращались домой, вся деревня собиралась послушать, что расскажут на этот раз Росендо и его спутники. Приходили индейцы и из других деревень, узнать, как идёт дело. И все они — и те, кто слушал, и те кто рассказывал всё ту же, давно всем известную историю, — видели, что дело ни на шаг не сдвинулось с места. И где-то в глубине души у них росло сознание, что они индейцы — и потому всегда одиноки.

И всё же жизнь общины шла своим чередом, несмотря на все невзгоды. Коровы и лошади получили положенную порцию соли, после чего их выгнали на пастбище. Те ослы, что не отбились ещё от рук, также получили свою долю, но остальные, воспользовавшись свободой, укрылись в привычных убежищах по берегам реки Окрос. Там были ущелья, где на обнажившихся глубоких пластах земли белой солью выступал медный купорос. Дикие ослы любили лизать его; и от этого лакомства, да ещё от сахарного тростника, да ют хороших тёплых дней и вольной жизни их шкура начинала лосниться, и кровь весело бежала по жилам.

Двадцать лучших дровосеков деревни отправились в ущелье нарубить лесу для стропил и напилить досок для крыши школы.

И так дни шли за днями. Рано всходило солнце, ночи были светлые, а небо — днём ослепительно синее — ночью во всё сияло от звёзд. Потом пришёл сентябрь, и тяжелые серые тучи начали собираться на горизонте; они медленно проплывали по небу и исчезали вдаль.

В молодых телах радостно звенела песнь любви, и все — молодые и старые — всей силой своего плодоносного слияния с землёй надеялись на лучшее и готовы были защищать свои надежды.

Только бедный Мардокео очень переменялся. Вздутая спина зажила, но побой, казалось, вытравили из его тела всякую жизнь: и прошлое с его посевами и жатвами, и

будущее с его надеждами. Он стал угрюм, молчалив, замкнут, и даже кока, которую он жевал, должно быть, имела торький привкус.

— Что с тобой, Мардокео?

— Ничего.

И он опять попружался в молчание, жуя свою коку, а цыновки для школы напрасно ждали, когда искусные руки мастера снова примутся за их плетение.

Отряд верховой полиции в синих мундирах въехал в деревню. Завидев полицейских, Росендо подумал, что они, должно быть, явились искать Фьеро Васкеса. Их было десять человек во главе с сержантом — все с винтовками. Они выстроились перед домом старшины, и сержант сказал, вытащив из кармана бумагу:

— Эй ты, старшина, давай сюда этих индейцев!

Он прочёл список. Первым стояло имя Херонимо Кауа и за ним ещё двенадцать имён.

— Зачем они вам, сеньор?

— Что значит «зачем»? Сейчас же пришли их сюда, не то придётся тебе отвечать, если с ними неладное случится.

Росендо послал своего зятя и Хуаначу созвать поселян, перечисленных в списке. Вскоре они пришли в сопровождении своих семей, и сержант приказал им выстроиться в ряд. Все смотрели на солдат с испугом.

— Возьмите их на мушку и стреляйте в каждого, кто вздумает удрать, — приказал сержант солдатам. — А вы принесите-ка сюда ружья, которыми пользуетесь без разрешения. Даю вам пять минут сроку; если не выложите ружья, я вас всех арестую.

Поселяне посоветовались со старшиной и решили отдать ружья. Что же им было делать?

Перехватывают всех, так ещё хуже будет. Они послали кто жену, кто ребятишек принести ружья, и тут же передали их солдатам — двенадцать старых одноствольных ружей, корявых и заржавленных.

Поселяне ещё долго не могли опомниться от удивления и негромко переговаривались. Всё произошло с необыкновенной быстротой. Как полиция дозналась про эти ружья?

Вдруг кто-то сказал:

— Чародей!

Ну, ясно! В прошлый раз Чародей спрашивал, у кого есть ружья; он сказал, что хочет купить ружьё для од-

ного пастуха из Уйюми. Они уж совсем позабыли про это. Но тут их точно осенило: всё это один, тщательно продуманный план...

На следующий день бандит чёрной тенью промчался по деревне и осадил коня перед домом своего друга. Касьяна вышла на крыльцо.

— Где дон Росендо?

— В городе, на суде.

— Эти суды тянутся без конца, но я слышал, что они забрали у вас все ружья, — значит, что-то замышляют. Я со своими ребятами сейчас по ту сторону Эль-Альто, среди тех вон высоких чёрных скал. Если у вас тут заварится каша, пошли за мной кого-нибудь или приходи сама.

— Хорошо, — ответила Касьяна, припомнив вдруг бунт Валенсио, и подумала о нём, о Васкесе, и обо всех тех смелых людях, которые, не поладив с законом, объединились вокруг этого человека...

Чёрная тень поскакала дальше, по направлению к Мунче.

Однажды утром пронеслась весть о том, что ночью по главной улице Руми, заливаясь слезами, прошла какая-то старуха. Её стенания были глубоки, печальны, безутешны; она прошла по улице, как плакальщица, и исчезла в отдалении. Это земля обернулась женщиной и оплакивала судьбу своих детей, судьбу несчастной общины.

Мать, мать-земля, добрая, страдающая мать!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 8 ИЗГНАНИЕ

Пришёл и ушёл сентябрь, он принёс с собой тучи и страх. Настал октябрь, с переменчивыми ветрами, внезапной стужей и смерчами пыли на деревенской площади, на склонах холмов, на дорогах. Ветер сердито завывал под крышами и стрехами, словно флаги, развевал пончо и юбки, ломал молодые побеги и срывал листья с деревьев. Его незримые когти впивались в тело, царапали землю и растения.

Октябрьский ветер ворвался в деревню, и поселяне встретили его, как всегда, спокойно. Он обрушился на несокрушаемую землю, на крепкие деревья и стих, пролившись плотным, как стена, дождём. Но за ним налетел другой неотвратимый ураган, угрожая смести посёлок с лица земли, и против его буйства была бессильна природа. А у жителей посёлка не было других защитников, кроме природы. Ведь они сами были её дети, знавшие только мудрые законы земли; по этим законам строили они свою жизнь, и иная премудрость была им неведома. Прежде им и не нужно было других законов. Теперь, перед лицом гербовой бумаги, перед лицом нового закона, они были беспомощны и все надежды черпали только в своей любви к земле. Но для предстоящей борьбы этого было мало — нужно было идти в город, разговаривать с адвокатами.

Росендо Маки подумывал, не отказаться ли им от услуг Бисмарка Руица, которому он перестал доверять; но когда он попробовал обратиться к другим защитникам, практиковавшим в главном городе провинции, все они наотрез отказались вести его дело. Один из них сказал Росендо:

— Чего ради стану я губить свою репутацию, защищая заведомо гиблое дело? Радуйтесь и благодарите судьбу за то, что Аменабар не хочет ещё оттягать у вас всю землю без остатка.

Но Руиц с самым беззаботным видом продолжал подбадривать поселяев. Он заявил, что история с ружьями не имеет никакого отношения к тяжбе. Правительство боится революции и отдало приказ разоружить на севере всех крестьян — вот и всё. Он заявил... да стоит ли перечислять все обманные заверения и обещания Руица, все судебные и юридические тонкости, всё крючкотворство, все происки Аменабара? Поселяевы утратили мужество, и Росендо чувствовал, что кругом всё неладно, что живёт он сейчас, как в тёмной пещере, где каждую минуту его может ни за что, ни про что поразить удар в спину. Здесь, в городе, люди были оторваны от земли и сеяли только зло и пожинали его плоды. Сам судья, казавшийся таким неподкупным, даже пальцем не пошевелил для восстановления справедливости, хотя видел, что бедняки не решаются притти и сказать правду из боязни навлечь на себя гнев богача.

Старшина созвал совет помощников. Через два дня им предстояло отправиться в город и выслушать решение суда. Теперь они уже ничего больше не могли изменить. Их испытание подходило к концу. Быть может, они ещё не всё потеряют. Быть может, не след так бояться. Быть может... Когда Росендо напомнил им слова старого Чауки, который говорил, что закон страшнее чумы, по телу у них пробежала дрожь, как отголосок всех страданий, из поколения в поколение пережитых их предками.

Как только жители деревни увидели Росендо Маки, возвращавшегося с суда вместе с помощниками и другими поселяевами, им стало ясно, что случилось самое страшное. Уже надвигалась ночь, когда они вернулись в деревню — кучка молчаливых, жавшихся друг к другу людей. Казалось, горе всадников передалось даже лошадям, и лошади шли, понуро опустив головы, свесив длинные косматые гривы. Если бы вести были хорошие, кто-нибудь из помощников уж, верно, прискакал бы вперёд и громко оповестил бы всю деревню. Но все ехали вместе и молчали. Освещённые пламенем костров, они проехали через деревню, направляясь к дому старшины. Росендо произнёс громко, отрывисто:

— Расскажите народу, что и как, чтобы каждый мог всё обдумать и составить своё мнение. Послезавтра у нас будет ежегодная общая сходка... там мы решим, что нам делать.

Помощники старшины разошлись по домам. Себастьян помог тестю сойти с лошади, и Росендо с благодарностью опёрся на его жилистую руку, слез с седла и, тяжело ступая, вошёл в дом. Себастьян и Ансельмо не надоедали ему расспросами; перед домами помощников стояли группы встревоженных поселян, ожаждавших узнать все подробности. Они переговаривались вполголоса:

— Они заберут у нас нижнюю часть долины до реки Окрос, между холмами и ручьем...

— А на что нам эта куча скал около Мунчи?

— Плоскогорье от Янаньяуи и до холмов по эту сторону от Эль-Альто, — вот что они нам оставят.

— Ох, будь они прокляты!..

— Мы не должны сдаваться.

— А что мы можем поделать? У нас нет даже ружей.

— У Порфирио есть ружьё...!

— О нём нечего толковать. Он чужак.

И сам Росендо, и другие поселяне, слышавшие решение суда, не много в нём поняли; юридические термины были им незнакомы, и они запутались в витиеватых фразах, как в зарослях терновника. Бисмарк Румиц, притворяясь глубоко опечаленным, разъяснил им всё, пункт за пунктом. Но и в этом потоке слов не поняли они загадочного выражения «срок кассации» и не обратили на него внимания, а крючокотвор не старался его разъяснить. Наконец судья «с согласия одной стороны и с согласия другой стороны» установил срок для передачи собственности в новое владение — 14 октября. В этом пункте всё было сказано вполне ясно и точно и было понятно каждому. Суд происходил 9 октября. Что же будет с общиной? Что будет с каждым из них? Где теперь пасти им свой скот? Где сеять хлеб? Неужто им придётся, смилив свою гордость, наниматься в батраки? Одни громко высказывали свои мысли, другие молчали, задумавшись. В эту ночь огни долго не гасли в Руми.

На другой день всё выглядело так, словно и люди, и природа провели беспокойную ночь. Над землёй стлался тяжёлый туман, — казалось, он никак не поднимется, а глаза людей смотрели сумрачно и тускло. Когда, наконец, туман поднялся, он повис в небе тёмными, свинцовыми тучами. И лица поселян тоже были мрачнее тучи. Росендо и помощники, как и весь народ, с нетерпением ждали

сходки, которая должна была состояться на следующий день. Вся деревня разделилась на группы, единомышленники собирались и толковали друг с другом. Росендо, вопреки обычаю, созвал утром предварительное совещание. Помощники старшины и народ готовили нападки, оправдания, предложения. Ещё ни разу не было сходки, от которой зависело бы так много.

После совещания Росендо послал за Аугусто Макн.

— Сегодня десятое. Четырнадцатого они придут. Мне думается, тебе надо поехать в Умай и разузнать, что там слышно. Но ты помнишь, что сделали они с бедным Мардокео? Вот поэтому я и выбрал тебя, своего внука. Не хочу, чтобы народ говорил: он бережёт своих, не посылает их на опасные дела. Возьми себе гнедую кобылу, я знаю — она твоя любимица. Оставь её где-нибудь в лощине и дождись ночи. Если сумеешь, проберись в дом к кому-нибудь из арендаторов, а не то, так попытайся разузнать, что творится на самом фанчо.

Чёрная, как смоль, прядь волос упала Аугусто на лоб, затеняя его сверкавшие от возбуждения глаза. Он выслушал деда, не проронив ни слова. Он знал: если его поймут, с него сорвут кожу плетью, а может быть, и убьют; но он молчал. Дед положил ему руку на плечо и потрепал по широкой, крепкой шее. Рука деда казалась совсем старой и морщинистой на упругой юношеской коже.

— Понимаешь: ты мой внук, и я люблю тебя, и вот должен посылать тебя на это опасное дело. Долг — суровый хозяин. Ступай!

Аугусто поймал кобылу, оседлал её, надел самый тёмный пончо и пошёл попрощаться с Маргичей. Ей показалось, что его отрывают у неё от сердца. Её грудь затрепетала, и она уже готова была расплакаться, но сдержала себя и даже попыталась улыбнуться. Она не должна лишать его мужества. Она сказала:

— Ты вернёшься, Аугусто...

Большие чёрные глаза, полные слёз, следили за всадником, пока его развевавшийся по ветру пончо не исчез за поворотом дороги.

Росендо оседлал Фронтиню и в сопровождении Гойо Ауки, ехавшего на вороной лошадке, отправился в Уйюми. Туда вели две дороги, одна — более лёгкая — пролегла через Мунчу. Но Росендо не захотел ехать по этой дороге и выбрал другую — ту, по которой проезжал юноша

Адриан Сантос, когда опешил на загон скота. Росендо и Гойо без труда пробрались через лесок, в котором чуть не заблудился тогда Адриан и который служил как бы преддверием к чаще. Затем они спустились в ущелье Руми и снова поднялись по козьей тропе, вившейся между беспорядочно нагромождёнными скалами, и выехали, наконец, на широкий склон горы; отсюда тропинка зигзагами сбегала вниз. За одним из поворотов, весело рассыпавшись по склону холма, лежала деревня Уйюми; кругом раскинулись сжатые поля; над ними стояло протяжное мычанье стад. Церковь с её стройной башенкой имела очень задорный вид, а дом священника выглядел совсем кичливо. Высокий, крытый черепицей, он с презрением взирал на плоские соломенные кровли окружающих его хижин. Росендо и Гойо остановились перед этим нарядным домом, и сам патер, Хервасио Местас, вышел к ним навстречу.

— Приблизьтесь, добрые люди. Почту за честь принять вас в моём скромном жилище.

Росендо и Гойо кое-как сообразили, что он приглашает их войти. Патер вынес стулья, сел и предложил сесть гостям.

Появился слуга, патер сказал ему, указывая на лошадей:

— Задай корму сим выючным животным. Поспеши.

Дон Хервасио Местас был испанец, лет тридцати на вид, толстый, светловолосый, болтливый, надевавший после великого поста всякий раз новую рясу; его приход включал, кроме Уйюми, ещё несколько близлежащих деревень и ранчо. Язык дона Хервасио был необычайно цветист — чересчур цветист, пожалуй, для его паствы. Слуги дона Хервасио всё же мало-помалу привыкли понимать его. Остальная паства едва ли могла что-нибудь уразуметь в его речах, и, в силу этого, он слыл весьма умным человеком. Росендо и поселяне Руми также очень почитали патера, если не за его язык, казавшийся им языком чужеземца, то за неизменно хорошее к ним отношение. Другие священники большей частью оставили по себе дурную память.

Взять хотя бы Чириносо — полуиндейца, полунегра — это был настоящий дьявол, он драл деньги, за что только мог, и соблазнял девушек. Однажды он заперся у себя в комнате с одной из самых хорошеньких девушек в деревне, а когда её мать пришла за ней, заявил, что знать не знает, где она. Но мать подняла крик, собралась вся деревня, поселяне выволокли священника из дома и пинками выгна-

ли его за околицу. И сделали они это не потому, что он был священник. Индейцы — эти «дети земли» — просты и человечны в вопросах религии. Они наказали его за превышение власти. Разве священник не может пожелать женщину, разве он не человек, в конце-то концов? Но он не должен, пользуясь своим положением, соблазнять её. Больше они этого Чириньоса не видели.

Были ещё другие священники, которые приходили к ним в праздник служить обедню. Один из них оказался пьяницей; у другого был очень противный голос, и поэтому он совсем не годился для торжественного богослужения в престольный праздник; третьему вообще на всё было наплевать.

Но вот появился дон Хервасио Местас. Вот это был священник! А как он пел, как благословлял! Как аккуратно складывал для крестного знамени кончики пальцев. Он никогда не брал лишнего, а если и приводил к себе женщин, то делал это так, чтобы никого не обидеть. К тому же он всегда давал хорошие советы. Вот почему Росендо и Гойо приехали к нему сегодня.

— Ну, скажите мне, добрые люди, что привело вас сюда?

— Таита патер, — отвечал Росендо, — мы пришли просить у вас совета. Такая беда приключилась с нами — прямо не знаем что и делать. Завтра у нас будет сходка, и мы просим ваше преподобие просветить нас. Вот дело какое...

Росендо подробно рассказал об их тяжбе с доном Аменабаром и о решении суда.

— Да разве больше ничего нельзя сделать? Ведь решение, наверное, можно обжаловать.

— Нет, преподобный отец, наш адвокат сказал, что всё кончено.

— Какое несчастье, какое несчастье!

Священник сидел, прикидывая в уме это дело. Крестьяне ждали, преисполненные надежды: им казалось, что в результате его размышлений они получат какой-то очень полезный совет, ибо патер слыл большим знатоком законов. Но когда он заговорил, им стало ясно, что он просто хочет от них отделаться, хотя и старался на этот раз изъясняться как можно понятней.

— Да, это воистину большое несчастье, в особенности для меня. Да, для меня вдвойне: ведь обе тяжущиеся стороны — мои прихожане, одинаково дорогие моему сердцу.

С одной стороны, дон Альваро Аменабар, весьма почтенный сеньор, с другой — вы, благочестивые члены моей паствы. Да, это воистину большое несчастье! Мой сан обязывает меня никогда не углублять пропасти между людьми. Наоборот, он велит мне умиротворять и соединять враждующих. Только любовь к ближним, во имя всепрощающей любви господа бога нашего, может принести счастье людям. Молитесь, молитесь, преисполнившись верой в господа, великой верой в него, ибо он наш лучший советчик. Все земные блага тленны. Блаженство, уготованное нам на небесах, — вечно. Страдания и вера, вера в божественное провидение, откроет нам врата к вечному блаженству в лоне господнем...

— Преподобный отец, что же нам всё-таки делать? ;

— Непоспешимы пути господа бога нашего, повинуйтесь его воле и уповайте на него. Мой сан не позволяет мне дать вам какой-либо другой совет. Молитесь и уповайте на милосердие божие. Блаженный Исидор неусыпно печётся о вашей общине. Никогда не забывайте...

Отец Местас поднял указательный палец и устремил взгляд на небо:

— «Исполни́й заповеди господни, ибо это заповеди мира и любви».

— Преподобный отец, а как же дон Альваро? Разве он не должен исполнять заповеди? Ведь он тоже христианин...

Священник внимательно поглядел на Росендо.

— Не нам об этом судить. Если дон Альваро нарушает заповеди, господь бог призовет его к ответу, когда на то будет его воля... Ступайте с миром, добрые люди, и пусть вера осветит вам путь и придаст силы перенести наступивший для вас час тяжких испытаний со смирением и покорностью, достойными истинных христиан.

Сомнения раздирали душу Росендо и Гойо, когда они покидали дом священника. Они всегда считали бога и св. Исидора своими защитниками и хранителями всех земных благ — хлеба и окота, здоровья и счастья человека. По правде говоря, сами они думали при этом больше о земле, чем о небе. А теперь получилось так, что им и в самом деле придётся думать только о небесном блаженстве. Но разве могут они разлюбить землю?

Когда они вернулись в Руми, мать Аугусто — эта хитрая вздорная бабенка Евлалия — подошла к Росендо.

— Скажи мне, Аугусто вернётся сегодня к ночи домой?

— Нет, сегодня он не вернётся, — ответил Росендо.

— Куда ты его послал? Когда он вернётся?

— Когда будет на то божья воля. !

Евдалия отвернулась, громко всхлипывая и причитая, но её муж Абрам схватил её за руку и заставил замолчать. Евдалия слишком хорошо знала, как тяжела ювка мужа, и волей-неволей притихла.

Медленно, чтобы убить время, ехал Аугусто Маки по плато, держась в стороне от больших проезжих дорог. К вечеру он увидел вдали долину Умая и спустился в нее по крутому каньону, где высокая трава и скалы хорошо укрывали его вместе с лошадьё. У края долины он завёл лошадь в чащу, привязал на коротком поводу к дереву, а сам укрылся неподалеку и стал ждать наступления ночи. Жизнь была хороша! Даже стрекот сверчка вызывал воспоминания о счастливых часах. Аугусто был молод. Милая Маргича — она тоже молода. Разве не им принадлежит жизнь? Но дед сказал: «Долг — суровый хозяин». Хороший старик — дед! Аугусто он казался похожим на старого вола, который много и честно трудился, запахивая землю. Каждый должен пахать своё поле, и вот теперь настал черёд его, Аугусто. Женщина вливает в нас мужество, но она же и отнимает его. За то она всегда даёт радость. Впервые в жизни он шёл на такое опасное дело. И впервые в жизни он пожалел, что у него нет револьвера. Они убьют его, если поймут. Он крепко забрал себе в голову, что они его убьют, если поймут. У него не было ничего, кроме мачете, висевшего на поясе в кожаных ножнах. Но что можно сделать с мачете против револьвера или винтовки? Теперь, когда было слишком поздно, он горько пожалел, что у него нет другого оружия. Они убьют его, если поймут. «Долг — суровый хозяин». Маргича, Маргича! Тени стужались — чёрные тени, верные друзья Фьеро и Наши, вола Моско и быка Чолоке, усталой земли и всех, кто прячет от людей свои тайны.

Аугусто вышел из своего убежища и зашагал по выгону. По краю выгона шла широкая, в три колен, дорога. Высокие тополя врезались в ночное небо. Невдалеке пасся табун. Аугусто пробирался вдоль отрады. Наконец мрак сгустился, стал непроницаем. Светлячок папиросы загорелся впереди. Двое всадников, как два чёрных призрака, проехали мимо и остановились в конце тополевого аллея.

примерно в четверти мили от гнедой кобылы и в шагах десяти от самого Аугусто.

— Брось папиросу! Они живо возьмут тебя на мушку.

— Да ну?.. У них нет ружей. А Фьеро Васкес, думается мне, не станет путаться в это дело. Просто у доньи Леоноры нервы расходились.

— Дон Альваро тоже говорил, что мы должны быть на-чеку. Где у тебя бутылка, дай-ка мне глотнуть.

— Слышишь — кто-то скачет.

— Верно, слышу.

Мрак стоял чёрной стеной, и Аугусто не видел ничего, кроме огонька папиросы. Прислушавшись, он различил стук копыт. Должно быть, эти пастухи — индейцы или метисы, раз у них такой тонкий слух. Он слышал, как они причмокивали, отхлёбывая водку, потом взялись за винтовки: хорошо смазанные затворы негромко щёлкнули. Топот приближался. Наконец человек восемь всадников выехали на дорогу, и Аугусто почувствовал, что напряжение достигло предела.

— Стой! — закричал один из сторожей.

Всадники приближались.

— Стой! — снова закричал сторож, и выстрел прокатился по долине, прорезав ночной мрак вспышкой света.

Всадники остановились.

— Кто едет?

— Свои, из Умая.

— Кто это?

— Мендес.

Один из сторожей поскакал навстречу всадникам. Понесся взрыв смеха, и затем вся кавалькада подъехала ближе, туда, где стоял второй сторож.

— Послушай, Мендес, чего же ты не остановился? Хочешь выпить?

— Уж больно ты прыток, где ж тут остановиться!

— Таков приказ. Сколько вас тут?

— Семь человек. Старый ворчун заболел, бедняга.

— Вот уж ворчит-то, небось?

— Заворчишь! У него все кости переломаны.

— Кости переломаны?

— На-днях какой-то индеец спихнул его со скалы, когда он пришёл проверить, как пользуются водой для орошения. Индейцы в Хуараке совсем от рук отбились.

— Ничего, пули живо научат их вежливому обхождению. Что же сделали с этим индейцем?

— Его убили бы, конечно, но он успел удрать.

— Мы бы нашли его, да только у нас сейчас дел по горло.

Вновь прибывшие тем временем, судя по их словам, опростали бутылочку. Потом они поехали дальше, стук копыт и гомон голосов стояли над дорогой. Аугусто решил отправиться за ними следом. Он будет держаться поближе к ограде; топот копыт заглушит его шаги, и сторожевые собаки Умая ничего не услышат. Он перелез одну за другой несколько каменных оград, отделявших хлебные поля от кормовых посевов, и, когда всадники въехали в ворота, проскользнул туда вслед за ними и очутился в фруктовом саду. Это была персиковая роща, и в воздухе разливалось благухание. Аромат персиков смешивался с ароматом лимонных деревьев. Аугусто был голоден и сорвал пару персиков. Его страх понемногу прошёл. На ранчо было шумно — крики, ржанье лошадей, — никто его не заметит. Откуда-то издали донеслись звуки песни. Аугусто пошёл прямо на голос певца, стараясь держаться ближе к садовой ограде. Он увидел комнату, ярко освещённую большими фонарями с широкими стёклами. Только что приехавшие пастухи были там; одни из них сидели за столом и ели, другие стояли, разговаривая с хозяевами комнаты. Полупьяный певец старательно выводил песню. Разобрать, о чём говорили в комнате, Аугусто не мог. Он подумал, что ему, пожалуй, больше ничего не удастся узнать.

Время шло. Певец выпил стакан водки и запел снова, уже совсем не в лад. Двое пастухов, разговаривая, вышли на крыльцо и, осмотревшись вокруг, направились прямо туда, где стоял Аугусто. У Аугусто кровь застыла в жилах. Бежать? Услышат собаки. Спрятаться? Он присел на корточки, и пастухи прошли мимо него к ограде. Они пошли дальше вдоль ограды, и он слышал тяжёлый стук их подбитых гвоздями сапог. Потом они остановились. Слабый свет фонарей падал на широкие поля их шляп.

— Слушай, Мендес, ты напрасно болтаешь лишнее при этом парне, который всё время горланит песни. Мне думается, он просто притворяется пьяным для отвода глаз, а сам слушает, наострив уши. Дон Альваро говорит, что индейцам известно слишком много, не будь у них шпиона среди пастухов или прислуги, они не могли бы всё это знать. Чем больше я думаю, тем меньше нравится мне

этот парень. Он пришёл сюда с Патацких рудников, так он говорит. Дон Альваро сам собирается разрабатывать рудники, вот он и взял его. Это отчаянная голова, и ведёт он себя так, словно вовсе не дорожит жизнью. Откуда нам знать — может быть, он из шайки Фьеро Васкеса.

Аугусто узнал голос одного из сторожей. Тот, которого звали Мендес, сказал:

— Один вид этих собак-индейцев приводит меня в ярость. Не понимаю, почему мы их терпим? А в этого нужно просто всадить пулю.

— Мы ведь наверняка-то ничего не знаем. Он любит пострелять и может нам пригодиться, когда мы пойдём выгонять индейцев из Руми.

— А когда это будет?

— Четырнадцатого. С твоими ребятами, да ещё с теми, что съедутся завтра-послезавтра со всех концов ранчо, нас наберётся человек двадцать. Да с супрефектом приедет ещё человек двадцать конных. Мне думается, индейцы едва ли будут артачиться, разве только Васкес впускается в это дело.

— Почему не схватят этого бандита?

— Кто, полиция? Уж как бы они хотели, ведь он им здорово насолил, да бояться. Им одним не справиться с ним и с его бандой. Без жандармерии им не обойтись. А вот тут-то и есть загвоздка. Видишь ли, Фьеро оказал услугу дону Умберто дель Кампо-и-Баррозо, когда того выбирали сенатором. Ты помнишь Умберто? Во время выборной кампании дон Умберто должен был приехать в наш город, и здесь поговаривали, что его враги собираются устроить ему засаду и убить его. Тогда друзья дона Умберто обратились к Фьеро, и тот вместе с пятнадцатью молодцами проводил дона Умберто, и никто не посмел его пальцем тронуть. Так что, видишь, как обстоит дело. Да они скорее рискнут пойти против дона Альваро, хотя во всей провинции никто не решается ему перечить, кроме Кордова, да и их дни, кажется, сочтены...

— Однако Руми...

— Дон Альваро приберёт их к рукам, будь покуда. У Фьеро человек двадцать, самое большее, к тому же многие из них почти не вооружены, а нас будет сорок человек.

— Но они хорошие стрелки.

— Ну что ж! Мы с ними справимся.

— А откуда ты знаешь, что Фьеро может впутаться в это дело?

— Чародей узнал об этом от одного парня из его шайки. Но Руми мы всё равно заберём, а ты скажи своим ребятам, чтобы они поглядывали за этим малым. Разве ты не видишь, он пьёт только для отвода глаз. Смотри, ни слова при нём о полиции и обо всём прочем.

— Раз вы ему не доверяете, лучше совсем не брать его с собой. А ну, как он исподтишка пустит дону Альваро пулю в затылок?

— Вот этого-то я и боюсь. Нужно предупредить хозяина.

— А может статься, он и не шпион вовсе. Может быть, индейцы сами шныряют тут и разножат.

— Нет, этого не может быть. Тут у нас четыре дога, мы их спускаем на ночь. Сейчас их пока держат на цепи, чтобы они не перекусали приезжающих пастухов, а потом спустят. Да и после того как мы содрали тут шкуру с одного индейца по имени Мардокео, у них, верно, пропала охота шпионить. Мы его привязали к эвкалипту во дворе и всыпали ему сто плетей.

— Может, ты прав, а только я думаю, было бы неплохо нам всем собраться сейчас и как следует обшарить ранчо. А там посмотрим...

Аугусто почувствовал, как заколотилось у него сердце. Пастух помолчал, обдумывая предложение, которое сделал вновь прибывший, по имени Мендес. Но то ли он не очень-то верил в сидящих под кустами шпионов, то ли, будучи как-никак старшим пастухом, не желал ни от кого выслушивать советы, только он сказал с насмешкой:

— Да ты, я вижу, не хуже нашей доньи Леоноры... Та заладила, что Фьеро явится прямехонько сюда. Пойдем-ка выпьем. А этот болван всё ещё горланит, слышишь?

Пастухи зашагали назад к бараку. Там еда уже закончилась, и теперь все играли в карты, не играл только пьяница, продолжавший распевать всё ту же песенку.

— Заткнись ты! — заорал на него старший пастух.

На выгоне паслись лошади; время от времени одинокий оклик прорезал тишину ночи. Аугусто подумал, что пора ему убраться во-свои, и, сняв сандалии, чтобы не шуметь, двинулся обратно. Когда он перелезал через садовую ограду, край стены обвалился у него под ногами, и с шумом посыпались камни. Яростный собачий лай всколыхнул тишину, и большая рыжая собака, перескочив че-

рез ограду, с рычаньем бросилась на Аугусто. Юноша увернулся, и собака, как видно нарочно выдрессированная, прыгнула, стараясь вцепиться ему в горло. Аугусто отшвырнул собаку, но она успела ухватить и разорвать его пончо. В ту же минуту Аугусто всадил ей в горло нож, и она с прощительным визгом покапталась на землю. Всё это произошло в одно мгновение. Крики и топот донесли из барака. Хриплый лай догов разорвал тишину ночи.

— Спускай собак!

Аугусто почувствовал, как ноги у него отяжелели и перестали ему повиноваться, но он овладел собой, и в ту же секунду какое-то далёкое воспоминание молнией пронеслось в его мозгу, и он опрометью бросился бежать через поле, делая зигзаги, путая следы, возвращаясь назад к ограде и снова выбегая на середину выгона. Позади него раздавались выстрелы, пули со свистом разрезали воздух. Лай собак затих.

Ему показалось, что он слышит за спиной их тяжёлое дыхание. Нет, он сбил их со следа. Его хитрость увенчалась успехом. Одна из собак с яростным лаем бегала по саду, стараясь найти его след. Туда же сбежались все преследователи, они, должно быть, думали, что шпион прячется где-то за деревьями.

Аугусто тем временем добрался до леса, где оставил свою лошадь. Внезапно его охватил страх: а вдруг её там не окажется. Но лошадь стояла на месте, едва заметным пятном белея во мраке. Он вскочил в седло и погнался по крутой тропинке вверх в горы, торопясь отъехать дальше, пока собаки не распутали его след. Он был уже высоко, когда услышал позади лай и беспорядочную стрельбу. Стреляли ему вдогонку, наугад. У него вдруг мелькнула мысль, что другие пастухи могут попасться ему навстречу. Они, конечно, остановят его. Что он им скажет, если вся эта стрельба за его спиной вызовет у них подозрения? Его добрая гнедая кобылка храпела, взбираясь по круче. На его счастье, впереди никого не было видно; прошло еще несколько минут, и он съехал с тропинки. Перед ним лежала широкая, гостеприимная дорога на Румь, и хотя резкий ветер дул ему в лицо, Аугусто его не чувствовал.

Уже рассвело, когда он въехал в деревню. Он показал Росендо свой окровавленный нож:

— Собаки, — пояснил он.

И тотчас рассказал всё, что слышал у пастухов. Старик не отрываясь смотрел на окровавленный мачете и разорванный пончо. Он выслушал внука молча. Когда Аугусто кончил, он сказал:

— Ты сделал всё, что мог. Пойди выпись, да смотри, не просли сходку.

Аугусто пошёл домой и, не обращая внимания на брань матери, бросился в постель. Вскоре пришла Маргича; она неслышно приблизилась к постели и, с нежностью глядя на юношу, поцеловала его.

В полдень девять пастухов верхом на лошадях въехали в деревню. Они во весь опор проскакали по главной улице, чуть не задавив двух ребятишек, и выехали на площадь, стреляя в воздух и крича:

— Да здравствует Аменабар!

Засвистели пули.

Всадники осадили лошадей перед домом старшины. Росендо с помощниками обсуждал последние события. Никто из них не двинулся с места. Они продолжали сидеть, как ни в чём не бывало.

— Говори, старый дурак, кого это ты подослал к нам шпионить?

— Зачем подослал ты к нам шпиона прошедшей ночью?

— Говори, пока мы не продырявили тебя насквозь!

— Твои шпионы убили мою собаку Грома.

— Лучше признавайся, старый чорт, не то мы тебя пристрелим!

Росендо слушал их спокойно, с достоинством, и не отвечал ни слова. Это презрительное молчание озадачило пастухов, хотя они и были порядком пьяны. Один из них сказал:

— Кому охота убивать такого старого осла!

Они грубо расхохотались, подняли лошадей на дыбы и поскакали прочь, снова возглашая хвалы Аменабару и стреляя в воздух. Проезжая по главной улице, они кричали:

— Ждите нас четырнадцатого!

— Ждите нас четырнадцатого!

Ветер загибал тугие широкие поля их шляп. Винтовки блестели на солнце.

Сходка началась под вечер, когда солнце перебросило через всю площадь длинные тени эвкалиптов, росших вокруг церкви.

Старшина и помощники расселись на скамьях на крыльце дома Росендо. Когда-то они думали построить дом для сходак после того, как отстроят школу, но сейчас им не хотелось даже вспоминать об этом. Понемногу начали собираться поселяне — мужчины, женщины, дети, — одни располагались прямо на земле, на корточках, другие стояли позади них полукругом. Дети, разумеется, не имели права голоса, но их привели, чтобы они тоже послушали насчёт суда.

Росендо сидел серьёзный, суровый, сосредоточенный, сжимая в руке свой посох. Он был очень стар на вид сегодня, как иссушенное непогодой, разбитое бурей дерево. Он очень устал. Последние месяцы надломили его, иссушили тело и разбили сердце. Поселяне с тревогой всматривались в это изборозждённое морщинами, суровое лицо. Одни думали, что он сделал всё, что мог; другие — что нелегко произнести слова осуждения в лицо такому человеку.

Поселяне всё подходили и подходили, образуя многоцветную толпу; юбки, шали и пончо — всё перемешалось. Все смотрели на Росендо, а он сидел, спокойный, молчаливый, задумчивый, в торжественном одиночестве неся на своих плечах бремя столь тяжкой ответственности. Он всегда был их вождём, он был мудр и справедлив, и в серьёзных делах все как-то забывали, что у него есть ещё и помощники. По одну сторону Росендо сидел непоколебимый, как скала, Гойо Аука, по другую — честный и храбрый Клементе Яку, дальше — всё ещё не вполне признанный своим пришелец Порфирио Медрано, за ним — светлолицый силач Артидоро Отейса. Но ни один из них не мог сравниться со старшиной.

Старшина тоже смотрел на собравшихся, и его взгляд, не задерживаясь ни на ком, задумчиво перебегал с одного лица на другое. Вот они — члены его общины, индейцы и метисы; два-три белых или светлобронзовых лица мелькали среди массы тёмных лиц да несколько чёрных щетинистых бород нарушали кой-где гладкую чистоту линий, характерную для его расы. Амаро Сантос и Серапио Варгас стояли рядом, как и полагается двум таким закадычным друзьям. Оба они были сыновьями солдат, так же как и Бенито Касгро или Ремихио Кольянтес, — из которых один был далеко, а другой умер, — и тоже выросли в общине, в семьях своих матерей. Скраю сидела Касьяна и с ней Паула — жена Доротео Киспе, связанная с об-

щиной узами брака, так же как помощник старшины Медраю. Положение Касьяны было несколько иным, но Росендо принял её в члены общины, потому что лишняя пара рабочих рук никогда не повредит. По правде говоря, если население посёлка не увеличивалось в последнее время за счёт приёма новых членов, то причиной этому было скорее противодействие владельцев ранчо, чем отказ со стороны общины. Но всё же и среди поселян кое-кто был против приёма пришельцев, и вот теперь, защищая свои предрассудки, они и эту новую беду готовы были свалить на чужаков. Мигель Панта приоткрылся в стороне, стараясь никому не попадаться на глаза. Это он пустил Чародея к себе в дом. Теперь он горько укорял себя, и хоть ни в чём не был виноват, всё же многое отдал бы за то, чтобы не быть невольным соучастником. Аугусто Маки сидел в переднем ряду с самого краю и не сводил глаз с деда, а Росендо мельком взглянул на него.

Поселяне собирались группами — кучка там, кучка здесь, единомышленники жались друг к другу. Собралась вся община. Землепашцы, пастухи — все они были дети земли, за много поколений словно корнями вросли в землю и, как старое дерево, когда его корчуют, содрогались от того, что им предстояло оторваться от родной почвы.

Пришёл и Элой Кондоруми. Ростом он был в шесть футов и возвышался над всей толпой; эта массивная фигура занимала столько места, что его с избытком хватило бы на двоих. Он не был искусен в ремёслах. Он был знаменит только своим ростом да необыкновенной силой, а впрочем, честно говоря, ничем особенно. Он никогда не стремился быть первым в работах общины, не «выставлялся» вперёд, как Гойю Аука; этот дюжий парень мог часами просиживать на пороге дома в совершенном бездельи. Порой, когда нужно было что-то решить, он высказывал здравые мысли, но чаще молчал. Сейчас он сидел, скрестив руки на груди, нахлобучив на свою несоизмеренно маленькую голову старую, потрёпанную шляпу.

Пришла на сходку и Чавеля — теперь это была уже зрелая, слегка даже увядшая женщина; никто не признал бы в ней сейчас той хорошенькой девчонки, которую соблазнил когда-то Сильвино Кастро. Пришёл и Абран Маки и опустился у ног отца. Никасио Маки — ложечник, простая душа — тоже подошёл к отцу и протянул ему ложку из апельсинового дерева, красиво выточенную и отполированную. По своему простосердечию он хотел утешить

отца этим знаком сыновней любви в час тяжкого для него испытания. Росендо положил ложку в карман и с глубокой нежностью взглянул на сына. Никасио улыбкался и смешался с толпой. Остальные сыновья Росендо — Панчо, Эваристо — были уже здесь; собралась и женская половина семейства. Трудно было различить их всех в толпе. За то Мардокео сидел у всех на виду. Многие с любопытством на него поглядывали. Он сидел на земле, рядом с Абрамом Маки. Он был, как всегда, молчалив и угрюм и сосредоточенно жевал свою кожу...

Время шло. Солнце садилось, удлиняя трепетающие на земле тени деревьев. Росендо что-то сказал помощникам. Толпа всколыхнулась и замерла в напряжённом ожидании. Росендо загворил.

Его глубокий голос звучал хрипло и чуть-чуть монотонно. Он говорил о работах, проделанных общиной за год, о приросте стада, о снятом урожае. Этот год был бы такой же, как и все другие, а то и лучше, потому что урожай был хорош, и постройка школы подходила к концу. Но тяжба с Умаем испортила всё, и поселяне, казалось, ждали только одного — рассказа о суде.

Наконец Росендо сказал:

— А теперь, жители Руми, я расскажу вам о беде, приключившейся с нашей общиной, о суде и о том, что этот суд решил.

В наступившей тишине было слышно, как ветер шелестит в верхушках эвкалиптов. Затем новый звук пролетел над притихшей толпой. Высоко в небе, шурша крыльями, летел огромный кондор, летел прямо туда, где садилось солнце. Что это — предзнаменование? Росендо, знавший сердца своих поселян, сказал:

— Мы все увидели сейчас кондора, и он испугал нас, потому что всех нас тревожит судьба общины. Настали тяжёлые времена, и мы ждём не скажут ли его приметы. Пусть каждый разгадает их по-своему. А сейчас я расскажу вам всё, и мы сообща решим, что нам делать дальше.

Старик не справился с охватившим его волнением. Его глубокий глуховатый голос утратил свою монотонность. Временами его речь прерывалась вздохом, похожим на рыдание, временами в голосе звучал гнев. Старшина рассказал о борьбе, надеждах, разочарованиях, о кознях и вероломстве, обо всех перипетиях суда и, наконец, о вынесенном судом решении. Он кончил так:

— И вот, жители Руми, вы видите, как шло дело. Мы боролись, как могли. Но деньги и злоба одержали верх. Бисмарк Руиц сказал, что тяжба будет тянуться сотни лет, а она продолжалась всего несколько месяцев. Не нужно много времени, чтобы обобрать бедняка. Никто не хотел свидетельствовать в нашу пользу, а когда такой человек нашёлся, его запрятали в тюрьму. Друзья, которым мы не раз оказывали гостеприимство, — и Сенобио Гарсия, и Чародей, — предали нас. Что нам было делать? Ни один юрист, кроме Руица, не хотел браться за наше дело. Что нам было делать? Беда постигла нашу общину. Не с нами первыми случилась такая беда. И теперь я спрашиваю вас: что нам делать? Уходить на болотистые луга и скалы Янаньяуи или оставаться здесь? Если мы останемся здесь, мы должны будем работать на ранчо Умай, а это значит — стать рабами. Теперь вы должны сами решить, что нам делать, и если вам кажется, что мы делали что-нибудь не так, как нужно, — скажите.

Росендо умолк. Он дышал тяжело, и пончо колыхалось на его измученной старческой груди. Все молчали, переглядываясь, словно не зная, что сказать, и никто не решался заговорить. Понемногу начали негромко называть то одно имя, то другое. Это были имена поселян, от которых ждали, что они ещё что-нибудь расскажут насчёт суда. Язык у них отнялся, что ли? Уныние овладело всеми, и слова казались теперь ненужными. Но вот кто-то откашлялся. Заговорил Артемио Чауки — сильный, коренастый индеец. Он немного заикался. Наконец он выговорил, стараясь не пустить петуха:

— В нашей семье говорят, что ещё мой прадед предсказывал эту беду. Вот я и спрашиваю, почему не создали сходку раньше, когда только началась тяжба. Мы бы тогда могли обдумать всё заранее, а теперь уже, сколько ни думай, ничем делу не поможешь...

— Верно, верно, — послышались одобрительные возгласы.

Чауки продолжал:

— Так вот, пусть старшина и помощники скажут, с каких это пор голоса поселян ставятся ни во что?

Одобрительные возгласы зазвучали еще громче.

— Правильно! Пусть ответят.

Тут всех словно прорвало, и все заговорили сразу. И уже казалось, что они поднимаются против своих выборов и готовы их сместить. Тогда встал Гойо Аука. Вытянувшись во весь свой малый рост, он сказал:

— Мы думали, дело протянется дольше. Но вот Артемио Чауки чем-то недоволен, так пусть он скажет, что же мы сделали неладно? Что бы он сам-то сделал на нашем месте? Что бы ты сделал, Артемио Чауки?

Артемио Чауки не ответил. Ободренный его молчанием, Гойо Аука продолжал:

— Пусть-ка все, кто дерёт здесь глотку, скажут: что бы они сделали на нашем месте? Пусть каждый скажет, что бы он сделал?

Никто не ответил, и Гойо Аука, прежде чем сесть на место, сказал с юттенком презрения в голосе:

— Не ладно... не ладно... Чего проще сказать, что другой сделал не ладно, а вот как будет ладно? Пусть-ка мне на это ответят. Что ж, неужто никто ничего сказать не хочет?

В его словах прозвучал вызов. Но по всему было видно, что никто не собирается ему отвечать. Дело ни на шаг не сдвинулось с места. Херонимо Кауа, лучший стрелок в общине, один из тех, у кого отобрали ружьё, сказал:

— Насчёт ухода... Не думаю я, чтоб нужно нам было уходить и бросать наши дома. Мы должны защищать общину. Никто не отнимет её у нас, коли мы будем за неё драться и пустим в ход всё — ножи, камни, палки, ногти. У меня отняли ружьё, но осталась ещё праща...

Все громко заспорили. У Херонимо нашлись сторонники. Но оказалось немало и противников. Неожиданный наезд вооружённых пастухов показал им, как силен Аменабар. Другие считали, что на деньги общины, хранившиеся у старшины, можно купить ружья. Им возражали, что ружей на всех нехватит, да и времени осталось мало.

— Они явятся сюда четырнадцатого.

— У нас осталось только два дня.

Тут Касьяна встала и покинула сходку. Когда она услышала слова «два дня», она поняла, как близка грозящая им беда, и вспомнила слова Фьерю. Она должна сделать, как он говорил: пойти к нему и рассказать обо всём, что здесь происходит. Незамеченная никем, она выскользнула из толпы и скоро шагала уже по дороге на Эль-Альто; в ушах у неё всё ещё стоял гул голосов, громкие споры. Тем временем на сходке волнение немного поутихло, и Аугусто Маки сказал:

— Прошлую ночь я был в Умае. Так вот: их явится сюда двадцать пастухов и двадцать конных солдат — все с винтовками. Много вам помогут тогда ваши пращи?

Все же часть поселени никак не хотела смириться.

Встал Порфирио Медрано:

— Я был солдатом, хотя и в партизанской армии. Легко, сидя здесь, болтать языком: «Ножи, пращи...» Вы что же думаете, они нарочно подъедут к вам поближе, чтобы вы могли попасть в них из пращи? Нет, они укроются и станут палить. А потом... разве вы не знаете, что это за народ, — они перестреляют всех — и жён наших, и детей.

Доротео Киспе закричал:

— Позовём нашего друга, Фьеро Вакеса! У него много ребят, и все с ружьями!

— Да, да! Позовём Вакеса!

Толпа всколыхнулась. Росендо Маки снял шляпу и медленно поднялся со скамьи. Взгляд его суровых глаз, блестящих под нависшими на лоб седыми прядями, заставил толпу умолкнуть. Он заговорил громко:

— Нет, нет. Я и сам был бы рад позвать его, но это совсем загубит дело. Тогда уже конец всему, конец всем нам — всем до единого; конец общине. Одних убьют, других засадят в тюрьмы, третьих превратят в батраков. Мы будем бороться месяц, два, полгода даже... а потом пришлют ещё солдат, и они сотрут нас в порошок. Если как следует потрудиться, можно обработать землю и на Япаньяун. Жизнь помогает тем, кто трудится на земле. До сих пор наш труд ещё никогда не пропадал даром. Конечно, там, на скалах, уже будет не то, но кто его знает — может получиться и не так уж плохо.

Крестьяне, которых ни на минуту не покидала мысль о земле, приободрились, надежда вновь затеплилась у них в душе. Многие были согласны с Росендо: у них ещё остаётся земля — пусть плохая, но земля, её всё же можно обработать. Они любили эту жизнь, они сроднились с землёй, и мысль совсем лишиться её была для них невыносима. Да, Росендо прав. Но некоторые всё ещё стояли за сопротивление. Кто-то выкрикнул:

— Старый трус!

Тут Эваристо Маки — он был порядком пьян — начал размахивать фуками и кричать:

— Кто это сказал? Ну, и проучу же я негодяя! Давайте его сюда!

Росендо Маки снова встал. Сын продолжал кричать и грозиться. Старик сделал знак Кондоруи, и тот ударом кулака под подбородок сшиб пьянчугу с ног. Росендо

снова спокойно опустился на скамью. Поведение старшины смутило его противников. Он расправился с родным сыном, а оскорбления он, казалось, и не слышал и сидел, исполненный достоинства, готовый ответить на любой выпад. Крестьяне снова стали дружелюбно на него поглядывать. Никто больше не говорил ни слова. Кое-кто ждал, чтобы молчавший до сих пор Мардокео поддержал сторонников борьбы, но Мардокео жевал свою коку и тупо глядел на всех, словно никого не видя. Росендо сказал:

— Так мы ничего не решим, надо проголосовать. Те, кто не хочет сдаваться, поднимите руки.

В группе поселян, окружавшей Херонимо Кафа, взметнулось с десяток рук. После некоторого колебания ещё несколько рук поднялось из толпы к облачному небу, где уже начинали сгущаться сумерки. К величайшему изумлению всех, Мардокео сидел не шевелясь и не поддержал Херонимо. Что такое с Мардокео? У него был какой-то жалкий вид, и вёл он себя очень странно. Если он зол на Аменабара, почему же он не хочет бороться?

Сходка продолжалась, но толку было мало. Кто-то предложил узнать у дон Альваро его условия: позволит ли он им пользоваться землёй и пастбищами. Но большинство было против этого. Когда Аугусто сказал им, что Аменабар собирается разрабатывать рудник, это решило дело. Один крестьянин, по имени Амбросио, слышавший человеком рассудительным, сказал:

— Я думаю, нам нужно поскорее убраться отсюда, пока не явился дон Аменабар и не начал нами ломыкать. К тому же скоро начнутся дожди, и нужно поспешить с постройкой домов.

Эти доводы в конце концов убедили всех. Было решено начать переселение на следующий день и постараться закончить всё за день до назначенного для передачи срока. Всё же глубокое уныние овладело всеми. Как это нередко бывает, решение, хоть и принятое большинством, не удовлетворяло тех, кто его принял. Жители посёлка решили отказаться от борьбы, они решили покинуть населенное место, и всё же каждому из них хотелось чего-то другого, какого-то иного, лучшего решения, но они его не видели. И они старались освободиться от сознания ответственности, переложив вину на кого-то другого. И снова, как тина со дна пруда, злоба на старшину и помощников начинала подниматься у них со дна души.

Меж тем наступила ночь, и мрак поглотил верхушки

деревьев. Только стены недостроенной школы ещё выступали из темноты. Кто-то принёс хворосту и коры эвкалиптов, и на площади вокруг сходки разожгли костры. Отблески огня играли на лицах, и от колеблющихся языков пламени вокруг костров плясали хоромы теней. За этим огненным кольцом мрак казался ещё гуще. Только из открытой двери часовни падал прямоугольник света да высоко в небе засветилась крупная звезда. Горы исчезли во мраке.

Касьяна тем временем была уже далеко; она почти достигла скалистых предгорий Румы, когда, обернувшись, увидела зарево. Уж не пожар ли в деревне? С минуту она колебалась, не зная, продолжать ли ей путь или вернуться обратно, но потом заметила, что зарево не разрастается, и догадалась, что это костры. Тогда она пошла дальше, не останавливаясь даже, чтобы передохнуть, хотя уже начала уставать и чувствовала, как кровь, вторя ударам сердца, стучит у неё в ушах. Она любила общину и хотела её спасти. Острые камни кололи босые ноги, а налетавший сбоку ветер, казалось, на каждом шагу отбрасывал её назад. Но она всё шла, взбираясь выше и выше, с трудом карабкаясь по крутому склону, приподняв длинную юбку, чтобы не споткнуться.

Когда разожгли костры, и пламя ярко разгорелось, старшина предложил выбрать уполномоченных на будущий год. Таков был обычай, и если члены общины были довольны уборкой урожая и загоном скота, они оставляли прежних помощников старшины. Иногда они сменяли одного-другого из них. Росендо всё время бессменно оставался на своём посту, с тех пор как его впервые выбрали старшиной. Но сейчас общее недовольство грозило обрушиться и на него. Члены общины могли, конечно, как это нередко бывает, переменить мнение. Внезапно волнение прорвалось наружу, поселяне кричали, размахивали руками:

— Долой их!

— Пусть они все убираются вон!

— Мы выберем новых!

— Долой!

— Гоните Порфирию Медрано!

Кое-кто стал на их защиту. Спор, крики, оскорбления — всё было, как на любом выборном собрании современных цивилизованных народов. Оппозиция выставила своих кандидатов.

— Доротео Киспе старшиной! — крикнул кто-то.

Доротео быстро приобрёл популярность благодаря своему предложению позвать на помощь Фьеро Вакеса; к тому же он голосовал за дальнейшую борьбу. Недовольные выдвигали его как бы в знак протеста против принятого сходкой решения.

— Правильно! Доротео! — Шум всё возрастал.

Доротео молчал. Он выпятил губы так, что они едва не коснулись носа, маленькие глазки его смотрели настороженно. Темнокожий, сутулый, неповоротливый, со вшкочеченными волосами, он сейчас, больше чем когда-либо, походил на бурого медведя, вставшего на задние лапы.

— Доротео старшиной!

Росендо спокойно смотрел на него. Потом сказал:

— Что ж, Доротео будет хорошим старшиной. Давайте проголосуем.

Но Доротео попросил слова.

— Нет, не буду, — сказал он. — Чего это вы выдумали? Я знаю кой-какие молитвы и немножко смыслю в полетных работах, но разве я понимаю, как надо управлять общиной? А если б даже и понимал, так Росендо всё равно знает больше всякого другого.

Тут недовольные начали переглядываться. Было ясно, что каждый из них, если б ему, предложили сделаться старшиной, сказал бы то же, что и Доротео. Всякий начинает сознавать ответственность, которую возлагает на другого, только столкнувшись с нею сам. Всё же кое-кто продолжал кричать:

— Долой их всех!

— Какой от них толк!

— Гоните Медрано!

— Не хотим старика!

Из толпы вышла женщина и стала рядом с Росендо. Это была Чавеля. Пляска света и теней на её мужественном лице, казалось, придавала ему особую выразительность. Её тёмный платок, как крыло, взметнулся вверх, когда она подняла худую руку.

— Кто это сумеет лучше управлять нами, чем Росендо? С тех пор как я себя помню, все видели от него только добро и никогда не видели зла. Он состарился, служа общине. А в эти тяжёлые дни разве не боролся, не страдал он больше всех, больше любого из вас, потому что он старшина, потому что он отвечает за всё, потому что он мудр и потому что он добр. Другие старики сидели себе по

домам. А он изо дня в день ездил по делам общины. Как может он заставить людей выступать за нас на суде, если они не хотят? Десятки миль изъездил он по нашему делу; обиды, оскорбления — всё сносил ради нас. Поглядите на него: вот он сидит со своим посохом в руке, спокойно, терпеливо, беззлобно ждёт, когда вы вышвырнете его вон. Он так добр, что даже прощает вам всё, неблагодарные! Да только никто его не выгонит. Неужто найдётся среди наших мужчин такой трус, который осмелится оскорбить его и забыть всё, что он для нас сделал? Неужто найдётся такая женщина, которая не признает его вторым отцом? Нет, он останется, он останется старшиной, наш любимый наш добрый, старый Росендо!

Никто не произнёс ни слова. Когда приступили к голосованию, любимый, добрый, старый Росендо был избран почти единогласно. Даже Мардожео голосовал за него. Росендо встал и, сняв шляпу, поблагодарил народ. Пламя костров бросало розовые блики на его седую голову, — так в лучах заходящего солнца розовеют снега на вершинах горы Урпилау.

Послорив, пошумев ещё немного, поселяне переизбрали и помощников старшины — всех, кроме Порфирио Медрано. Он в конце концов был среди них чужаком, и потому многие не доверяли ему и яростно противились его избранию. Во главе оппозиции стоял Артемно Чауки. Молодёжь под предводительством Аугусто Маки и Деметрио Сумальякты взяла было его под свою защиту, потому что все они очень любили Хуана Медрано, но ее усилия оказались тщетными. Противники Медрано коварными наёмками перетянули на свою сторону почти всех поселян, и было решено, хотя бы осторожности ради, изгнать чужака из числа помощников старшины. Порфирио умел переносить удары, — спокойно и с достоинством покинул он своё место. Предложили избрать Чауки. Но молодёжь решила хоть тут поставить на своём и объединёнными усилиями провела в помощники старшины молодого пастуха Антонио Уильку. Проходя на место, новый помощник старшины в знак уважения дотронулся до плеча Порфирио Медрано. Кое-кто из стариков ядовито заметил, что молодёжь за последнее время совсем от рук отбилась.

Старшина объявил сходку закрытой, и один за другим поселяне разошлись. Как-никак, они теперь знали, что им нужно делать, и хотя у них всё ещё тяжело было на душе, но они чувствовали себя как-то уверенней. Росендо

задержал помощников, — нужно было обсудить подробности переселения. Порфирио, когда тот собрался уходить, старшина сказал:

— Это несчастье совсем сбilo их с толку... Потерпи.

— Потерплю, — ответил Порфирио.

Когда он опустился с крыльца, его жена, дети и кое-кто из друзей поджидали его. Им нечего было сказать друг другу, и они медленно пошли прочь.

На площади ещё долго горели костры и колыхались тени.

Касьяна, наконец, достигла плоскогорья Янаньяун. Ночь была очень тёмная, идти было тяжело. На горизонте зубчатый хребет Эль-Альто был скрыт во мраке, но Касьяна находила дорогу по ветру; стараясь идти так, чтобы ветер дул ей в правое плечо, она всё шла и шла вперёд. Она устала, ей хотелось присесть хоть на минутку и отдохнуть, но желание поскорее найти Фьеро и его банду гнало её дальше. Ещё в начале пути она поранила себе ступни на острых скалах Руми, и теперь ноги у неё распухли и онемели. Она слушала свист ветра, и шум крови в ушах, и глухие удары сердца, и всё шла и шла, еле различая в темноте тропинку. Но вот, наконец, враждебный, скалистый, перед ней встал хребет Эль-Альто. К счастью, и здесь ей удалось найти тропу, и она пошла по ней. Тропа была узкая, почти неприметная во мраке. Но вскоре и она исчезла, и Касьяна очутилась среди скал, не зная куда ей идти. Хоть бы луна выглянула на минутку! Но на небе мерцали лишь редкие звёзды, а упорный влажный ветер предрекал бурную ночь.

Касьяна спустилась по очень крутому склону — в темноте не видно было ему конца. Густые тени ложились у её ног, и ущелье казалось бездонным. Касьяна преодолевала невольный страх, сила и опытность придавали ей мужество. Там, где обрыв становился совсем отвесным, она переползала с выступа на выступ, цепляясь за скалы, за кустарники. Колочки впивались ей в руки. Ноги опять жгло, как огнём, все тело как-то странно отяжелело, и страх сдавил ей горло. Но, наконец, она благополучно спустилась с обрыва. Перед ней снова расстилалась равнина, а впереди начиналась новая цепь гор. Хватит ли у неё сил пересечь их? Она начинала терять надежду, что доберётся когда-нибудь до Фьеро. Зачем ушёл он так далеко?

Но тут же она подумала: не глупо ли задавать такие вопросы! Сейчас, должно быть, перевалило за полночь, и сходка уж, верно, кончилась. Это была первая сходка в её жизни. Что-то они там решили? Ну вот, она опять добралась до скал. Они неожиданно выступили из мрака ей навстречу, и она как будто столкнулась с ними грудью с грудью. Если бы только можно было прислониться к скале и поплакать! Но она должна была взобраться на них, пересечь их, карабкаясь с обрыва на обрыв. Она снова пустилась в путь. Ветер сбивал её с ног, оглушал, и она засыпала от изнеможения. Если усталость и сон одолеют её, она замёрзнет и погибнет. Она замёрзнет, зачоченеет и умрёт. Нет, она не даст ему и усталости победить себя!

Она пробиралась по скалам, местами поросшим колючим кустарником. Ветер ревел, выл, как цепной пёс. Порывы ветра пнули к земле кустарник, и он глухо шелестел, и этот шелест смешивался с заунывным свистом ветра в высокой траве. Касьяне казалось, что все эти звуки, сливаясь в общем хаосе, подобно невидимой буре, проносятся у неё над головой. Что если голова у неё закружится, и она упадёт? Она напрягла все силы и продолжала упорно идти вперёд. Сейчас она уже не понимала, зачем отправилась ночью через эти горы. Она раньше видела их только издали. Быть может, она уже сбилась с пути и идёт совсем не в ту сторону. Ветер, скалы, кусты, трава — они везде одинаковы: бесконечны, безжалостны, враждебны и тянутся бог знает на какое расстояние. Она всё шла и шла, протягивая вперёд руки, ища опоры и не находя её.

Никогда, никогда не чувствовала она себя такой усталой; голова у неё кружилась в времена ей казалось, что она вот-вот упадёт. Спину у неё ломило и в висках стучало так, что голова раскалывалась на части. Но, быть может, теперь уже недалеко? Ей хотелось закричать, но она чувствовала, что ветер заглушит её крик своим многоголосым ревом, и он затеряется среди ущелий и скал. Она ждала, когда утихнет ветер, чтобы крикнуть. Она хотела позвать своего мужа, но подумала, что не знает даже его настоящего имени — только прозвище, Васкес. Это имя как-то не звучало, громко его не выкрикнешь. Она решила позвать своего брата Валенсио, но тут ветер поднялся с новой силой. Он ревел и выл. Она продолжала идти вперёд. Вдруг ветер стих, и в наступившей внезапно глубокой тишине она отчаянно крикнула:

— Валенсио-о-о-о-о!

Быть может, это скалы откликнулись ей эхом? Ей показалось, что в отдалении залаяла собака. Должно быть, это ветер, упрямый, неумолимый ветер, несущий с собой мёртвое эхо далёких скал — зловещие, глухие голоса безграничных ледяных пространств. Как видно, все её старания напрасны; она больна, должно быть, — еле на ногах стоит, каждую минуту она думала, что сейчас упадёт.

— Валенсио-о-о-о! — звук её голоса странно прозвучал в её ушах. — Валенсио-о-о!

Ночь равнодушно внимала этим призывам, глухая к её страданиям, к её беспомощности, ко всем и ко всему. Никто не услышит её, и она упадёт и замерзнет в этой ледяной, бесконечной ночи.

— Валенсио-о-о-о!

Кажется, опять собака? Она не могла больше держаться на ногах. Ещё минута, и она упадёт и уже не встанет больше, придавленная к земле чёрной громадой ночи.

— Валенсио-о-о-о!

Лицо у неё было мокро от слёз, и совсем заledenело, голова кружилась, и ей казалось, что она теряет сознание. Но вот опять залаяла собака. Теперь где-то совсем близко.

— Валенсио-о-о!

Тёмный клубок ткнулся ей в колени и с коротким отрывистым лаем снова исчез в густом мраке. Может быть, это собака кого-нибудь из пастухов? А может быть, это его собака, Валенсио? Теперь, когда она встретила какое-то живое существо, хотя бы даже собаку, можно и присесть на минутку.

— Валенсио-о-о-о!

Она села и тут же упала на спину. Теперь ей хорошо, пусть даже она умрёт. Ветер проносился над ней, и прохлада земли проникала в тело. Из-за скал снова выскочила собака. Затем где-то неподалеку послышался шум осыпающихся камней. Касьяна села, в ней пробудилась надежда.

— Валенсио!

И глубокий, хриловатый голос ответил ей — голос жителя гор, знакомый, любимый голос:

— Касьяна!

Собака привела его туда, где сидела Касьяна. Она обхватила руками его шею и разразилась рыданиями.

— Я так измучилась. Так устала. Мне всё время казалось, что я упаду, замёрзну и погибну.

— Ну, отдохни теперь.

Это был он—всё тот же, прежний Валенсио, грубоватый и верный; он больше не прибавил ни слова, сел рядом с сестрой, снял пончо и расстелил его у ней за спиной.

— Отдохни, — повторил он.

Касьяна растянулась на пончо и, протянув руку, дотронулась до его груди и плеч. Это был всё тот же, прежний Валенсио. Затем её пальцы коснулись ружья. Нет, это был не прежний Валенсио.

— Он здесь?

— Нет он уехал.

— Куда уехал?

— Уехал, и всё.

— Что же мне теперь делать? Я пришла сказать ему, что община в опасности.

— Надсмотрщики? — спросил Валенсио.

— Хуже.

— Тогда дело плохо.

Оба умолкли. Касьяна лежала долго, набираясь сил. Собака бегала вокруг, фыркая и обнюхивая землю, а Валенсио сидел на корточках, опустив голову на руки. Потом он сказал:

— Пойдём.

— Куда?

— В пещеру.

Собака бежала впереди. Валенсио шёл за ней следом. Оба они, как видно, хорошо знали дорогу, и Касьяна, идя за ними, не спотыкалась больше о камни и корни деревьев. Она отдохнула немного, и хотя её израненные ноги и исколотые руки всё ещё болели, идти теперь было легче.

Ветер стих, и бледный свет начинал понемногу заливать небо. Рассвет наступал быстро, как всегда в горах, и в каждом маленьком углублении земли кусочками стекла заблестел лёд. Равнина была покрыта низкорослым кустарником, а выше, на голых, открытых ветрам скалах, виднелись кой-где клочки жёлтой травы. Скоро они поднялись на такую высоту, где не было ничего, кроме голых скал, похожих на зубчатые стены с тысячами шпильей и башен — чёрных, красноватых, синих. Валенсио подошёл к краю скалы и начал спускаться. Обогнув скалу, он снова стал взбираться наверх. Внизу, в ущельи, Касьяна увидела лошадей. С этого места тропинка распрямилась. Это уже был след, хотя и едва приметный, человеческого жилья. Внезапно они остановились перед пещерой. Войдя в пещеру, Касьяна увидела бородатого человека, с длинными воло-

сами, свисавшими до плеч; он сидел у огня, завернувшись в пончо, и варил что-то в железном котелке.

— Ну, что я тебе говорил? — сказал человек. — Я так и знал, что это женщина кричит.

Валенсио ничего не ответил и начал готовить постель, расстилая на полу овчины и одеяла. Касьяна осматривалась вокруг, стараясь понять, где она находится. Пол в пещере был земляной, на каменных стенах и потолке кое-где каплями выступала влага. Касьяна пристально всматривалась в глубь пещеры — глаза её, как видно, ещё не освоились с темнотой, но всё же она заметила неясно выступавшие из мрака очертания кувшинов, каких-то узлов и седел. Постель была готова, и Валенсио велел ей ложиться.

— Отдохни.

Овчины были мягкие и пропахли крепким табаком, который курил Фьеро Васкес.

Бородатый человек, как бы стараясь искупить свою грубую внешность, проговорил, насколько мог любезней:

— Сейчас мы живо приготовим хорошую жирную похлёбку, а там поджарим ещё хороший кусочек мяса.

Но Касьяна уже спала.

Когда она проснулась, была ночь. Она испугалась сперва, но потом увидела рядом с собой Валенсио. Она заметила, что у брата лицо как будто немного округлилось, а кожа стала темней. Быть может, это ей только кажется, потому что она привыкла к белому лицу Отейсы, да и у индейцев в долине кожа была светлей, чем у жителей гор. Но и у бородатого человека кожа была совсем тёмная.

— Когда придет Фьеро? Он сказал, что я должна сообщить ему...

— Он далеко, но я позову его.

— Как же ты позовёшь, если он далеко?

— Зажгу костёр.

Бородач протянул Касьяне тыква, полную густой похлёбки, за ней другую — с поджаренным сушёным мясом. Только тут Касьяна заметила, что бородач был однорукий.

— Понимаешь, Касьяна, начальник уехал далеко и велел нам, если что случится, позвать его — разложить костёр. Валенсио разложит костёр на вершине горы — вон той, что стоит на отшибе; оттуда костёр будет хорошо виден.

— А когда он вернётся?

— Он далеко, а дорога тяжёлая. Но если ты увидит костёр, пожалуй, завтра к ночи будет здесь.

«Всё пропало», — подумала Касьяна.

Валенсио взял большую охапку хвороста и соломы, перевязал её верёвкой, перекинул через плечо и ушёл. Касьяна пошла за ним следом и остановилась у входа в пещеру; кругом был мрак, Касьяна видела, как брат почти на четвереньках взбирался по крутому склону, согнувшись под своей ношей, и скоро скрылся из глаз, слившись с тьмой, затерявшись среди беспорядочного нагромождения скал.

Касьяна села на край подстилки и получила вторую порцию похлёбки и мяса. В очаге ярко пылал огонь, дыша живительным теплом и преграждая путь грозному сонму теней, осаждавшему вход в пещеру. Временами дрова потрескивали, и языки пламени взлетали вверх, и тогда бородатый человек говорил, что огонь разговаривает, а это значит — что-то должно случиться.

— Как тебя звать? — спросила Касьяна.

— Меня? Меня зовут Эль Манко.

В чёрной бороде у него блестела проседь. Большие тусклые глаза беспокойно бегали по сторонам, нос был приплюснутый, обвисшие поля шляпы закрывали лоб. Он сидел на корточках перед огнём, закутавшись в пончо, из-под которого выглядывал только носок старого башмака.

— Да, вот страдась со мной однажды такая беда — потерял я руку. Задумали мы одно дельце, поехали; а ранчо, куда мы собрались, было далеко отсюда, внизу, в жаркой долине. Один из работников заметил нас и через поля поскакал на ранчо и поднял тревогу. Ну, когда мы туда приехали, они нас поджидали, и нам уже нечего было там делать. Мне пулей раздробило кость, да это ещё что — троих совсем уложили наповал. Многие были тяжко ранены. Да, мы тогда бежали оттуда, поджав хвост, самыми глухими тропами, чтобы сбить их со следу. Разболелась тут у меня рука — мочи нет, и начала пухнуть. Одни ребята говорили, что разбередил я её в этой скалке, другие — что всё это с досады на неудачу; говорят, раны воспаляются, если в человеке большая злость. Когда мы добрались до пещер, ребята вправили мне кость, и я вылезал, как боров, которого колют, а рука болела всё пуще и и пуще и совсем почернела. Словом, загнивать начала. У нас был один парень, который знал, как отнять руку. Он делал это бритвой и хорошей острой пилой.

Он сказал мне:

— Чего ты хочешь — выбирай: либо сгниешь заживо, либо руку тебеотрежем.

Ну, такая жизнь мне тоже была не на радость, и я молчал. Но начальник сказал:

— Опрежьте ему руку.

Тогда один из ребят зажал мою голову между колен и сдавил мне челюсти так, что я не мог рта раскрыть, а другие навалились на ноги, схватили за здоровую руку. Костоправ говорит:

— Держите крепче, — и начал пилить.

Я рвался и мычал, а этот скот пилил себе и пилил, благо кости-то не его. Я чуть богу душу не отдал, а когда они отпустили меня, руки как не бывало, и весь я взмок так, словно бежал целый час. Они смазали рану какой-то мазью, и мне немного полегчало. А ребята — вот собаки! — в тот же вечер подобрали мою руку, выкопали яму, положили руку туда, как покойника, и даже крест воткнули для смеха. Потом бурей сорвало крест, и я не знаю даже, где зарыта моя рука... Ах, Касьяна, каких мук я тогда натерпелся, страшней я ничего и не припомню.

— Неужто? А убивать тебе разве не приходилось?

— Ну да, это тоже скверная штука.

Однорукий бандит умолк. Молчала и Касьяна, ожидая, чтобы он рассказал о себе ещё.

— Ты, верно, хочешь спросить, как попал я сюда и всякое такое? Что ж тебе сказать? Есть такие ловкачи, что умеют изображать себя невинными жертвами. Здесь мы все знаем друг друга, и каждому наплевать, хорош ты или плох, а потому мы и говорим правду. Таких пропащих людей, как мы, тебе ещё встречать не доводилось. Один только из нас стал убийцей не по своей воле — это твой муж. Однако он сам говорит, что человек привыкает к злу. Дивлюсь я, как умеет он управлять ребятами, и все его уважают и боятся, даже самые отпетые. Кое-кто, пожалуй, непрочь был бы его прирезать, особенно когда он чересчур уж натягивает вожжи, да не так-то это просто, потому что другие любят его, как отца родного.

— В той стороне есть ещё пещера, — там живут все наши ребята. Начальник спит здесь — со мной и с Валенсио. Когда он выбрал нас, он сказал:

— Валенсио предан мне, к тому же мы с ним теперь породнились. Я женился на его сестре. А у тебя, Манко, хороший слух и спишь ты чутко — ты будешь у нас за сторожевого пса. А если когда-нибудь тебе придёт охота меня убить, так ты сперва не раз задумаешься: куда тебе с одной-то рукой.

Так вот мы и попали сюда, и мне здесь нравится, потому что он иной раз даёт нам хлебнуть славного винца, а главное — не нужно жить в тех пещерах, очень уж там грязно. Сейчас мы остались здесь вдвоём смотреть за лошадьми да разводить костёр, если что случится. А насчёт того, как я попал сюда, ты меня лучше не спрашивай, потому что я страшный преступник. Только господь бог может меня простить, если он прощает. Но вот что я тебе скажу: он должен нас простить — иначе, какой же он бог? Какая ж тогда разница между ним и нами, грешниками, если он тоже не прощает? Нет, я верю в бога и верю, что на том свете всё будет иначе. Другие не верят совсем или уж слишком в него верят. Я не верю, чтобы бог занимался здешними земными делами — потому-то в мире так много зла... Он там, в небесах, и я жду, что предстану перед ним, и он простит мне мои грехи, и сделает меня праведником.

Ветер завывал снаружи, но не мог проникнуть в пещеру.
— А Валенсио?

Эль Манко начал рассказывать длинную историю. Вкратце дело было так: когда двое бандитов привели сюда Валенсио, все, поглядев на него, сказали в один голос:

— Либо это злодей, каких свет не видал, либо кроткий ягнёнок.

Однако на поверку вышло, что и ни то, и ни другое.

Они дали ему поесть, и он ел до тех пор, пока у него больше не полезло в глотку. Все пялили на него глаза и приставали к нему с расспросами, и потому, наевшись, он вышел из пещеры и ушёл в горы. Ночью он вернулся и лёг у входа. Наутро Фьеро Васкес велел ему смотреть за лошадьми, и он согласился. Он скоро научился ходить за ними, седлать их и ездить верхом. Он ухитрялся даже скакать на неосёдланной лошади через кустарники, к великому изумлению всех бандитов, считавших, что он ни на что не годен.

Как-то раз один из бандитов хотел его ударить, но Фьеро не дал его в обиду. С того дня Валенсио привязался к атаману. Однажды вся банда отправилась в поход, а Эль Манко и Валенсио, так же вот как и сейчас, остались вдвоём в пещере. Не в этой пещере, в другой, километрах в тридцати отсюда. Эль Манко сказал Валенсио:

— Мы должны следить, чтобы никто чужой сюда не пробрался. — И он стал объяснять ему, какие кто носит мундиры.

— Надсмотрщики? — спросил Валенсио. Ему казалось, что нет на свете людей хуже, чем надсмотрщики.

— Да, да, надсмотрщики, — сказал Эль Манко.

Однажды на дороге появилось двое солдат верхом. Валенсио, прячась между скал, подкрался к всадникам и, когда до них оставалось не больше двадцати шагов, швырнул в переднего солдата камнем и угодил ему прямо в голову. Солдат, как мешок, свалился на землю, и это испугало лошадь, которая шла сзади. Она начала лягаться, и второй солдат тоже вылетел из седла. Тогда Валенсио, выхватив нож, бросился на солдата.

— Валенсио! — закричал Эль Манко.

Когда лошадь начала лягаться, солдат выронил винтовку и был теперь безоружен. Валенсио наклонился над ним с ножом в руке, но тут подоспел Эль Манко. Он сказал Валенсио, что они должны связать солдата и отвести его в пещеру, а когда придет Фьеро, он сам решит, как быть. Так они и сделали, а потом подобрали второго солдата, которому камнем раздробило череп: им достались две хороших верховых лошади с прекрасными седлами и две новеньких винтовки. Их пленник рассказал, что они с товарищем были посланы вперед, разузнать, где прячутся бандиты, после чего сюда должен был явиться эскадрон, окружить и схватить всю шайку.

Дня два спустя вернулся Фьеро с остальными бандитами.

— Попадись мы вам, вы бы нас никогда не пощадили, — сказал Фьеро солдату, — поэтому приготовься к смерти.

Но солдат стал молить его:

— Не убивай меня! У меня жена и четверо ребят. Я что хочешь сделаю, только не убивай меня!

Тогда Фьеро сказал:

— Если так, дело другое. Поезжай в город, и когда услышишь, что они собираются сюда, ловить нас, разыщи женщину, которая торгует вином в лавчонке у самой заставы, и расскажи ей всё. Но смотри, если ты нас обманешь — тебе от меня не уйти. — Солдат уехал, и скоро бандиты узнали, что он сдержал слово.

Начальник сказал Валенсио:

— Если уж ты раздобыл себе винтовку, обучись стрелять.

И Валенсио скоро стал отличным стрелком. Всех ребят очень забавляло то, что их конюх так быстро пошел в гору. Только один — тот, что когда-то хотел его ударить, — затаил на него злобу. Они так и остались врагами

и каждую минуту готовы были вцепиться друг другу в плотку.

Однажды они крепко поругались. Фьеро не терпел сдлок между ребятами и велел им седлать лошадей. Они взяли с собой ножи и уехали. Валенсио вернулся один. Потом он дрался ещё с одним парнем, и тому повезло не больше. С тех пор все стали его побаиваться. В походах он был очень смел, особенно при нападении. Но когда нужно было уносить ноги, он был чересчур беспечен, и потому Фьеро редко брал его с собой. Зато когда дело доходило до стычек с конной полицией, — он звал их надсмотрщиками, — никто не мог тягаться с ним — он был очень метким стрелком.

Этот бесхитростный рассказ удивил и потряс Касьяну до глубины души. Неужто её брат Валенсио способен был на такие штуки? Должно быть, это правда, ведь Фьеро тоже кое-что ей рассказывал, но лишь сейчас, услышав рассказ Эль Манко, поняла она, какую жизнь вёл её брат.

— Теперь уж он, верно, разжёл костёр, — сказал Эль Манко. — Боюсь, что ветер порядком ему мешает. Пока костёр не разгорелся как следует, ветер только тушит пламя, вместо того чтобы раздуть его.

Ночь была ещё черней, чем накануне, и ветер опять бушевал во-всю. Высокие скалы преграждали ему доступ в пещеру, и он неумолчно завывал вокруг.

— Давай поедим, Касьяна.

— Давай.

Манко отварил картошки, чтобы придать некоторое разнообразие их еде, состоявшей из той же похлёбки и поджаренного сушёного мяса. Когда они поели, он сказал тоном человека, искушённого в таких делах:

— Отдохни ещё, с одного раза никогда не отдохнёшь как следует.

Касьяна прилегла на подстилку; огонь в очаге перестали поддерживать, дрова понемногу догорели, и только угли ещё тлели в темноте. Эль Манко постелил себе и тоже лёг. Касьяну охватил страх. Что если этот страшный бандит вздумает напасть на неё? Но минуты бежали одна за другой, а бандит спокойно лежал на своей подстилке. Мало-помалу Касьяна успокоилась, сон подкрался к ней, тяжёлое оцепенение сковало тело, и, наконец, глубокий покой окутал её, и она забылась.

А бандит в это время думал о Касьяне и желал её. При свете тлеющих углей он видел очертания её тела, её ши-

рокую спину, тёмную копну волос. Она лежала на боку, повернувшись лицом к стене пещеры. Бандит слышал её ровное дыхание, и когда он понял, что она уснула, его ещё сильнее потянуло к ней. Спящая женщина неудержимо влекла его. А Валенсио? А Фьеро Васкес? Они убьют его. Либо он сам должен убить их. Но разве ему, одному, с ними справиться? У него нет даже пистолета, с одним ножом много не сделаешь. Да и женщина сама не дастся ему — она, верно, влюблена в Фьеро, — и ему придется брать её силой. Она такая крепкая с виду — куда ему, калеке, совладать с ней! Какое проклятье быть безруким! Грудь женщины мерно вздымалась и опускалась; целый день сегодня видел он перед собой соблазнительные линии этой груди. Он знал, что она не подчинится ему по своей охоте, а силой ему не одолеть её. Впрочем, если пригрозить ей как следует... Но тогда она, уж конечно, расскажет все Валенсио и Фьеро. Похоть терзала бандита. Он корчился на своём ложе, как на горячих угольях.

Касьяна спала, глухая к его молчаливому призыву, к мукам его взбунтовавшейся плоти, к лихорадочной бессоннице его желаний. Он ненавидел её и желал. Он глядел на её крутые бедра, соблазнительные и запретные для него — бездомного пса, жалкого, безрукого бродяги, который не может даже ухватить этот лакомый кусочек, чтобы удовлетворить свою похоть, чтобы обрести то неизъяснимое блаженство, которое всегда делает мужчину и победителем и жертвой. Если бы он умел высказать ей всё! Если бы она могла понять! Нет, она прогонит его, да ещё, пожалуй, поднимет крик, начнёт звать Валенсио. Валенсио ушёл вместе с собакой. Может быть, убить Касьяну, а потом и Фьеро? Фьеро не из тех, кто любит издеваться над людьми, но тут он может замучить обидчика до смерти. Шутка ли, изнасиловать и убить его жену!

Фьеро говорил, что не приводит к себе женщины, потому что не хочет иметь то, чего лишены другие. Он отпускал их всех по очереди в долину на несколько дней — один-два раза в месяц. У всех бандитов были подружки — у кого в городе, у кого на ранчо. Только Эль Мачко никогда не пользовался этими отпусками и никуда не отлучался из пещеры, — у него не было женщины. Кто полюбит безрукого калеку? На свете сколько угодно здоровых мужчин; их любят и ласкают. Бандиты не брали его теперь и в свои набеги — какой от него был прок? — и потому у

него не было даже случая припугнуть какую-нибудь девочку. А женщина — большая отрада, и по жилам у нее струится наслаждение.

Касьяна спала. Если бы только он мог разбудить её, осилить, овладеть ею и потом бежать. Да нет, не совладать ему с ней! И всё же мысль о Валенсио и Фьеро малопомалу тускнела. Перед ним было тело женщины, и яростное желание сжигало бандита, захлёстывало мозг, заполняло собой всё. Если она заартачится, он притрозит ей. Он вытащил нож и начал потихоньку подкрадываться к Касьяне. Он слышал совсем близко её дыхание.

Глухой стук пролетел над склоном горы, залетел под своды пещеры и замер глубоко внизу, на дне ущелья. Камень. Ясно — Валенсио задел камень, и он покатился вниз. Значит, Валенсио возвращается. А всё же, может быть, он ещё далеко? Может быть... Но мысль о Валенсио уже преградила дорогу той, другой мысли, заслонила её. Грозные фигуры Валенсио и Фьеро снова встали перед ним во весь рост. И страх, что у него нехватит силы справиться с этой женщиной, и он потеряет всё, ничего не достигнув, пересилил желание. Внезапно бандит решительно сунул нож в карман и вышел из пещеры. Ветер налетел на него, овеял прохладой разгорячённое тело. Он понял теперь, какое безумие владело им. Но он не хотел возвращаться в пещеру, пока не придёт Валенсио. Он всё ещё ненавидел и желал это тело, погружённое в сон, и страшился остаться с ним один-на-одни. Появился Валенсио.

— Что ты тут делаешь? — удивился он.

— Я услышал, как покатился камень, и вышел взглянуть, не случилось ли чего.

— Нет, ничего не случилось, — сказал Валенсио.

И они вместе вошли в пещеру; собака бежала за ними.

На другой день они ждали Васкеса до самого вечера. Он не приехал. Тем временем Касьяна, на правах его жены, или по крайней мере одной из жён, принялась приводить в порядок его одежду; отыскала у себя иголку, где-то в пещере нашлись нитки — и принялась штопать и пришивать пуговицы. Кроме тех вещей, которые Касьяна заметила в то утро, когда впервые попала в пещеру, тут почти ничего больше не оказалось. Два-три узла, покрытых одеялами, и большой, обитый кожей сундук, показав-

шлись Касьяне очень ценным, а главное — очень таинственным.

— Там, верно, деньги?

— Нет, Касьянита, кто же держит деньги среди воров? — возразил Эль Манко.

Уже была глубокая ночь, а Фьеро всё ещё не появлялся. Они долго не гасили огонь в очаге, поджидая его, ловя малейший шорох. Но стука копыт всё не было слышно. Собака, подстрекаемая Валенсио, напрасно бегала взад и вперёд, нюхая воздух. Касьяна совсем упала духом и всё твердила бандитам, что в общине дела очень плохи и Фьеро сам велел сообщить ему, если что случится, и вот она пришла, а его нет.

— Скоро он придет, — успокаивал её Эль Манко.

Дрова в очаге попрескивали. Бандиты уже хотели было загасить огонь, но Касьяна попросила их подождать ещё немного. Было уже за полночь, когда собака вдруг вскочила и залаяла. Скоро они услышали стук копыт. Потом внизу, в долине, послышался громкий топот, ржанье лошадей, голоса. Это был Фьеро со своей бандой. У Касьяны забилось сердце. Валенсио и Эль Манко побежали вниз встречать начальника. Услышав, что в пещере его ждёт Касьяна, Фьеро стремительно поскакал вперёд.

— Касьяна!

Они обнялись. Фьеро спросил её, как дела в общине, и она рассказала ему всё, что знала.

— Так, это было два дня назад... вчера, сегодня... завтра, значит, срок?

— Да, завтра.

— Завтра четырнадцатое.

— Да, они сказали: четырнадцатого...

— Что же поселяне? Думают они бороться? Доротео...

— У них была сходка, когда я ушла. Перед сходкой Доротео, Херонимо и ещё другие говорили, что нужно бороться, и хотели позвать тебя...

Фьеро поскакал вниз и начал отдавать приказания. Касьяна не понимала слов, только слышала его голос. Это был голос вождя, ясный, повелительный, отличавший Фьеро от всех, кого она знала.

Потом он появился снова в сопровождении Валенсио.

— Касьяна, мы выедем на рассвете. Нужно покормить лошадей и дать им отдохнуть. Мы не слезали со седла весь день и почти всю ночь. У нас мало лошадей... придётся сменить только самых измученных.

Он открыл сундук и начал доставать оттуда ружья и патроны. Она смотрела на своего Фьеро. Как всегда, он был в чёрном с головы до ног. Две недели провёл он в седле и вот уже снова готов скакать на помощь поселянам.

— Надо взять ружья получше и захватить побольше патронов.

Затем он позвал Эль Манко. Когда тот пришёл, Фьеро сказал ему:

— Хочешь ехать с нами? Стрелять ты не можешь, но если дойдёт до рукопашной, так и твой нож пригодится.

— Слушаю, начальник, — ответил Эль Манко.

— Тогда седлай лошадь. Постой, что говорят ребята?

— Они готовы. Говорят, что пули не для того отлиты, чтобы им лежать без дела.

— Хорошая будет потасовка — с пастухами, с солдатами. Ступай раздуй сильнее огонь. Ты понимаешь, о чём я говорю?..

Фьеро и Валенсио пересчитали винтовки и поставили их, прислонив к стене. Потом Фьеро отсчитал патроны для маузеров, винчестеров, по сто штук на каждого бандита. Эта банда, скрывавшаяся среди скал на вершинах Андов, владела разнообразной коллекцией оружия. Из ложины доносились голоса и ржанье лошадей.

Фьеро достал из одного мешка щегольские блестящие туфельки и отдал их Касьяне, а затем опять спустился в ложины. Касьяна примерила туфельки — они красиво поблёскивали в пламени очага, но этот дурень Валенсио не сказал ни слова. Право же, порой Валенсио был совсем дурак-дураком, — ведь всякий бы предпочёл полюбоваться на туфельки, чем глазеть на подпругу, которую он в это время прилаживал. Снизу опять донёсся голос Фьеро, глубокий, мягкий и повелительный.

Потом всё стихло, словно в ожидании зарождающегося дня. Но вот красноватый отблеск лёг на чёрные скалы. Раздался голос Фьеро, и Валенсио, взяв винтовку, вышел из пещеры навстречу занимавшемуся дню. Он вернулся вместе с Эль Манко, который нёс седла и подседельники. Пришли ещё двое бандитов и наполнили патронами карманы и кожаные сумки. Касьяне эти бандиты показались очень страшными и грубыми. Наконец явился и сам Фьеро и сказал Касьяне:

— Пойдём.

Он взял её за руку и помог ей спуститься по крутой

скалистой тропе; Касьяна, не привыкшая к обуви, все время скользила.

Фьеро вскочил на своего Тордо — красивого, сильного вороного коня — и впереди себя посадил Касьяну. Все бандиты тоже вскочили на коней. Если те двое, что приходили за патронами, показались Касьяне страшными и грубыми, то теперь, увидев всю банду, Касьяна и совсем перепугалась. Хотя у Васкеса и лицо было рябоватое, избородженное шрамами, и глаз изуродован, всё же он был не так страшен, как эти люди; ненависть и страх наложили свой отпечаток на их суровые, загрубевшие от непогоды лица. Мрачные, тусклые глаза, глубокие морщины... грубость и жестокость, горечь и обречённость читала Касьяна на всех лицах. Иные прятали в бороде угрюмые складки рта, но тоска глядела из глаз. Все накинули на плечи пончо и положили ружья поперёк седла. Только Эль Манко скинул свой пончо и, желая показать, что он готов к бою, размахивал закатым в правой руке ножом, держа повод в зубах. Злой насмешник-ветер безжалостно развевал пустой фукав его рубахи.

— Валенсио, дай-ка ребятам по глоточку, — приказал Фьеро.

Не сходя с лошади, Валенсио достал две бутылки из своего мешка, и они стали переходить из рук в руки, ото рта ко рту; потом пустые бутылки взмыли вверх и, удравшись о скалу, разлетелись вдребезги.

— Готовы? — прозвучал властный голос Фьеро.

— Готовы! — закричали все.

Фьеро пустил коня вперёд, за ним поспежал Валенсио, а дальше, один за другим, двадцать бандитов с мрачным и решительным видом. Солнце уже светило им в спины, и горы с их надменными чёрными вершинами и прогалинами жёлтой травы выплыли из мрака.

— Вот что удивляет меня, — оказал Фьеро, наклонившись к Касьяне и обхватив её рукой; тропинка то взбежала вверх, то падала вниз с кручи, Тордо шёл рысью, и Касьяну чуть не выбрасывало из седла, — удивляет меня, что суд так быстро ложончил с этим делом. Я говорил вчера с одним из наших ребят, которого мы зовём «Законовик», потому что он три раза сидел в тюрьме и четыре года пробыл в исправительном доме и знает все судейские тонкости. Так вот, он сказал, что решение можно обжаловать.

Но Касьяна ничего не понимала в этих делах и заговорила о другом:

— Я совсем замучилась, когда шла сюда ночью. Чуть не померла, до того устала; меня даже стало тошнить.

— Тошнить?

— Ну да.

— А с тобой это и раньше бывало?

— Нет.

— Так, может быть, ты ждёшь ребёнка?

— Может быть.

Но мысли Фьеро уже снова обратились к делу, которое сейчас занимало его больше всего. Он обернулся и увидел, что некоторые из бандитов плетутся далеко позади на своих измученных лошадях.

— Подтянись! — крикнул он. — Мы должны поспеть туда во-время.

Отставшие подстегнули лошадей и стали нагонять передних. Кое-кто из бандитов откинул назад поля шляпы, и это придало им ещё более вызывающий вид. От стука копыт дрожала земля.

Поселяне тем временем заранее переживали все муки изгнания. Это были не только душевные муки. Тело страдало, оно не хотело отрываться от этой земли, взрастившей их, земли, на которой учились они делать первые робкие шаги, которую любили со всей силой инстинкта, заложенного в них природой, земли, где они сеяли хлеб и снимали урожай, где надеялись умереть, чтобы лечь в неё же на старом кладбище, рядом с останками своих предков.

Два дня подряд мужчины, женщины и дети перетаскивали свой скарб из посёлка на плато Янаньяум на лошадях, ослах, быках и даже коровах, которых они таскали за собой, обвязав им рога верёвкой, или просто на собственных спинах.

В эти дни небо на закате пылало, и Наша Суро говорила, что это предвещает кровь.

Четырнадцатого они в последний раз поели у своих очагов — свидетелей их жизни, протекавшей здесь день за днём, и покинули посёлок, унося с собой то, что оставалось в их разорённых жилищах: горшки, тыквенные фляги, узлы с одеялами, яркими, как звёзды на закате, цыплят, которых раньше не удалось поймать...

На той пропашке, где когда-то Росендо видел змею, длинная дёспрая вереница юбок и пончо, извиваясь, ползла между скалистыми утёсами хребта Руми. Один осёл

с широким выючным седлом вез статую св. Исидора; статуя лежала на спине, глядя в небо. Другой осёл вез знаменитый колокол, славившийся своим мелодичным звоном; когда поселяне снимали колокол, он упал и жалобно затудел. Это была странная процессия — скорбная, молчаливая; люди беспрестанно оборачивались, чтобы бросить ещё один взгляд на свою любимую деревню. Дома, зелёные клочки огородов, церковь с распахнутой настежь дверью, голые, словно тосковавшие по крыше стены недостроенной школы — всё, казалось, манило их назад. Всё звало к себе: сжатые поля пшеницы и кукурузы, гора Пеанья со своими пастбищами, канал, несущий к ним воду, обезлюдившие дороги, широкая площадь с тенью эвкалиптов на ней. У кого из поселян не будили тысячи воспоминаний, драгоценных воспоминаний вон та ограда, та стена, то дерево, тот луг... Привольно раскинулась земля, и жизнь их там была такой же вольной и полной глубокого смысла, как сама земля. На этой земле они схоронили своё прошлое, потому что человека нельзя отделить от земли. И теперь на новой, чужой, враждебной земле, они должны были строить новую жизнь. Рассудок заставлял их покориться, но горечь разлуки раздирала сердце.

— Прощай!

Глаза женщины были полны слёз, с губ мужчин слетали проклятия. Ребятишки не понимали всего, что происходило вокруг, но и они вспоминали большую площадь, на которой привыкли играть и просить денежку у луны, и им тоже становилось грустно.

Деревня опустела, только пять всадников стояли на площади, в тени эвкалиптов: старшина и четверо его помощников. Они тоже смотрели на печальные, осиротевшие дома, на поля вокруг, где не видно было больше ни животных, ни человека. Земля казалась мёртвой. Деревня, дружная деревенская община, медленно, печально уходила с насиженного места в горы, унося на согнутых крутизной подъёма и горем спинах свою срезанную под корень, но упрямо теплившуюся ещё жизнь; так на срубленном дереве дрожит листва, не веря в смерть, на которую уж обрёл её топор.

Солнце поднялось уже высоко, когда конец процессии скрылся из глаз у подножья хребта Руми. Почти тотчас

же с противоположной стороны появился дон Альваро со своей свитой и галопом спустился по склону горы к деревне.

Дон Альваро въехал в деревню вместе с супрефектом и судьёй. Следом скакали один из его сыновей и Иньигес, а за ними, к удивлению поселян, в толпе полицейских и пастухов трусил сам Бисмарк Руиц. Кавалькада торжественно въехала на площадь неспешной величественной рысью.

Старшина и помощники вышли на середину площади встретить всадников и поклонились властям. Дон Альваро крикнул:

— Эй вы, индейцы! А со мной вы и разговаривать не желаете, что ли?

Отряд вооружённых солдат за его спиной, как видно, придавал ему храбрости. Он продолжал бушевать:

— Я слышал, вы полезли куда-то наверх, на скалы, бросили прекрасную землю, лишь бы не работать. Ленивые собаки! Ваша честь, нельзя ли поскорее покончить с этим делом, я прямо-таки за себя не ручаюсь.

В эту минуту появился Сенобио Гарсия собственной персоной. Он подскочил с винтовкой за плечами в сопровождении двух тоже вооружённых всадников. Как начальник округа Мунчи он явился сюда, дабы поддержать порядок во время передачи земли. Первым он приветствовал дона Альваро, но тот был так зол, что даже не ответил на его поклон, — ведь это Гарсия уверил дона Альваро, что индейцы никогда не бросят своей земли. Судья и супрефект, во всём рабски подражая дону Альваро, тоже не ответили на его приветствие. Желая хоть на чём-нибудь отыграться, Гарсия обратился с приветствием к поселянам, но и тут не получил ответа. Иньигес, Бисмарк Руиц и полицейские улыбались с плохо скрытой иронией.

— Ну же, ваша честь, кончайте скорей, — повторил дон Альваро.

Судья с торжественным видом начал читать длинное, запутанное постановление, стараясь говорить как можно отчётливей, но голос у него охрип от долгой скачки верхом и плохо ему повиновался. Бисмарк Руиц подъехал к крестьянам и слушал судью с подчеркнутым вниманием, время от времени вставляя вполголоса свои замечания и обращаясь с ними к Росендо.

Смехотворность всей этой церемонии достигла предела,

когда дон Альваро, в знак своего вступления во владение, должен был сойти с коня и повалиться по земле. Он проделал это с видом полусерьёзным, полунроническим, затем встал и отряхнул пыль, замаравшую его белоснежный костюм.

Бисмарк Руиц подписал бумагу от имени поселян, после чего они стремительной рысью направились по дороге на Янаньяуи. Сенобио Гарсия, не зная, как ему поступить перед лицом столь неожиданной враждебности, растерянный и смущённый, отправился во-своёси в сопровождении своих молодцов.

— Наконец-то с этим покончено! — воскликнул дон Альваро и пожал руку своему защитнику Иньигесу, которому, как-никак, принадлежали лавры победителя.

Затем, словно забыв о существовании судьи и супрефекта, чья миссия была закончена, он предложил Иньигесу следовать за ним, и они, выехав из деревни, поднялись на холм.

— Вот там, — сказал дон Альваро, указывая на горы, видневшиеся по ту сторону реки Окрос, — находится рудник и ранчо, которые я хочу купить. Если их не захотят мне продать, я прибегну к помощи закона, потому что кучка жалких бездельников не должна стоять на пути прогресса; рудному делу у нас предстоит великое будущее.

— Да, о да, великое будущее! — с жаром подхватил Иньигес.

— Прекрасно. Я говорил вам, что мне нужны рабочие руки. На ранчо много индейцев, а так как Меркадасы, владельцы ранчо, из тех людей, что никогда не сидят на месте, то, я думаю, они согласятся на продажу. Здешние индейцы сыграли со мной скверную штуку, но я надеюсь найти способ прибрать их к рукам.

— Несомненно! Способов найдутся сотни.

— Друг мой, мне нужна власть, и я буду сенатором. Но сейчас я думаю о другом — Оскар должен баллотироваться в конгресс, это сразу выдвинет его. В нём заложено многое, и всё это вскрыла тяжба с индейцами. Ведь это Оскар обделал все дела с Бисмарком Руицем и другими адвокатами, да и с кузнецом Прието. Кстати сказать, этот кузнец всегда производил на меня впечатление человека вполне благонадежного, а на поверку оказался каким-то полоумным. Вы не думаете, что из Оскара может получиться хороший политический деятель? Он обхо-

дителин, не дурак выпить и в компании незаметно. При этом он, право же, недурной оратор.

— Разумеется, разумеется, ваш сын обладает отменными качествами! — в сотый раз воскликнул Иньягес.

В это время Фьеро Васкес со своей бандой пересёк хребет Эль-Альто, и когда они выехали на плато Янаньяуи, взору их предстала картина, которую они меньше всего ожидали увидеть. По всей равнине разбрелись люди и скот — беспорядочная толпа переселенцев. Доротео Киспе и ещё кое-кто из поселян закричали:

— Вон они! Вон они едут! — и побежали навстречу всадникам.

Фьеро спустил Касьяну с седла и велел ей разыскать Паулу, а сам, обратившись к Доротео, приступил прямо к делу:

— Поспешим! Быть может, передача ещё не состоялась.

— Поехали!

Доротео Киспе, Херонимо Кауа, Артемно Чауки и ещё с десяток поселян поехали вместе с бандитами, захватив с собой свои мачете и пращи. Порфирио Медрано со своей старой винтовкой тоже присоединился к ним. Они пересекли плато и, когда ехали через заросли кустарников, их тёмные силуэты чётко вырисовывались на солнце — грозные фигуры мстителей, в которых никто бы не признал жалкой кучки людей, ещё недавно со страхом заглядывавших в неизвестное будущее. Фьеро жалел, что не захватил с собой лишних ружей. Это всё потому, что он привык принимать в расчёт только свою банду. Сейчас он явился сюда, чтобы на свой лад вступить за правое дело. Он не раздумывал долго. Он вспомнил только свою собственную горькую участь. А, вон они — представители закона — уже здесь! Он осадил коня, и вся его банда вместе с поселянами окружила его.

— Вперёд, вперёд! — закричал Эль Манко.

Росендо Маки в сопровождении помощников поднимался по склону. Бандиты поскакали к ним навстречу, копыта лошадей звонко цокали по узкой каменистой тропе.

В деревне солдаты и пастухи уже спешили и разбрелись по площади. Они перебрасывались насмешливыми замечаниями, о том, что Васкес не очень-то торопится к индейцам на выручку. А Фьеро в это время рысью спу-

скался с горы и осадил коня перед Росендо Маки. Тут в деревне кто-то забил тревогу, и все вскочили на лошадей, чтобы быть наготове. Владелец ранчо и адвокат, заметив суматоху, поспешили спуститься с холма. Высоко над ними, на краю выдававшегося вперёд утёса неясно вырисовывались на небе фигуры всадников. Фьеро Васкес спорил с Росендо.

— Но мы уже всё передали им. Бисмарк Руиц подписал за нас бумагу.

— Что? Разве вы не знали, что этот лёс продан им? Наш Законник говорит, что вы можете опротестовать решение.

— Хорошо, пусть даже мы выиграем дело. Всё равно они вызовут солдат и сотрут нас в порошок.

Вся община собралась на вершине Руми посмотреть, что такое происходит там внизу.

Росендо продолжал:

— Они всех нас перебьют, а и так уже много, слишком много индейцев погибло ни за что, ни про что.

— Нет, Росендо, это не так. Кровь вызывает к крови, и нож убийцы нередко поражает его самого.

— Может быть, оно и так, только уж не вносите новой смуты. Сходка решила что надо сдаться, и я должен исполнить её волю.

Эль Манко сунул свой мечете в ножны и, схватив повод в правую руку, подхлестывал коня на краю скалы, над самым обрывом, и кричал, пьянея от ярости и удали:

— Вперёд, вперёд!

— Эй, Манко, уймись! — крикнул Фьеро.

Росендо сказал:

— Не думай, что я струсил. Иной раз, чтобы удержать руку, нужно больше отваги, чем для того, чтобы нанести удар.

— Что ж, вам, поселянам, виднее, что для вас лучше, и я не собираюсь затевать драку, раз вы не хотите. Я не могу ставить вас под угрозу против вашего желанья. Ну а вы, помощники, что вы скажете?

Гойю Аука ответил за всех:

— Мы согласны с Росендо.

Солдаты и пастухи растянулись цепью по главной улице. Дон Альваро со своей охраной и Иньигесом укрылся за эвкалиптом. Бисмарк Руиц и судья спрятались в церкви. Супрефект и лейтенант остались на площади и по очереди смотрели в бинокль, передавая его друг другу.

В бинокле появилось чёрное пятно — Фьеро Васкес.

— Надеюсь, они спустятся в деревню, — сказал лейтенант, — мои солдаты — большая для них приманка. Я приказал сложить всю амуницию в доме старшины и привести лошадей. Пока что они ещё слишком далеко и высоко. Они могут попрятаться среди скал и удрать от нас.

Видно было, как Фьеро спорит о чём-то с Росендо. Похоже было на то, что они раздумали нападать. Некоторые из бандитов уже повернули обратно.

Кончилось тем, что Фьеро сказал:

— Поехали отсюда, а то они решат, будто мы что-то замыслиаем.

Бандиты нехотя повернули коней и начали медленно спускаться с перевала. Эль Манко ехал последним и кричал, что он будет драться один. Бандиты начали пересмеиваться.

Впереди на тропинке появилась женщина. С громким плачем она бежала к ним навстречу. Подбежав к Росендо, женщина крикнула:

— Таята Росендо, где Мардокео? Я думала, что он остался с вами, а его и здесь, как видно, нет. Вчера он целый день только и делал, что жевал свою коку, и всё думал о чём-то, и был ещё молчаливей, чем всегда. Сказать по правде, боюсь я за него. Где он может быть? Вы его не видели? Неужели никто его не видел?

Она искала своего Мардокео, перебегая взглядом с одного лица на другое. Глаза её вновь наполнились слезами, и лицо судорожно искажилось от плача. Одна и та же мысль мелькнула у поселян, и они посмотрели вниз. Там Аменабар со своими пастухами также готовился покинуть деревню, не желая ввязываться в драку. Мардокео нигде не было видно.

Вдруг Антонио Уилька крикнул:

— Да вон он!

И все увидели тёмную фигуру, притаившуюся на краю скалы, нависшей над дорогой, что вела к ручью Ломбрис. Это была широкая дорога, и по ней впереди отряда ехали супрефект и несколько солдат; за ними следовали двое надсмотрщиков, а за надсмотрщиками — дон Альваро с Иньигесом; остальные ехали позади. Никто из них не видел одинокой тёмной фигуры, притаившейся за скалой. Но те, кто смотрел отсюда, сверху, поняли, что задумал Мардокео. Он лежал за огромным обломком скалы. Но он был слишком далеко — кричи, не кричи, всё

равно не услышит. Всё же его жена принялась отчаянно звать:

— Мардокео! Мардокео!

— Ее-е-оо-о... е-ее-оо-о... — отозвались горы.

Отряд приближался. Владелец ранчо говорил адвокату:

— Ну, вы видите, теперь, какие трусы эти индейцы?

— Вижу, вижу, да и бандиты не лучше. Лишь только поняли, что мы шутить не станем, так их и след простыл. У них хватает храбрости нападать только на слабых, беззащитных людей, — торжественно изрёк Иньигес.

— Слышите, как они там раскричались? Верно, ругают и поносят нас на чём свет стоит. Язык — оружие труса.

— Вы правы, сеньор.

Супрефект и солдаты переправились через ручей; камни на дне ручья зазвенели под ударами подков. Дон Альваро и Иньигес были уже в нескольких шагах от нависавшей над дорогой скалы.

— Ее-е-оо-о... е-е-оо-о...

Тёмная фигура зашевелилась. Дон Альваро был теперь под самой скалой. И вот толчок — и огромный камень, оторвавшись от скалы, полетел вниз. Раздался глухой удар. Камень угодил Иньигесу прямо в голову и упал на дорогу между всадниками; лошадь дона Альваро бешено метнулась в сторону и понесла. Ехавший сзади отряд застыл на месте; протяжное «ох!» пронеслось над дорогой, когда отряд увидел летящий сверху серый обломок валуна и тело Иньигеса, сползающее с седла с проломленным черепом. Он свалился рядом с камнем, заливая кровью дорогу. Услышав крик, супрефект и его спутники обернулись, и один из надсмотрщиков поймал ускользавшую вперёд лошадь Иньигеса; дошу Альваро тем временем тоже удалось укротить своего коня.

— Ее-е-оо-о... е-е-оо-о... — Мардокео стоял, как пригвождённый к месту; потом начал карабкаться вверх по скале.

— Ее-е-оо-о... е-е-оо-о...

— Он раскроил ему череп камнем, — говорили солдаты и надсмотрщики.

Супрефект приказал солдатам взобраться на скалу, и они увидели вдали Мардокео. Загremели выстрелы, и Мардокео припустился бежать, прячась за скалами и кустами; казалось, он с дьявольской ловкостью избегает пуль — ни одна не задела его.

— Ее-е-оо-о... е-е-оо-о... — Вдруг он упал. Солдаты про-

должны стрелять. Мардокео с трудом поднялся на ноги и снова побежал, прихрамывая. Пуля попала ему в ногу.

Поселяне, столпившиеся вокруг Доротео Киспе, и бандиты, окружавшие Васкеса, закричали:

— Вперёд! На выручку!

— Ни с места! — загремел Фьеро.

— Стойте! — крикнул Росендо.

Солдаты сняли с седла пулемёт и начали строчить им по склону. Мардокео упал. Пулемёт трещал, поднимая столбики пыли, пули вбивались в тело, разрывая его на куски.

Но Эль Манко, не помня себя, уже скакал во весь опор вниз по склону, выкрикивая ругательства, звучащие, как удары плети. Касьяна глазам своим не верила — неужто это тот самый калека, который мирно сидел с ней у очага? Но пустой рукав, свисавший с его изуродованного плеча, казался, кивал ей, развеваясь по ветру. Пулемёт смолк. Солдаты подумали сперва, что это скачет парламентёр. Но когда Эль Манко вылетел на главную улицу деревни, он издал яростный вой и, зажав повод в зубах, выхватил свой мечете, огненным языком блеснувший на солнце. Пулемёт стоял на краю скалы, и ствол его начал медленно поворачиваться.

— Огонь! — крикнул лейтенант.

Град пуль обрушился вниз и долго стучал по упавшей лошади и всаднику, а эхо выстрелов прокатывалось по горам.

— Видите, как встречают они нас? — сказал Фьеро.

Наконец мёртвая тишина, нарушаемая только рыданиями жены Мардокео, воцарилась в лесистом ущелье Руми.

Солдаты снова построились, тело Иньигеса положили на его лошадь, лицом вниз, поперёк седла, и отряд продолжал свой путь. Когда медленно двигавшаяся кавалькада скрылась в горах, поселяне и бандиты спустились вниз подобрать убитых.

ГЛАВА 9

БУРЯ

Горы, окружавшие плато Янаньяуи, вздымали вверх чёрные голые пики, похожие то на грозно поднятые к небу руки, то на сторожевые башни, то на неприступные крепости. Порой они принимали причудливые омертвления зве-

рей, людей, растений. Внизу склоны были усеяны обломками скал и валунами, среди них проглядывала свистевшая на ветру ичу-трава и низкорослый тёмнозелёный кустарник, а с краю плато, у самых скал, глядевших на равнину Муңча, блестело на солнце чёрное зеркало озера Янаньяуи, что значит: чёрный глаз.

Озеро было большое и глубокое, а подножье скал заросло зелёным шуриющим тростником, в котором водилось много уток и болотных курочек. Гора Руми опускалась к плато уступами, что задерживало сток воды. На другом конце плато, там, где оно отлого поднималось вверх, виднелись развалины каменных хижин, и неутомный ветер гудел в щелях и завывал голосами прежних обитателей. Ветер налетал с юга, обгибая утёсы Эль-Альто, у подножья которого уступами поднимался хребет Руми, менее величавый здесь, чем по ту сторону гряды. Между озером и развалинами раскинулся луг, поросший высокой травой, перемежавшейся кой-где зарослями тростника. Летом луг высыхал, но зимой его затопляли воды озера, не находящие себе подземного стока, и делали его непригодным к обработке.

Однажды какой-то старшина, любитель прогресса, предложил расширить сточную канаву, но в народе стали говорить, что душа озера в виде чёрной косматой женщины с венком из тростника на голове вышла из воды, чтобы помешать этой затее. Озеро Янаньяуи было заколдовано. Говорили ещё, что на берегу озера появлялась порой золотая утка с целым выводком золотых утят и прогуливалась там, искушая случайных прохожих, а потом неожиданно кидалась в воду и плавала у берега, и алчные люди бросались за ней в озеро и тонули. А озеро о чём-то глухо ворчало.

В развалинах деревни Торе жили недобрые духи — тени умерших, а также знаменитый Чачо — злой дух, ютившийся среди разрушенных каменных стен, — маленький, чёрный, с соломенно-жёлтым морщинистым лицом. Он мог высосать из человека всё тепло и вдунуть в него холод камня, и тогда тело человека начинало пухнуть и ничто не могло его спасти.

Эти развалины существовали, должно быть, со времени королевского указа 1551 года, когда все индейцы, жившие на неплодородных горных плато, должны были спуститься в долины на потребу тех, кто получил королевские привилегии, так называемый энкомендерос. Жизнь горцев

была проста: они сажали картофель, сеяли корм для свиней — квиуа, да охотились на лам и вигоней, которые давали шерсть, мясо и служили им домашней скотиной. Конечно, во времена инков были и другие племена, жившие в долинах умеренного и жаркого пояса. Широкое распространение кукурузы, основной культуры индейских племен, которая не растёт на холодных плоскогорьях, и коки, растущей только в тропическом климате, подтверждает это.

Быть может, основателями общины Руми были выходцы из Янаньяуи, а вернее всего, деревня Руми существовала и раньше, и жители гор поселились где-нибудь в другом месте. Ведь если бы их закобалили, в деревне не могла бы существовать община. Но как бы то ни было, а здесь, в горах, жители Руми попали в непривычную для них обстановку.

С тех пор как индейцы северных областей Перу, где климат чрезвычайно разнообразен, ввели в свой быт пшеницу, а также лошадь, корову и осла, они стали селиться в долинах, хотя и поднимались на плато сажать картофель. Ни пшеница, ни кукуруза не выдерживали заморозков высокогорных областей, а коровы и ослы хирели там от сурового климата и скудного корма, состоящего из травы ичу. И вот жителям Руми пришлось переселиться в эти суровые места, единственными обитателями которых были таинственные души их предков.

Они расселились по склону горы Руми, а скот выгнали на равнину. Наша Суро не боялась злого духа Чачо, а может быть, они уже давно спелись друг с другом, кто их знает, — только она обосновалась в старом посёлке, выбрав себе хибарку покрепче. Наша теперь была не в чести. Поселяне на деле убедились в том, что от её колдовства мало проку. Нет, она совсем не так могущественна, как они думали. Полечить травами от порчи — да это всякий сумеет! А вот избавить народ от этого дьявола дона Альваро — это было бы настоящее дело! И нечего ей запирается в своей берлоге и напускать на себя нивесть какую таинственность, когда всё её колдовство пошло прахом. Ну да, она предрекла кровь, и на сей раз не ошиблась, а какой от этого толк? Хозяин ранчо — вот причина всех их несчастий, вот главное зло! А против него Наша оказалась бессильной. Потому и сидит теперь здесь, среди обломков старой деревни и своей былой славы. Кое-кто, впрочем, думал, что теперь, с помощью Чачо, она ещё

может оказаться на что-нибудь годной, но должного внимания ей уже никто не оказывал. В прежнее время из всех домов в посёлке первым покрыли бы крышей дом Наши Сура. А теперь дом за домом вырастал в посёлке, а её хибарка попрежнему стояла открытой всем непогодам и ветрам, а главное — совсем не годилась для свершения требующих уединения обрядов. Таинственный узелок, который Наша принесла с собой, плесневел в углу, привлекая внимание любопытных и ожидая лучших времён.

Новые хижинки, сложенные из камней и крытые соломой, уже лепились по склону горы Руми. Камней и соломы было здесь хоть отбавляй, а вот где взять стропила для крыш? Поселянам приходилось издалека таскать их на себе, потому что запряжки быков не могли перебираться через крутые, скалистые уступы в ущелья Руми или в других глубоких каньонах, где росли пауко и ольха. Люди, как муравьи, ползли по крутым скалистым склонам, волоча за собой свою добычу: раздвоенные стволы деревьев, брёвна для настила крыш, стропила. Когда-нибудь они построят себе дома получше. Ну, а сейчас надо построить хоть что-нибудь, ведь зима не за горами. Дни шли. Выпали первые дожди.

А индейцы, упрямые и простодушные, боролись с враждебной природой, и среди высокой травы и скал, под неустанный свист ветра, один за другим возникали дома, с непокорным и вызывающим видом поднимавшие вверх свои толстые каменные стены и острые крыши.

Затем поселяне начали запахивать лучшие куски земли, выбранные Кlemente Яку там, где было поменьше камней. И всё же плуг с оглушительным скрежетом врезался в каменистую почву, и все плуги, отточенные Эваристо или доном Хасинто Прието, — он, как слышно, всё ещё сидел в порьме, — скоро затупились. Всё же поселянам удалось засадить клочок земли картофелем, и они знали, что придёт время, и склон горы пониже их хижин оденётся зелёным плащом. В других местах — там, где между камней большими прогалинами победоносно выглядывает земля, — они посадят квиуа. Лёгкий ветерок рябью пробежит по тёмнопурпурному полю, радуя глаз. А потом они посеют ещё ячмень, и окос, и даже олукос, и машуас — всё, что только растёт на горах. У них было немного картофеля, оставленного на семена; в общине они сажали картофель по склону горы, позади пшеничного поля. Часть

поселян отправилась по области покупать недостающие семена, остальные вспахали землю и подготовили её к посеву. Жизнь начиналась заново.

Плоскогорье Янаньяуи и его окрестности были страной ветров и туманов. Туман вставал над озером и рекой Окрос и медленно растекался по долине, по склонам гор — такой сырой и тяжёлый, что, казалось, он никогда не поднимется. Но вот налетал ветер, упрямый, воющий ветер, и туман таял, а ветер стихал только за полночь или перед самым рассветом. Он, казалось, уступал место туману, словно между ними был тайный стовор; однако порой ветер, как видно, бывал не в духе, тогда он раньше вторгался в царство тумана. Он швырял туман на скалы, в яростном порыве рвал его в клочья, выдувал из всех щелей и впадин и уносил к облакам. Клочья тумана разбегались по небу, как стадо диких овец, пока снова не собирались где-нибудь в одном месте грозными предвестниками бурн.

Всё это передумал Росендо, сидя как-то утром у грубых стен своего нового жилища с миской похлёбки в руках. Да, он опять начинал видеть мир — и пса Канделу, и своего маленького внучонка, и Ансельмо, а ведь за последнее время он словно совсем забыл о них. Что ж, пора! Любовь к жизни, как растение, с радостным упорством пробивающее своими ростками грубую почву, вновь крепла в его душе. Он смотрел на засеянные поля. Первые всходы поднимались над чёрной, каменистой землей; они упорно хотели жить, словно упорство сеятелей передалось им. Загоны для овец и для коров были готовы, стены их опирались на отроги скал.

Работы был непочатый край. У пастухов, а в особенности у Иносенсио, было много хлопот с коровами и лошадьми — животные рвались на старые пастбища и немалого труда стоило их удерживать. Их нужно было сторожить, следить за ними до тех пор, пока они не привыкнут к холодному климату и непривычному корму. Поселяне знали, что надсмотрщик Рамон Брисеньос жил теперь в посёлке Руми и гонял с пастбищ чужой скот.

Луна стала яркой и круглой, и однажды ночью небо совсем очистилось от туч, и все горы, до самого горизонта, были залиты светом. Росендо давно ждал такой

ночи, чтобы подняться на вершину отца Руми, принести ему дары, в уединении попытать судьбу с помощью коки и спросить у самой горы, какая судьба ждёт общину.

И вот, перекинув через плечо мешок с кокой, круглыми чёрными хлебцами и тыквенной флягой, наполненной чичой, которую он сберёг ещё с прошлой уборки урожая, Росендо начал взбираться на гору. В последнее время Росендо снова завоевал уважение и любовь поселян. Его честность и мудрость ещё раз оценили по заслугам. После печальной кончины Мардокео и Эль Манко, сражённых пулями из какого-то страшного оружия, упреки замерли на устах даже самых воинственных поселян. Убитых похоронили на старом кладбище — они были последними, кто лёг там в землю.

Росендо с трудом поднимался в гору. Да, он постарел, никогда прежде не уставал он так. Он остановился передохнуть немного у подножья утёса, похожего на пирамиду, и снова начал взбираться на гору. И чем выше он поднимался, тем больше крепчал ветер, и всё новые скалы вырастали на его пути, и он должен был руками и ногами цепляться за выступы, чтобы не упасть. Карабкаясь так, забрался он довольно высоко и остановился у края обрыва. Голубоватая гора всё ещё маячила далеко впереди. Росендо оглянулся. Вдали, залитые лунным светом, стояли его старые друзья: седой, мудрый Урпильтяу; Уильяк, похожий сбоку на голову индейца; Пума, выгнувший спину и всё не решающийся прыгнуть на толстого, неповоротливого, ленивого Суни; Уарка с его воинственным видом; мирно зеленелющий Мамай, — сейчас его поля были сжаты, и он словно выщел. А вокруг них, как толпа учеников вокруг учителей, сгрудилась огромная беспорядочная масса гор. В лунном свете высокие горы, хранители всех тайн жизни, держали между собой торжественный совет. По эту сторону перевала утёс Руми, как тонкий острый нож, нацелившийся в небо, раскрывал величественную правду гор. На небе во всём своём великолепии стояла медлительная полная луна и мерцали яркие звёзды.

Преклонив колена перед скалой, Росендо почувствовал себя огромным, как вся вселенная, и крохотным, как песчинка. Сквозь расщелину в скале он принёс свои дары духу горы — отцу Руми: ржаные хлебцы, коку и немного чичи, которую он плеснул из фляги в расщелину. Затем, усевшись на корточки, он сам отхлебнул из фляги и приготовил жвачку коки, чтобы она помогла ему узнать

судьбу. Ветер стих, и тишина, прозрачная, весома, осязаемая, как скалы, разлилась в воздухе. Величественные горы задумчиво беседовали между собой, а внизу лежал мир — тесный, беспокойный. Желтоватое живице по одну сторону посёлка, сверкающее зеркало Янаньяуи — по другую. А там, вдаль, всё уже сливается в одну серую массу — это, должно быть, округ Мунча. А эти пятнышки — это сжатые поля Руми. Видны были тёмные трещины ущелий и каньонов, на дне их журчала вода — дар гор, пролившийся с облаков. Гаданье поначалу не предвещало добра.

Для размягчения кожи Росендо прибавил к жвачке несколько капель сока, который выжал из небольшой тыквы, проткнутой проволокой. Но кожа попрежнему казалась ему горьковатой или, вернее, безвкусной. Она не была совсем горькой, как в тех случаях, когда не хотела отвечать, но и сладости в ней не было.

— Кожа, кожа, ответишь ты мне?

Но кожа была всё так же нема, сколько ни смачивал её Росендо слюной, сколько ни переворачивал во рту. Но вот, наконец, лицо у него приятно онемело, и лёгкое, сладостное чувство разлилось по телу. Кожа сделалась сладкой. Росендо понял: теперь он может задавать ей вопросы. Он выпрямился и поглядел на далёкие горы, и они показались ему сейчас ещё величавее, чем всегда, а потом перевёл взгляд на возвышавшуюся прямо над ним, как башня, вершину Руми и крикнул во весь голос:

— Отец Руми, отец Руми, ответь: будет ли нам хорошо на Янаньяуи?

Тишина ответила волной многоголосых откликов. Росендо не разобрал их значения и закричал снова:

— Ответь мне, отец Руми, я принёс тебе хлеба, кожи и чичи!

Эхо снова ответило ему невнятным рокотом. Он долго ждал ответа, а благоприятный ответ приходит сразу.

— Ответь, отец Руми, хорошо ли нам будет там?

Что такое, не хочет он отвечать, что ли? Или злые духи других гор, окружающих Мунчу, мешают ему? Казалось, вся необъятность ночи говорила: «Нет».

— Хорошо ли нам будет, отец Руми? — настойчиво вопрошал Росендо.

Словно передразнивая его, прокатилось эхо, и снова тяжёлая, каменная тишина повисла в воздухе. Росендо, испуганный, опечаленный, спросил в последний раз дрогнувшим голосом:

— Ответь, отец Руми, будет нам хорошо?

Эхо запрыгало по скалам, и лёгкий ветерок принес через расщелину в скале радостное слово:

— Хорошо!

У Росендо пробудилась надежда.

— Хорошо? — едва не закричал он.

И снова услышал это слово, точно оно слетало с уст самого духа горы:

— Хорошо!

Нет, конечно, это было не эхо. Дух горы, отца гор, ответил ему. Бросив в расщелину ещё кожи и вылив остаток чичи, Росендо начал спускаться с горы. Путь вниз был недалог; когда Росендо добрался до нового посёлка, ему показалось, что он живёт здесь уж бог знает как давно. На пороге своей каменной хижины он остановился и ещё раз взглянул на Руми. Мудрая гора беседовала со вселенной. Отец Руми!

Росендо, его помощники, да и все поселяне были измучены тяжбой. Они поняли — борьба бесполезна. Теперь они хотели только одного, чтобы их оставили в покое. Но Фьеро говорил, что дело можно обжаловать, и решёно было обсудить этот вопрос на совете выборных. Конечно, они устали, но долг прежде всего. К тому же им нужно закрепиться на новом месте, хотя бы для этого пришлось прибегнуть к помощи закона, иначе дон Аменабар всех их в конце концов превратит в рабов.

Случайно им повезло — они встретили в городе молодого адвоката, члена «Общества по улучшению жизни индейцев». Адвоката звали Артуро Коррео Савалья. — так было написано на медной дощечке над окном его конторы — невиданное новшество в их городе. Он только что окончил университет и был полон мечтами о справедливости и высокими идеалами. Он был уроженцем этого города и возвратился на родину с самыми альтруистическими намерениями. Его отец, мелкий лавочник, оставил ему небольшое наследство, которое он употребил на то, чтобы закончить образование. Теперь, чувствуя себя независимым и приобретя знания и диплом, он готовился своим трудом добывать себе пропитание и с достоинством и верой в успех встретить то, что его ждёт. Закон обязан защищать каждого, в том числе и индейцев. Так, во всяком случае, он думал.

Он приветливо принял Росендо с помощниками и просто и горячо рассказал им о работе общества. Потом он внимательно выслушал их рассказ, предложил взять на себя ведение тяжбы и тут же дал им кое-какие советы. Наконец, к изумлению индейцев, он отказался от всякого гонорара. Они вернулись домой взволнованные, с пробудившимися надеждами, — этот молодой адвокат казался таким уверенным и ловким. Росендо вспомнил благоприятное предсказание и голос отца Руми. Дух горы опять посулил им удачу, как и в другие, далеко теперь отошедшие дни. Адвокат сказал:

— Мы обжалуем дело в следующей инстанции, а если и это не поможет, перенесём его в верховный суд. Всё будет хорошо.

Когда судья уведомил дон-Альваро о планах адвоката, тот ответил, потирая руки:

— Сомневаюсь, чтобы после всего, что произошло, какие-либо притязания с их стороны могли бы быть законны, но раз вы это допускаете, пусть всё идёт своим чередом, вы только известите меня, когда они подадут заявление в суд. Нашли себе спасителя! Они ещё не знают, с кем имеют дело, а этого щенка, Коррею Савалью, я в луже утоплю. Нет, вы подумайте только, ведь они пытались убить меня обломком скалы! Вы слышали когда-нибудь, чтобы порядочные люди подвергались таким безнаказанным нападениям? Меня бесит не столько даже смерть Иньигеса, — хотя я потерял дельного адвоката, — сколько наглость этих индейцев. Смотрите, сейчас же дайте мне знать.

А несколько дней спустя индеец-почтальон вышел из города, гоня перед собой ослика с вьюком в виде запечатанной и проштемпелёванной сумки с почтой. В сумке лежало пространное заявление, адресованное в верховный суд.

Жизнь стала теперь совсем другой. И не потому только, что хижины были меньше и посевы не те. И не потому, что никто не навещивался теперь в общину, кроме Фьеро Васкеса, который раза два приезжал поболтать с Доротео Киспе на берегу озера. И не потому, что всё вокруг было иным. Нет — переменялась вся их жизнь до самых мелочей. Из всех птиц одна только серокрылая чайка будила их здесь по утрам своими протяжными кри-

ками с крыши или с высокой скалы. Здесь не было ни дроздов, ни унчачо, ни рокотеро. И даже у воробьев был какой-то унылый вид. Над равниной носились коричневые ликлики, криками напоминая о своём прозвище. Красивые корикинги, чёрные, с белыми пятнами и красным клювом, пронзительно попискивая, деловито переворачивали сухие лепёшки коровьего навоза, с видом знатоков вытаскивая копошившихся под ними червей. В тростнике по берегам озера изредка видели уток. Скотина была неспокойна: лошади ржали, коровы мычали, овцы блеяли. Овец особенно пугали кондоры, то и дело проносившиеся над головой. На твёрдой чёрной земле посевы всходили медленно. Суровые скалы, плотный, тяжёлый туман, понижающий холод, солнце, скупое дарящее тепло, ни днём ни ночью не утихающий ветер — всё здесь словно сговорилось мучить людей. Скорчившись, закутавшись в свои пончо, они смутно ждали чего-то. Только раз снова запела флейта Деметрио Сумальякты да временами посвистывала чья-то тростниковая дудочка. Потом как-то ночью все услышали звуки куэньи. Тоска по родному гнезду вылилась в музыку — протяжную, душераздирающую мелодию. В эту минуту все поняли, как переменилась их жизнь.

Вечерами шёл дождь. Порой он обрушивался на деревянную тяжёлыми потоками и яростно барабанил в стены. Порой чуть приметно сеял с неба и каплями стекал с крыши. Стояла середина ноября, но ещё ни разу не было настоящей бури. Однажды вечером небо задёрнулось тёмными тучами; Клементе Яку вышел на порог своей хижины и стал скликать пастухов, пасших овец. Едва только пастухи начали загонять овец, как всё небо, от хребта Эль-Альто до вершины Руми, озарилось голубоватым пламенем. Страшный удар грома прокатился между тяжёлым, низко нависшим небом и оцетинившейся землей, и ветер завыл, застучал камнями, засвистел в спутанной траве. Овцы с блеяньем устремились к загону, туда же бежали дойные коровы со своими телятами, а весь остальной скот вскачь мчался через луга к горам, как будто ища у них защиты. С новой яростью загредел гром, и опять ударила молния, и через минуту луга опустели. Овцы сбились в кучу в углу загона. Поселяне выглядывали из своих хижин, мысленно прося защиты у св. Исидора.

Впрочем, больше всего надежд возлагалось на св. Варвару, — известно, что по части грома и молнии всем святым далеко до неё. Вспышки молнии следовали одна за другой, то озаряя небо языками пламени, то пронизывая его ослепительными стрелами или как бы светящимися нитями, то рассекая огненными бичами и даже изредка самыми зарядными зигзагами, и исчезали в нагромождениях скал за Мунчей, за хребтом Эль-Альто или за лежащими ниже пиками горы Руми. Временами они перекидывались по ту сторону перевала, временами свергались в долину, ударяя в землю огненным мечом или катясь по ней огромным раскалённым шаром. Раскаты грома сотрясали всё вокруг, и, казалось, скалы, того и гляди, рухнут вниз, на жалкие хижинки, где, притаившись, сидели индейцы, стараясь, чтобы их совсем не было слышно, ибо, по поверью, разговоры, и особенно крики, привлекают молнию. Но малыши кричали, несмотря ни на что. Потом по крышам застучал град; градины отскакивали от скал и грудками скоплялись в ущельях.

Позже, когда непроницаемая тьма ночи заволокла всё, на землю с шумом хлынул тяжёлый ливень; ветер хлестал дождём по стенам домов и рвал крыши, стараясь разметать их и прошикнуть внутрь.

Потоки воды обрушивались в озеро, сырость проникала в дома, и люди всеми своими обострившимися чувствами ощущали бурю. Кругом был непроглядный мрак, но они знали, что долина затоплена водой, что потоки воды низвергаются с гор, губя посевы, и скот жмётся к скалам, ища у них защиты, и с тоской вспоминает старые, привычные пастбища. Молния всё ещё разбрасывала по небу свои грозные, сверкающие стрелы, и гром грохотал в горах, словно стараясь расколоть их на части. И не один камень оторвался от скалы и покатился вниз, увлекая за собой целую лавину камней и земли. Но если сначала среди раскатов грома неразличимы были все другие звуки, то теперь к ним прибавился ещё шум дождя. Поселяне ели свою похлёбку при вспышках молнии, от которых меркло пламя очага.

Шли часы, а буря всё не утихала. Правда, молния сверкала реже, и не так грохотал гром, но дождь продолжал хлестать по земле и по озеру. Кока помогала немножко от холода, но сон не приходил. Трудно было уснуть, когда от дождя и ветра сотрясалась крыша и кой-где уже начинала протекать, а там, снаружи, земля и живот-

ные страдали от ярости бури. Даже те, кому удалось уснуть в эту ночь, спали, как говорится, в полглаза.

Рассвет наступил поздно; ветер всё ещё бросал на деревню последние, хрупкие полосы дождя; туман рассеивался, и сквозь него уже решительнее проглядывало солнце. Небо очистилось, но скоро с горизонта начали наползать новые тучи. С крыши и по склонам гор стекали потоки воды. Всю долину затопило водой, и скота нигде не было видно. Кое-кто из поселян, закатав штаны выше колен, вышел из хижин поглядеть, что натворила буря. Большим оползнем разрушило каменную ограду загона и убило несколько овец. Образовавшийся за ночь поток разрезал надвое поле, засеянное квинуа. Другие посевы не очень пострадали. Часть картофеля побито градом. Снесенных крыш было немного, да с этой бедой и трудно справиться.

А святой Исидор?

Поселяне бросились к его часовне — это была просто глубокая ниша из камней и соломы; они построили её повыше, на склоне горы, так, чтобы она господствовала над рядами хижин. Ох, что ж они наделали! Часовня была отдана на милость ветра, и он разметал на ней крышу. Дождь проник внутрь, размыл краску на статуе, и чёрные, красные, белые полосы потекли по божественному челу.

Весть о том, каких бед натворила буря, облетела деревню, и поселяне, наскоро поев, охваченные тревогой, отправились на фозыски своих коров, ослов, лошадей. Дойные коровы стояли в загоне, но остальной скотины нигде не было видно. Когда поселяне, в поисках скота, спускались по плато Янаньяун, вода доходила им до колен. В лощинах, где луг порос тростником, вода поднялась ещё выше. Скота пропало много. Особенно коров и лошадей; прирученных ослов в общине оставалось уже мало, а диких поселяне не успели выгнать из долины реки. Окрос и махнули на них рукой, считая погибшими. Теперь поселяне стали сгонять скот на луг, но животные, не привыкшие к воде, упрямылись. Многие животные сами спускались с гор, где они прятались от дождя в ущельях Эль-Альто и Руми. А некоторых поселянам удалось перехватить на пути к старым пастбищам. Те животные, которых нигде не было видно, изверное, уже убежали туда. Кто-то из поселян набрёл на корову с перебитой ногой и на мертвого осла. Корова, должно быть, поскользнулась и упала, а осёл, как видно, погиб от холода.

Другой крестьянин, наткнулся на мёртвого Фронтано. Его убил молнией. Росендо сам пошёл взглянуть на своего любимца. Гнедая шкура коня ржавым пятном выделялась на прибитой дождём и ветром траве. Рядом с конем, там, куда ударила молния, в земле виднелась воронка. Росендо был глубоко опечален. Фронтано — один из лучших коней в общине, статный, послушный, сильный. Породистый конь! Бенито Кастро, ещё совсем мальчишкой, случил свою кобылу Палому с жеребцом Пенсамьенто с одного отдалённого ранчо. Это был один из многочисленных подвигов Бенито. Владелец Пенсамьенто никак, даже за деньги, не соглашался давать своего жеребца на случку и упрямо берёг его только для своих кобыл. Он очень гордился своими лошадьми. Бенито несколько дней околачивался вокруг ранчо, чтобы приучить к себе собак. Когда собаки подружились с ним, он привёл свою кобылу к конюшне. Жеребец почуял кобылу, громко заржал и вмиг перемахнул через ограду, с проворством, присущим только беглецам или любовникам. В положенное время Паломы произвела на свет такого красивого, гладкого жеребёнка, что приятно было посмотреть. Он стал любимцем всех поселян и с весёлым жеребьчьим задором скакал по всей деревне. Потом подрос и был приучен к седлу. Как-то раз через деревню прошла толпа цыган. Одни из них показывали дрессированных медведей, другие занимались барышничеством. Через два дня после ухода табора Фронтано исчез. Верно, кто-нибудь из цыган вернулся и увёл его. Поселяне бросились вдогонку, но не нашли Фронтано. Прошло уже много времени, когда кто-то из поселян отправился в Селендин за соломенными шляпами и набрёл там на Фронтано; после немалых хлопот ему удалось выкупить коня. Хозяин Фронтано, купивший его у цыган, не особенно дорожил новым конём. Он даже выхолостил его, так как уже имел хорошего жеребца для случки.

После этого весь остаток жизни Фронтано провёл в общине; он был честным, трудолюбивым членом общины, и только раз постигла его неудача — когда он попал на рога к быку Чолоке. Росендо немало путешествий совершил на его спине. Фронтано верно служил поселянам Руми, и его жизнь была неразрывно связана с их жизнью. Теперь его смертный час пришёл. Он погиб, потому что был благородной крови. У простых, не породистых лошадей инстинкт самосохранения сильнее, и они лучше умеют

укрыться от бури. Порожденные лошади нервничают, не могут стоять спокойно и бегают с одного места на другое, ища убежища. Так, верно, делал и Фронтини, и тут его убило — вернее сказать, опалило молнией. А в сущности Фронтини пал одной из первых жертв жестокой судьбы, которая преследовала общину. Когда погиб бык Моско, старому Росендо, так же как теперь, казалось что от них ушел один из преданнейших членов общины. Но не время было предаваться печали, всех ждало дело — поиски разбежавшегося скота.

На следующий день какой-то неизвестный человек появился в деревне. Это был посланец от Коррео Савальи. Он рассказал поселянам, что банда разбойников напала на безлюдном плато Уарки на почтальона, везшего почту. В сумке почтальона, в запечатанном пакете, находилось дело о границах земельных владений, которое должно было быть доставлено в верховный суд. Какой-то всадник, весь в черном и на черном коне, наблюдал за падением со скалы, находившейся примерно на расстоянии мили. Молва приписывала это дело Фьеро Васкесу.

Росендо, позабыв про свою усталость, готов был мчаться в город. Но ехать было не на чем: останки Фронтини терзали хищные птицы, а всех других лошадей забрали пастухи, отправившиеся во главе с Артидоро Отейсой на розыски пропавшего скота. Неужто Фьеро мог это сделать? Неужто он предал общину? Росендо весь дрожал, раздираемый сомнениями, страдая от своей беспомощности. Что же теперь будет? Что им делать?

В Умае хозяин ранчо, дон Альваро Аменабар-и-Рольдан, запершись у себя в кабинете, жёг в камине объёмистую пачку бумаг и разговаривал с женой:

— Вот, Леонора, расплата за тот камень, который чуть не раскроил мне череп. Я бы справился и с этим судом, однако нужно остерегаться скандала сейчас, когда мы с Оскаром выставили свои кандидатуры. К тому же тяжба с ранчо на реке Окрос отнимает у меня всё время.

— Ах, Альваро, когда всё это кончится? Ты видишь, этот пастух, которого ты подозревал, этот шпион, ускользнул от тебя из-под самого носа. Фьеро Васкес...

— Успокойся. Мой удар поразит одновременно и Фьеро. Вот увидишь, теперь они пошлют жандармов. Ну, а пока что нужно набросать для моего друга, редактора

«La Patria», статью, с которой он выступит в своей газете.

Дон Альваро улыбнулся. На его бледном лице играл красноватый отблеск пламени: огонь медленно и неуклонно пожирал лист за листом пачки гербовой бумаги, оставляя лишь взлетающие кверху клочья серого пепла.

Артидоро Отейса и четверо пастухов ехали по следу убежавших коров и лошадей. Они спустились к старому посёлку, думая найти их там. Следы шли по пустынной главной улице, мимо домов с наглухо закрытыми дверями, подобными сомкнутым в угрюмом молчании губам, и выводили на пастбище. Но там среди стад Умая, которые расположились на лугу, как у себя дома, не видно было ни одного животного, принадлежавшего общине. Дальше все следы сходились вместе, и среди них виднелись теперь следы подков. Один из пастухов, знаток по части распознавания следов, сказал, что здесь прошли верховые лошади. Рядом со следами животных появились также следы сандалий. Наконец они увидели, что все следы сходятся на дороге, ведущей вдоль ручья Ломбрис к реке Окрос. Всё было ясно: общинный скот прогнали по этой дороге. Дальше следы шли по берегу реки Окрос, вверх против течения, и направлялись к ранчо Умай. Отейса и пастухи всё продолжали ехать по следам. Но долго им ехать не пришлось. Надсмотрщик Рамон Брисеньос и с ним ещё трое пастухов, все с ружьями, выехали им навстречу.

— Стой! Вы кто такие?

— Мы из общины Руми, ищем нашу скотину, которая сюда забежала.

— Так мы вам и поверили! Вы воры и давно уже крадёте у нас коров и лошадей.

— Да ведь следы-то нашей скотины ведут прямо сюда, — возразил Отейса. — Скот убежал с Янаньяуи сегодня утром.

— Какие ещё следы вы тут нашли, воры? Убирайся отсюда, пока я не всади́л в тебя пулю!

— Мы воры? А вот поедём-ка по этим следам, посмотрим — они приведут нас прямо к нашей скотине.

— Ладно, поезжайте вперёд, — сказал Рамон Брисеньос. Они проехали километра три, и следы начали спускаться с дороги на луг.

— Э, нет, приятели! — сказал Рамон. — Езжайте прямо вперед по дороге. Прямо в Умай, на самое ранчо.

— Зачем?

— Вы арестованы за кражу скота.

Надсмотрщики направили на них дула ружей. По знаку Отейсы пастухи бросились врассыпную. Вслед им засвистели пули. Однако надсмотрщики, как видно, не хотели их убивать, а думали только напугать и заставить остановиться. Но вот одна лошадь упала. За ней другая. Пастухов, которые скакали на этих лошадях, схватили. Тогда Отейса и другой пастух повернули обратно.

— Ступайте вперед, в Умай.

— Дайте нам хоть снять сёдла с лошадей, которых вы подстрелили.

— Вперед, говорят вам!

Дон Альваро Аменабар держал пастухов у себя на ранчо, словно преступников, целых три дня. Выпуская их на свободу, он сказал Отейсе:

— Ты, кажется, один из помощников старшины, — так, что ли? Ладно, я не пристрелил тебя только потому, что хочу выколотить из тебя лень. Ты будешь работать у меня на руднике, по ту сторону реки Окрос. Скажи это вашему старому мошеннику Росендо. Я готов простить ему все преступления и смотреть на него как на друга, хоть он и пытался убить меня осколком скалы. А не то и он, и все вы крепко об этом пожалеете. Сейчас, в знак того, что я хочу покончить со всеми распрями, я даже верну тебе двух ваших лошадей, хотя мне и следовало бы оставить их себе за всё, что вы у меня покрали. Ступай!

Что теперь с ними будет? Что им делать? Росендо и помощники его даже себе самим не могли ответить на эти вопросы. Коррео Савалья сказал, что кража их дела — шутка серьезная: теперь исчезли последние доказательства самого существования общины. Неужели им придется покориться Аменабару и погибнуть от непосильного труда в удушливой тьме рудника? Все с тоской чувствовали, как у них опускаются руки и впереди всё застилает мрак. Что же им делать?

Как-то ночью, перед рассветом, из деревни исчезли Доротео Киспе, Херонимо Кауа и Элой Кондоруми. Они решили действовать за свой страх и риск. Едва ли кто-нибудь из поселян знал, куда они скрылись. Быть может, Росендо послал их куда-нибудь? Но Росендо твердил, что он ничего не знает. Однажды к нему пришла Паула.

— Отец Росендо, они ушли к Фьеро Васкесу. Что ты скажешь?

И старшина Росендо Маки, впервые за всю свою жизнь, молчал, не зная, какой ему дать ответ.

По утрам были такие заморозки, что капли росы превращались в лёд и губили растения. Картофель почти весь побилло градом. Впереди предстоял тяжёлый год. Надвигалась суровая зима, а долина всё время была затоплена водой. Ослы все подошли, а лошади и коровы так и поровили убежать на старые пастбища. Приходилось днём пасти их на склонах гор, а на ночь запирать в построенный для этой цели загон. Жизнь стала очень тяжёлой. Редко проглядывало солнце. Посёлок был либо окутан туманом, либо сотрясаясь под напором урагана. Одежда на поселениях, работавших в поле, не просыхала ни на минуту. Их бронзовые тела приобретали нечувствительность камней. Столь же нечувствительными становились и их души. Даже старики, не покидавшие своих хижин, даже дети с каждым днём всё больше уподоблялись каменным изваяниям. Они жили в мире камней, и выжить здесь мог только тот, кто сам превратится в камень.

Ансельмо-арфист совсем захирел в эти дни. Когда-то он и его арфа были как бы одно целое; в его музыке находила выражение вся духовная жизнь общины. Ряды туго натянутых на треугольной раме струн пели под его пальцами гимн пахоте, и пьянящей зелени кукурузных всходов, и золоту пшеничных полей, и зелёным лугам, притаившимся между голых скалистых вершин, и празднику любви, и труду, радостному, как праздник, и многообразному ритму жизни, и надеждам.

Ребёнком Ансельмо мечтал объять весь мир, но ему суждено было обнимать только арфу. В детстве, как почти все ребята в Андах, он был пастухом. Вместе с ним ходила пасти овец маленькая Росача, и они вдвоём любили смотреть, как внизу, в долине, пашут индейцы. Отец Ансельмо был сыроваром на одном из ранчо, но у Ансельмо душа не лежала к этому делу. Он хотел быть пахарем. Над хижинами поднимались столбики дыма и стлались по серым полям. Росача была ещё ребёнком, но, как все девочки в деревнях, рано созрела. В её глазах светилась извечная

жажда материнства. Хижина, пашня, ребёнок — вот чего ждала она от жизни.

Однажды Ансельмо сказал:

— Я выучусь пахать, и мы выстроим себе хижину.

Этим он сказал всё, что нужно. Но им не суждено было выстроить хижину, и ему не суждено было ходить за плугом. Он не мог даже делать того, что делают и хилые, и больные, — ходить по пашне, разбрасывая семена. Ему не было дано творить дело пахаря и сеятеля. А для человека, любящего землю, это хуже смерти.

Случилось так, что в один несчастливый день Ансельмо заболел. Он долго лежал в полумраке хижины, под грудой одеял, корчась от боли. Мать поила его настойками из трав. Потом откуда-то издалека привели лекаря. Ансельмо не умер, но, когда он стал поправляться и его вынесли из хижины на солнце, ноги у него безжизненно висели, скрюченные, как корни старого дерева: его разбил паралич.

А перед взором юноши раскинулась земля — поля, покрытые всходами, дороги, по которым брели упряжки быков. По серой тропинке, вившейся через пастбище, каждый день проходила Росача, гоня своих овец. Порой она кричала ему, как прежде:

— Ансельмо-о-о!

Горы отвечали ей эхом, но Ансельмо молчал. Сидя перед хижинкой, похожий в своём индейском пончо на узел полосатого тряпья, он наблюдал за ней из глубины томительного, мертвенного покая. Иногда он взмахивал руками, как в тот день, когда Паскуаля, его приёмная мать, ушла от них навсегда, но руки путались в пончо, как ветви в густой листве, и он чувствовал себя растением, вросшим корнями в землю. Но сердце его жило прежними воспоминаниями и надеждами.

Неподалеку от хижины пролегалла большая дорога. По этой дороге проходили индейцы, наигрывая на самодельных флейтах. А в те дни, когда в Руми был праздник, по дороге неслись звуки арф и скрипок и таяли вдаль. Порой Ансельмо часами слушал пение паломников, радостное и вместе грустное. Закрыв глаза, стиснув влажные пальцы, он подставлял лицо ветру, который приносил ему эти звуки. Ему хотелось бы навеки удержать в себе этот чудесный мир звуков, погрузиться в них и, мечтая, уснуть. Но музыка замирала вдаль, и он снова был одинок. И всё же какие-то новые чувства пробуждались в его груди, жизнь

раскрывала перед ним нечто, скрытое от него прежде, и теперь он слышал музыку всюду. Каждое утро радостным пеньем птиц земля приветствовала зарю, и вот как-то раз все обуревавшие его чувства вылились в одну бесхитростную просьбу:

— Отец, купи мне арфу.

Этими словами, как тогда с Росачей, он сказал всё, что было нужно. Сыровар призадумался немного, как сделал бы всякий сыровар, прежде чем истратить двадцать солей, и ответил:

— Ладно.

На деревенской ярмарке он купил сыну арфу. Как все арфы местного изделия, она была без педалей. Мастер-индеец сделал этот чужеземный инструмент своим, придав ему наивную сельскую простоту, и арфа запела трогательно, нежно, как поёт на заре пойманная в силочку птица.

Тёмные пальцы Ансельмо перебирали струны, и мало-помалу песнь земли, которую пел вместе с ним весь необъятный мир, поднялась из глубины его души и зазвучала с туго натянутых струн этой волшебной треугольной рамы, трепетавшей, как огромное сердце. Сидя на грубом табурете, который сколотил ему отец, юноша, почти ребёнок, с бледным печальным лицом, подбирал ноги под пончо и протягивал руки к чудесному треугольнику, таившему в себе стройные аккорды. И он играл, играл, уверенно, без запинки. Широкая, прекрасная, плодородная расстилалась перед ним земля.

Годы шли, Росача подросла; выросла и слава Ансельмо-музыканта. Росача уже не ходила больше за стадом, а Ансельмо бывал теперь на всех деревенских ярмарках, на всех свадьбах и праздниках жатвы. Поселяне возили его с собой на осле всюду, куда бы он ни пожелал, потому что он приносил веселье. Его музыка каждому проникала в душу.

— Весёлая будет свадьба?

— Ну ещё бы, Ансельмо приедет со своей арфой.

И народ собирался, чтобы поплясать под его музыку или просто насладиться нескончаемым потоком сладостных трелей. Таких рук не было ни у одного арфиста во всей округе. Да, никто не мог припомнить второго такого музыканта, как Ансельмо.

Пришло время и Росаче отпраздновать свою свадьбу, и Ансельмо принял участие в общем весельи так, словно и забыл уже обо всём, что было... С тех пор протекло мно-

го лет, и музыка заполнила всю его жизнь. Счастливая парочка возвращалась из церкви в сопровождении священника и гостей и подошла к дому, где поджидал их Ансельмо вместе с теми, кто не был в церкви. Росача прошла совсем близко от него, и ему показалось, что она похожа на зарю. На минуту старые мечты зажглись в нём. Но всё это ушло навсегда. Лица поселян разгорелись от чичи, и они стали просить Ансельмо поиграть. Пары выстроились в ряд, и полились быстрые такты хуаино. Росача танцевала со своим мужем, весело раскачиваясь всем своим крепким телом с широкими бёдрами и полной грудью. Арфист, обычно с головой уходивший в музыку, теперь смотрел на танцующих. Он смотрел на Росачу. Вот она выросла и плясала теперь с другим мужчиной — со своим мужем. С этой минуты Ансельмо понял свою судьбу.

Когда он осиротел, Паскуалья и Росендо взяли его к себе, и он был им вместо сына. В отличие от Бенито Кастро, он был слабым и хилым юношей, но природа наградила его чудесным даром музыки, из всех искусств особенно ценимой индейцами Андов. Арфа Ансельмо пела о простых сельских радостях, которыми полна была жизнь общины. Вместе с другими жителями Руми он претерпел все тяготы переселения. Но в эти дни все как-то позабыли о нём.

Даже Росендо позабыл о нём, словно убожество калеки делало его недостойным внимания. Снова Ансельмо был одинок, и даже его арфа, всё еще безмолствовавшая от скорби по Паскуале, — как часто в эти дни думал бедняга о своей матери, — не утешала его. Он был и на сходке; забившись в угол на крыльце за спиной Росендо, он печально глядел на помощников старшины, на гневные лица поселян, слушал жестокие слова, которых немало было сказано в тот день. Он тоже был пришельцем, но тогда никто не думал о нём. Когда наступил день переселения, его посадили на осла, дали ему в руки арфу, и он одним из первых покинул деревню. Три грустных ночи провёл он на Яцаньяуи вместе с немногими из поселян, оставшимися там сторожить свой скарб. Потом наступили дни лихорадочного устройства на новом месте, и это как будто захватило его.

Когда Росендо немного повеселел и словно стал возвращаться к жизни, Ансельмо показалось, что всё может опять пойти по-старому. Но его мечты были недолговечны. Новые жестокие бедствия обрушились на общину: урожай

погиб, скот разбежался, начался падёж, поселяне один за другим уходили куда глаза глядят, а над теми, кто оставался, нависла угроза нечеловеческого рабского труда. Туман, дождь, холод пронизывали их до костей, и сердцами овладевало отчаяние. Да, человек должен быть, как скала, чтобы выжить здесь. Ансельмо был слаб и беспомощен.

Как-то вечером Ансельмо захотелось поиграть. Он схватил свою арфу и прижал её к груди. Старый Росендо, Хуанача и Себастьян с жадностью приготовились слушать. Даже пёс Кандела, мокрый, с всклокоченной шерстью, навострил уши. Но где же была та земля, о которой он мог бы петь? Кругом были только камни, холод, безмолвие. Ансельмо хотел закричать, заплакать, но не мог. Он был слишком слаб, бурные рыдания были ему не под силу. То ли в звуках не было больше той прозрачной чистоты, как ему хотелось, то ли пальцы его не могли найти нужных струн... Темное, заострившееся лицо Ансельмо было неподвижно, но что-то словно оборвалось у него в груди — так порой допается вдруг туго натянутая струна арфы. Он упал ничком, его парализованные ноги скользнули по струнам арфы, и струны резко и жалобно заныли.

Так умер арфист-Ансельмо на Янаньяуи.

Над лачугой Наши Суро не поднимался дым.

— Что может сделать мне Чачо? — сказал старшина. — Жизнь не стоит того, чтобы ею дорожить.

И он пошёл к Наше Суро.

Каменная хижина, покрытая теперь крышей, — Наша Суро заклала кровельщиков, чтобы злые духи их не тронули, — стояла покинутая, одинокая. Очаг в углу был полон остывшей золы, угли в нём давно перестали тлеть, — никто не поддерживал здесь огня. Хижина опустела. Наша исчезла. Никто не знал, когда и куда она ушла.

— Вон они, — сказал Доротео.

Херонимо и Кондоруми посмотрели на сплетение дорог, пересекавших хребет Уарку. Темные тропинки скрещивались на серо-зелёном пространстве полей, — немало людей проехало здесь туда и обратно. Два всадника ехали по дороге, впереди их шагал погонщик рядом с нагруженным мулом. Наблюдавшие за ними люди спустились со скалы, вскочили на своих лошадей, оставленных в ущельи, и по-

скакали навстречу всадникам. Не так-то просто достались им эти лошади. Это были быстрые, сильные кони с ранчо Умай. И это было первое дело, на которое послал их Фьеро Васкес. Им надо было внезапно появиться на пастбище Умая, заарканить лошадей и на неоседланных лошадях ускакать в горы. Несколько пастухов погнались за ними и настигли их там, где дорога сворачивала к югу. Но когда пастухи стали их нагонять, Доротео и его товарищи подняли стрельбу, и те повернули обратно, — они никак не ожидали встретить такой отпор со стороны трусливых индейцев Руми. Лошади оказались сильными и горячими. Кондоруми досталась совсем необъезженная лошадь, не потому, чтоб он был лучшим наездником, а потому что одной своей тяжестью он мог усмирить самую норовистую лошадь. Сёдла они раздобыли очень легко, подкараулив как-то в горах сборщиков налога. Сейчас им предстояло новое дело. Они уже знали, кто такие эти всадники, и поскакали за ними.

Декабрьский день клонился к вѣчеру. Всю неделю собирался дождь. Мельба Кортез и Бисмарк Руиц решили не откладывать больше своей поездки, пока жестокая январская непогода не сделала путешествие на побережье недоступным для Мельбы с её хрупким здоровьем. Попасть под дождь было для неё слишком опасно. Но Мельба сама долго не решалась тронуться в путь. Бисмарк напугал её своим рассказом о том, что произошло в Руми, — ведь он подвергался смертельной опасности: летящие с кручи камни, бандиты, размахивающие своими мачете. Мельба дрожала от страха. Бисмарк уже пожалел, что тщеславное желание стать героем в её глазах завело его так далеко. Мельбе на каждом шагу чудились теперь мачете и летящие ей в голову камни.

— Деточка, но ведь они даже не подозревают о том, что я...

— Очень может быть, ну а Фьеро Васкес?

Когда индейцы пришли к Коррею Савалье, она совсем перетруснула.

— Ты видишь, Бисмарк, ты видишь? Они не доверяют тебе. Откуда я знаю, быть может, они и меня подозревают? От этих скотов можно ждать чего угодно.

Но время шло, а индейцы никак больше не проявляли своего коварства. Бисмарк уверил Мельбу, что ограбление

почты, несомненно, дело рук Фьеро, и мало-помалу Мельба успокоилась. Не желая отказываться от давно задуманной поездки, они поснежили отправиться в путь, чтобы использовать недолгий промежуток декабрьского затишья.

Они выехали на рассвете. Дул сильный ветер, и Мельба натянула на себя толстый свитер. Всё же холодный воздух вызывал у неё кашель. Ехать приходилось медленно, так как от быстрой езды она кашляла ещё сильнее. Погонщик, шагавший за своим мулом, опередил их, и Бисмарк крикнул ему:

— Подожди нас на постоялом дворе.

— Хорошо, сеньор.

Минуту спустя погонщик скрылся на повороте за холмом. Мельба, ехавшая впереди, видела перед собой только угрюмое безлюдье высокогорного плато. Горы всегда навевали на неё тревогу, — ей казалось, что эти неприступные скалы, тёмные, таинственные, обступают человека со всех сторон, отгораживают его от всего мира, чтобы задуть тоской и одиночеством. Она родилась у моря, под нежный плеск волн, среди мягких, сыпучих песчаных дюн. Горы были далеко, она не замечала тогда их суровой дикости, и теперь дрожала среди этих причудливых грозных скал, омытых бесконечными холодными дождями и ветрами; здесь не было приюта для неё, негде было преклонить голову. Бисмарк, ехавший за ней следом, заметил её подавленное состояние.

— Что случилось, Мельбита?

— Что случилось! Мне ненавистны эти горы, это одиночество, эта бесплодная пустыня. Что мы будем делать, если мой кашель...

Она громко закашлялась и, вынув крохотный платочек, вытерла навернувшиеся на глаза горькие слёзы.

— Мы скоро доберёмся до постоялого двора. Конечно, это не отель, но там можно отдохнуть.

— Ты думаешь, я его не помню? Каменный сарай, даже без двери, и протекающая соломенная крыша. Ты считаешь, что это подходящее место для женщины?

Слёзы ручьём полились из её глаз.

— Полно, полно, Мельбита!

Бисмарк уже привык к этим приступам отчаяния. Часа через два всё пройдёт. Не было никаких причин так расстраиваться. Меж тем Доротео Киспе со своими товарищами медленно приближался, осторожно высматривая свою добычу.

— Нападём на них сейчас? — вопрос Херонимо звучал скорее как предложение.

Доротео что-то проворчал.

— Лучше подождать, пока стемнеет, — сказал он затем. — Там были какие-то люди за холмом. Мне сдаётся, они следят за нами.

Мельба устала. Ещё вчера ей казалось, что она совсем поправилась, а вот теперь первое серьёзное испытание сразу подорвало её силы. Спина у неё болела, и кашель всё усиливался.

— Нельзя ли нам немножко отдохнуть, Бисмарк?

Адвокат помог ей сойти с лошади и разостлал на земле свой пончо.

Мельба легла на спину. Она была как-то особенно красива сейчас, тёмносиняя амазонка очень ей шла, её руки и лицо, слегка порозовевшие от холодного горного воздуха, казались ещё белей на этом тёмном фоне.

— Тебе не кажется, Бисмарк, что собирается дождь? Какие ужасные гучи. Что мы будем делать, если пойдёт дождь?

— Будем мокнуть, дорогая, — попробовал отшутиться Бисмарк.

— Вот видишь! Как это гадко, так говорить. Ты хочешь, чтобы я умерла. Ах, почему я так несчастна!

Слёзы полились ещё сильнее. Бисмарк опустился рядом с Мельбой и начал её утешать. Потом закурил папиросу.

— Зачем ты куришь? Ты же знаешь, когда я вижу, как ты куришь, мне хочется тоже, а мне нельзя из-за кашля... О, какая я несчастная!

Бисмарк бросил папиросу. Наконец Мельба встала; она не плакала больше, но заявила, что чувствует себя ещё хуже, хотя отдыхала довольно долго. Однако нужно было ехать, если они хотели добраться до постоянного двора. Зимние сумерки, хмурые и безрадостные, заволакивали небо. Мельба обернулась к Бисмарку:

— Как ты думаешь, доберёмся мы?

Она не договорила, испуганно вскрикнув. Потом, хотя Бисмарк тоже уже обернулся, пролепетала:

— Смотри, смотри, кто это? У них винтовки...

До этой минуты они не замечали своих преследователей. Те были ещё далеко, но уже можно было разглядеть винтовки.

— Это, должно быть, стража, — сказал Бисмарк, стараясь подбодрить и её, и себя.

Он и вправду почти поверил в это. Вооружённые всадники свернули с дороги и исчезли за холмом. Надвигалась ночь, ветер крепчал, и Мельба задыхалась от кашля. Они всё ехали и ехали, но на горизонте попрежнему не видно было ничего, кроме зубчатого горного края.

— Пожалуй, нам не добраться туда до темноты.

— Что же нам делать, Бисмарк?

— Здесь по дороге есть пещеры.

— О, какая я несчастная! За что, за что всё это!

Бисмарк поехал вперёд, стараясь держаться поближе к скалам, пока не нашёл пещеру. Он устроил в пещере постель из сёдел, одеял и пончо. Затем спугал лошадей и пустил их на луг. Всё это время Мельба не переставала жаловаться:

— О, почему, почему я такая несчастная!

Бисмарк вспомнил, что у него в седельном мешке была с собой спиртовка, чай и печенье. Как жаль, что они отпустили погонщика со всей провизией! Бисмарк вышел зачерпнуть воды из ручья; он знал, что ручей протекал где-то поблизости, но не помнил толком где, и искал довольно долго. Когда он вернулся в пещеру, Мельба накинулась на него, обвиняя в самой бесчеловечной жестокости. Но он не обращал внимания на ее упреки. Она была просто капризным ребёнком, и он терпеливо сносил всё. Они пили чай при голубоватом свете спиртовки, и Бисмарк принялся расхваливать себя, видя, что от Мельбы ему сейчас не дожидаться похвал.

— Вот видишь, какой я опытный путешественник! Да, немало поколесил я в своё время. Что бы мы делали, если бы я не нашёл этой пещеры? А если бы я не вспомнил, где ручей?

В конце концов Мельба улыбнулась своей чувственной улыбкой, от которой у Бисмарка Руица загорелась кровь. В пещере было сыро и пахло лисницами, и вода была солоноватая, но всё же Мельба улыбнулась. Бисмарк решил перейти к другому:

— Всё, что я сделал, — всё, всё только для тебя, Мельбита. Что мне эти пять тысяч? Чепуха! У меня уже всё было намази, я мог бы живо прищемить хвост Альваро Аменабару. Много, очень много беззаконий совершил он. От судьбы нельзя было ждать никакого проку; я предоставил дело своему течению и готовил сокрушительный удар. Неужели ты думаешь, что им сошло бы с рук это ограбление почты, пожелай я вмешаться. Да я бы прежде всего

потребовал гарантий от супрефекта. Да, гарантий! Я заставил бы его послать вооружённую охрану с почтальоном. Какой великолепный случай упустил я из рук! Но я сделал это только для тебя.

Мельба, пожалуй, предпочла бы несколько иную форму ухаживания, с меньшим уклоном в область юриспруденции, но всё же продолжала улыбаться. Они погасили спиртовку и легли спать. И ещё раз Бисмарк Руиц познал это нежное тело, тёплое и ласковое, окутанное жарким ароматом чувственности.

Бисмарку Руицу перевалило за сорок, когда он вступил на путь наслаждения, и ему казалось, что вся жизнь его до этой поры была лишена смьсла, потрачена даром на увядшие прелести жены и тупую возню с гербовой бумагой. К чему в сущности сводились все его успехи? К ловкому крючкотворству, к узаконенному мошенничеству. И вот теперь, только теперь, познал он плотское наслаждение, о другом он и не помышлял, — и оно воплощалось для него в форме прекрасной женщины, которую звали Мельба. Она уже спала, а скоро заснул и сам Бисмарк Руиц, убаюканный мечтами о счастливых днях, которые проведут они вдвоём у моря, вдали от города, забыв обо всём, кроме своей любви.

Доротео и его товарищи подъехали к пещере глубокой ночью. Они уже успели побывать на постоялом дворе и увезли оттуда мула. Теперь они начали с того, что поймали лошадей и связали одной верёвкой с мулом, так чтобы можно было гнать их гуськом. Теперь им оставалось только убить тех двоих, убить и отомстить за страдания, за разорение, за все уже пролитые слёзы, за все бедствия, которые ещё предстояли впереди. Здесь, в пещере, Бисмарк Руиц спал со своей любовницей. Их нужно прикончить. Всякое зло влечёт за собой возмездие.

Нужно бесшумно прокрасться в пещеру. У Бисмарка, верно, есть револьвер. Ночь тёмная, победит тот, кто выстрелит первым. Почти ничего нельзя было разглядеть в этом мраке, глаза ломило от напряжения, от ветра. Доротео Киспе, держа в руке ружьё со взведённым курком, подкрадывался к пещере, — вот когда пригодилась ему молитва судие праведному. Свет, мерцающий в пещере, погас. Мрак стал непроницаем. Когда ветер на мгновение стих Доротео услышал звук дыхания. Мало-помалу смутные очертания спящих людей выступили из темноты. Рука Доротео дрогнула, он повторял про себя молитву судие пра-

ведному. Наконец он прицелился. Кто из них умрёт первым? Женщина, конечно, — сна-то, бедняжка, пропадёт ни за что, ни про что. Верно, и не подозревает ни о чём. Если раньше пристрелить его, она перепугается насмерть. А вдруг у этого Бисмарка череп разлетится на куски? Да, как бы то ни было, а убивать не легко. Не легко своей рукой оборвать чью-то жизнь. Доротео ещё никогда не приходилось убивать, и теперь он увидел, что это нелёгкое дело. Пожалуй, если бы они не спали, ему бы легче было убить их. Но он не решался их разбудить. А молитва словно ещё лучше разжалобила его. Вот они лежат: беззащитная женщина и мужчина, которые пробудятся от сна, чтобы взглянуть в глаза смерти. Нет, нечего тут раздумывать, он не в силах убить их. Может, у Херонимо хватит духу? Или у Кондоруми? Хуже всего то, что они будут считать его трусом. Нет, надо всё же собраться с силами и убить их или хотя бы напугать. Если бы только он был уверен, что убьёт одного Бисмарка. Магазин винтовки был полон — пять патронов. Он может выпустить их все один за другим. У ребят тоже есть винтовки. И много патронов. Да что это он раздумывает? Если хорошенько прицелился, можно убить с одного выстрела, вот только выстрелить-то он и не может. Не может заставить себя стрелять по этим тёмным спящим фигурам. Уж, видно, это так: убить можно либо очень легко — сам не заметишь как, либо это чорт знает какое трудное дело. А может быть, судия праведный не позволяет ему выстрелить, желая спасти его душу. Верно, так оно и есть. Он бесшумно вышел из пещеры и, ни слова не говоря, присоединился к товарищам.

— Их, что ж, нету там? — спросил Херонимо.

Доротео долго молчал, погружённый в свои думы. Потом сказал:

— Убивать не легко... Хочешь, попробуй ты.

Но жалость к этим беззащитным людям и отвращение к крови, повидимому, овладели и Херонимо.

— Да, думается мне, это не легко — убивать... — проворчал он.

Они никогда и не помышляли об убийстве и теперь видели, что это дело совсем им не поутру. К тому же Доротео верил в судию праведного. Верно, Бисмарк и Мельба верили тоже — вот и спали тут, беззащитные. И так как Кондоруми сам никогда не принимал решений, они поехали прочь, порешив увести двух лошадей и мула, а

Фьеро сказать, что Бисмарку с его подружкой удалось удрать.

Фьеро Васкес выслушал их рассказ, глядя в сторону, повернувшись к ним своим слепым глазом, и закричал:

— Жалкие трусы! Вечно одна и та же история с новичками. И чего вы путаетесь в такие дела, которые по плечу только настоящим мужчинам! Таким трусам, как вы, надо ещё поучиться быть мужчинами!

Над горами Уарки занимался новый день.

Увидав, что лошади исчезли, Бисмарк прирос к месту. Не могло быть сомнения в том, что их украли. Стога сена, около которых он их привязал, стояли нетронутые — этого не могло бы быть, если бы лошади оторвались и убежали. Потеряв терпение, Мельба вышла из пещеры, посмотреть, что случилось, и подбежала к Бисмарку. Она сразу пришла в отчаяние. Что, что такое он говорит? Сено не развошено?

— Ну, пони как следует кругом, может быть, они ухитрились сбросить недоуздки. Посмотри, не валяются ли где-нибудь недоуздки?

На влажной почве видны были следы подков. Их лошади не были подкованы.

— Бисмарк, Бисмарк, это бандиты! Бежим!

Мельба бросилась по дугу, и Бисмарк устремился за ней; в конце концов ему удалось заставить её остановиться, но он несколько не убедил её — просто она уже устала.

— Боже мой, какая я несчастная!

Слёзы опять полились ручьём.

Они ещё раз вскипятили чай и съели всё печенье — голод давал себя знать.

— Ну, что нам теперь делать? — спросила Мельба.

— Дождёмся какого-нибудь путешественника или погонщика мулов и попросим подвезти нас, или хотя бы одну тебя.

— Что такое? И ты воображаешь, что кто-нибудь поедет через эту забытую богом пустыню?

— Тогда я пойду на постоянный двор и приведу нашего погонщика.

— Вот как! А я останусь одна? Да ни на секунду!

— Тогда пойдём вместе.

— Что бы я даром тащилась на постоянный двор? Нет, я пойду назад в город. Да, да, я уйду, сию же минуту!

— До города тридцать километров.

— Ну что же, почти всё время под гору. Я уйду.

— Нельзя же так, очертя голову, Мельбита. Подожди минутку.

— Ждать, пока бандиты разрежут меня на куски? Нет, я ухожу, ухожу!

Она схватила свою сумочку и зашагала по дороге. Бисмарку Руицу не оставалось ничего другого, как перекинуть через плечо одеяла и седельный мешок и последовать за ней.

Мельба отправилась в обратный путь, исполненная решимости. Казалось, она готова пройти и сорок километров. Она не произносила ни слова, лишь время от времени вытирала глаза платочком и даже не смотрела на несчастного Бисмарка, на его красный нос и круглое брюшко — наследие сидячей жизни, — который тащился позади, обливаясь потом и умоляя её не бежать так стремительно. Краги были ему тесны и больно давили ноги в шиколотках. Кончилось тем, что он принуждён был снять краги и спрятать в мешок. Из-под элегантных бридж выглядывали теперь жирные икры, и в таком виде Бисмарк был порядком смешон. Мельба уголком глаза поглядывала на него, с трудом сдерживая улыбку.

Дорога, наконец, пошла под гору, но теперь от этого было мало толку, так как Мельба уже еле шла. На широком склоне горы, по которому вилась тропинка, не видно было больше пещер, а между тем надвигалась гроза. Мельба повисла на руке измученного Бисмарка и продолжала плестись вперёд. Дорога становилась неровной, каменной. Когда Мельба кашляла, ей казалось, что кто-то ударяет её в грудь. Она начала громко всхлипывать, и Бисмарк почувствовал к ней острую жалость и вместе с тем досаду. Красивая женщина, но такая хрупкая, такая печальная! Но вот вдали показался какой-то индеец, он поднимался в гору, гоня перед собой осла. Они сели у дороги и стали ждать. Наконец индеец добрался до них.

— Стой, одолжи нам твоего осла.

— Нет.

— Ну, продай,

— Нет, сеньор.

— Ты должен сделать это хотя бы из сострадания. Видишь, эта молодая женщина не может идти, она больна. У нас украли лошадей, а она не может идти.

Индеец посмотрел на них, как бы говоря: «А мне что за дело? Вот вы видите теперь, окаянные баре, каково попасть в беду? Ну, а нас-то вы когда-нибудь жалели?» Должно быть, так он думал. Подстегнув осла, он сказал:

— Это не мой осёл.

Но тут уж Бисмарк Рунц потерял терпение: выхватив револьвер, он выстрелил в воздух, пули засвистели над головой индейца, сопровождаемые бранью. Индеец выронил уздечку и бросился наутёк. Осёл был старый, волосатый, неуклюжий. Они вдвоём взгромоздились на него, так как Мельба уже не могла держаться в седле. Несчастный осёл, скользя и спотыкаясь, начал спускаться с горы. Тяжёлая серая грозовая туча надвигалась из-за гор. Мельба плакала в при ручья, а Бисмарк бессмысленно колотил осла каблуками по бокам, стараясь перевести его с шага на рысь. Наконец ливень обрушился на них, и они накрылись своими пончо. Теперь стало ещё труднее управляться с ослом. Скоро пончо промокли насквозь, и когда Мельба почувствовала на спине холодную, мокрую ткань, она начала истерически причитать и пыталась соскочить с осла. По счастью, грозу отнесло в сторону, ветер разогнал тучи, подсушил пончо, а под конец проглянуло и солнце. Но Мельба была так подавлена, что, даже увидав впереди деревья и блестящие свежевымытой красной черепицей крыши города, не проявила радости и не проронила ни слова. Обнимая её, Бисмарк чувствовал жар в руках, так пылало её сотрясаемое капилем тело. Осёл еле волочил ноги и в конце концов свалился на дороге. На их счастье, в эту минуту появился Эль Летрао — молодой человек лет двадцати пяти, которому без труда можно было дать и все сорок. Так же как и Эль Локко Пиеролиста, он был одним из наиболее примечательных людей в городе. Сын секретаря городского управления, он отлично, по мнению всего города, окончил начальную школу, ибо, обладая прекрасной памятью, заучивал все уроки наизусть. «Правильно, так и следует учиться, молодой человек». Закончив школу, сей юноша, обуреваемый жаждой познания, возымел желание вызубрить толковый словарь от корки до корки. После этого учёные мужи города несколько умилились свой восторг по отношению к нему, а кое-кто начал даже поднимать его насмех. Слыханное ли это дело — учить наизусть словарь! Слятил он, что ли? Но деревенские жители преклонялись перед его учёностью. Это они прозвали его Эль Летрао, что значит: книгоед. Он частенько бродил в окрестностях города, неизменно, и зимой и летом, держа в одной руке раскрытый зонтик, словно для того, чтобы не дать мыслям разлететься, а в другой — толстый словарь в красном пере-

плёте. Так разгуливал он и твердил вслух фразы, поднимая глаза к небу, дабы не впасть в искушение и не заглянуть украдкой в словарь, и при этом нередко спотыкался о камни или налетал на деревья. И, глядя на него, деревенские жители говорили: «Вот это учёный человек!» А учёный тем временем добрался уже до буквы «д». Он особенно поверил в свою значительность и возгордился сверх всякой меры, когда однажды, перелистывая страницы словаря, наткнулся на бюст Сократа и усмотрел в нём сходство со своей особой. У Сократа был такой же приплюснутый нос.

В этот вечер Эль Летрао совершал свою обычную прогулку и старался вбить себе в голову очередные полстолбца словаря, когда Бисмарк окликнул его:

— Послушайте, сеньор!..

Эль Летрао изобразил на своём лице досаду и, нахмурившись, взглянул на наглеца, который осмелился потревожить его во время столь возвышенных занятий. Но, увидав, что окликнул его не кто иной, как Бисмарк Руиц, он сложил свой зонтик и не спеша направился к нему степенным, размеренным шагом учёного.

Мельба Кортес сидела рядом с Руицем у края дороги; вся юбка у неё была покрыта клочками ослиной шерсти; она задыхалась от кашля.

— Сеньор, мы попали в беду. А тут ещё, как на грех, этот осёл отказывается идти дальше, и я бы хотел, чтобы вы помогли нам...

Нельзя сказать, чтобы подобная форма обращения к его услугам вполне пришлась по вкусу Эль Летрао, — ведь можно было подумать, что его просят заменить собою осла. Без всякого сомнения, следовало бы подобрать более приличествующие случаю выражения. Но Эль Летрао не стал делать из мухи слона — дон Бисмарк, как видно, был сильно расстроен. А тот и в самом деле был так расстроен, что не заметил даже, как индеец, у которого они отняли осла и который, как они думали, убежал без оглядки, очутился рядом с животным и старался поднять его на ноги. Эль Летрао спросил осторожно:

— А что приключилось с этой молодой особой? Почему она так кашляет?

— Боюсь, что у неё воспаление лёгких... Я буду чрезвычайно признателен вам, если вы нам поможете.

Обладатель сократовского носа и Бисмарк Руиц понесли Мельбу в город на руках. Так как через каждые два

шага они останавливались, чтобы передохнуть, то добрались до города, когда уже стемнело.

Мельба послала за своими подругами Пиментель. Ветер, дождь, усталость сделали своё дело — кровь пошла горлом, и Мельбе уже ничто не могло помочь. Она отдала Лауре свою сумочку с пятью тысячами солей и, страдаемая лихорадкой, умерла в ту же ночь на рассвете.

Бисмарк Руиц то плакал, как ребёнок, то принимался отчаянно сквернословить, проклиная свою судьбу. Печаль его ещё усилилась, когда он увидел, что никто из их собутыльников не явился на похороны. Один-одинёшенек проводил он на кладбище свою мёртвую возлюбленную. Сейчас, больше чем когда-либо, была она Ля Костенья. Его возвращение в лоно семьи было встречено без единого упрека. Жена его, изнуренная работой женщина, с отяжелевшими от бесчисленных кормлений грудями, не сказала, бедняжка, ни слова.

Однажды утром Бисмарк опять пошёл в контору. Жизнь входила в свою колею; как прежде, медленно, однообразно потекли бесцветные дни. В конторе скопилась куча бумаг. Он взял одну из них и прочёл её всю от начала до конца. Он заметил в ней кой-какие юридические погрешности. Его письмоводитель с умопомрачительным почерком давно исчез, сын ещё не пришёл, и Бисмарк Руиц принялся переписывать бумагу сам, с чувством человека, пробудившегося от сна к серой рутине будней: «Высокопочтимому председателю суда первой инстанции, провинции...»

Холодным пасмурным вечером Маргича и Аугусто сидели на берегу озера и разговаривали, прислушиваясь к свисту ветра в тростнике. Аугусто начал напевать песенку:

Маленькая утка с золотыми пёрышками,

Маленькая утка с большого озера,

Дай-ка я поймаю тебя,

Подари мне удачу!

Маленькая утка с золотыми пёрышками,

Подари мне твоё золото!

Я очень беден

И нет мне удачи.

- Кто научил тебя этой песне? — спросила Маргича.
— Вот кто, — ответил Аугусто, ударяя себя в грудь.
— А правда, что она золотая, эта утка?
— Так говорят. Это заколдованное озеро.

«Золото, — думала Маргича. — Оно прекрасно. Золото солнечных лучей, золото пшеницы, золото металла». Теперь у них не было этого золота. У них ничего больше не было, и жизнь стала печальной. Только тела их были счастливы, как прежде, в своей любви друг к другу.

Аугусто сказал:

— Я ухожу в джунгли.

— В джунгли?

— Да, в самую чащу, собирать каучук. Можно заработать кучу денег на сборе каучука. А потом мы купим себе где-нибудь клочок земли. Здесь мы только натерлимся горя, в этом проклятом краю.

— А если у меня будет ребёнок?

— Тем лучше. Будешь меня ждать, не изменишь.

— Возьми меня с собой.

— Джунгли — не место для женщины. Там для вас слишком опасно.

Аугусто продал свою долю зерна да за гнедую кобылу выручил двадцать солей. Маргича пошла к донье Фелипе — одной из женщин посёлка — за «любовным напитком». Донья Фелипа вошла в честь после исчезновения Наши Суро. Она не претендовала на звание колдуньи. Она немножко знала толк в лечебных травах, а больше слыла знатоком по части любовных недугов — могла и приворожить, могла и излечить от любви. Евлалия и Маргича починили Аугусто его одежду и приготовили ему на дорогу еду. Улучив минуту, когда мать отвернулась, Маргича покропила жареного цыпленка «любовным напитком». И Аугусто собрался в путь.

— Да сопутствует тебе удача, — сказал Росендо.

Евлалия причитала; остальные родственники повсрались с юношей молча.

— Возвращайся скорей! — крикнула ему втотонку Маргича.

Боясь расплакаться, Аугусто поборол в себе желание оглянуться и, подхлестнув коня, пустил его в галоп.

В далёкой столице департамента газета «La Verdad», издаваемая «беспокойными элементами», напечатала короткую заметку о разорении общины Руми и длинную передовую в защиту прав туземцев. Газета «La Patria», издаваемая «сторонниками порядка», разразилась пространной

статьей, описывающей восстание индейцев Руми, и яростной передовой, требующей восстановления порядка. В статье говорилось, между прочим, что дон Альваро Аменабар оказался вынужденным потребовать у индейцев освобождения незаконно захваченных ими земель. Столь справедливое требование заставило индейцев сначала покориться для виду, но затем, подстрекаемые агитаторами и известным бандитом Фьеро Васкесом, индейцы взбунтовались и зверски убили адвоката Роке Иньигеса. Только благодаря решительным, энергичным действиям лейтенанта Брито, начальника отряда конной полиции, удалось спасти жизнь других честных и высокопочтимых граждан. Но на этом дело не кончилось. Фьеро Васкес с десятью бандитами произвёл нападение на почту и похитил документы, подтверждавшие справедливость предъявленных доном Аменабаром притязаний. Эта банда и сейчас продолжает бесчинствовать и совершать различного рода преступления.

Не так давно в столице провинции появился адвокат, член «Общества по улучшению жизни индейцев»; этот адвокат под флагом гуманизма поддерживает незаконные претензии, ведущие только к новым беспорядкам. В статье много говорилось о порядке и справедливости, основывающихся на действительных нуждах страны, а не на фантастических требованиях туземцев, сбитых с толку профессиональными агитаторами. Говорилось и о некоторых землевладельцах «мятежной провинции», являющих собой образец честности и трудолюбия, как, например, дон Альваро Аменабар-и-Рольдан — человек просвещённый, справедливый и достойный всяческих похвал. Говорилось и о духе беззакония и мятежа, упряжающем священному праву собственности, приобретённой частным, узаконенным путём, а заканчивалось всё требованием послать батальон солдат для восстановления закона и порядка, столь необходимых для прогресса страны, на пути которого стоят преступные и коварные перуанцы.

Префект департамента вырезал из газеты сию правдивую информацию и, присоединив к ней патристическую передовицу «La Patria», послал их министру, вместе с пространном докладом, в котором подтверждал серьёзность положения и просил указаний.

В Янаньяуи поселяне почти каждое утро находили в стене скотного двора огромную дыру, нарочно проломанную кем-то за ночь.

После долгих поисков им удалось, наконец, загнать часть коров, разбежавшихся по горам, но многих ещё не хватало. Кому им было жаловаться? Что им было делать? Но самым большим несчастьем была для них потеря двух рабочих волов.

Все бандиты, за исключением Фьеро Вакеса и Валенсио, собрались в большой пещере вокруг огня. Они уже покончили с едой и теперь жевали свою коку. Доротео Киспе разглядывал всех бандитов по очереди, дивясь их безобразию; Кондоруми смотрел только на тех, которые поразили его своим ростом; Херонимо, казалось, заинтересовала молчаливая задумчивость Законника. Но бандиты, со своей стороны, не очень-то дружелюбно поглядывали на новичков. Наоборот, они не упускали случая назвать их трусами, поднять насмех. В этот вечер первым начал глумиться над ними ларень, прозванный Жабой за то, что у него были выпученные глаза, плоское, как тарелка, лицо и огромный рот с тонкими губами. Он был чрезвычайно уродлив и в самом деле походил на жабу.

— Я вижу, тут ореди нас завелись три молоденькие дамочки? Кто из дам подарит бедному бандиту поцелуй?

И тут же пропихнул в ответ, изображая благовоспитанную барышню:

— Ах нет, нет, подите прочь от меня! Вы скверные бандиты! Противные бандиты! Грязные бандиты! Ай, мама, мама!..

От промовых раскатов хохота заплесало пламя в очаге. Рассмеялся даже глубокомысленный Законник. Новички переглянулись, и Доротео зарычал:

— Эй ты, Жаба! Что, подраться захотелось?

Тот разразился потоком брани. Кто-то сунул Доротео в руку нож. Другой бандит подал ему пончо, и он обернул себе левую руку повыше локтя. Жабу уже снарядили точно таким же образом. Остальные бандиты отодвинулись к стенам пещеры, забрались в расщелины. В глубине пещеры в очаге горел огонь; на середину, пригнувшись, приседая, вышли противники. Стало тихо, и слышно было, как потрескивают дрова в очаге. По лицу Жабы скользила самопадая улыбка. У Доротео рот открылся, обнажив зубы.

Жаба кинулся на него, и Доротео неуклюже отпрянул. Сейчас он, больше чем когда-либо, походил на медведя. Жабе хотелось дать ему хороший урок обращения с но-

жом. Медведь решил обороняться, а если представится случай, то и напасть самому. Он никогда еще не дрался на пожах, и ему было страшно. Раза два он видел драку на ярмарке, и ему понравилось, как дрался один парень: он всё время оборонялся, терпеливо выжидая, когда противник заезвается, и тогда наносил ему удар.

— Крой, Жаба! — ободряюще закричал кто-то из бандитов.

Жаба хотел было пырнуть Доротео ножом в бок, но тот увернулся. Чорт их знает, этих индейцев, везет им! Ладно, сейчас он ему покажет! Ножи сверкали, чертя в воздухе огненные линии, Жаба прыгал вокруг Доротео, а тот испуганно оборонялся. Жаба сделал вид, будто хочет ударить Доротео в грудь, а затем, перебросив нож в другую руку, направил удар в живот. Но Доротео быстро опустил обернутую в попчо руку, которой прикрывал грудь, и нож застрял в плаще; в ту же минуту Доротео, изловчившись, всадил Жабе нож в плечо.

— Кровь! — заревели бандиты.

Две огромных тени бились друг с другом на стене пещеры, нападая легко и беззвучно. При виде крови у бандитов заблестели глаза. Кровь заливала руку Жабы и каплями стекала на пол. Улыбка сбегала с лица бандита. Он увидел, что имеет дело не с таким уж простачком. Опыта у него нет, но глаз меткий и твердая рука. В тишине стало слышно их тяжёлое дыхание, судорожное, как в агонии.

— Задай ему, Жаба! — раздался ободряющий возглас.

Противники делали ложные выпады, стараясь прощупать друг друга.

— Да ты никак трусишь, Жаба?

Жаба начал осыпать Доротео бранью, чтобы заставить его перейти к нападению. Он всё время только этого и ждал. Нет ничего легче, как расправиться с новичком, когда тот бросается на противника очертя голову.

— А ну-ка, подойди сюда, трус! — и Жаба опустил даже руку, которой прикрывал грудь, как бы говоря: подумаешь, есть кого бояться!

Но Доротео уже преодолел свой страх. Он всё ещё был невредим, а его противник истекал кровью.

— Эй вы, сосунки, кройте, нечего языки чесать!

Ноги у них стали красными от крови, растекавшейся по полу. Жаба понял, что, пока он еще не совсем обессилел, ему надо поскорее разделаться с противником, а не то

плохо дело. Он прыгал, вертелся, перебрасывал нож из руки в руку и, наконец, снова кинулся на Доротео. На этот раз ему больше повезло — его нож полоснул Доротео по ляжке. Но в ту минуту, когда он ещё смаковал свой успех, Доротео сделал свой первый настоящий выпад. Чорт, вот это удар! Нож вонзился Жабе прямо в щеку, и из кровавого отверстия вывалилась жвачка коки. Под у них под ногами стал скользким от крови, и в прохладном ночном воздухе от него поднимался пар. Один из них должен был умереть; оба обезумели от злобы, и эта злоба была тем неистовей, чем дольше им приходилось её сдерживать, чтобы верней рассчитывать свои удары и не прозевать удара противника.

— Всыль ему, Жаба!

По лицу Жабы капались слёзы ярости и бессилия. Ему хотелось выпустить Доротео все кишки, но тот стоял согнувшись, подобрав живот, прикрыв его обернутой в пончо рукой, ею же прикрыв и грудь, широкую выпуклую грудь, так что ножу Жабы не легко было до него добраться. Может быть, попробовать со спины, если он не успеет повернуться? Жаба опять перестал прикрываться. Доротео отступил. Проклятый индеец разгадывал всё, что бы он ни задумал! Попробовать с левой руки? Доротео, быстро повернувшись, едва не упал. Жаба отметил, как он поскользнулся. Один из них должен умереть — это было ясно. У зрителей захватывало дух. Даже их взволновала эта жестокая драка.

— Вот это парни! — заметил один из бандитов.

Жизнь висела на волоске, но была упряма. Смерть, непреклонная смерть стояла за плечами.

— Ты же истечёшь кровью, Жаба!

— Прикончи его!

Жалость была им неведома. Они с звериным восторгом наблюдали драку, умеряя свой пыл ровно настолько, чтобы не помешать поединку. Кондоруми и Херонимо, которых сначала трясло, как в лихорадке, понемногу успокоились. Они поняли, что смерть — неумолимый закон ножа. Высоко в тёмном небе звезда мерцала над входом в пещеру. Дрова в очаге всё ещё горели жарким ровным пламенем. Жаба стал спиной к очагу, и его тень распласталась на полу пещеры. Он начал быстро прыгать из стороны в сторону, и Доротео, поворачиваясь вслед за ним, поскользнулся и упал. Жаба только этого и дожидался. Он кинулся на упавшего, нацелив нож ему в прудь, но Доротео резким

движением выбросил ноги и со страшной силой отшвырнул Жабу прямо на одного из бандитов. Все же Жаба успел поранить ему ляжку. Оба снова вскочили на ноги, рыча от ярости. От горячей крови шёл пар, и вид её возбуждал зрителей, словно хищных зверей, почуявших добычу. Они не могли устоять на месте. Кондоруми совсем рассвирепел, увидав, что Жаба напал на лежащего. Но драка всё не приходила к концу. Бандиты ревели:

— Ну же!.. Давай!..

Ножи не сверкали больше. Теперь они были красными от крови, как языки пум. Кровь была везде — на лицах, на телах, на пончо, на полу. У Доротео был рассечен лоб, и густая тёмная кровь заливала ему глаза, мешая видеть. Кровь! Умрёт тот, кто первым ослабеет.

Жаба боялся, что первым будет он, и поспешил ускорить дело.

— Не выпускай его, Доротео! — закричал Херонимо, заметив, что Киспе от чрезмерной осторожности упустил удобный случай для нападения.

Доротео занёс нож, Жаба резко отпрыгнул назад и наскочил на Кондоруми, а тот, не совладав с собой, с такой силой отшвырнул его обратно, что он упал ничком. Но Доротео принял его на нож и одним взмахом перерезал ему горло.

— Неправильно! — заорал бандит, всё время ободрявший Жабу, увидав, как того толкнули, и с ножом в руке бросился на Кондоруми.

Херонимо тоже вытащил нож, но Кондоруми уже схватил своего противника за руку и, отшвырнув его от себя, раскроил ему череп о выступ скалы. Поток крови полился со всех сторон, и всё смешалось в общей свалке. Один из бандитов пырнул Херонимо ножом в грудь, и Законник пришёл ему на помощь. Доротео, пятясь к выходу, оборонялся от наседавших на него двух бандитов, а Кондоруми рычал, чтобы ему дали нож. В эту минуту у входа, с револьвером в руке, появился Фьеро Васкес; одним прыжком он очутился в центре пещеры, и его сильный, властный голос покрывал гам:

— Стойте, негодяи! Чего вы расходились? Что тут творится?

Все замерли, а Валенсио, стоявший у входа, одним ударом сшиб с ног упрямого парня, который не унимался и всё ещё насккивал на Доротео. Бандиты, ворча, прятали ножи. Фьеро заговорил:

— Я знать ничего не желаю. С меня хватит того, что я видел. Но предупреждаю: всякому, кто вздумает продолжать драку, я всажу пять пуль в голову.

Он вышел из пещеры в сопровождении Валенсио и крикнул с порога — не зря был он здесь непререкаемым главарём:

— А если кому-нибудь хочется подраться со мной, я готов хоть сейчас.

Никто не ответил.

Будучи слеп на правый глаз, Фьеро дрался левой рукой и, при его силе и ловкости, мог прикончить противника прежде, чем тот освоится с этой его особенностью. Да, вряд ли кому стоило возлагать надежды на то, что у Фьеро Васкеса всего один глаз.

Начал накрапывать дождь. Бандиты вынесли оба трупа и положили их у входа в пещеру, чтобы похоронить на другой день. Затем они принялись перевязывать и лечить свои раны — кто спиртом, кто йодом, и разбрелись по углам, где пол не был залит кровью. Посреди пещеры кровь все ещё поблёскивала на полу в свете умирающего пламени очага. Некоторые бандиты скоро заснули, другие продолжали обсуждать драку. Трое новичков и два старых бандита были ранены; располосованная нога Доротео не давала ему покоя. Бинтов на всех нехватило, и Доротео прикрыл рану тряпкой и обмотал ногу своим шерстяным поясом. Одна мысль приводила в смятение новоиспечённого бандита — ведь он ни разу не вспомнил молитвы судие праведному. Не иначе, как господь решил его спасти даже и без молитвы. Законник прервал его размышления:

— Ну, теперь ты убил и отведал крови. Теперь ты уже по-настоящему наш.

Так иудейцы из общины Руми стали заправскими членами банды Фьеро Васкеса.

Немало молодёжи ушло уже с Янаньяуи; ушёл и кое-кто из поселян постарше. Каждый надеялся найти себе где-нибудь более гостеприимное пристанище и, быть может, немножко больше удачи. Говорили, что есть места, где можно неплохо заработать и жить припеваючи. Ушли Каликсто Паукар и Амадео Ильяс с женой; ушёл Деметрио Сумальякта; ушли Хуан Медрано и Симона, напутствуемые пожеланием родителей повенчаться при первом же удобном случае. Ромуло Кинто ушёл с женой и маленькой

Симоной, далёкой ещё от всех тревог и невзгод, и многие, многие другие. Хотел уйти и Адриан Сантос, да родители не отпустили — молод ещё.

В общине дела шли всё хуже и хуже. Скот продолжал понемногу исчезать, посев на скованной морозом, вспаханной земле не сулил хорошего урожая. Их ждал тяжелый год: бог знает, соберут ли они достаточно зерна, чтобы продержаться.

К тому же, по всем признакам, дон Альваро Аменабар решил не оставлять их в покое. Надсмотрщик Рамон Брисеньос грозился, что скоро доберётся до них, а он был правой рукой хозяина ранчо. Похоже было, что он решил взять их измором; он начал с того, что стал угонять их скот. Ну, а уж коли так, то лучше уходить куда глаза глядят. Росендо молчал. Да и что мог он сказать? Он страдал, видя, как община распадается у него на глазах, но мог ли он удерживать людей, если будущее не сулило ничего, кроме рабства или, в лучшем случае, голода. И многие ещё покинули бы общину, да не знали, куда идти.

Но большинство поселян чувствовало, что они слишком стары и им уж поздно изменять своим привычкам. Многие были обременены семьёй, — страшно подвергать своих близких нищете каким опасностям. Те, что уходили, сами не знали толком, куда они идут, какую найдут себе работу. Некоторые, подобно Аугусто Маки, крепко верили в то, что им рассказывали. Одни уходили по дороге, которая вела через их прежний посёлок, другие выбирали тропинку, пролежавшую среди каменных развалин старой деревни и терявшуюся в предгорьях Эль-Альто, чтобы выйти оттуда на дорогу, а кое-кто поднимался по тропе, пересекавшей горный хребет и убегавшей, извиваясь, по скали-стому плато.

Они уходили медленно, с тяжёлыми узлами за спиной. Они уходили в мужской мир...

Двое детей и старуха умерли от инфлуэнцы.

Потом, пока они окучивали картофель, всё время свирепствовала непогода, и Леон Манта, и без того уже ослабевший от малярии, заболел воспалением лёгких и умер тоже.

Они похоронили его на кладбище, которое заложили на одном из пологих склонов Эль-Альто. Это было един-

ственное подходящее место для кладбища, потому что долину каждую зиму затопляло водой, — вода стояла над лугами на целый фут, а на склонах Руми лежал посёлок и возделанные поля.

Почва на новом кладбище была очень каменной, и им пришлось два раза рыть могилу для Леона, — в первый раз они наткнулись на большую скалу и не могли рыть дальше.

И вот Леон навеки улёгся в землю рядом с добрым Ансельмо, двумя детьми и старухой. Там, высоко в горах, где трупы долго остаются нетленными в промёрзлой земле, они будут лежать под бурями, туманами, солнцем и ветром, как дружная семья, уснувшая в огромном каменном доме.

ГЛАВА 10

СЛАДОСТЬ И ГОРЕЧЬ КОКИ

Конечно, все поселяне знали вкус сладких листьев коки. Они либо покупали душистые зелёные листья в городе в лавке, либо кто-нибудь отправлялся за ними в жаркие долины, где на плантациях возделывается кока. Вымоченные в растворе извести, листья её становятся сладкими, и лёгкая истома или приятное возбуждение разливается от них по телу. Кока помогает от голода и от жажды, от жары и от холода, от усталости и от печали — от всего. Кока помогает жить. Гадалки, да и всякий, кто хочет попытать судьбу, спрашивают коку. Чарам коки послушны заколдованные озёра, горы и реки. Кока исцеляет больных. С листьями коки в руках умершие покидают этот мир. Кока мудра и добра.

Амадео Ильяс всегда жевал коку, он просто не мог жить без неё. Теперь он познакомится с кокой ещё ближе, — он уходил в Кэлчис, работать на плантациях.

Много миль прошли они с женой, прежде чем добрались до плантаций. Один из надсмотрщиков показал им будущее их жилище: дом стоял на краю кукурузного поля, наливавшегося зерном. В доме было две комнаты. Кукурузное поле тоже будет отдано им. И в придачу они получали десять мерок пшеницы, десять мерок картофеля и пять мерок кукурузы. Потом надсмотрщик сказал Ильясу:

— Работник, который арендовал раньше этот дом, бежал, бездельник. Ты будешь работать на плантациях —

собирать листья и обрабатывать землю. Платить аренду полагается каждые три месяца. Будешь хорошо работать—каждый день выработаешь лишних пятьдесят центаво, примерно около сорока солей в месяц сверх арендной платы.

Он с головы до пят оглядел Амадео и его жену, потом спросил:

— Да как вы сюда попали? Чем вы раньше-то занимались, если ничего не знаете?

— Мы из общины Руми; мы сеяли там пшеницу и кукурузу, а потом, в горах, и другие растения.

— Ну это совсем не то, что кока. Да ничего, научишься.

Когда надсмотрщик ушёл, Амадео Ильяс с женой осмотрели дом: комнаты были большие, крыльцо широкое; этот дом напоминал им счастливые дни в старой общине. Потом они пошли на кукурузное поле, раскинувшееся по склону холма. Это было большое поле, и на нём росли и тыква, и бобы, и горох. Зёрна кукурузы уже начинали набухать. Скоро вызреют початки. Они вернулись домой, и жена принялась готовить еду в двух горшках, которые принесла с собой. Она разыскала ещё один, треснутый, горшок и положила в него поджаренную кукурузу. Только соли у них было мало, и Амадео сказал, что завтра он сходит на ранчо и принесёт.

Они уже побывали на ранчо в первый же день. Усадьба лежала далеко на склоне холма, за лесом дымков, поднимавшихся над хижинами. Отправившись на другой день туда, Амадео, кроме соли, купил в лавочке ещё немного перца, иглок, ниток, маленькое зеркальце, которое уж очень ему приглянулось, и две бумажных рубашки, так как слышал, что в шерстяных нельзя собирать коку из-за жары. Эти покупки, вместе с полученным запасом продовольствия, составили долг в тридцать солей. Что ж, если он будет выработывать лишних пятьдесят центаво в день, то легко покроет такой ничтожный долг. Да, здесь хорошо платят. На других ранчо платили от десяти до двадцати центаво. Вот ради чего и прошли они весь этот долгий путь до реки Кэлчис.

Через несколько дней надсмотрщик сказал Ильясу, что ему пора выходить на работу. Жена приготовила ему целый мешок жареной кукурузы, и Амадео ушёл, как только рассвело. Жена с тревогой глядела ему вслед; её печалила

разлука, тревожила его новая работа, которая, уж верно, нелегка. К тому же она впервые оставалась одна, и ей было страшно. Но она ничего ему не сказала, и Амадео спустился с холма и скоро исчез за выступом скалы.

Сбежавшая вниз тропинка смутно напомнила ему пастбища Норпы. Прямо впереди в горах была расщелина; вокруг неё скалы громоздились уступами, и тропинка вилась по самому краю обрыва. В конце концов она вывела Амадео к реке, и он пошёл вдоль берега. Скоро он нагнал какого-то индейца, шедшего впереди, и они зашатали рядом. Амадео начал расспрашивать своего спутника:

— Так это и есть река Кэлчис?

— Она самая.

— А где плантации?

— Туда дальше, внизу. Ты что, на плантацию идёшь?

— Да, иду собирать коку. А ты?

— Я тоже там работаю.

Индеец сказал, что его зовут Иполито Кампос и что он родился здесь, на ранчо. Вот уже год, как он впервые спустился на плантации собирать коку. Амадео взглянул на него. Это был молодой парень, но он походил на старика. Кожа у него была дряблая, и весь он как будто высох.

Река с шумом неслась вперёд в своём скалистом ложе, и в своих берегах были глубокие вымощины, обнажавшие почвенные слои. Немного отступя от берега, по обе стороны реки стоял высокий, частый лес, звеневший весёлым птичьим щебетом. Одна из птиц заглушала все другие голоса своим громким характерным криком: «квиен, квиен, квиен». Это была птица квиен-квиен. Амадео сказал, что он никогда ещё не слышал этой птицы. Иполито удивлённо поглядел на него и стал рассказывать ему о ней, стараясь перекричать шум реки. Вдруг они увидели квиен-квиен в ветвях гуаланга. Это была жёлтая птичка, с чёрными, как агат, крапинками. Её перышки сверкали, переливались, словно золотой солнечный слиток с мерцающими в нём чёрными прогалинками.

— Красивая, верно?

— Красивая, — согласился Амадео.

Иполито рассказал, что ему удавалось находить гнёзда любых птиц, только не квиен-квиен. Очень уж ловко прячет она свои гнёзда; а вот сама совсем не такая пугливая — залетает даже в дома, а особенно на кухни, и лакомится свиной трудинкой, да и другой едой не брезгует. Он

рассказал Амадео смешную историю про одного городского парня, который с группой индейцев проходил как-то раз по этой самой дороге во время сбора коки. Он раньше никогда не слыхал квиен-квиен. И вот когда птичка принялась кричать, ему показалось будто кто-то спрашивает: «Кто тут? кто тут?» Он решил, что это обращаются к нему, и отвечал: «Это я, я». А птица всё продолжала кричать, и тогда, думая, что собеседник не расслышал ответа, он заорал что было мочи: «Это я, такой-то, — тот, который в чёрной шляпе». Они оба рассмеялись.

Амадео, в свою очередь, рассказал ему историю про «Справедливого судью» — первую, которая пришла ему на ум. Хотя взрыва хохота и не последовало, но где-то в глубине души у них родилась уверенность в том, что они будут друзьями.

Лес становится всё чаще. С горы по тропинке спускалась группа индейцев.

— Это всё сборщики коки, — пояснил Иполито.

Неожиданно они вышли на первую плантацию коки. А ещё через несколько минут уже подходили к бараку, стоявшему рядом с домом надсмотрщиков. Это была длинная саманная постройка с широкой дверью и двумя окнами. Там собралось уже много сборщиков; когда подходили новые, они вешали свои пончо и мешки на костыли, вбитые в стены барака. У каждого было своё место, узаконенное привычкой. Но в бараке на всех места не хватало, и Иполито спал на крыльце. Снаружи стены барака тоже были изукрашены костылями. В знак дружбы Иполито и Амадео повесили свои пожитки на один костыль. А так как сбор коки должен был начаться только на другой день, они отправились немного погулять, чтобы убить время.

Огромные плантации коки простирались далеко в глубь долины — Амадео и Иполито так и не добрались до конца. С одного края долину замыкал глубокий каньон, спускавшийся вниз к реке, с другого — скалы, отроги высокой горной цепи.

Кусты коки, чуть выше человеческого роста, покрытые густой листвой, росли ровными рядами в тени деревьев — апельсиновых, лимонных, кизилтовых и гуявы. Амадео прислушался: в верхушках высоких деревьев приветливо ворковали голуби. Вот бы сюда Деметрию! Стояла пора вызревания апельсинов, и вся плантация была усеяна упавшими плодами; на пыльном зелёном покрове земли резко выделялись ярко-жёлтые пятна плодов. Листья коки чуть

трепетали от ветра, и с отяжелевших от плодов ветвей апельсины с глухим стуком падали на землю. Амадео и Иполито подбирали апельсины и ели. Апельсины были очень сочные, а в такую жару казались ещё сочнее.

Иполито сказал Амадео, что кока, с виду такой пышный куст, — на деле растение очень нежное. Его надо поливать ночью, иначе солнце нагреет воду, и это повредит корням. Зелёный червь часто губит листья коки и поэтому их нужно опрыскивать, и тоже ночью, — черви смываются с листьев и тонут. И даже деревья посажены на плантациях не ради плодов, а потому что кока требует тени. Кусты коки недолговечны и гибнут от всякого пустяка. Приходится всё время высаживать новые. Амадео смотрит на кусты, и ему казалось, что так именно и должно быть. Одному богу известно, какие тайны хранит это изнеженное растение, если ему дано извлекать из тёмных недр земли соки, столь могущественные, что всё население Анд прославляет сладкие листья коки.

Когда они возвратились в барак, уже давно перевалило за полдень, и жара становилась невыносимой. Солнце окутало красноватые скалы каньона мерцающей дымкой и немилосердно жгло, проникая между ветвями деревьев. Амадео приложил ладонь к скале. Камни пылали. Скалы были, как раскалённая печь. Тяжёлые испарения поднимались от земли, и воздух был пропитан ароматом цветущих апельсиновых деревьев и запахом гниющих плодов и вспапанной земли, зелёных листьев коки и девственного леса. Амадео казалось, что он проник куда-то в самое нутро тёплой и влажной, разомлевающей от солнца земли.

На другой день надсмотрщики подняли всех сборщиков коки на рассвете. Сотни людей в белых рубашках и чёрных штанах, в кожаных сандалиях и соломенных шляпах выстроились перед баракком; под широкими полями шляп их лица смутно белели в неясном утреннем свете. Надсмотрщики сделали переключку и записали работников, которые не явились на сбор. Затем главный надсмотрщик вызвал несколько пеонов, совсем хилых и больных с виду, и велел им вместе с Амадео идти подрезать ветки. Амадео он сказал:

— Ты будешь работать с ними, пока не привыкнешь к дешнему климату.

Остальных пеонов он послал собирать листья, дав каж-

дому из них по большому одеялу, называющемуся пулло. Двум своим помощникам он сказал:

— Ступайте и пригоните сюда всех этих лежебок. Они только прикидываются больными — это ленивые собаки. Оставьте только тех, у кого лихорадка, кто не может встать с постели.

Амадео вместе с другими пеонами из его партии получил садовые ножницы, и им велели работать около дома, чтобы не мешать сборщикам. Остальные пеоны отправились на другой край плантации. Солнце начинало припекавать. Оставшиеся здесь должны были подрезать нижние ветки чересчур тенистых деревьев, так чтобы к кустам коки был доступ света и воздуха.

Что за избалованное создание этот кустарник! Толстые, покрытые льшиной листвой ветви деревьев нужно было осторожно спускать на верёвках, чтобы не поломать кустов. Показались первые сборщики с большими охапками листьев, увязанными в одеяла. Развязав узлы, они высыпали листья на гладкую, упрямованную земляную площадку перед домом надсмотрщиков, со всех сторон открытую солнцу. Сушильщики разравнили листья тонким слоем. Пеоны, работавшие вместе с Амадео, объяснили ему, что листья коки должны быть очень тщательно высушены, иначе они сгниют: начнут темнеть, а по краям побелеют. Беда, если на них попадёт хоть капля влаги. Сушильщики не опускают глаз с неба — не появится ли где-нибудь облачко, — чтобы успеть собрать листья и спрятать их под навес. «Ну и ну, — подумал Амадео, — вот уж канительная-то штука!»

На другой день на плантации появился нормировщик — высокий, дюжий метис с мускулистыми руками; он отсчитал девяносто рядов на том участке, где Амадео с другими пеонами подрезал деревья, и начал собирать коку с девяносто первого ряда. Амадео заметил, что остальные сборщики отстают от него; это был один из самых сильных и быстрых работников, и он далеко ушёл вперёд, отсчитывая ряды так, чтобы на каждого работника оставалось определённое количество рядов. Сбор листьев казался Амадео делом нетрудным. Нужно было наклонить куст к земле и, ведя рукой по тонким веткам от корней до верхушки, обрывать листья прямо на расстеленное под кустом одеяло. Как только нормировщик заканчивал свой ряд, он тотчас переходил на другой участок и там проделывал ту же работу. На следующий день появились пер-

вые леоны из этой партии, а ещё несколько дней спустя собралась и вся партия. Они работали медленно, и вид у них был измученный. Амадео казалось, что он справится с этой работой. Он чувствовал себя сильным и ловким.

Его друг Иполито был одним из лучших сборщиков, он почти не отставал от нормировщика. Каждую ночь Амадео спал с ним рядом, но они редко беседовали друг с другом. Они возвращались с работы такие усталые, что, наскоро поев пшеничной похлёбки, тут же падали на свои подстилки и засыпали. Больше всего досаждали Амадео москиты, да и еда была ему очень не по вкусу. Сборщики получали по плошке пшеницы три раза в день. Апельсинов удавалось подбирать всё меньше и меньше, жареная кукуруза, которую он захватил из дому, пришла к концу, и эта однообразная, скудно посоленная пища сильно ему приелась. Но другие сборщики, как видно, несколько от неё не страдали. Они съедали свою порцию, не говоря ни слова. Что же касается гадюк, которые создали этим плантациям такую дурную славу, то Амадео не видел ещё ни одной. Никто не боялся их так, как его друг Иполито. Иполито рассказал, что его родной брат умер у него на глазах от укуса змеи. Другие сборщики предостерегали его:

— Нельзя так бояться их, Иполито. Хуже будет.

Но он боялся, он никогда не знал покоя. Для большей безопасности он каждую ночь сооружал вокруг своей подстилки барьер из длинного шерстяного шарфа, который днём служил ему поясом. Шарф был домотканый, очень плотный, и Иполито ещё придавливал его камнями. Есть поверье, что гадюки, наткнувшись в своих ночных странствованиях на незнакомый предмет, особенно на что-нибудь шерстяное, уползают обратно.

И всё же, несмотря на все предосторожности, змея укусила Иполито. Он вскочил и начал будить Амадео. спавшего рядом с ним, а потом вместе со своим другом бросился к дому надсмотрщиков. Надсмотрщики все были в сборе, но, кроме них, там оказался ещё и сам дон Косме — хозяин плантаций, приехавший накануне посмотреть, как идёт работа. Дон Косме зажёл свечу и осмотрел укус: в разрезе рубахи на крепкой молодой груди виднелась ранка. Хозяин крикнул:

— Гадюка!

Пусть бы это был скорпион или ещё какое-нибудь другое ядовитое насекомое! Иполито хрипло застонал, а дон Косме бросился к колоколу, висевшему на манговом

дереве. Бом! бом! бом! Можно было подумать, что дом охвачен пожаром. Затем дон Косме разрезал ранку ножом крест-накрест, и из неё хлынула кровь. Разбуженные ударами колокола, один за другим прибежали пеоны; разомлевшие от сна и жары, они осоловело вглядывались во мрак.

— Гадюка, гадюка! — только и сказал им дон Косме, но от одного этого слова всю их сонливость как рукой сняло.

— Тащите сюда горячих углей! — закричал дон Косме, забыв, что была глухая ночь, но тут же крепко выругался и добавил: — Откуда, чорт их дери, возьмутся сейчас горячие угли! Раздуйте горн и накалите-ка мне пару железных прутьев. Да живо, живо! — Никто ещё не мог притти в себя. — Стойте... бегите за лимонами, да принесите как можно больше.

Пеоны, бросившиеся уже было к кузнице, остановились, выслушали этот новый приказ и через минуту растаяли во мраке. Амадео молча глядел на Иполито, а тот всё твердил жалобным, дрожащим от ужаса голосом:

— Я умираю, хозяин! Не дайте мне умереть, хозяин!

Дон Косме ответил:

— Лезь скорее в воду, пошевеливайся!

Около дома была глубокая канава, полная воды, которой пользовались для поливки растений.

— Полезай туда! — приказал дон Косме.

Иполито забрался в воду по самую шею.

— Держи ему голову! — сказал дон Косме Амадео, и тот вошёл в воду и ухватил своего друга за его взлохмаченные волосы, чтобы он невзначай не ушёл под воду.

Вода была очень холодная, а быть может, это просто так казалось от перепугу, но Амадео чувствовал, что холод пронизывает его до самых костей. Дон Косме поставил свечу на край канавы, защитив её от ветра камнем, и стащил окровавленную рубашку с дрожавшего, как в лихорадке, Иполито.

— А чорт! — пробормотал он. — Уже начинает пухнуть. Ущипни-ка себя. Чувствуешь что-нибудь?

Иполито ущипнул себя за грудь и завыл в смертельной тоске:

— Ничего я не чувствую! Я умираю! Не дайте мне умереть, хозяин!

Ночь была жаркая, душная, кругом во мраке двигались, колыхались тени. Едва различимые в темноте, стояли пря-

моугольники домов и округлые силуэты деревьев. Пролетел светляк, свив волнистую ниточку света.

— Не дайте мне помереть, хозяин!

Откуда-то издалека донеслись тяжёлые вздохи кузнечных мехов, и, наконец, вспыхнуло долгожданное пламя.

— Скорей вы там! — крикнул дон Косме.

Вернулись работники, убежавшие за лимонами; они разрезали золотистые плоды своими мачете и выжали сок прямо в открытый рот Иполито. Лицо у Иполито осунулось, он стал похож на мертвеца; когда он закрыл рот, чтобы проглотить сок, видно было, как на шее у него верёвками вздулись жилы.

— Успокойся, — сказал дон Косме. — Вода охладит тело и не даст яду проникнуть дальше. Лимоны тоже сделают своё дело. А сейчас и железо принесут.

Тут он вспомнил, что хотел прижечь рану свечкой, и велел Иполито высунуться по пояс из воды. Но он только закапал грудь салом. Влажная грудь блестела, по ней растекалась уже большая опухоль. Тогда дон Косме достал спички, но они шипели и тухли, как только он подносил их к ране. Яд распространился уже далеко, Иполито не чувствовал даже боли от ожога.

— Не дайте мне умереть!.. Ещё лимонов, ребята! Вот так...

Все головы склонились над Иполито, бронзовые руки тянулись к открытому рту и выжимали в него лимонный сок, весь до последней капли. Наконец появились пеоны с раскалёнными прутьями.

— Давайте сюда один, а другой держите в горне, — сказал дон Косме; он здорово разозлился, потому что они принесли оба прута сразу.

Дон Косме взял докрасна раскалённый прут и сунул его глубоко в рану. Раздалось шипенье, запахло жареным мясом. Многим пришёл на память запах жареной свиины, и они почувствовали отвращение и острую жалость к бедному Иполито. Меж тем дон Косме продолжал вертеть прут в ране, и раскалённое железо шипело, проникая в тело, и огонь пожирал тело, истребляя опухоль, истребляя яд.

— Так, так, хозяин!.. Да поможет вам бог!.. Жгите, жгите, хозяин!

Иполито не чувствовал боли. Железо совсем остыло, и дон Косме велел принести другой прут. И снова добела раскалённое железо, размячённое от жара, погрузилось в распухшее отравленное тело.

— Жгите, хозяин, жгите!

Дон Косме прижёт железом всю опухоль, вплоть до того места, где тело было ещё живо и отзывалось на ожог болью.

— Нет, не здесь... нет, нет, не надо!... Жжёт! — и затем еле слышно: — Ближе к сердёвке, жгите как следует, хозяин! — как бы стараясь побороть самого себя.

Яд не мог распространяться дальше, сквозь сожжённое, омертвевшее тело, и дон Косме заявил, что лечение закончено.

Никто не решался лечь спать после того, что произошло, а Иполито, Амадео и те из пеонов, которые спали с ними на крыльце, провели остаток ночи у канавы. Проснулись весёлые птицы и, как всегда, радостно защибетали. Но в это утро счастливый хор птичьих голосов казался чем-то неуместным, словно и птицы должны были бы разделить с людьми их ночную тревогу. И всё же, когда жизнерадостный птичий щебет, словно поток света, хлынул в долину, бедный Иполито почувствовал, как счастлив он, что остался жив.

Пеоны обыскали постель Иполито, обшарили всё вокруг и в конце концов нашли змею, притаившуюся под кучей камней. Змея была жёлтая с белыми пятнышками — атункуяна. Каждому хотелось расправиться с ней, чтобы отплатить за пережитый страх, за смертельную опасность, которая всем им грозила. Округлое грациозное тело змеи скоро превратилось в бесформенную массу.

— Сожгите её, — приказал дон Косме.

Останки змеи подцепили на лопату и бросили в наскоро сооружённый костёр. Изуродованное тело с плоской головой долго ещё извивалось и билось в пламени.

Дон Косме дал Иполиту мазь. Амадео, разинув рот, глядел на чудовищную рану. Ни на одной, самой заезженной лошадёнке не видел он такой язвы. Но хуже всего было то, что силы Иполита уже не могли вернуться. Он стал такой бледный, совсем прозрачный, и одна рука у него тряслась. Его отослали домой, и все пророчили, что долго он не протянет.

Проработав с неделю на подрезке деревьев и убив жёлтую змею под названием нитихуарака, которую он нашёл в дупле апельсинового дерева и разрубил надвое своими ножницами, Амадео Ильяс узнал, что ему пора приступить к сбору коки.

Вместе с десятью самыми слабосильными работниками, которых пригнали на плантацию надсмотрщики, Амадео поставили рядом с нормировщиком; тот дошёл уже до половины участка.

— Слушай, оставь-ка для этих ещё рядов одиннадцать. Ну, вы должны быть благодарны за то, что вас поставили сюда, — это только потому, что один новичок, а остальные никудышные работники. Вас бы следовало поставить врозь, каждого на отдельную работу, чтобы вышибить из вас лень.

Амадео ни о чём не подозревал; он не знал, что эти двое надсмотрщиков только что изнасиловали его жену. Когда они отправились по домам сгонять не вышедших на работу пеонов, один из них сказал:

— Тут есть хорошенькая девчонка, она совсем недавно появилась здесь, а муж работает сборщиком на плантации.

Они слезли с лошадей у костра, на котором она готовила себе пищу.

— Мы приехали познакомиться с тобой поближе, — сказал один из надсмотрщиков.

Когда она поняла, что им от неё нужно, и хотела убежать, один из них уже успел схватить её за руку. Они втащили её в дом и изнасиловали. Бедная женщина, на которую за всю её жизнь никто руки не поднял, горько плакала от унижения.

— Вам раздолье оттого, что мы бедняки, оттого что мы не можем защитить себя... Трусы!

Надсмотрщики расхохотались: ну ещё бы, разве не видно каждому дураку, какая это бессловесная тварь!

Новый сборщик, стараясь всё делать так, как другие, расстелил одеяло, наклонил куст и начал старательно обдирать листья. Неужто в этом и всё дело? Да это совсем легко! Нужно только следить, чтобы на кусте не оставалось листьев.

Он быстро закончил один ряд. Нормировщик работал впереди, и Амадео спросил его, за какой ряд ему теперь приниматься?

— Ты, я вижу, умеешь работать, — сказал тот.

Но скоро Амадео заметил, что у него начинают гореть ладони. Ветви куста были жёсткие, покрытые чёрной корой, на которой красиво выделялись нежные зелёные листья овальной формы. Чтобы ободрать листья, нужно было с силой сжимать ветки, и от этого в ладонях начался зуд. От согнутого положения и непрерывной работы рук болела спина. Солнце начинало припекать. Теперь

уже Амадео не мог работать так же быстро, как вначале. Отставшие сборщики начинали его догонять. Все они были изнурены малярией, а один сильно кашлял.

— Не гони так, — сказали они ему.

Передние сборщики из других групп тоже нагоняли их. Вдали белели рубашки отстающих.

Одеяло Амадео наполнилось, нужно было нести листья на сушильную площадку. Когда он вернулся, то увидел, что на его участке появились новые сборщики. Листья сыпались с мягким шелестом. Сборщики работали, низко согнувшись, поглощённые своим делом. Лица блестели от пота, мокрые рубашки прилипли к телу. Амадео снова принялся за работу. Когда он начал новый ряд, нормировщик перешёл уже на другой участок. Амадео теперь работал бок о бок с остальными сборщиками. Но скоро волна сборщиков прошла мимо него, и он вместе с другими отстающими оказался далеко позади, хотя ещё не в самом конце.

Амадео продолжал работать, но ладони ему жгло всё сильнее и сильнее. Он увидел, что они сплошь покрылись волдырями. На его счастье, удары колокола возвестили перерыв. С тыквой в руке он занял место в очереди перед котлом и получил ковш пшеницы. Поваром был один из пеонов, страдавший хронической малярией и потому не работавший на плантации. Все ели молча, потом приготовили себе жвачку из коки и снова взялись за работу. Ладони Амадео болели всё сильнее и сильнее. Спину и плечи совсем разломило. Волдыри на руках полопались, и кусочки кожицы цеплялись за шершавые ветви. Липкая жидкость сочилась из волдырей, боль становилась невыносимой, но он должен был не переставая обдирать ветви, которые, словно когтями, впивались в его ладони. Теперь он уже сильно сдал, он был даже позади отстающих, но всё же не среди самых последних — тем понадобится ещё несколько дней, чтобы добраться ююда. На ладонях у него выступила кровь.

Он совсем ослабел от боли, голова у него кружилась, и он присел отдохнуть на краю колодца. Один из пеонов работал небрежно, оставлял листья на кустах; это заметил надсмотрщик, подкравшись сзади, он с размаху ударил его палкой по согнутой спине и сбил пеона с ног.

— Сколько раз я говорил тебе не оставлять листьев на кустах! — заорал надсмотрщик. — Ну, вставай, принимайся за работу, не то я дух из тебя вышибу!

Пеон с трудом поднялся на ноги и снова взялся за свой куст. Амадео тоже встал и хотел приняться за работу.

— Что ты тут делаешь? — закричал надсмотрщик, направляясь к нему.

Амадео с чувством глубокого унижения наклонился над кустом. Он не видел человека, он видел только палку, которая приближалась к нему. Надсмотрщик подошёл. Амадео работал, преодолевая боль. Дождь зелёных листьев, покрытых кровавыми пятнами, сыпался на одеяло.

— Ну, ты, я вижу, уже наговорил дел. На сегодня хватит, ступай в барак.

Амадео связал собранные листья в одеяло и ушёл.

Он высыпал листья на сушильной площадке и задумался, не зная, что ему делать дальше. Ладони жгло, как огнём, и не было никого, кто бы мог ему помочь. Если бы его друг Иполито был здесь! Наконец пришёл повар с половником в руке; он помешал в котле, а когда увидел Амадео, который сидел, положив руки на колени ладонями вверх, достал сальную свечу из стенного шкапчика и сказал:

— Натри себе ладони свечкой. Скверная это штука — уж я то знаю, у меня тоже было, да и у кого этого не было. У тебя ещё раза три-четыре повторится, пока не наработаешь себе хороших мозолей. Да, собачья у нас тут жизнь! А уж хуже нет, как подхватить малярию. Я вот, видишь, совсем расклеился, — потому они и послали меня на кухню. Через два дня на третий трясёт лихорадка, и я так ослаб, что еле держусь на ногах. Собачья жизнь!..

Амадео натёр ладони свечкой, и боль немного утихла.

— Почему ж тебе не уйти отсюда? — спросил он.

— Уйти? А кто ж будет платить за меня долг? Я и так в долгу по уши, а нужно платить за хинин, который мне и помогать-то уж больше не помогает. Хинин хорош только с самого начала. Потом от него никакого проку нет..

Повар поплёлся из барака. Лицо у него было жёлтое, как кожура банана.

Печально кончился день для Амадео. Когда настал вечер, он не мог даже слушать, как обычно, воркованье си-зюкрылых горлиц в верхушках деревьев, окутанных розоватыми сумерками. Он не мог удержать в руках плошку, из которой ел, не мог ни постелить себе, ни достать тыквенную фляжку с известью, ни приготовить коку. Он не мог даже отогнать москитов. И очень долго не мог уснуть. Снова начало ломить спину. Кто-то кашлял, кто-то жало-

вался, что его трясёт лихорадка. Остальные спали тяжёлым, мучительным сном. Амадео засунул себе коку за обе щёки и, наконец, забылся тоже.

Он не мог работать на другой день. Прошёл ещё день, и ещё. Через две недели нормировщик закончил свою работу, тогда по такой же системе началась обработка земли. Нормировщик отработал свой участок в двадцать дней. С этого дня он уже зарабатывал по пятьдесят центаво в день. Точно так же и все, кто успел закончить свою долю. Но когда Амадео попробовал взяться за лопату, его ладони снова начали кровоточить. Даже сорняки были здесь особенные, не похожие на те, что росли в пшенице или кукурузе. Жирная почва и тропический климат питали их листья и корни, вливая в них силу. Копать нужно было глубоко и переворачивать траву так, чтобы задушить её гязестью её собственных корней, облепленных комьями земли.

Как ни старались пеоны, мало кому удавалось что-нибудь заработать. Амадео, дожидаясь пока подживут у него руки, наблюдал, как надрывались на работе другие, как она подтачивала силы этих людей, уже и без того изнурённых малярией. Когда обработка была закончена, земля и кусты слились в одну серую массу, затенённую зелёным пологом деревьев.

Под навесами высились зелёные горы душистых листьев, их увязывали в кипы или улаковывали в корзины, сплетённые из банановых веток, и увозили на рынок для продажи. Там любители сладких листьев коки купят их и не будут знать ничего об их горечи, как не знал о ней когда-то Амадео.

В день выплаты нормировщик и с десятков самых здоровых, выносливых пеонов получили десять — пятнадцать солей. У других заработок еле-еле покрывал расходы. У остальных и того не было. Все слабые или больные только ещё больше залезли в долги. У Амадео, который мог лишь подрезать деревья, долг возрос до двадцати солей.

Взобраться на гору оказалось для него нелёгким делом.

Жена встретила его с заплаканными глазами.

— Ну, сколько ты заработал?

Он показал ей свои покрытые волдырями руки, всё ещё продолжавшие кровоточить. Она ни слова не сказала ему о надсмотрщиках.

День проходил за днём. Жена Амадео старалась подбодрить мужа, влить в него новые силы. Он поправится, будет работать и заработает много денег. Он привыкнет, и будет так хорошо работать, что выплатит весь долг, и даже не будет отставать от нормировщика. Тогда уж им придётся платить и ему. Амадео молчал — теперь он знал, что это за работа. Она казалась совсем лёгкой, но была очень тяжела. Потом, к довершению всех бед, он заболел малярией. Вначале его так трясло, что у него зуб на зуб не попадал, и его швыряло и подбрасывало на постели. Затем жар начал усиливаться, душить его, пламенем окутывая тело. Пот лился ручьями. Амадео стал бредить. Приступ длился часа два-три. Жена побежала на ранчо и вернулась с пузырьком хицина, который обошёлся ей ещё в десять солей.

Но ничто не помогало, и тридцать дней подряд Амадео метался на постели, пугая свою бедную жену горячечным бредом. Когда он стал поправляться, глубокая тоска овладела им, он ничего не ел и с каждым днём худел всё больше и больше. Единственной его отрадой была кока, — только кока могла хоть немного развеять его печаль. Его жена пошла за цыплёнком в одну из хижин, видневшихся в отдалении, и там ей сказали, что так всегда бывает при малярии. Если её муж станет опять спускаться в долину на плантации, он никогда не поправится. Работник, который жил раньше в доме Амадео, умер от малярии.

Амадео пошёл к главному надсмотрщику просить, чтобы ему дали работу в горах, но тот отказался наотрез, сказав, что слишком уж всем повадно будет. Снова приближалось время сбора, и болезнь могла вернуться. Оставалось одно — уйти. А куда? Амадео задолжал уже шестьдесят солей, и так как все знали, что он из Руми, его, конечно, станут искать там. Быть может, попытать счастья на другом ранчо?..

Они пришли на ранчо Ламас. Здесь им не дали ни земли, ни жилья, да и дать-то было нечего. Амадео с женой должны были сами построить себе хижину, а пока ночевать в овчарне и есть на кухне вместе со слугами. Прошло несколько дней, и на ранчо появились двое надсмотрщиков, посланные на розыски беглецов. Хозяин ранчо Ламас уплатил долг Амадео, и он с женой мог теперь оставаться здесь. Но они снова попали в кабалу. Что же им было делать?

Чтобы жить, им нужен был маленький клочок земли, а он стоил так дорого!

КРОВЬ В ДЖУНГЛЯХ

Три мучительных ощущения слились воедино и оставили неизгладимый след в душе Аугусто Маки, когда он ехал в джунгли.

Первое из этих ощущений родилось в ту минуту, когда он прощался с конём своим в Чачаоие. Расставаясь с ним, он простился с последним обитателем Руми. Бенито Кастро оказался счастливей, ему не пришлось разлучаться со своим конём Лусеро. Аугусто потрепал шею своего гнедого, с тяжёлым сердцем взял плату за него — тридцать солей и стоял, глядя, как новый хозяин повёл коня по улице, пока оба они не скрылись за углом.

Какими словами можно описать горе крестьянина, который остался пеший, без лошади, в неведомых краях. Животное ведь тоже переживает разлуку. Другая лошадь обернётся к хозяину и жалобно заржёт. Иной раз и мужчина заплачет, расставаясь со своим конём. Аугусто расставался не с человеком, но животное до того сроднилось с ним, настолько стало частью его самого, что слово «друг» невольно приходило ему на ум, когда он думал о своём коне. Но так уж сложились обстоятельства, эти неизбежные преграды, которыми ограничена деятельность каждого живого существа, — их пути разошлись, и жизнь каждого пойдёт теперь по-своему. Конь не мог идти в джунгли, Аугусто мог. Гнедой не заржал, но его маленькое, крепенькое тело судорожно вздрагивало, когда Аугусто дружески похлопывал его; и он смотрел на юношу кроткими тёмными глазами. Когда же новый хозяин потянул за уздечку, он упрямо попятился и обернулся к Аугусто, словно просил его помочь как-нибудь. Но щёлкнул хлыст, и конь с видом горестного смирения пошёл медленно и неохотно. Аугусто не плакал, должно быть потому, что здесь был дон Ренато, его новый хозяин, и тот всю дорогу от самой Кахамарки, где он заплатил Аугусто вперёд триста солей, внушал ему, что для джунглей надо иметь стальное сердце.

Следующим тягостным ощущением было исчезновение гор, вместо которых со всех сторон его обступила обильная сочная зелень. Мало-помалу из глаз исчезали вершины, сьерры, горы, предгорья, склоны. Даже камни остались где-то там. Вместо них появилась трава. Трава переходила в кусты, кусты в заросли, заросли в чащи, а чаща в

джунгли. Аугусто то и дело оглядывался, ему казалось, словно он спускается в какую-то бездонную пещеру. Где-то далеко-далеко маячила изломанная линия голубых гор. Там был его мир. А теперь перед ним, над ним, вокруг него колыхался лес — новый мир, о котором Аугусто не знал ничего.

Третье мучительное ощущение было — зрелище их носильщиков. Перед тем как они вступили в лес, погонщики мулов, которых нанял дон Ренато, ушли назад со своими животными, а навстречу их партии вышел отряд сборщиков каучука. Они гнали перед собой десяток диких индейцев, которые должны были тащить всю кладь, оружие, одежду, консервы, инструменты. Покорные и выносливые, как животные, и такие же терпеливые — ибо у них только изредка вырывался стон, взвалили они себе на спину громоздкие тюки и двинулись в путь. Толкая тропинка, выходящая между стволами деревьев и лианами и укрытая сверху ветвями, туннелем уходила в джунгли. Впереди шли индейцы, за ними дон Ренато с партией новичков, одним из которых был Аугусто. А сзади — сборщики каучука. Стоял ещё день, но было темно, как ночью. Иногда вдруг солнечный луч пробивался сквозь тёмнозелёную чащу, и это было похоже на вспышку ослепительной молнии. Каждый шаг оставлял в болотистой почве ямку, которая сейчас же наполнялась водой. Медленно и однообразно шлёпали они друг за другом, и каждый видел перед собой только спину идущего впереди да ближайшие стволы деревьев, всё остальное утопало во мраке. Казалось, словно они идут навстречу непроглядной ночи. Дон Ренато, который, по видимому, сам чувствовал всю величественную внушительность амазонского леса, промолвил:

— Ну, ребята, мы в джунглях.

Поистине так оно и было.

И в душе Аугусто так и запечатлелись в едином переживании разлука с конём, исчезновение гор, наступающее на него со всех сторон дремучее царство деревьев и согбённые под тяжёлой ношей спины индейцев. Маргича занимала особое место в его мыслях, заслоняя собой всё. Болото доходило теперь им уже до колен и постепенно становилось всё мягче и глубже.

Один из индейцев-носильщиков, тот, что шёл впереди, крикнул задним:

— Берегись, глубоко!

Кто-то из сборщиков. лелжась за стволы деревьев, про-

брался вперёд. Аугусто почти ничего не видел перед собой.

Так они продолжали путь, погружаясь в зыбкую трясину, сперва по пояс, а потом по плечи. И лица согбённых носильщиков и их длинные волосы были уже забрызганы грязью. Те, что шли сзади с оружием, несли его, держа обеими руками высоко над головой. По обе стороны тропинки при слабом свете, пробивавшемся сквозь завесу ветвей, виднелась вода, в которой стояли вековые стволы, дальше всё терялось в темноте. Когда они выбрались из самого глубокого места и перестали проваливаться выше колен, дон Ренато сказал.

— Вот в этой трясине, из которой мы только что вылезли, говорят, живут два алигатора, которые будто бы едят людей. Признаться, сам я их ни разу не видал.

— Да тут они рады выдумать кучу сказок про алигаторов, — проворчал один из сборщиков.

Они расположились на ночлег на берегу небольшого ручья. Над волнистыми очертаньями лесов, которые сменили угловатые профили гор, там и сям сверкал красно-фиолетовый отблеск заката. Они смыли с себя грязь в медленно бегущей воде. Ночь окутала своим покровом непроглядно чёрный небосвод, в котором как будто совсем близко мерцали громадные звёзды. Сборщики, к которым теперь принадлежал и Аугусто с другими новичками, поели, сидя у костра. А подальше, у реки, молчаливой угрюмой кучкой расположились индейцы-носильщики. Некоторые из них были одеты в серые балахоны, на других были только штаны. На их бронзовых телах при свете костра были видны открытые раны, натёртые верёвками или острыми краями кледи; от этих тел несло потом, как от разгорячённых животных, а загноившиеся язвы издавали зловоние.

Похоже было, что дождя не будет. Носильщики растянулись прямо на песке, а остальные расстелили одеяла. Костёр догорел, и в воздухе замелькали огни светляков. Из джунглей доносились крики ночных птиц и рёв зверей. Один опытный сборщик посоветовал Аугусто не поворачиваться, когда он ляжет, потому что края углубления, которые образуются под его телом, натрут ему бока, если он будет вертеться. Многому ему ещё предстоит поучиться. Но всё казалось таким незначительным наряду с этим многоголосым шумом и тысячами звуков, которые доносились из таинственных недр леса. Река медленно струилась в темноте, яростные москиты неумолчно звенели над голо-

вой, гигантские деревья поднимались в небеса и раскидывали свою листву рядом со звёздами.

Как-никак, а эта крытая тропинка всё же шла по земле, она была связью с тем миром, который остался позади. Но в каное, посреди быстрого потока, Аугусто Маки ясно почувствовал, что он действительно вступает в новую жизнь. Длинные узкие челны, набитые людьми и тюками, плыли один за другим. Над некоторыми были устроены навесы из пальмовых листьев. Когда река стремительно неслась через пороги, казалось, что их вот-вот перевернёт и они пойдут ко дну. Но гребцы-индейцы, взмахивая широким веслом, искусно вели лодку между камнями и водоворотами, и она скользила, как рыба, по поверхности воды. Деревья, нескончаемые деревья всех оттенков зелени, поднимались по берегам. А впереди и позади не было видно ничего, кроме воды. А наверху — молочно-голубоватое небо, закрытое облаками. Кое-где на песчаной отмели грелся на солнце аллигатор. Едва заметив лодки, он шумно бултыхался в воду. Серые журавли, стаи зелёных попугаев и неведомых птиц с криками пронеслись над головами. Гребцы-индейцы неутомимо работали веслом, и челны, быстро рассекая воду, стремились по течению к какой-то пристани, которой, казалось, никогда не достигнут. Река бежала, бурлила, образуя водовороты, поднималась глубокая и полноводная там, где в неё впадали другие реки, размывала берега, подтачивала и валила деревья, захлестывала широкие песчаные отмели, грохотала в глубине скалистых теснин, а местами разливалась, словно тихое озеро, и снова обрушивалась тяжёлыми волнами и яростными водопадами. Хотя она была очень широкая, всё же с одного берега было видно другой, и она казалась бесконечно длинной. Иногда лодки двигались без вёсел, просто по течению, наконец, они поднялись вверх по притску и через два часа пристали к посту Кануко.

Человек только тогда по-настоящему узнаёт, что такое джунгли, когда он покинул тропинку и вступил в это царство растений, где единственный след — это след его собственных шагов, который тут же исчезает под опадающей листвой. Тут только он почувствует эти страшные, как щупальцы, объятья леса, противостоять которым можно только, обладая крепкой спиной, твёрдой ногой, сильной рукой и зорким глазом, ибо здесь каждую минуту его со

всех сторон подстерегает смерть. Она может настигнуть его внезапно — от метко выпущенной стрелы дикаря или от клыков хищного зверя, или задушить его медленным, бесконечным блужданием в этой непроходимой чаще деревьев, лиан, ползучих растений, папоротников, корней, стволов, которые умирают, и тех, которые поднимаются из земли, тянутся кверху, изгибаются, перелетаются один вокруг другого, пробивают себе дорогу к небу. Иные протягивают свои объятия солнцу, и оно ласкает их высоко раскинувшуюся листву; другие, примирившись с тем, что никогда не увидят его, судорожно обвиваются вокруг мощных стволов и высасывают их соки. Лианы и другие ползучие растения плетут громадные паутины, а стройные пальмы вносят неизъяснимое очарование в этот огромный, скученный мир.

Здесь такое множество пальм, что ни один ботаник не может похвастаться, что он знает их все. Женственные, грациозные подле громадных узловатых деревьев, толстых тростников и уродливых и уродующих паразитов-растений, они поднимают свои приветливые вершины и зовут человека, предлагая ему кокосовый орех, мясистую сочную сердцевину, крепкие волокна, из которых делают гамаки, листья, которые идут на шляпы, и, наконец, лучший дар заблудившемуся путнику — указывают ему дорогу. Они поворачивают свои верхушки к солнцу, следуя за ним с минуты восхода до самого заката, какая бы густая листва не закрывала от них солнечные лучи. Заблудившийся путник, если он понимает это красноречивое движение, найдёт свой путь и выберется из этого бездонного океана джунглей. Пальма — это компас, который поворачивается к полярной звезде джунглей — к солнцу.

Аугусто Маки, сборщик каучука с поста Кануко, вступил в джунгли вместе со многими другими, но больше всего он сблизился со старым сборщиком, которого звали Кармона. Как-то раз Кармона сказал Аугусто:

— Ты перестанешь бояться джунглей в тот день, когда пройдёшь по ним десять километров безо всякой тропы и без отметин на деревьях и не запутаешься.

Пока что Аугусто понимал, что он не способен на такой подвиг. Он спотыкался о корни деревьев, вьющиеся растения и ветви колотили его по лицу. Он почти ничего не видел перед собой.

— А ты знаешь, какое оно, каучуковое дерево? — спросил его Кармона.

Они остановились перед одним из этих истерзанных обитателей леса. Весь его ствол был покрыт ранами и язвами. Мягкая гладкая кора была вся в рубцах, дерево исходило кровью. Человек в джунглях тоже истекал кровью — и цивилизованный, и дикарь. Аугусто Маки, которому многое открылось в Кануко, увидел в этом дереве своего страдающего брата. Но он должен был подавить в себе всякое чувство жалости. Когда им через несколько шагов попало ещё совсем нетронутое дерево, они надрезали его тёплую кору острым краем топора и подвязали снизу жестянки, чтобы туда стекал его густой сок. Они не стали терять время и дожидаться, пока жестянки наполнятся, а пошли дальше. Они соберут жестянки с соком на обратном пути.

Они углублялись всё дальше и дальше в густую чащу. На исходе дня они повернули обратно. Единственное каучуковое дерево, которое встретилось им в тот день, было то, что они обрекли на смерть, — и смерть уступила им свою долю.

Несколько хижин, сложенных из пальмовых стволов, на расчищенном участке изображали собой пост Кануко. В одной из этих хижин жили дон Ренато и его помощник Кустодно Ордоньец; в другой — сборщики каучука, которые пользовались некоторой свободой: они надзирали за дикими индейцами и рабочими. В остальных жили индейцы из джунглей или горцы, а выражаясь более точно — бедняки, ибо среди них были и белые, и метисы. Хижины были поставлены на толстые сваи, чтобы предохранить жилище от сырости этой болотистой амазонской местности. Кроме того, было ещё особое помещение для женщин. Это были наложницы дона Ренато, Ордоньеца и надсмотрщиков. Они приводили себе из джунглей молоденьких индейских девушек, которым суждено было изведать страдание и горе в объятьях этих жестоких, властных, грубых и разнузданных людей.

Ордоньец был высокий мускулистый мужчина со светлыми глазами и худым лицом, которое от заостренной бородки казалось ещё длинней. Он носил широкополую шляпу из пальмового листа, жёлтую рубаху и грубые штаны. На его толстых башмаках блестели серебряные пряжки. За поясом у него вечно торчал револьвер, а иногда он появлялся с ружьём за плечами. Дон Ренато считался собственником и хозяином поста Кануко, но Ордоньец по природе был более властный человек, и в этом мире насилия заправилкой в сущности был он.

Каучук собирали не только одни рабочие с поста Кануко, индейцы из джунглей тоже были обязаны приносить каждую субботу свою долю. Короче говоря, они были рабами сборщиков каучука. Те подчинили их себе кнутом и оружием. И индейцы перестали охотиться, пахать землю, прясть, чтобы иметь возможность справиться со своими новыми обязанностями. С раннего утра до темноты сходились они по субботам со всех сторон, из глубины джунглей — мужчины, женщины, дети — и тащили чёрные комки резины. Тела у них были цвета меди, волосы длинные, спутанные; некоторые из них носили серые рубашки, другие ходили совсем голые. Сборщики каучука принимали их дань, а тех, кто принёс недостаточно, тут же пороли. Их привязывали к дереву и наносили им от пятидесяти до ста ударов плетью. Не щадили даже детей, и матери, чтобы успокоить кричащих от боли ребятишек, дули на их избитые и окровавленные ягодицы и лизали их. И у всех индейцев спины были покрыты рубцами и шрамами.

Ордоньец встречал индейцев бранью и угрозами:

— Если вы, грязные дармоеды, будете приносить меньше того, что полагается, я вас не только изобью, а убью всех до одного.

Это насилие над обитателями джунглей ведёт своё начало с давних пор, и история его заслуживает внимания. Стучилось это в 1866 году. В самых последних числах июня колесо парохода впервые рассекло воды реки Укаялы. Судно «Путумайо» вышло из Игитоса, отправляясь в одну из первых экспедиций, организованную морским ведомством. Лопасти колёс нерешительно пошлёпывали по неведомым водам. По обе стороны джунгли. Множество деревьев, множество притоков и изредка жилище одного из первых колонистов — этих бесстрашных людей, которые пришли сюда, чтобы покорить природу и диких индейцев, и теперь с жестоким упорством прокладывали себе дорогу топором и ружьём. В те дни шла торговля лесом, шкурами и тем, что рождала земля. Каучук ещё не был известен промышленности.

В августе настойчивое судёнышко, которое по пути наткалось на множество плывших вниз по течению брёвен, поднялось вверх по течению реки Пахитеи. Колонисты здесь уже почти не попадались. Команда рубила лес для топки котла. Тяжёлые, толстые стволы, наполовину погружённые в воду, стучались о судно, и оно вздрагивало. Сильный вдоворот увлёк судно в излучину реки, где оно

врезалось в грудь прибитых течением брёвен. Сколько ни подбавляли пару, судно, зажатое брёвнами, не двигалось с места. Матросам пришлось выйти и топорами расчищать путь — рубить брёвна и спускать их вниз по течению. Проработав целый день они, наконец, освободили пароходик. Люди, которые пришли покорять джунгли, не так-то легко падают духом. Они продолжали двигаться вперёд. Но джунгли не уступали. На следующий день плывший по реке громадный ствол дерева ударился о пароход и пробил ему корпус. Вода хлынула в корму с двух сторон. Пришлось прибиться к первой попавшейся отмели, чтобы не дать затонуть судну. Пока пароходик приводили в порядок, начальник экспедиции отправился к устью Пахитеи за трюмантом.

Четырнадцатого-августа на берегу появились четыре индейца из племени Кашибос и начали делать дружественные знаки членам экспедиции. Это были высокие, сильные, совершенно голые люди с копьями в руках. Все племена трепетали перед кашибосами, никому ещё не удавалось победить их в сражении. Но цивилизованные люди, разумеется, не обнаружили перед ними никакого страха. Они спустили лодку, и два офицера, Тавора и Уэст, сели в неё с несколькими матросами. Туземцы встретили их радушно и позвали к себе. Тавора и Уэст пошли за ними по песчаному берегу. Внезапно с деревьев посыпались сотни стрел, и оба офицера упали, пронзённые множеством остриёв. Все четыре кашибоса сразу повернулись и воткнули в них свои копья. Матросы, которые уже втащили лодку на берег, не стали тратить времени и спускать её обратно на воду, а бросились вплавь к «Путумайо». Индейцы подобрали убитых и скрылись в лесу. «Путумайо» вернулся в Игитос. Кашибосы решили, что они выиграли битву и прогнали неприятеля.

Но вот три судна — «Морона», «Напо» и «Путумайо», разводя пары, вступили в воды Укаялы, следуя из Игитоса. Гряда гор Каухойя произвела на путешественников сильное впечатление, собственно потому, что это были камни. Многие из членов экспедиции очень давно не видели скал, а некоторые видели такие большие камни первый раз в жизни. В низинах Амазонки редко встречается камень. В утёсах Каухойи нет ничего особенного, — просто это камни, затесавшиеся в этот мир земли, зелени и воды. Но именно по этой-то причине они и кажутся какой-то драгоценностью.

Судна вошли в воды Пахитеи. Свирепые кашибосы жили на правом берегу реки. Начальник экспедиции, префект Аранья, выслал вперёд несколько индейцев из племени Конибо, чтобы они привели несколько человек из мирных кашибосов, которые жили на левом берегу. Стоянку решили сделать на островке Сетико, в трёх километрах от острова Чонта — места трагического происшествия и гибели офицеров первой экспедиции. Решено было поступить так, чтобы шум паровых машин не возбудил подозрения у дикарей, и они не поспешили бы принять мер предосторожности.

На следующий день на воду спустили лодки и канюэ, посадив гребцами индейцев, которых удалось залучить, и отправились в экспедицию. На исходе огненно-знойного дня пристали к острову Чонта. Индейцы сказали нам, что те, кого они ищут, живут в семи километрах от берега и что вождь их племени — свирепый Янакуна. Лучше всего, по видимому, было бы напасть на них врасплох ночью и захватить их в плен.

И вот они вступили в джунгли. Вооружённые солдаты — сорок индейцев, среди которых было несколько проводников из племени Кашибос, а остальные конибосы, — все они были вооружены луками и жаждали отомстить кашибосам за старые обиды; затем шёл префект Аранья с отрядом в десять человек с ружьями за плечами и преподобный Кальво с крестом в руках.

Следуя за индейцами, чьи глаза зорко видят и в темноте, они шли всю ночь, и кругом, впереди и позади, не было ничего, кроме деревьев; изредка попадалась тропа, утыканная острыми шипами пальмы чонта, которые индейцы нарочно втыкают в землю, чтобы калечить ноги своих врагов. В четыре часа утра они наткнулись на лодку, которую матросы бросили на берегу, и поразились тому, что дикари оказались способны перенести эту тяжёлую штуку так далеко через непроходимую чащу джунглей. Было уже совсем светло, когда они подошли к кучке жалких лагун. Там не оказалось ни души.

Вперёд!

Они прошли через широкую банановую рощу и снова очутились в джунглях. Здесь они увидели несколько странных построек, очень низких и длинных, крытых пальмовыми листьями и со множеством небольших отверстий в стенах. Кашибосы строили эти сараи для охоты. Они прекрасно умели подражать крику птиц и животных;

укрывшись в этих хижинах, они подражали голосу лани, голубя, дикой куропатки, а когда те безбоязненно шли на знакомый голос, их настигала быстрая стрела, выпущенная из маленького отверстия в стене. Но сейчас и здесь не было ни души, никаких признаков или даже следов человека.

Внезапно издали донёсся глухой бой барабана; ориентируясь по этому звуку, они вышли на поляну, где человек сорок индейцев с жёнами и детьми справляли пир. Они пили рисовую водку и плясали вокруг костров. Во время таких пиршеств кашибосы жгут тела своих врагов, сыплют пепел в вино и затем пьют его. Тела Таворы и Уэста, вероятно, постигла та же участь. Пир, повидимому, подходил к концу.

Поднялась пальба. Индейцы брооились врассыпную, несколько человек было убито, а три женщины и четырнадцать детей попали в плен. Одна из женщин оказалась женой самого Янакуны. Она отбивалась, вопила и осыпала проклятьями своих врагов, потом сорвала с шеи ожерелье из обожжённых зубов и бросила его к ногам начальника экспедиции. Отряд отправился обратно. Но не прошли они ещё и трёх километров, как до них донеслись свирепые крики, и они поняли, что индейцы где-то совсем рядом: со всех сторон посыпались стрелы — повидимому, индейцы пытались окружить их и отнять пленников. Множество кашибосов пало жертвой своей отчаянной храбрости, но это не только не удерживало остальных, а наоборот, казалось, возбуждало их воинственный пыл и жажду мщения. Янакуна носился вперёд и назад, издавая свирепые крики, пуская стрелу за стрелой и воодушевляя воинов. Но только он было прицелился в одного из солдат, как сам получил пулю в лоб. Но даже и это не устрасило воинов-индейцев. Смерть вождя разъярила их, и они бросились на своих врагов с новым ожесточением. Однако карабины и штуцера удерживали их на почтительном расстоянии, и экспедиция продолжала путь, оставляя за собою кровавые следы и трупы.

В пять часов пополудни Аранья со своим отрядом вышел на берег острова Чонта. В течение всего дня туда стекались кашибосы, и весь берег был усеян глыбами индейцами; лица у них были свирепые, а стрелы меткие. Но три судна тоже пришли сюда, получив приказ ждать экспедицию в этом месте. Индейцы, не имевшие никакого понятия о том, что такое артиллерия, были уверены,

что добыча в их руках, отряд не мог уйти с берега. Но судна выстроились, и в ту самую минуту, когда индейцы уже готовились пронзить своих врагов тысячей стрел, все пушки грохнули разом, и эхо и повторный залп грянули и загрохотали в джунглях. Густая толпа индейцев рассеялась, — большая часть их была скошена картечью, а уцелевшие с воем бросились в лес, перепрыгивая через изувеченные тела, через раненых, которые корчились на пропитанном кровью леске.

Экспедиция назвала это место портом Отмщения и, решив утвердить своё господство, поднялась ещё вверх по реке Пахитее.

Вот с этого-то проишествия, за которым последовал ряд других, совершенно ему подобных, и началось завоевание джунглей. Оно пошло быстрыми темпами, когда спрос на резину достиг своего апогея, и не окончилось и поныне. В поисках каучука тысячи смельчаков приходят в джунгли. Они полны алчности и отваги, а в этом мире, где закон диктуется дулом ружья, оба эти качества приводят к неслыханному ожесточению. Немало диких племён, оказывавших сопротивление, были безжалостно перебиты, но и тех, кто подчинился мирно, постигла приблизительно та же участь. Вдобавок ко всем надругательствам и унижениям, их заставляли ещё таскать тяжести для победителей. Это превосходило даже и их терпенье, и они не раз делали тщетные усилия стряхнуть с себя позорное иго.

С каждым днём все меньше индейцев приносило каучук на пост Кануко. Дон Ренато решил уехать и передал участок Кустодио Ордоньезу — разумеется, со всеми людьми и со всеми их долгами. Аугусто просил, чтобы его отпустили, но, конечно, просьба его была оставлена без внимания, ибо он задолжал сто солей. Он чувствовал себя не столько в плену у людей, сколько пленником джунглей. Выбраться отсюда, через эти дебри, было почти невозможно, а о том, чтобы пуститься в путь по реке, нечего было и думать, для этого надо иметь каноэ и хорошо знать дороги. Жизнь в Кануко была унылая и тяжкая. Позади хижин стеной стояли джунгли, впереди катилась река, а по ту сторону реки — снова джунгли. Наверху небо, то покрытое свинцовыми тучами, то сверкающее нестерпимо палящим солнцем.

Раз в две недели, а когда и раз в месяц из Игитоса приплывал баркас, он привозил провиант, письма и газеты,

а увозил каучук. Это была единственная связь с внешним миром. Иногда баркас привозил водку, и тогда хозяева и надсмотрщики наливались, в особенности Ордоньец. Он носился по участку, паля куда попало из револьвера, и то ласкал, то терзал пятнадцатилетнюю индейскую девочку по имени Маиби.

Во время бурь река вздувалась, а затем снова входила в русло, оставляя широкие песчаные отмели, где черепахи клали яйца. Иногда молния ударяла в какое-нибудь огромное дерево, и оно падало, и тогда десяток других, оспаривая его место, наперегонки тянулись к солнцу. Джунгли бессмертны в своём неистощимом плодородии, со своим жизнетворным теплом, обильным дождём и слепящим солнцем. Когда приглядишься к ним, понимаешь, что жизнь не в корнях, и не в плодах, а в этих созидательных силах.

Аугусто каждый день всё дальше и дальше углублялся в джунгли, но всегда вместе с Кармоной. Мало-помалу он приобретал всё большую уверенность, но впечатление таинственной жути, которое на него производили джунгли, не ослабевало. Ему казалось, что совсем близко от него, стоит только сделать ему несколько шагов, скрывается какая-то грозная тайна. Кармона уверял, что такое чувство бывает у всех, что даже самые опытные сборщики и сами индейцы остерегаются уходить в одиночку далеко вглубь. И не потому, что они боятся дикарей или хищных животных,— нет, их пугает этот страшный голос неведомого.

В чаще леса Аугусто встречал множество незнакомых ему птиц. Он очень удивлялся необыкновенным повадкам уанкави — смелого охотника на ядовитых змей и зимородка, который так любит свежую рыбку: он садится на ветке над водой и роняет в воду свой помёт в качестве приманки, и едва только рыба подплывает, он бросается вниз и выхватывает её из воды своим крепким клювом. Аугусто с интересом смотрел, как тукан трясёт листья, свернувшиеся наподобие чаши, чтобы напиться росой, а когда идёт дождь, он стоит с открытым клювом и ловит капли, ибо по-другому он пить не умеет. Были ещё марикинас, которые носились стаями над берегом реки, весело и звон-

ко щебеча. Эгих птиц можно было часто наблюдать в лесу. Другие жили высоко, на освещённых солнцем верхушках деревьев, и только изредка мелькали перед глазами сборщиков, словно золотые, изумрудные, ярко-огненные или белоснежные бабочки, но их далостный гомон доносился сверху.

Как-то раз ночью, когда возле Кануко запела айаймама, один из сборщиков рассказал об этой птице давнее преданье. В глубине тропического леса ночью, когда месяц серебрит верхушки громадных деревьев и воды широких рек, айаймама поёт протяжно и жалобно: И слышно, как она прижносит:

— Ай... ай... мама...

Эту птичку никто никогда не видел, её знают только по её пению. А виной всему злые чары Чульячаки. И вот как это случилось.

Некогда, давным-давно, на берегу реки, которая впадает в Напо, — а эта река извивается по джунглям и течёт в великую Амазонку, — жило племя индейцев Секойя, а вождём у них был Коранки. Как и у всех индейцев, была у него хижина, сложенная из стволов пальмового дерева, покрытая пальмовыми листьями. Жил он там со своей женой, и звали её Нара, и была у них маленькая дочка. Однако это уж так говорится, что он жил у себя в хижине, а на самом деле Коранки никогда дома не сидел. Был он сильный и смелый мужчина и всегда отважно шёл в самую гущу джунглей, охотился там или сражался. Стоило ему только устремить куда-либо взор, как туда уже летела его меткая стрела, и никто не мог померяться с ним силой. Фазаны, тапиры и лани падали, пронзённые его стрелами. И не одного ягуара, который пытался внезапно напасть на него, уложил он, раздробив ему череп своей дубиной. Враги его трепетали перед ним.

Насколько Коранки был силен и храбр, настолько Нара была прекрасна и трудолюбива. Глаза у неё были глубокие, как воды речные, губы красные, как спелые ягоды, волосы чёрные, точно вороново крыло, а кожа гладкая, как кедровое дерево. Она умела ткать льняные рубахи и одеяла, плела гамаки из крепких волокон пальмы шамбири, лепила горшки и кувшины из глины и сажала огород возле хижины; там цвели у неё кукуруза, юкка и бананы.

А дочка у них хоть и была ещё совсем маленькая, но силой она выдалась в Коранки, а красотой в Нару, и была она подобна прекрасному цветку джунглей.

И вот тут-то замешался в их жизнь Чульячаки. Чульячаки — это злой бес джунглей и выглядит он точь-в-точь, как человек, только у него на одной ноге, вместо ступни, не то козлинное не то оленье копыто. И нет на свете более злобного духа. Это сущая напасть для туземцев, да и для белых людей, которые идут в джунгли рубить красное или сандаловое дерево, охотиться на ящериц или анаконд, ради их кожи, или добывать каучук. Чульячаки то завлечёт их в трясиину или в реку, то собьёт с дороги и заведёт в самую чащу, а иной раз обернётся диким зверем и бросится на них. Беда, коли вы перейдёте ему дорогу, но ещё хуже, если он попадётся вам на пути. Как-то раз шёл Чульячаки мимо хижины вождя и увидел Нару. А стояло только взглянуть на неё, чтобы сейчас же влюбиться. Чульячаки, который может обернуться любым зверем, захотелось побыть возле неё, вот он и стал принимать обличье то такой птички, то другой, а то и мошки, чтобы всласть налюбоваться Нарой, не пугая её. Ну, конечно, скоро ему всё это надоело и захотелось ему увести Нару с собой. Тогда он пошёл в лес, обернулся самим собой, а чтобы не появляться перед ней совсем голым, подстерёг какого-то беднягу-индейца, который охотился поблизости, убил его и оделся в его рубаху, — рубаха была длинная и прикрывала его страшное козлинное копыто. Преобразившись таким образом, он отправился к реке и забрался в каноэ, которое оставил на берегу один мальчик. Мальчика этого отец с матерью послали собирать лекарственные травы. Но Чульячаки такой злой, что ему нипочём убить индейца в чаще или оставить мальчика на погибель в джунглях, отрезав ему путь домой. Сел Чульячаки в каноэ и поплыл по реке к хижине, которая стояла на самом берегу.

— Нара, прекрасная Нара, жена вождя Коранки! — крикнул он ей, выйдя на берег. — Я бедный путник, я давно не ел, накорми меня.

Прекрасная Нара наложила в тыквенную плошку юкки, сладкой кукурузы и бананов. Уселся Чульячаки на пороге, стал есть не торопясь, и всё поглядывал на Нару, а потом сказал:

— Прекрасная Нара, вовсе я не путник и не голоден совсем, я сказал это тебе нарочно. А пришёл я сюда

только ради тебя: твоя красота пленила меня, жить я без тебя не могу. Идём со мной.

— Я не покину вождя Коранки, — ответила Нара.

Тогда Чульячаки стал плакать, плакать и умолять её, чтобы она ушла с ним.

— Нет, я не покину вождя Коранки, — отвечала она.

Тогда Чульячаки, грустный-прегрустный, пошёл к реке, уселся в каноэ, взмахнул веслом и вскоре исчез из вида.

А Нара заметила следы, которые остались от незнакомца на песчаном берегу, и когда она увидела, что один-то след ступня, а другое копыто, она закричала в ужасе:

— Это Чульячаки!

Но она ничего не сказала вождю Коранки, когда он вернулся с охоты, чтобы он как-нибудь не обозлил против себя беса.

Так прошло полгода, но вот однажды, на исходе последнего дня шестого месяца, к берегу против самой хижины пристало большое каноэ, и из него вышел могущественный вождь. На нём была богатая одежда, голова его была украшена роскошными перьями, а на шее висели тяжёлые ожерелья.

— Нара, прекрасная Нара, — молвил он, ступив на берег и раскладывая перед ней великолепные дары, — видишь ты моё могущество? Я владыка джунглей. Иди со мной, и всё это будет твоё.

Он привёз ей прекраснейшие цветы, дивные плоды и множество бесценных даров — одеяла, блюда, гамаки, ожерелья из зубов и из семян, какие делают в джунглях разные племена. На одной руке Чульячаки сидел белый попугай, а на другой фазан, чёрный, как ночь.

— Я вижу и знаю, что ты могущественен, — ответила Нара, поглядывая на его следы, которые подтверждали то, что она про него знала, — но я ни за что на свете не покину вождя Коранки.

Тогда Чульячаки кликнул, и из реки поднялась огромная анаконда, он кликнул ещё раз, и из чащи выскочил ягуар. И по одну его сторону анаконда свила кольцами свое мощное, гибкое тело, а по другую сторону ягуар выгнул свою пёструю спину.

— Смотри, — сказал Чульячаки, — я повелитель джунглей и всех, кто живёт и дышит в джунглях. Если ты не пойдёшь со мной, тебя ждёт смерть.

— Пусть, — сказала Нара, — я не боюсь смерти.

— Я убью вождя Коранки, — грозил Чульячаки.

— Он скорее согласится умереть, — ответила она.

Тут Чульячаки подумал немного и сказал:

— Я бы мог взять тебя силой, но я не хочу, чтобы ты у меня грустила. Мне это будет неприятно. Я вернусь сюда ровно через полгода. А если ты и тогда откажешься идти со мной, я придумаю для тебя страшную казнь.

Анаконда ушла в реку, а ягуар в чащу. А Чульячаки со всеми своими дарами, грустный-прегрустный, поплелся к своему каноэ, сел в него, взмахнул веслом и исчез вдаль, как и в прошлый раз.

Когда Коранки вернулся с охоты, Нара рассказала ему всё, потому что уж больше нельзя было скрывать. И Коранки решил, что в тот день, когда вернется Чульячаки, он останется дома, чтобы защищать Нару и свою дочь.

Так он и сделал. Он натянул новую тетиву на свой лук, отточил стрелы и не уходил далеко от хижины. И вот однажды, когда Нара работала на мансовом поле, внезапно перед ней появился Чульячаки.

— Идём со мной, — сказал он. — Последний раз говорю я тебе. А не пойдёшь, я превращу твою дочку в птицу, и будет она вечно горевать в лесу. И такая она будет пугливая, что никто никогда не увидит её, а чары мои спадут только в тот день, когда она попадётся кому-нибудь на глаза. И тогда она снова станет человеком. Идём, идём со мной. Говорю тебе в последний раз. А не то...

Но Нара, подавив страх, начала кричать:

— Коранки! Коранки!

Коранки тут же появился с натянутым луком, и стрела его была готова вонзиться в сердце Чульячаки, но тот уж исчез в зелёной чаще.

Оба они бросились туда, где спала их маленькая дочка. Но гамак её висел пустой, а из шумной чащи пустого леса они в первый раз услышали жалобный крик:

— Ай... ай... мама!.. Ай... ай... мама!

Так с тех пор и зовут зачарованную птичку.

Нара и Коранки быстро состарились и умерли оба от горя, слушая жалобный голосок своей маленькой дочки, которая обратилась в такую боязливую птичку, что её никак нельзя было увидеть.

Айаймама и сейчас поёт, особенно в лунные ночи, и обитатели джунглей всякий раз заглядывают в чащу ветвей, надеясь освободить это несчастное человеческое существо. И до чего же обидно, что никому это до сих пор не удастся.

Пришло время и поспела ваниль. И Аугусто по её сильному запаху узнал, что на краю джунглей, позади-хижин, растёт целая ванильная роща. Сначала ветер доносил лёгкий нежный аромат, но потом запах становился всё сильнее и, наконец, стал совсем одуряющим. Он вызывал тошноту, от него болела голова. Узловатые лианы с широкими листьями были унизаны длинными стручками, которые плавно покачивались, распространяя своё томительное благоухание. Таковы джунгли — они домогают человека тем, что в любом другом месте цепится как пряность и идёт для приправы пищи и питья. Даже в ароматах своих джунгли не знают меры. Ордоньец приказал:

— Срубите эти лианы.

Десять сборщиков с мачете в руках срезали всю ваниль. И зелёные душистые островки, распространяя благоухание по всей реке, поплыли вниз по течению.

По ночам Аугусто думал о Маргиче. День был наполнен всевозможными обязанностями, а помимо того, в джунглях человек должен каждую минуту быть начеку. Но, свернувшись в гамаке, прислушиваясь к голосам сборщиков или, когда они замолкали, к звонкому гудению москитов, он предавался воспоминаниям. Сначала он очень тосковал о ней и с нетерпением ждал того дня, когда сможет вернуться домой. Но постепенно долги и чувство безнадёжности опутали его, словно цепкие лианы, и теперь она превратилась для него в какую-то смутную мечту. Что мог он сделать, бессильный пленник, связанный по рукам и ногам долгами, джунглями, рекой? Кроме того, ему не хотелось возвращаться домой побеждённым. Кармона говорил ему, что он может убежать и переменить хозяина. Когда? Как? Вот тут-то и была ловушка. Человек не может всю жизнь оставаться в джунглях, но когда ему удастся вырваться оттуда, всё равно его ждут подрядчик, надсмотрщик, вербовщики, которые все стоят друг за друга.

Однажды днём в Кануко на маленьком каноэ приплыл чужой сборщик каучука. Его звали Чайно. Он никому ничего не был должен, а прямо отправился в джунгли и теперь сплавлял собранные им комки резины по течению реки, подталкивая их веслом то с той, то с другой стороны. Он был похож на пастуха какого-то необыкновенного

водяного стада. У него пропало всего два комка, которые запутались в камышах. Чайно вытащил на берег свою резину и стал дожидаться прибытия баркаса. Ордоньец ходил вокруг него, бросая на его добычу алчные взгляды и то предлагал ему за неё до смешного низкую плату, то угрожал ему. Чайно не спал всю ночь, охраняя своё сокровище с ружьём в руках, а на другой день пришёл баркас. В эту ночь Кармона и Аугусто поговорили с ним по душе, и он обещал, что поможет им выбраться. Но когда он приехал в следующий раз...

Манби напоминала Аугусто Маргичу. Если Ордоньца не было поблизости, он провожал её глазами, когда она шла из шалаша женщины в хижину Ордоньца. Иногда она была в рубашке, иногда совсем голая. Её сильное, смуглое тело было свежо и прекрасно, несмотря на побои и мученья, которым она подвергалась. У неё были небольшие груди, упругий живот, а бедра её мерно и плавно покачивались при ходьбе. На её широком лице, оттенённом чёрными, как ночь, волосами, светились большие тёмные глаза испуганной птицы, а углы губ были печально опущены. Все сборщики каучука посматривали на неё с вожделением и, наверно, во сне наслаждались её любовью. Женщины у них были уродливые, а у некоторых их и совсем не было. Кармона и Аугусто иногда встречали женщин, которые приходили в джунгли собирать каучук, но с ними не так-то легко было столкнуться; кроме того, все они были покрыты рубцами и кровоподтёками от побоев, и вид у них был самый унылый.

Кармона подробно рассказывал ему о том, как он в молодые годы отправился с миссионером Маккензи к племени Агуаруна. Кармона был помощником чужеземца — гринго Маккензи, и вот однажды в горах Кахамарки они едва не отправились на тот свет. Их собирались пристукнуть в одном посёлке, где местный падре поднял чуть не всё население, распустив слух, будто этот гринго не кто иной, как антихрист. К счастью, у них были хорошие лошади, и только благодаря им они и спаслись. Индейцы из племени Агуаруна относились к гринго Маккензи радушно, слушали его протестантские проповеди, принимали от него подарки и с большой охотой помогали ему поесть его продукты. Так они проявляли своё благочестие. Потом, когда каучук поднялся в цене, они выступили на

защиту своих владений по нижнему течению Мараньона, пустив в ход колья и стрелы. Однажды они перебили на посту всех сборщиков, потому что хозяин отказался вернуть им санса — иссохшую отрубленную голову, которая некогда принадлежала одному из их вождей; они её выменяли на ружьё, а хозяин отправил её в Лиму. Но больше всего в своих рассказах Кармона распространялся насчёт женщин. Среди агуарунов принято, что тому из племени, кто украдёт женщину, наносят удар мачете по голове. И есть у них такие отчаянные женолюбы, у которых вся голова исполосована, точно вспаханное поле. Но чужеземца за такое дело просто убивают. Хуже всего, что индейцы по запаху узнают, если женщина им изменяет, и ей волей-неволей приходится сознаваться. У Кармона была женщина, с которой он обычно встречался у реки. Они делали себе ложе из пальмовых листьев, а потом бросали его в воду. Вот было времечко! А теперь здесь, в Кануко, все женщины в рубцах и в шрамах, помятые, высохшие. А Маиби, Маиби!..

Ордоньец любил свою Маиби свирепой любовью. Когда прибывал баркас, он напивался сильнее всех. Он рычал, как зверь, у себя в хижине, разражался проклятиями, а потом посылал за Маиби или сам шёл за ней. Досыта насладившись ею, он снова впадал в ярость и говорил ей:

— Ты меня не любишь, потому что ты шлюха. Я отдам тебя сборщикам. Я тебя проучу...

Он вёл её на опушку леса и голую привязывал к дереву. И всю ночь она стояла там, отданная в жертву москитам и прочим кровопийцам джунглей. Наутро вся она была покрыта волдырями и кровогочащими ранами. Тогда Ордоньец, который всю ночь пил, накидывал ей верёвку на шею и швырял её в реку. Маиби изо всех сил старалась удержаться на поверхности и не дать верёвке затянуться на шее. Вода смывала с неё кровь, а Ордоньец, насытив свою жестокость её страхом, вытаскивал её на берег и кричал:

— Убирайся вон, сука! В следующий раз, так и знай — убью!

Девушка брела в свой шалаш, а женщины прикладывали ей к телу примочки из трав, которые помогают от укусов разных насекомых. Она никогда не плакала и не жаловалась, словно понимала, что бороться с этим мучительством бесполезно.

Эта сцена с небольшими изменениями повторялась вся-

кий раз, как Ордоньец напивался. Казалось, водка развязывала в нём всю похоть и всю кровожадность джунглей. Как-то раз он изменил свою тактику и сказал Маиби:

— Вот я из тебя сделаю такую жердь, что никто и смотреть на тебя не захочет. Тогда ты поймёшь, с кем имеешь дело.

Он запер её в маленький сарайчик около женской хижины, а остальных женщин выгнал вон. И никто не смел отнестись ей ни поесть, ни попить. Ордоньец тянул своё виски и караулил сарай, время от времени паля из листо-лета.

— Пусть только кто-нибудь осмелится подойти сюда, — орал он, — на месте уложу!

Аугусто очень жалел Маиби. На вторую ночь он выбрал минуту, когда Ордоньец ушёл в свою берлогу за виски, и ухитрился передать девочке кувшин с водой и несколько бананов. И когда она брала всё это у него из рук, она произнесла низким, трепещущим голосом, который был похож на голос джунглей:

— Ты хороший... хороший, добрый...

На третий день Ордоньец пришёл в себя и выпустил её.

Аугусто оставили в лагере на участке коптить каучук. Он сидел над костром, где тлели пальмовые листья, опускал в ведро с каучуковым соком палку, а затем держал её над огнём, пока резина не становилась твердой. Пожалуй, работа шла бы у него поживей, если бы он то и дело не поглядывал на Маиби. Но ведь она тоже поглядывала на него. Хороша была Маиби, просто загляденье! А Аугусто был сильный и добрый.

Они не смели глядеть друг на друга слишком часто и делали вид, что смотрят на что-то другое; и иной раз им приходилось видеть страшные картины. Добыча каучука всё падала, а Ордоньец становился всё требовательнее и требовательнее. Однажды днём в субботу два перепуганных индейца пришли на участок и принесли с собой только один комок. Те, что пришли до них, тоже принесли меньше подожженного и были за это избиты плетью, но когда Ордоньец увидел, что эти двое испуганно протягивают ему один единственный комок, он пришёл в совершенное неистовство:

— Это что такое? Ах вы, гнусные лентяи! Это что ж такое!

Нижняя челюсть у него ходила ходуном, а белёсые глаза так и сверкали под полями шляпы.

— Нет больше резины... нет резины в лесу... — повторяли индейцы, угрюмо поглядывая на свои родные джунгли. И действительно, каучуковые деревья были доведены до полного истощения.

— То есть как это нет резины? Я вам покажу, как бездельничать!

Ордоньец выхватил длинный острый мачете, который больше походил на саблю, и, взмахнув им над головой индейца, который стоял поближе, одним ударом отсек ему голову. Тело тяжело рухнуло наземь, а из обрубленной шеи хлынула чёрная кровь; из головы тоже ручьём текла кровь, широко раскрытые глаза застыли в смертельном ужасе, а губы мучительно затрепетали, словно собирались что-то вымолвить. Остальные индейцы бросились в лес, а Ордоньец, размахивая своим мачете, словно он искал себе ещё жертву, закричал о своим:

— Швырните эту пададь в реку, а голову — на шест, и поставьте его на опушке леса. Для примера лентяям.

Так они и сделали. И голова, распухшая, с выпученными глазами, оставалась там до тех пор, пока от неё не пошла такая невыносимая вонь, что её пришлось бросить в реку.

Казалось, что-то ужасное и зловещее ползёт из лесу, словно змея. Аугусто, расположившись у подножья дерева, продолжал коптить каучук. Как-то раз Кармона, вернувшись из джунглей, сказал:

— Ну, брат, доложу тебе, хорошая заваривается у нас каша. По всему лесу не видно, чтобы хоть один индеец собирал каучук; а ведь мы теперь далеко вглубь забираемся; а вот на одного я наткнулся, гляжу: стрелы мастерит — говорит, на фазанов хочет охотиться. Н-да, оно и видно, что тут фазанами пахнет. Полсотни стрел он себе на охоту готовит! А главное, они сообразили, что надо идти всем скопом, иначе ничего не добьёшься, и столковались с соседним племенем, которое умеет готовить кураре.

Аугусто слышал про этот яд, который парализует нервную систему. Кармона продолжал свой рассказ.

— Ордоньец всё это знает, ему сборщики с других участков рассказали. Но он ничего слушать не хочет и кричит, что только и ждёт, чтобы они затеяли кутерьму, а тогда он-де своими руками перебьёт всех бунтовщиков.

Но гораздо раньше предательски подкралось к Аугусто страшное бедствие, притаившееся в комке каучука. Он

не раз замечал, что резана начинала шипеть, когда он подносил её слишком близко к огню, от неё летели кипящие брызги, и если они попадали на руки, то на коже вздувались волдыри. Но однажды, оттого ли что он слишком низко опустил палку, или из костра вырвался язык пламени, или, может быть, в сок попали какие-то легко воспламеняющиеся частицы, но только весь комок вдруг сразу вспыхнул, и масса kloкочущей резины попала ему прямо в лицо. Словно тысячи игл вонзились ему в глаза, и он упал без чувств. Когда он очнулся, корчась и вопя от боли, на него брызгали водой и содрали у него с лица прилипшую резину вместе с обожжённой кожей. Он ничего не видел. Ему наложили на лицо примочки из трав и привязали их тряпками. Боль была так мучительна, что он почти ничего не слышал. Но всё же смутно, словно откуда-то издали, до него доносились обрывки разговора:

— Вот ведь уж не в первый раз такое дело, а ничего до сих пор сделать не хотят.

— Они должны бы очки давать тем, кто коптит резину.

— А им-то что? Наплевать, и всё. Устроили тут фабрику слепых!

Слепой! У Аугусто вырвался стон. Неужели он слепой?

Тяжёлая тишина нависла над ним, и только из всех сил напрягая слух, он смутно различал отдалённый гомон леса. Его перенесли в гамак, и он с нетерпением ждал, когда вернётся Кармона. Он уже больше не мог узнавать время по свету, он был слепой. Но ему так хотелось надеяться, и он с замиранием сердца ждал, что скажет ему Кармона.

— Плохо дело... Да... Придётся нам подождать, пока заживут твои раны...

— Почему ты ничего не говорил об этом, Кармона? — простонал Аугусто.

— Да я и сам уж думал, — грустно ответил Кармона, — да вот мы там застряли, а у меня прямо из головы не выходило, знаешь ли ты, что он может наделать, этот каучук проклятый.

Потянулись тяжёлые, горькие дни. Какая-то старуха, — Аугусто только по голосу знал, что это старуха, — меняла ему повязку; больше никому до него дела не было. Он ел только вечером, когда Кармона приходил из леса. Сборщики каучука стали один за другим исчезать. Вероятно, это было дело рук индейцев.

Однажды, в четверг, Кармона не вернулся из джунглей. И вот тут-то Аугусто почувствовал себя совершенно одиноким и брошенным. Он вспоминал свою прошлую жизнь и сознавал, что сделал величайшую глупость, покинув общину. Чего уж там — запутался в долгу, лишился свободы, разве только что его не били, как других подручных, и не хворал он ни разу. Даже вот собирался бежать вместе с Кармоной. Но нет такого человека, который, живя в джунглях, не пострадал бы от кнута, пули, звериного клыка или когтя, от стрелы или каучука. Жестокая судьба принесла его в жертву каучуку. Когда старуха сняла с него повязки, он уж не удивлялся, что его окружает полный мрак.

В эту субботу ни один индеец не явился на участок с каучуком. Ордоньец отдал распоряжение:

— Завтра отправляемся в карательный поход.

Но в эту же самую ночь джунгли огласились эхом глубокого, гневного, величественного барабанного боя. Все лесные индейцы, в том числе и Маиби, исчезли с поста. Магуаре созывал племена на битву, как в давние времена. Магуаре — это громадный барабан, сделанный из ствола дерева, у которого выжигают сердцевину. Его вешают меж двух шестов и бьют по нему тяжёлым билом. Вероятно, он был на очень большом расстоянии от них, за много километров, но его мощный грохот разносился далеко, далеко, и в то же время казалось, что он гудит совсем рядом.

— Нам, пожалуй, лучше будет соединиться с отрядом участка Сачоку, — сказал Ордоньец, — там у нас будет штаб-квартира.

Все сборщики, до последнего подручного, наспех собрали свои пожитки и двинулись к берегу.

— Не оставляйте меня здесь, возьмите меня! — в отчаянии кричал Аугусто. Но никто не обращал на него внимания. Все торопливо усаживались в каноэ. Слепой оцупью выбрался из хижины и, спотыкаясь, сошёл по тропинке к реке.

— Куда нам этот мёртвый груз! — раздался чей-то голос.

Весла зашлёпали по воде, и мало-помалу звуки замерли в отдалении.

— Не оставляйте меня! — ещё раз крикнул Аугусто, но голос его был заглушён звучным грохотом магуаре. Он оцупью вернулся в хижину, без труда нашёл свой гамак,

потому что больше там ни одного не осталось. Ему было страшно, и он не мог заснуть. Он-то ведь тоже был жертвой, но индейцы из джунглей, конечно, не могли это знать. Он слышал, что они убивали всех индейцев, которые не знали их собственного языка.

Грохот магуаре сотрясал темноту ночи.

Прошло много часов, и вдруг тихий, испуганный голос рассеял его горький страх и одиночество.

— Аугусто!

Это была Маиби. Аугусто радостно вскрикнул и протянул к ней руки. Она сказала ему, что вернулась, потому что индейцев непременно убьют, точь-в-точь так же, как это случилось, когда она была ещё совсем маленькой девочкой. А ей не хочется видеть, как они будут погибать. Ей надоело смотреть, как убивают людей. А кроме того, она чувствовала, что найдёт здесь Аугусто. Впервые за всё это время Аугусто подумал: как, должно быть, ужасно изуродовано его лицо, но он подошёл к Маиби и обнял её. Страх, горечь и радостное блаженство смешались в долгом объятии этих двух несчастных существ.

На следующий день величавый грохот магуаре сопровождался нервным треском ружейной пальбы. Сначала ягуар, потом две лани, а затем тапир опроретью пронеслись через вырубку. Они бежали от человеческой битвы. Маиби рассказывала Аугусто всё, что видела, а он делал выводы о ходе сражения. Может быть, там даже и пулемёты пущены в ход. Ему когда-то случилось видеть, как действует эта штука.

Между тем триста сборщиков каучука, собравшиеся в Сачоку, выступили организованно в поход. Не меньший отряд собрался на другом, более отдалённом участке, чтобы оттуда начать окружение. Вот теперь они покажут индейцам, что значит попасть между двух огней. Кустодно Ордоньес маршировал во главе своего отряда и ловко сшибал пулей индейцев с верхушек деревьев, на которых они прятались. Тех, которые падали вниз ещё живыми, он приканчивал ударом приклада по голове. Стрелы словно избегали его, но, наконец, просвистела одна, посчастливей, и вонзилась ему в плечо. Он рванул её изо всей силы, выдернул из тела, но, бросив на неё беглый взгляд, крикнул:

— Кураре! Кураре!.. Проучите этих чертей, чтобы они помнили...

Он выстрелил раз, хотел выстрелить ещё раз, но рука

уж больше не слушалась его. Он сделал несколько шагов, зашатался и упал. И последними его словами было:

— Убить всех до одного...

Отряд сборщиков пошёл дальше, а он остался один. Рядом с ним лежал труп индейца. Голова его привалилась к дереву, словно он уснул. Ордоньец попытался подняться, но его левая рука онемела, а ноги перестали повиноваться, словно чужие. Яд кураре парализовал его двигательные центры. Ордоньец знал это, бессильная ярость и ужас охватили его потому, что он видел, какой его ждёт конец. Если бы он мог разбить череп хотя бы одному индейцу или вцепиться ему в глотку... Но пальцы его уже стали точно деревянные, он даже не мог ущипнуть себя, чтобы проверить, чувствует ли ещё что-нибудь его тело. Нет... уже всё... вот уж ему трудно дышать... И сознание его помрачается, а перед глазами поплыли тени. Тропические дебри принимали какие-то диковинные формы перед его затуманенными глазами. Деревья точно корчились и наклонялись к нему, обвивались одно вокруг другого, словно громадные гибкие змеи. Тени росли и, как он ни старался раскрыть пошире глаза, кругом была только мгла, чёрная мгла...

Ордоньец лежал без чувств. Лёгкие его были парализованы, и у него вырывались последние предсмертные судорожные вздохи. Лицо его потемнело, стало багровым, почти чёрным. Он валялся у ног джунглей, побеждённый их смертоносным могуществом.

Грохот продолжался три дня без перерыва. Наконец магуаре умолк, и ружейная трескотня стала доноситься всё реже. Маиби и Аугусто поняли, что индейцы разбиты. Иначе барабан продолжал бы гудеть, а сборщики бежали бы в каноэ вниз по реке. Издалека ещё доносились отдельные разрозненные залпы, это уж, наверно, были казни — расстрелы. А вокруг Кануко стоял в безмятежной тишине громадный лес, но это была обманчивая тишина. С давних времён это невозмутимое спокойствие прикрывало собой страшные трагедии, которые разыгрывались на Амазонке.

Ещё через день сборщики с поста Кануко вернулись на участок. Главные действующие лица были перебиты, а уцелевшие привели с собой больше тридцати пленных женщин. По их словам, они перестреляли и обезглавили самых важных индейских вожаков, а оставшихся в живых вынудили приносить на участок каучук, хотя бы им при-

шлось добывать его ценою жизни. Смерть Ордоньеса освободила всех сборщиков от долгов, и они вернулись довольные, несмотря на изнурительный поход.

Так как они привели с собой достаточно молодых женщин, они не отняли Маиби у Аугусто. И снова время потекло попрежнему, работа попрежнему была жестокой и трудной. Ибо право сильнейшего — это закон джунглей. В Кануко поднялась борьба за первенство, на сцене появились новые Ордоньесы, подавлявшие яростное сопротивление своих соперников и перелуганные сердца индейцев.

Маиби и Аугусто поселились в хижине на краю леса. Она вскопала маленький клочок земли и посадила там юкку и бананы. Слепой Аугусто плёл гамаки и циновки из пальмового листа и продавал или выменивал их на предметы домашнего обихода у людей, которые приезжали на баркасах.

Тихой ночью, когда громадная тропическая луна медленно катилась по небу над лесами и реками, Маиби рассказывала своему мужу немудрёные сказки и пела ему песни. И, слушая её, Аугусто вспоминал о зачарованной птичке, что поёт по ночам. Маиби тоже была невидимой птичкой, и пенье её наполняло тёмную ночь. Его ночь.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА 12

РОСЕНДО МАКИ В ТЮРЬМЕ

Седой старшина не падал духом. Что-то в нём было такое, что заставляло его продолжать борьбу. Может быть, в жилах его текла кровь какого-нибудь непобедимого изгнанника Миттимо времени инков, но с каждым днём он словно черпал из земли новые и новые силы. Подобно тем громадным птицам, что гнездятся на высотах, он всегда любил горы. И теперь в его стремлении засеять эти склоны и насадить здесь прочную жизнь появилось какое-то упорство. Пожалуй, картофеля у них будет маловато, но зато квиуа, ячмень, ока и оллукос были совсем неплохи. Двое ребят родились за это время в деревне, их назвали Индалесио и Герман; корова принесла телёнка, и через несколько дней он уж весело носился, радуясь тому, что живёт. Здешняя земля была единственной, которую он знал, и он находил её прекрасной. Росендо думал, что так же будет и с детьми. Подрастая, они не станут думать о том, что было когда-то, и, под мудрым руководством матери-природы, свыкнутся с теперешними условиями жизни, как с чем-то вполне естественным. И это уж вырастут люди, крепкие, как скалы.

Мало-помалу и вся община приноровилась к новой жизни. Никто уж и не заикался теперь о том, чтобы покинуть общину, — разве уж если станет совсем невмоготу. Тупое чёрное отчаяние первых дней прошло, и теперь уже все стояли на том, что решать споряча не годится. А то, что это был разумный взгляд, вполне подтвердилось, когда примерно месяца через два каменщик Педро Маита вернулся в деревню с женой и четырьмя ребятами. Хотя у него в руках было ремесло, ему пришлось туго, и он много рассказывал о том, что ему пришлось вытерпеть и чего он там нагляделся. Только когда сам поработаешь на ранчо, поймёшь, какая это тяжкая доля. И не в том дело,

что работать приходится не по силам, а в том, как там с тобой обращаются. Бедные батраки, которые работают там, повидимому, уж привыкли к этому, а потом у них всё равно нет выхода — они всегда в долгу. У хозяина Манте прожил всё, что у него было, но ему удалось уйти прежде, чем он залез в долги. Родственники поселян, которые тоже отправились искать работы, приходил к Манте расспрашивать, не выдал ли он их, каково им там живётся. Манте ничего не мог ответить.

Росендо Маки сидел на краю поля квиуа, поглядывая на тёмнокрасные цветы. Хорошее поле, хоть буря и потрепала его. Растения мощно поднимались из земли по длинным бороздам. Пестрая, яркая лаванда останавливала на себе взоры и радовала сердце. Ветер налетал на квиуа, гнул их, но сломать всё-таки не мог. И Росендо, глядя на них, сравнивал их с общиной. Он посмотрел на свои изношенные сандалии и подумал, какие они все стали бедные. Нет у них теперь ни кожи, ни денег, чтобы купить её. Больше тысячи солей ушло у общины на гербовую бумагу, на адвоката, на судебные издержки. В конце концов Росендо пришлось израсходовать даже свои деньги, хоть он никому не заикнулся об этом, чтобы про него не подумали, будто он это делал для того, чтобы его снова выбрали старшиной. На совете было решено израсходовать и те двадцать солей, что Аугусто отдал за гнедого; на эти деньги собирались поставить статую св. Исидора.

Теперь уже нельзя было и думать о том, чтобы зарезать корзву ради кожи. На каждые десять голов в стаде убавилось по одной. Завтра ему предстоит идти на ранчо Умай за быком, которого надсмотрщики дон Альваро захватили во время внезапного объезда. Придётся разговаривать с хозяином ранчо. Что он ему скажет? Старшина решил вежливо, но твердо пресечь всякие разговоры насчёт того, чтобы поселяне шли работать в коли, где, по слухам, были уже закончены все приготовления. Он будет требовать своего быка. Они уж потеряли несколько молочных коров, двух волов, а вот теперь ещё и быка. Его долг — привести быка обратно. Ведь это рабочая скотина. Ну, как они будут пахать землю без скотины?

И вот на следующий день Росендо вместе с Артидоро Отейсой, помощником старшины, который смотрел за скотом, отправились в Умай. Росендо оставил Отейсу у ворот и сказал ему:

— Подожди здесь. Если что-нибудь со мной случится, ты скажешь нашим.

Росендо Маки внимательно оглядел загоны. Коровы бродили, бодались, задирали друг дружку. В воздухе стоял запах навоза и пота. Наконец он увидал чёрного быка, он узнал его по загнутым рогам и по выступавшим ребрам, — видно, он ещё не успел отойти от голодовки. Здесь было много скота из Мунчи. Надсмотрщики калили клеймо Умая, и Росендо сказал им:

— Вот этот чёрный бык — наш, общинный.

— А вот дон Альваро говорит, что это его бык, он купил его у Касмиро Росаса.

Росендо возмутился:

— Кто же не знает клейма Руми? Смотри-ка, вот оно.

— Всё может быть. Только он так говорит. А Касмиро — отец одного нашего пастуха.

— Я ничего про это не знаю, — отвечал Росендо, я знаю только, что это бык нашей общины.

— Всё может стать. Только дон Альваро сказал, чтобы мы наложили на него клеймо Умая.

— Нет, вы не смеете клеймить его, — настаивал Росендо.

— Ну что ж, — сказал равнодушно надсмотрщик, — ступай поговори с ним.

Росендо тяжело было видеть, с каким безучастием говорят они о том, что касается его общины. Ему хотелось, чтобы они хотя бы на словах сочувствовали ему, хотелось верить, что они, эти бедняки, и индейцы заодно. Он почувствовал презрение к ним и пошёл искать хозяина ранчо.

Дон Альваро в безупречно белом костюме стоял в дверях своей конторы и разговаривал с крестьянами из Мунчи, которые пришли за своим скотом. Высокий, с властными жестами, бледным, самодовольным лицом и закрученными чёрными усами, он показался Росендо ещё более высокомерным.

— Я сделал этот объезд, — говорил дон Альваро крестьянам из Мунчи, — чтобы отучить вас от ваших плутней. Вы выращиваете на выгонах Руми больше скота, чем показываете при годовых объездах, потому что вы его уводите раньше времени. А теперь вам придётся платить штраф по десять солей за каждую вашу корову, которую я увёл.

— Я, сеньор...

— Сеньор, вы захватили десять моих коров. Мне придётся очень много платить.

— Это не моё дело. Или платите, или на них будет моё клеймо. Мне надоело смотреть, как меня грабят.

И пришлось крестьянам из Мунчи платить денёжки за скотину: кому за свою собственную, а кому выкупать скот родственников и друзей. У них увели примерно сотню голов, и дон Альваро собрал свыше тысячи солей. Хороший барыш приёс ему этот объезд. Среди унылых должников Росендо с удовлетворением увидел родственников Сепобю Гарсии. Старшина подошёл к хозяину ранчо, поклонился ему и сказал:

— Сеньор, я пришёл за моим чёрным быком.

Дон Альваро, помахивая хлыстом с серебряной ручкой, который висел у него на руке, сердито ответил, что этот бык принадлежит ранчо.

— Сеньор, на нём стоит клеймо Руми.

— Какое там клеймо? Как ты смеешь? Это клеймо Касимира Росаса, я купил быка у него.

— Дон Альваро, ожалуйста. Этот бык нам нужен для работы.

Дон Альваро пришёл в ярость. Рядом в выжидательной позе стоял надсмотрщик, он был похож на бульдога, который только и ждёт, чтобы ему позволили схватить жертву за горло.

— Сеньор, я отдам вам взамен одну или две коровы.

Хозяин ранчо взмахнул хлыстом, ударил Росендо несколько раз и отпихнул его.

— Не смей приставать ко мне, собачий сын, логанный индеец!

Росендо повернулся и пошёл. Кровь текла у него из носа и изо рта. Кровь текла по его старому благородному лицу, которое для его поселян всегда было зеркалом справедливости и мира. Отейса посмотрел на него и не сказал ни слова. И старшина прошёл мимо него и не обернулся ни разу, пока они не подошли к канаве с водой; там он стал на колени и вымыл себе лицо. И вода стала красной от его крови. Отейса шёл сзади и вёл лошадей; он весь дрожал, и к горлу у него подступал клубок. Этот коленапоклонённый, покрытый кровью старик, казалось, олицетворял собой весь их народ. Лучше умереть! Росендо дрожащими руками обмыл себе лицо, потом медленно поднялся и с помощью Отейсы сел на коня. Они долго ехали молча, а потом он сказал:

— Что ты думаешь об этом, Артидоро?

— Что ж тут можно думать, отец? Этот дон Альваро

просто собака, он не уважает даже и седни. Если бы только я не боялся, что меня схватят раньше, чем я успею подойти к нему, я бы заколол его вот этим ножом.

— А как же нам быть с быком?

— Похоже, что пропал наш бык. Если только мы его не уведём ночью.

— Вот я тоже так думаю.

Крестьяне из Мунчи уже поднимались в гору, гоня перед собой свой скот. Росендо и его слутник ещё только приближались к подъёму. Спустя некоторое время, когда они уже несколько поднялись, они увидели пастухов, которые гнали коров на ближний выгон, так как уж поздно было гнать их дальше. Наверно, они уж заклеямили быка и ещё, бог знает, сколько всякого чужого скота. Чёрного быка издали не было видно. Росендо и Артидоро свернули в ущелье, чтобы дожидаться темноты. Было уже совсем поздно, когда они выехали оттуда и направились обратной дорогой в пампу, где начинались луга.

— Ты оставайся здесь, чтобы в случае чего сказать нашим, — снова сказал Росендо помощнику.

— Нет, отец, теперь уж моя очередь.

— Ты молодой, а я старик, ты нужней в общине.

— Нет, нет, отец! А кто же даст нам добрый совет, когда что-нибудь случится?

— Совет! Совет против зла не поможет. Ты оставайся здесь и делай так, как я сказал, — не забывай, что я старшина, а ты мой помощник.

Росендо пустил лошадь по тропинке и медленно скрылся в ночной темноте. Он опасался, что ворота будут на засове, но они были просто закрыты на болт. Он сошёл с лошади и очень осторожно, чтобы не зашуметь, отодвинул длинный железный болт и приоткрыл ворота. Выгон был покрыт густой травой, и скотина спокойно бродила и пощипывала её; там и сям стояли и лежали коровы. Росендо отыскал быка, который без малейшего сопротивления позволил накинуть на себя верёвку. Росендо тщательно осмотрел его, когда заарканил, чтобы убедиться, что не ошибся. Да, это действительно был он, его мощная шея и короткие рога, и сейчас он уже был сытый и спокойный.

Росендо вывел быка и стал закрывать ворота. Всё шло хорошо. Вот только сесть теперь на коня будет не так-то просто. Экая беда быть стариком! Наконец он взобрался на седло и уж хотел повернуть, как вдруг раздался голос:

— Стой!

Двое вооружённых людей бросились к нему и с криками: «вор! вор!» схватили лошадь под уздцы. Росендо отвели на ранчо и заперли в погреб.

Отейса долго ждал его, а затем отправился к воротам выгона. Да, никаких сомнений быть не могло, — конечно, Росендо поймали. Стоит ли теперь идти на ранчо? А какой будет прок, если их обоих схватят? В великом огорчении, предвидя тяжкое бедствие, он поехал в деревню.

Аменабар тщательно обдумал, как ему следует поступить с Росендо. Разумеется, больше всего ему хотелось попросту пришибить старшину. Как нередко бывает с людьми честолюбивыми и умеющими привлечь закон на свою сторону, он убедил себя в том, что он всегда прав, и ненавидел каждого, кто становился ему поперёк дороги. В минуты откровенности он цинично хвастался своими победами, но обычно он хитрил перед самим собой и в то же время старался перехитрить других. И, однако, он хорошо помнил и свалившийся около него камень, и шайку Фьеро Вакеса, беспокойство жены, испуганные лица дочерей. Нет, он не станет убивать этого Росендо. Тюрьма тоже недурной способ избавляться от неудобных людей. Не теряя времени, он позвал надомотрщика и отправил его с письмом. Он просил префекта прислать двух стражников для конвоирования конокрада, которого поймали на ранчо.

Вокруг широкого двора тюрьмы тянулись мрачные галереи, куда открывались двери камер. Когда Росендо в сопровождении солдат вошёл во двор, сзади раздался голос:

— Во вторую камеру. Опасный тип.

Галлерея разделялась столбами на множество отдельных площадок. На каждую площадку выходило несколько камер. Его поместили в камеру номер два. Туда вела низенькая дверь из толстых досок, с маленьким, закрытым решеткой оконцем. Караульные тщательно обыскали Росендо, чтобы убедиться, не спрятал ли он на себе оружия, затем осмотрели его седельный мешок, одеяло и пончо.

— Здорово попал, старикан!

Они вышли, хлопнув дверью и закрыли её снаружи тяжёлым засовом.

Росендо подошёл к оконцу, откуда до него доносились

голоса Аброна Маки, Хуаначи, Гойо Ауки и других поселян. Они просили сторожей позволить им поговорить с Росендо и узнать, не нужно ли ему чего-нибудь. Смотритель ответил, что они могут прийти в воскресенье, когда пускают посетителей; голоса продолжали умолять и настаивать и, наконец, затихли. Когда Отейса принёс в деревню печальную весть, поселяне вышли на дорогу встретить Росендо и проводили его до самого города, потому что они любили и уважали его, а также потому, что у индейцев есть обычай — провожать узников до конца их пути. Бывали случаи, когда полиция, либо по приказу свыше, либо подкупленная врагами арестованного, убивала его по дороге под предлогом попытки к бегству. Когда Росендо подвели к воротам тюрьмы, он не успел протиснуться со своими, потому что его немедленно втокнули внутрь. В сущности он ни в чём не нуждался. Всё, что было необходимо ему, принесла Хуанача. Ему только хотелось что-нибудь сказать им. Он был очень растроган: лошадей у них теперь в деревне было совсем мало, и многие из поселян провожали его пешком.

Прислушиваясь, теперь Росендо уже не различал больше никаких слов, только чужие голоса, ничего не говорящие его сердцу звуки. Из окна ему виден был кусок грязной галлерей, столб, выкрашенный в синюю краску, клочок мощёного двора, ещё столб, ещё угол галлерей, замыкавшийся белой стеной. Он снова оглядел свою камеру. В ней не было ничего — четыре стены и дверь. Казалось бы, всё так просто, и, однако, это была темница — бедствие, мука.

Горбоносый старик, назвавший себя смотрителем, просунул голову между прутьев решётки и сказал:

— Ты у нас одиночный.

— А что это значит?

— Не смеешь ни с кем разговаривать до самого суда.

— А как же мне попросить, чтобы мне принесли еду?

— Это дело другое. Я пришлю к тебе караульного, он тебе это устроит.

— Пожалуйста, пришли поскорей.

Росендо от нечего делать начал мастерить себе постель из одеял и пончо. Потом он заложил за щеку кусок кожи и опять подошёл к окну. Сказать по правде, оттуда не много было видно. Внезапно он услышал голос, который доносился то ли из галлерей, то ли из-за стены, то ли откуда-то снаружи.

— Росендо! Росендо Маки!

Голос был осторожный, притлушённый. Росендо показалось, что он узнал его, и он спросил нерешительно:

— Хасинто Прието?

— Да, да, я.

— Ты всё ещё здесь?

— Всё здесь. Я слышал, как ты спрашивал насчёт еды. Хочешь, и тебе принесут заодно поесть из моего дома.

— Хорошо. Да благословит тебя бог!

— Послушай, коли тебе что-нибудь нужно, так я в камере номер четыре.

— Спасибо тебе, я...

Подожёл смотритель и, потянув носом, точно нос помогал ему слушать, сказал:

— Тебе что говорили, ты не имеешь права разговаривать. К тебе сейчас придёт караульный. Ты ему и скажешь насчёт еды.

— Спасибо, да я уж сговорился с доном Хасинто.

— Ах, так ты знаешь его... Похоже, вы здесь все земляки.

Смотритель отправился к Хасинто Прието объявить ему, что с Росендо разговаривать строго воспрещено. И что, если он ослушается, ему попадёт, и как следует.

Теперь, когда Росендо позаботился о своих неотложных нуждах, он почувствовал, будто он проваливается куда-то в пустоту. Как и всякий узник, который утерял веру в человеческую справедливость, он не видел впереди ничего, кроме долгих, долгих дней.

Газетка «La Patria» ликовала на первой странице:

«Наш корреспондент телеграфирует из окружной префектуры о поимке знаменитого индейского агитатора и вожака, Росендо Маки. После долгих поисков полиции удалось захватить его без кровопролития, что свидетельствует о мудрости и умелом образе действий властей в разрешении нелёгкой проблемы усмирения индейцев. Как, вероятно, помнят наши читатели, Маки стоял во главе бунтовщического движения, во время которого был убит хорошо известный у нас почтенный пражданин Роке Иньигес. Последнее время Маки занимался грабежами в округе, причиняя скотоводам крупные убытки.

Но, хотя арест злоумышленника Росендо Маки, несомненно, представляет собой торжество законности над

тёмными силами, эту победу нельзя считать полной, пока другие, не менее опасные агитаторы и их пособники разгуливают на свободе. Мы несколько не преувеличиваем опасности, утверждая, что необходимо послать в помощь полиции хороший отряд жандармерии для избавления этого цветущего края от бандитизма, беспорядков и разнузданности опасных элементов. Это необходимо для прогресса нашей страны и мирного существования наших граждан».

Росендо Маки понял теперь, что такое стена. Когда он проснулся на следующее утро на своём убогом ложе на полу, он впервые почувствовал себя настоящим узником. Перед глазами его были четыре неумолимых стены, грязный вонючий пол, словно продавленный бременем горя, тяжёлая дверь, от которой отскакивали даже звуки голоса, и окно с частой решёткой, едва пропускавшее свет. Он провёл рукой по стене. Но она была слишком крепка для его преклонных лет, а тем более для его беспомощных рук. Как бы ни был преступен несчастный узник, эта стена всегда будет воплощать для него всю жестокость человеческого сердца. Росендо знал, что он ни в чём не виноват, и всё же эта стена казалась ему как бы отрицанием самой жизни. Самое жалкое животное, самая ничтожная мошка может свободно пользоваться своими конечностями или крыльями, а вот человек, который считает себя выше всех, безжалостно погребает своего ближнего в мрачной дыре. Жизнь всегда представлялась Росендо простором, воздухом, пространством, солнцем, природой. И всё это теперь было уничтожено стеной. И сам человек был уничтожен — узник, во власти тюремщика.

Что же такое было правосудие? Что такое закон? Он всегда презирал их, потому что они всегда представляли перед ним не иначе, как в виде злоупотреблений и налогов: штрафы, выкупы, пени. Теперь он на себе почувствовал, что они способны посягнуть и на самое совершенное, в чём только может выразить себя жизнь, — на тело человека. Человеческое тело воплощало в себе для Росендо, хоть он и не умел высказать это, гармонию жизни. Оно было созданием земли и её плодов, созданием высшей сокровищницы духа и энергии. Почему же его надо было угнетать? Рука человека навек опозорила землю, когда она сложила из неё стену темницы. И вот она стоит

здесь, эта стена — тёмная, безмолвная, обнажившая там и сям слои штукатурки. Ни шагу ни в эту сторону, ни в другую. Самое ничтожное животное питается солнечным светом, самое скромное растение уходит корнями в землю, а узник должен дышать темнотой и гнить на полу, истоптанным безысходным горем. Вот она стоит — эта стена. Правосудие? Но что же сделал он, Росендо? Что сделало его тело, что его понадобилось упрятать?

И Росендо узнал ещё, что такое одиночество. В течение двух дней он не говорил ни с кем, кроме сторожа, который водил его «за нуждой» и носил ему пищу. Правда, он слышал голоса, видел, как часовые выводили арестантов, вечерами даже слышал пение. Но всё это пока что было для него чем-то совершенно чуждым. Хасинто Прето перевели в другой коридор.

И теперь Росендо был один. Человек больше не видел человека. Если он иногда перекидывался двумя словами с караульным, то в этом отсутствовало всякое достоинство: просто это был звук, поясняющий или приказывающий то, что касалось самых простых вещей.

— Вот тебе еда.

Но одиночество было не только отсутствием слов, оно ощущалось и телом. Он был бы доволен, если бы около него были Гойо Аука, его сын Абран, его маленький внук, или кто-нибудь из поселян, пусть бы они даже не произносили ни слова. Кто знает, какое тайное родство возникает из такого безмолвного единения тел. Но как только это сродство возникает, уста уже могут безмолвствовать. Росендо вспоминал о Канделе. Кандела тоже был бы ему товарищем. Значит, от одиночества спасает не только человеческое тело — ему недоставало живой жизни рядом с ним. Поэтому-то человек и предпочитает пустыне край, где растут деревья.

Он сам иногда любил оставаться наедине. Вот почему ему нравилось забираться на горные вершины. Но в сущности его любовь к высотам скрывала в себе жажду общения с чем-то более величественным. Когда это бывает, чтобы человек остался совсем один? Жить — это хотеть. Господин своего одиночества ведь повинуется именно тем желаниям, которые ему хочется удовлетворить. Так, например, поступает человек, который жаждет женщину. Но это не имело никакого отношения к Росендо, потому что для него это было уже в прошлом. Человек сильной плоти и мощного духа должен особенно остро ощущать

одиночество в тюрьме, ибо в нём неустанно звучит голос могущественных велений жизни.

Росендо думал только о своём одиночестве. Как-то давно он говорил на эту тему — о безмолвном общении — с падре. И падре сказал ему:

— И как это тебе, индейцу, приходят в голову такие вещи?

Как будто индейцу ничего не приходит в голову. А потом он сказал ему, помолчав:

— Это общение душ.

Но сейчас Росендо вспоминал о Канделе и о земле, поросшей деревьями. Ведь они тоже были бы для него товарищами. А вот падре говорил, что ни у животных, ни у растений души нет. Росендо верил в то, что в Руми обитает некий дух. И в земле, и... Его старая голова уж слишком устала, чтобы разрешать такие вопросы. А сейчас весь он состоял из одного ощущения одиночества. Тяжко биться, как в клетке, в самом себе, а вырвавшись наружу, наткаться на ту же стену. Он очень хорошо чувствовал, что человек, собака, птица, даже колос пшеницы или кукурузы и ветка дерева были бы для него товарищами.

Стена. Одиночество. Время волокно его вперёд, назад, укладывало его спать, поднимало, кормило его, морило голодом — и всё это было одно и то же: стена, одиночество.

Помощники старшины созвали наутро сходку, чтобы выбрать старшину: они сделали это пораньше, потому что надвигалась буря, и похоже было, что она разразится после полудня. Сходку устроили перед домом Росендо, словно он всё ещё был здесь.

Гойю Аука, Клементе Яку, Артидоро Отейса и Антонио Уилька расселись по местам, а посредине оставили пустой табурет. Между каменной хижинкой и полями мягко поднимался небольшой холм, на котором сидели и стояли кучками поселяне. Глядя на пустой стул, мужчины что-то бормотали себе под нос, а женщины утирали слёзы.

Гойю Аука встал и прерывающимся голосом рассказал обо всём, что произошло. Сильный ветер трепал шали и плащи, многие из поселян кашляли. По небу низко плыли тяжёлые тучи, оно было похоже на серый каменный свод. Голос Гойю Ауки прерывался рыданиями, словно поток, всхлипывающий в угрюмой пустынности гор.

Дело обошлось без споров. Клементе Яку выбрали старшиной. У него ещё сохранился природный здравый смысл, и он хорошо понимал насчёт земли. Он попрежнему носил шляпу набекрень, но уж больше не перекидывал пончо через плечо. Резкий горный ветер и пронизывающий холод заставляли его носить пончо как полагается. Клементе выбрали в сущности потому, что все давно уж считали, что после Росендо он займёт его место. Если бы при выборах очень строго считались с личными качествами, то, возможно, Гойо Аука или Артидоро Отейса одержали бы верх, но о них вообще и речи не было. Гойо был до того предан Росендо, что, казалось, сам он вообще не способен рассуждать, а что касается Артидоро, то, хотя его ни ни в чём нельзя было упрекнуть, всё же имя его теперь как-то связывалось с потерей скота и с пленением старшины. Осторожность заставляла воздерживаться от каких бы то ни было суждений. Что же касается Антонио Уильки, то мысль, что его могут выбрать старшиной, могла притти в голову разве только некоторым безрассудным юнцам. А они даже не осмеливались выразить её вслух. Во время своего недолгого пребывания в помощниках старшины он зёл себя очень хорошо, но кто мог сказать, будет ли он таким же и в дальнейшем? Ему ещё предстояло пройти через суровый искус времени.

Клементе Яку спокойно и просто занял пустующее место. Это был рослый мужчина лет пятидесяти, с бледным, но сейчас сильно обветренным лицом. Темные глаза смотрели на вас точно так же, как они смотрели на землю, когда, наклонившись и шулая её, он произносил:

— Под картофель — самый раз... Для оллукас будет ничего.

Он начал с того, что предложил выбрать новых помощников. Никому не хотелось препирательств. Однако при имени Артемио Чауки поднялись споры. Несколько голосов раздалось в его защиту. Артемио был правнуком старого Чауки, этого мудрого, ставшего теперь уж почти легендарным, старца, воплощавшего в себе дух индейцев. Память о нём вставала из прошлого, словно горная вершина, поднимающаяся из облаков. Про Артемио вряд ли можно было сказать, что он человек мудрый. Грубый, угрюмый, подозрительный, он жил репутацией своего предка и вечно со всеми спорил, во всем находя всякие недостатки. Его не всегда слушали, и это его ожесточало, потому что он считал, что им умышленно пренебрегают.

Он был неумолимым врагом всяких пришельцев; он с радостью выгнал бы из общины Порфирио Медрано, и в сущности только из-за Чауки Медрано не удержался в помощниках старшины.

Порфирио попросил слова, встал и, сделав вид, будто тщательно обдумывает то, что собирается сказать, заговорил:

— Я хотел бы, чтобы Артемио Чауки выбрали помощником. Хороший он человек. Мало того, он хороший и строгий человек. От него ничего не скроешь.

В его словах слышалась скрытая ирония, и хотя сейчас было не до смеха, многие засмеялись. Порфирио продолжал:

— Но вот о чём я хотел вас спросить: что нам сейчас больше всего требуется? Ответ один — нам нужно работать. Если там понадобится какие-нибудь решения принять и прочее, так у нас для этого есть новый старшина и опытные помощники. А я предлагаю сейчас выбрать того, кто больше всех трудился, кто показал свою силу и мужество. Я предлагаю выбрать Амбросио Луму.

Амбросио сидел с женой и ребятами, совершенно равнодушно взирая на то, что происходило вокруг него, и жевал преспокойно свою коку. Услыхав своё имя, он с изумлённым видом уставился на Порфирио.

— Ну-ка, пусть встанет, — раздался голоса.

— Встань-ка Амбросио Лума, — приказал новый старшина, который любил Амбросио и отнюдь не желал видеть у себя в помощниках надоедливого Чауки.

После нескольких понуканий Амбросио, наконец, медленно поднялся. У него было полное, очень смуглое лицо и маленькие, щёлками, глазки. Шляпа его почернела от времени, а одет он был в тёмнокрасный пончо в узкую полоску. Он был прекрасный работник, простой и скромный человек; Порфирио и кое-кто ещё подметили в нём деловую, практическую смекалку. Сейчас он стоял, встряхивая свою маленькую фляжку и с невозмутимым видом, как будто ничего и не случилось, тоненькой палочкой вытаскивал оттуда щепотку коки. Может быть, он рассуждал так: «Выберут они меня, не выберут — всё едино, самое важное — работать».

И эта невозмутимость, в которой не замечалось никакого тщеславия, завоевала ему общее расположение.

— Вот посмотрите на него, — продолжал Порфирио, — у этого скромного человека дельная голова на плечах.

Помните, на последнем собрании он выступал примерно так, — я уж не помню, как он там точно говорил: коли уж нам надо уходить, так давайте поскорей, чтобы дожди не застали нас под открытым небом, — и эти слова помогли нам больше, чем все ругательные речи кой-кого другого (смех кругом). И что же он стал делать потом? Да пачал работать, вот и всё. Он не плакался, не болтал. Строиться начали, так он натаскал камней больше всех и брёвен обтесал тоже больше всех. И знал, где добыть хорошее дерево. «Вот я там хорошую ольху видел. И лауко там водятся. А вон там на столбы есть материал», — вот он как говорил, будто заранее всё обдумал. Это такой человек, что он всегда на-чеку. А мы все знаем поговорку: «Бережёного и бог бережёт». Вот так же было, когда новую землю надо было поднимать и засеивать. Он первый и семена добыл. Да вы все видели его, помните, как он работал.. Это человек надёжный, и работу он свою делает без всякой суеты. А нам сейчас такого и надо.

— Правильно! — раздался голос.

— Верно, верно! — подхватили другие.

Теперь все припомнили, как упорно и настойчиво работал Амбросио, не плакался, не ворчал, а трудился не жалея сил. Клементе Яку предложил проголосовать, и число сторонников Амбросио за эти несколько минут так увеличилось, что никто не удивился, когда его выбрали, даже и он сам. Должно быть, Амбросио подумал про себя: «Разумеется, работа это главное». Он занял назначенное ему место и дружески оглядел всех присутствующих.

Гойо Аука, потолковав о чём-то с Клементе Яку, попросил слова. Похоже было, что его преданность старшине уж перешла на нового избранника.

— У нас нет денег, — сказал он, — все деньги, которые были у общины, ушли на тяжбу. Коррео Савалья, наш защитник, не взял с нас ни гроша, а теперь все его клиенты бросили его за то, что он защищал нас, индейцев. Надо ему хоть что-нибудь заплатить. Так вот мы сейчас хотим просить вас внести деньги на это и на расходы, которые нам потребуются по причине того, что наш дорогой старшина Росендо попал в тюрьму. — Голос Гойо дрогнул и оборвался.

Амбросио не замедлил проявить свою практичность. Держа в руке свою почерневшую шлягу, он обошёл всех и собрал около восьмидесяти солей. А затем поднялся Клементе Яку и произнёс медленно, внушительно:

— Я вот что хочу сказать, я буду в старшинах только до тех пор, пока добрый наш Росендо Маки томится в тюрьме. Плохо дело, плохо, но я всё-таки не теряю надежды, что мы его вызволим; даже если и придётся ему в тюрьме промучиться, нам нельзя терять надежду, будем надеяться, и хоть этим его порадуем. А за нашу общину мы должны стоять грудью, как он стоял.

И Клементе распустил собрание. Женщины вытирали слезы концами шалей. Только одна из них чувствовала себя счастливой в этот день, жена Амбросио. Она всегда считала своего мужа одним из первых людей в общине, и вот, наконец-то, ему воздали должное. Она подошла к Порфирию и сказала ему:

— Ты, Порфирио, хороший человек.

Порфирио, человек прямой и открытый, ответил ей на это:

— Да уж скажу тебе правду, больше всего хотелось мне осадить этого нахального пакостника, Артемио. Но я рад, что помог выбрать твоего мужа, потому что он человек честный и работяга.

Но вообще со сходки все разошлись невесёлые, хотя все как будто согласились на том, что люди, которым они поручили управлять общиной, включая и вновь выбранных, заслуживают доверия, а значит, есть ещё на что надеяться.

Гнетущая тишина и однообразие тюрьмы однажды были нарушены внезапно раздавшимся в галлерее окрикком:

— Смотритель. Вывести арестанта Росендо Маки! На допрос!

Это был уже пятый день, что Росендо сидел в тюрьме. Он переоделся в новый пончо и пошёл за смотрителем. Они поднялись на крыльцо, куда выходили две двери, вошли в одну из них и очутились в большой комнате. Судья сидел за длинным столом; с одной стороны сидел писец, а с другой — Коррео Савалья. В дверях стоял караульный с прижкнутым штыком. Это была мудрая предосторожность со стороны властей, ибо арестант пользовался грозной репутацией. Росендо велели сесть на высокий стул перед судьёй. Он не привык к таким стульям и чувствовал себя весьма неудобно.

— Я ваш защитник, — сказал ему Коррео.

Судья предупредил арестанта, что тот должен говорить только чистую правду, и приступил к допросу. Росендо

обвинялся не только в краже скота, но и в покушении на дона Альваро Аменабара, а также и в подготовке убийства дона Роке Иньигеса, в соучастии в преступлениях Фьеро Васкеса и в укрывательстве сего последнего.

Допрос продолжался пять часов. Росендо отвечал с присущим ему здравомыслием, и его ответы постепенно сводили на нет каверзные вопросы судьи. Иногда Коррео Савалья приходил ему на помощь, говоря:

— Не соизволит ли ваша честь несколько разъяснить этот вопрос?

Судья искоса взглядывал на него, покручивал свои седеющие усы и повторял вопрос. Он бы с удовольствием уничтожил этого адвоката одним словом.

По окончании допроса Коррео Савалья проводил своего подзащитного до самой камеры. Он долго стоял у решётки и беседовал с ним через железные прутья.

— Росендо Маки, вы ведь знаете, каким влиянием пользуется Аменабар. Судья дожидался его, потому-то он и не вызывал вас на допрос. Мне пришлось предъявить ему соответствующую статью закона, и только тогда он согласился вызвать вас, и то очень неохотно. По закону не полагается держать человека под стражей больше суток, не предъявляя ему обвинения. Но на ранчо Умай сейчас происходят очень серьезные события, поэтому дон Альваро не смог явиться. Говорят, там убийство следует за убийством и, говорят, это дело ружья шайки Фьеро. Как-то ночью они напали даже на ранчо и убили двоих надсмотрщиков.

Росендо молчал, не зная, что отвечать.

— Я бы вам посоветовал, Маки, воспользоваться вашим авторитетом и остановить эту смуту, ведь это может повредить и вам.

— Как вы думаете, меня выпустят отсюда?

— Конечно, если дело будет вести по закону.

— Вы очень добрый человек, дон Коррео, и вы всё ещё верите в закон. Подождите, вы увидите, как они нас запутают.

— Ну-ну, Маки, не падайте духом. Вы прекрасно держали себя на допросе, и вы не должны сдаваться.

— Я защищаюсь по привычке и потому, что правда сама говорит за себя. Но вот когда начнутся эти плутни с их свидетелями, вы увидите, как...

— Во всяком случае, им придётся добывать доказательства.

— Вам, конечно, виднее, дон Коррео. А сейчас я вас только об одном попрошу: подбодрите моих поселян. Они в этом нуждаются больше, чем я. Я много думал в этой дыре. Я знаю, что нам грозит много бед.

Уже смеркалось, и с галлерей на двор протянулись тени.

— А не могли бы вы похлопотать о том, чтобы мне разрешили хоть изредка подышать воздухом. Оттого что я у них считаюсь одиночным, меня даже на воздух не выводят.

— Хорошо, Росендо. Я пойду попробую, нельзя ли этого добиться сейчас же. И потребую, чтобы вас перевели в другую камеру. Это штрафная камера. А «тюрьма есть место надзора, но отнюдь не наказания», — сказал Коррео, цитируя свод законов.

— Да вознаградит вас бог!

— Ну, так вот, не горюйте. Я повидаю ваших односельчан. А вы мужайтесь. Хорошо? Моя контора здесь рядом, на улице, где церковь. Если что понадобится, пошлите за мной.

Защитник ушёл, и звук его шагов замер. У Росендо врезалось в память его лицо, перечёркнутое прутьями решётки, — молодое, смуглое, с открытым взглядом и несколько грустной улыбкой. Ну, что он мог сделать? Разве он не понимал, какие гигантские силы пытался он побороть, орудуя столь гибким и неверным оружием, как закон. Но уж и то было утешением для Росендо, что на свете всё-таки есть люди с добрым сердцем.

На следующий день после завтрака его вывели на прогулку. Старое здание тюрьмы имело два двора. Его повели во внутренний двор. Там уже было много заключённых. Из галлерей, с того конца, где обвалилась штукатурка, подходили всё новые и новые. Тут были индейцы и метисы, люди различных возрастов и положений и самого различного вида. Большинство было одето в пончо. Внезапно появился Хасинто Прието и бросился Росендо на шею.

— Дружище! Росендо!

Старый, высохший Росендо совершенно утонул в гигантских лапах кузнеца. Прието был всё в той же старой шляпе, старой холщёвой блузе, в тех же тяжёлых башмаках. Так как он давно уже расстался со своей кузницей, лицо у него было не такое чёрное, как раньше.

— Росендо, присаживайся-ка на эту табуретку. Садись, прошу тебя, садись же.

Кузнец притащил маленькую скамеечку.

— Да нет. Мне и на земле хорошо.

— Нет, уж ты сядь на скамейку. А я постою. Я ведь помоложе тебя.

Росендо сел, а Хасинто увидал громадный камень, подтащил его и уселся рядом со старшиной. Заключённые глядели на него с восхищением: ну и силач, этот дон Хасинто!

— Погляди-ка, Росендо. Видишь этот двор — какая грязь и мерзость! Знаешь, почему нас сюда выводят? Потому что они воры. Раньше они выводили нас на прогулку на мощёный двор, а перед воротами, чтобы с улицы не было видно, стоял громадный деревянный щит. Так вот представь себе, Росендо, как-то супрефект заметил, что щит-то этот ореховый. Ну, он взял и продал его. А деньги пополам со смотрителем поделали. Вот они и стали водить нас сюда. Подумай, из-за какихнибудь десяти — двенадцати солей! А чтобы прохожие с улицы не могли увидеть, как нас здесь держат, они и тащат нас сюда, на эти грязные, вонючие задворки.

Здание тюрьмы с этой стороны пришло уже в состояние полной ветхости. Крыша протекала. Вода капала с потолка в камеры, в коридоры. Потолок в коридорах местами вовсе обвалился, и всё было пропитано сыростью: Солнце освещало только один край двора, и тут-то сидели и расхаживали узники; всё остальное было покрыто жидкой грязью и громадными лужами, на поверхности которых плавала зелёная пена. В одном месте провалившаяся крыша обнажила ветхую стену, совершенно размытую дождём. Всё это представляло собой весьма неприглядное зрелище, но ещё более грустное зрелище представляли собой люди, босоногие индейцы в рваных пончо, отошавшие и унылые, похожие на замученных животных. Те, кто числился «за судьёй», получали полсоля в день на питание и на всё остальное. Каким чудом можно было на это существовать? Те, у кого не было родственников, которые могли бы помочь, питались поджаренной кукурузой, жалкими объедками более имущих и кожей. Тем, кто числился «за супрефектом», приходилось ещё туже. Они совсем ничего не получали, а если им и предоставлялась возможность выйти отсюда на волю, они должны были сначала уплатить штраф. Если у них на это не было денег, то супрефект сбывал их с рук вербовщику для работ на ранчо или в копях и получал от него аванс в счёт их будущего жа-

лованья. Метисы, за редкими исключениями, находились примерно в таком же положении. Почти все это были горожане, и по этой причине, а также и потому, что они ходили в полотняных костюмах из магазина готового платья, они смотрели на деревенских жителей свысока.

— Они с тобой ничего не сделают за то, что ты так о них говоришь? — спросил Росендо у своего друга.

— А что они мне могут сделать? Здесь среди нас водятся ихние фискалы, ну а я разговариваю нарочно погромче, чтобы они слышали и знали...

— А я думаю, напрасно ты это делаешь, Хасинто.

— Уж они набрали против меня проласть обвинений, что они ещё могут сделать?

Во время этой беседы солнце пригревало им спины и проникало своим живительным теплом в их старые кости. Многому учит темница: она учит тому, как дорого стоит немного солнышка, чуточка света, пробивающегося сквозь покрытое тучами небо. Свет, друг жизни, драгоценнейший дар очам нашим! Вот когда человек выходит из тьмы, он начинает понимать, чего были лишены его глаза. Свет — ведь это и цвет и форма, то есть весь мир во всей его необъятности, — всё равно, пусть он даже сейчас и закрыт чёрной преградой стен.

По вечерам узники лели. Главным образом лели метисы. Индейцы больше любили играть на своих тростниковых дудочках или на флейтах. Один метис, горожанин из квартала Святой Девы, пел иногда унылую длинную песню собственного сочинения.

Двадцать пятого августа ночью
В темницу меня увели,
За решетку меня посадили,
Ой, яй, яй, в каменный мешок.

Росендо слушал его, прислонившись к окну, пожёвывая коку. Это пение уводило его из привычного ему мира и переносило мысленно в город. Он редко слушал эти песни раньше. Он больше любил нежные, лирические мелодии хуанно...

Страшная темница Лимы,
Бездонный чёрный полвал,
Где смелый становится робким,
Где жизнь исходит в слезах.

Низкий вибрирующий голос прорезал темноту. Он начал петь ровно, даже несколько однообразно, а потом переходил в долгое, рыдающее «ай-яй-яй» и замирал в горестной жалобе на свои несчастья.

Эта песня пользовалась большим успехом среди заключённых. Все они находили в ней отголосок своих собственных несчастий. И тюрьма в Лиме, эта достопримечательность столицы, пользующаяся громкой репутацией во всех перуанских провинциях, каким-то чёрным призраком вставала в конце.

В девять раздавался приказ о прекращении шума и разговоров. А в полночь начиналась переключка часовых.

— Первый... второй... третий... четвёртый...

Трое откликнулись с крыши, четвёртый из коридора, где он прохаживался взад и вперёд мимо камер. Когда кто-нибудь не откликнулся, это значило, что он захрапел, и тогда другие отправлялись будить его. В ночной тишине эти оклики, повторявшиеся гулким эхом, разносились каким-то зловецким воём, который мучал мечтами о воле тех, от кого бежал сон.

Как-то раз Хасинто Прието появился на прогулке, сияя от радости.

— Подумай только, Росендо, сын-то мой — вернулся де-мой! Да уж пора ему было вернуться. Целых два года в солдатах пробыл. Как ты думаешь, чего он наплёл смотрителю, что тот пустил его повидаться со мной не в воскресный день? А какой стал здоровый, сильный! И на рукавах у него нашивки — сержант. Подумать только, настоящий мужчина! Теперь уж он может сам заправлять кузницей; может, он даже сумеет и меня отсюда вызволить. А мать-то, бедняжка, до чего рада! Сынок мой! Вот уж я рад, что повидал своего сынишку.

Пока Росендо считался одиночным, к нему никого не пускали по воскресеньям. Поселяне приходили и уходили обратно после тщетных просьб о свидании с ним. Но вот снова наступило воскресенье, и они снова пришли и, волнуясь, дожидались, пока, наконец, не наступил желанный час.

Росендо обнял Хуаначу, своего маленького внука, Абра-на, Никасию, Клементе Яку, Гойо Ауку, Адриана Сантоса

и ещё многих других. Словно частица его любимой общины перенеслась сюда и вот теперь глядела на него, разговаривала с ним, подносила ему свои скромные дары.

Клементе рассказал ему о сходке и обо всём, что там было. Они ничего не слышали о нападении на ранчо Умай и о том, что там убили двух надсмотрщиков. Ходили слухи, что на поиски Фьеро Васкеса послан отряд конной полиции.

Хуанача, не обращая внимания на важные сообщения Клементе, оживленно рассказывала, как они сегодня рано поднялись, чтобы поспеть во-время, и как те, кто не приехал сегодня, потому что нехватает лошадей, собираются приехать в следующее воскресенье, и как... Росендо, который ловил каждое слово Яку, не вслушивался в её рассказы, но дорогой звук этого любимого голоса, такой весёлый и ясный, радовал его сердце, как знакомая мелодия, которая возвращает нас к минувшим счастливым дням.

Они сидели кружком, и старик играл со внуком. Это был самый младший, но он уже ходил и говорил «папа...» Коррео Савалья рассказал им всё про допрос, и у них несколько отлегло от сердца. И Росендо, конечно, не стал их разочаровывать.

Хасинто подошёл к ним с сыном.

— Ну вот, полюбуйте, не молодец у меня парень? Я ему сказал, чтобы он в форме пришёл показаться, вот он и расфрантился. Поговори с нашими, Энрике. Разве ты не помнишь наших односельчан?

— Ну, как же не помнить, помню. Да вы не вставайте, дон Росендо.

Он поздоровался со всеми, а потом отошёл с отцом, который вёл его под руку, гордясь своим сильным, осанистым молодцом, который так ловко носил свой серо-зелёный мундир с двумя красными нашивками на рукаве.

Два часа пролетели незаметно. На прощанье Росендо сказал Клементе.

— Смотрите только, не давайте им никакой зацепки разогнать общину силой.

Когда гости ушли, Росендо заметил одинокого индейца, у которого, повидимому, не было никаких друзей и никакой еды. Он сидел на земле, кутаясь в рваный пончо, стараясь прикрыть своё костлявое тело от холода и от любопытных взглядов.

— Иди-ка сюда, — позвал его Росендо, — на-ка, пожуй чего-нибудь.

Он угостил его тем, что ему принесли, и индеец жадно набросился на еду. Росендо тоже немного закусил, но оборванный индеец не мог остановиться, пока не прикончил почти всего, что было у Росендо. Потом пришёл смотритель, и их стали разводить по камерам. Несмотря на все старания защитника, Росендо остался в той же камере. Время потянулось, как прежде, а может быть, ещё медленнее.

Дон Альваро Аменабар-и-Рольдан неожиданно появился в город со всем своим семейством. Эту новость принёс в тюрьму один из караульных:

— Прилетел сам кукарекало со всем своим курятником! Ведь как хвастался, что он со своими надсмотрщиками повесит Фьеро Васкеса! А теперь, гляди, хвост поджал — и бежать. Да и ехал-то, говорят, не прямой дорогой, а кружным путём; бьюсь об заклад, он теперь будет добиваться, чтобы нас послали в погоню за Фьеро.

Первое, чего потребовал хозяин ранчо — это чтобы Эль Локо Пиеролисту немедленно посадили в тюрьму; правда, услышав стихи, которые сей поэт сочинил на счёт его милости, он сам не мог удержаться от смеха, однако потом заявил супрефекту:

— А следует его посадить за это.

— На сколько дней прикажете, сеньор?

— Да на сколько хотите.

И вот Эль Локо Пиеролиста очутился в камере рядом с Росендо, но он так приставал, чтобы его перевели, что его вскоре взяли в другой коридор. Арестанты встретили его с восторгом. Спустя некоторое время он начал распевать на мотив хуаино те самые стишки, которые привели его за решётку:

Живёт на свете ранчер —
И знатен и богат.
Земли и денег вдоволь,
И всё то он не рад.

— Bravo!

— Молодчага, Локо! — кричали арестанты

С ним рядом по соседству
Живёт свободный люд.
Неймётся богатею
Отдать его под суд.

- А это ещё покрепче...
— А ну, Локо, ещё! У нас от твоих песен легче на душе делается.

Покоя он лишился,
И сон к нему нейдёт,
И говорят, что скоро
Его могила ждёт.

- Вот это здорово!

Он целое селенье
Нытался проглотить,
Да подавился, бедный, —
Теперь ему не жить.

- Ура, Эль Локо! Ура!

Поднялся такой хохот и шум, что явился смотритель и начал орать на арестантов, чтобы они соблюдали тишину и помнили, черти, что они в тюрьме, а не где-нибудь там у себя на выгоне. Когда, наконец, всё утомилось, Эль Локо зычным голосом провозгласил своё неизменное:

- Ура, Пиерола!

Однажды кто-то спросил его, почему это он всегда заканчивает этим возгласом, но он только ответил, что ему так нравится, а больше ничего объяснять не стал. Может быть, он даже и не знал, кто был этот вождь девяностых годов, которого он так прославлял. На следующий день, на прогулке, Росендо познакомился с Эль Локо. Это был худощавый человек среднего роста, с воспалёнными глазами и редкой бородкой. Он разговаривал с Росендо очень вежливо и тут же выразил своё возмущение по поводу позорного насилия, жертвой которого они оба являются. Он добывал себе на пропитание тем, что собирал в тавернах, забавляя посетителей, или писал стишки на открытых письмах, а ещё выступал на городских аукционах. Тот самый голос, который превозносил Пиеролу, надрываясь, выкрикивал:

«Продаётся с торгов корова и бык... восемьдесят солей... Кто больше?... Давай! Набавляй! Давай!

В сущности, это было ни к чему, потому что люди, которые интересовались покупкой, были здесь же, и им незачем было сообщать, что сколько стоит.

Помимо этого, Эль Локо был защитником обиженных поэтов. Он на своём веку сидел в тюрьме за свои стишки

восемьдесят четыре раза и хорошо знал это заведение и все его секреты. Смотритель и караульные относились к нему с особым вниманием.

В течение пяти дней развлекал он заключённых, а когда его выпустили, он крикнул на прощанье:

— Ура, Пиерола!

— Первый... второй... третий... четвёртый...

Росендо привык к этим однообразным ночным выкрикам. Иногда ему вспоминалась проклятая змея, которую он встретил в тот давно минувший день. Вряд ли одна эта жалкая гадюка могла предсказать такую уйму бедствий. А как же тогда понять благоприятный ответ Руми? Должно быть, ему ответило его собственное сердце.

Росендо к каждому днём чувствовал себя всё ближе к Паскуале, к Ансельмо. Он чувствовал их рядом с собой, словно они лежали здесь, возле него. И с ними мрак казался не столь тягостен.

— Первый... второй... третий... четвёртый...

Надо попробовать уснуть. Что это там? Точно кто-то стонет вдалеке...

Мало-помалу Росендо приобретал друзей среди заключённых. Индейцы несколько робели перед Хасинто Прието. Старый Росендо с самого начала внушил им уважение, а потом, когда они узнали его поближе, они стали любить и почитать его.

— Ты, отец, хороший старик!

Самый жалкий из них, тот, с которым он поделился едой, рассказал ему свою историю.

Звали его Онорио. И был он один-одинешенек на белом свете. У него не было ничего, кроме его лохмотьев. И никакого иного дома, кроме тюрьмы. Видит ли Росендо, какой он сгорбленный, какие у него свалившиеся щеки?.. А ведь не всегда он был такой. Когда-то и он был полон жизни и сил, и тело у него было стройное и прямое, словно дерево, которое стоит и не гнётся как в ясные дни, так и в непогоду. Эх, что теперь вспоминать о женщинах! А любил и он когда-то, и была у него подруга, любящая и трудолюбивая.

Но вот порешили начальство построить мост через реку Палуми, а так как постройка этого моста считалась делом общественным, начали собирать на это дело рабочих. Либо ты шёл по своей воле, либо тебя туда гнали силой. Вот Онорио и отправился на работу. А мост-то был большой да весь каменный, и работе, похоже, конца не предвиделось. Работали они от зари до зари, кормили их кое-как. Ну, наконец, прошло полгода, и мост выстроили.

«Отработали? Вот и хорошо, а теперь проваливай куда глаза глядят!» Кому дали по десять солей, а кому и по пять. Каждый из них оставил на этих камнях кусок своей жизни — и вот что они за это получили. Но это ещё было полбеды.

Когда Онорио вернулся к себе в деревню, даже и след его дома пропал. Чума побывала в их краях, и люди, кто успел, разбежались, а другие поумирали. Хозяин ранчо велел сжечь дома, чтобы не оставлять заразы, и никто не мог сказать Онорио, ушли его родители и жена или померли.

Поглядел он на кучку пепла — всё, что осталось от его бедной хижины, и решил про себя: «Наверно, ушли. Как это может статься, чтобы все умерли».

Ну, а когда человеку хочется надеяться, он вроде как слепой.

Вот он и пошел искать отца с матерью и жену. Переблудил через горы, день идёт, другой, всё смотрит своих. И вдруг видит — вдалеке новенький домик, покрытый ещё жёлтым тростником. Не они ли это выстроили, так он подумал, может они там? Но когда он пришёл туда, оказалось, что там живут незнакомые люди. Так вот он и блуждал долгое, долгое время и всё не терял надежды.

Когда его брали на постройку моста, жена его носила красную юбку. И вот теперь, во время своих поисков, едва только он где увидит женщину в красной юбке, сейчас же бросается сломя голову догонять её, — почему-то он вбил себе в голову, что жена его ходит всё в той же юбке. Но, конечно, это оказывалась вовсе не его жена, а чужая женщина. И она смотрела на него подозрительно, боялась, как бы не обидел.

Каждому, кого бы он ни встречал, он называл имя своих родителей и жены, и всё расспрашивал об одном и том же: не слышали ли, не встречали ли? Когда он, наконец, увидел, что все его старания бесполезны, он решил вернуться к себе в деревню, на ту самую землю, которую он когда-то пахал, а в сердце его всё ещё жила надежда. Он

выстроит себе хижину, будет пахать, посеет. А когда его родители и жена узнают, что этот проклятый мост кончен, они вернутся домой, на ранчо, где же им ещё его искать? Он не мог примириться с мыслью, что потерял их навсегда.

На обратном пути повстречался он на постоялом дворе с какими-то людьми, которые гнали скот. Он выбрал себе местечко около них да и лёг спать. А когда он утром проснулся, — оказалось, он арестован.

— Ах ты конокрад, ах ты, мошенник!

— Да что я такого сделал?

— Молчать, ты арестован! Дурачком прикидывается, мошенник!

Настоящие воры, — те самые люди, что гнали скот, — узнав, что за ними отправлена погоня, успели улизнуть. А Онорио попал в тюрьму. Он никак не мог объяснить, что делал с того времени, как закончилась постройка моста. Когда он сказал, что разыскивал свою жену и родных, его подняли насмех.

— Подумаешь, нежные чувства у индейца! Да разве индеец на это способен? Чего там сомневаться: ясное дело, остался один и сделался конокрадом.

А где достанешь свидетелей? Он не знал, как зовут тех, кого он спрашивал по дороге, да и они, конечно, не помнили его. Кто же станет вспоминать бедного прохожего, который встретился на дороге.

Как-то раз один караульный опирался по делам в другую провинцию, и Онорио попросил его, когда он будет проходить по такой-то местности, зайти к индейцам, которые там живут в двух маленьких хижинах — одна глинобитная, а другая сложена из кирпичей. Он там у них раз ночевал. Может, они придут дать показание.

И вот караульный, вернувшись, рассказал: они говорят, что был у них, ночевал один бедный индеец, который искал свою семью. Они пожалели его, только уж не помнят, какой он был из себя. А потом, разве кто пойдёт свидетельствовать? Не успеешь и опомниться, как тебя упрячут в тюрьму за то, что ты укрывал вора.

Его обвиняли в краже двадцати голов скота. И если они не могли доказать, что он виновен, то и он тоже не мог доказать, что он к этому непричастен. Все улики были против него, а один пастух показал, что узнаёт его, что видел его на выгоне среди конокрадов, когда они угоняли скот. Все индейцы похожи друг на друга, и всякий может ошибиться, но пока что Онорио сидит в тюрьме. Они бу-

дут держать его до тех пор, пока не поймут его сообщников. А когда это будет? Он сидит здесь уже три года, разутый, раздетый, голодный. Одежда его уже совсем развалилась. На полсоля, которые он получает в день, он иногда покупает себе кукурузу, иногда картофель, а иногда коку. Он до того дошёл, что стал вроде собаки, которая роется на помойке. Теперь он уже не думает, что его жена и родители живы, потому что сердце его уже не способно надеяться. Холод темницы проник в него до самых костей. Хилый он стал и слабый и, верно, ему недолго осталось жить.

Росендо снова вызвали на допрос. Касмиро Росас показал, что он продал дону Альваро Аменабару чёрного быка, и потом в присутствии судьи признал своего быка в том самом, которого огняли у Росендо за оградой выгона. Кроме того, он сказал, что клеймо CR — это его собственное клеймо. Росендо повторил всё то, что показывал на первом допросе, и заявил, что читать он не умеет, но зато хорошо знает общинное клеймо по виду. И это самое клеймо выжжено на чёрном быке. Коррео Савалья немедленно потребовал, чтобы суд пригласил эксперта, специалиста по клеймам.

Метис из квартала Святой Девы, который пел такие грустные песни, попал в тюрьму за драку. Это был приземистый малый, в белой бескозырке с лентой национальных цветов и жёлтой рубашке с изжёванным воротничком. Он производил впечатление силача, и вещественные доказательства, представленные на суде, красноречиво подтверждали это впечатление.

— Кой черт! Человеку хочется иной раз поразмять кости. И если уж он в эту минуту пустит в ход кулаки, так и натворит беды.

Он любил рассказывать о своих похождениях.

Как-то раз ночью пьянствовал он со своими приятелями в одном кабаке, где хозяйкой была женщина по прозвищу Куропатка. Играли они на гитарах, пели и, как водится, один за другим опрокидывали стаканчики. Перепились здорово и пустились в пляс. Ох, уж эти моряки! Куропатка и другие там бабёнки, которые как раз вовремя подоспели, вертелись, как волчки. А они, знай себе,

топают, так что стены дрожат. Ну, и чичу не забывают, только успевай подносить! Но тут ввалилась орава — человек двадцать метисов из квартала Иисуса Спасителя.

— Ну, как вы скажете? — спрашивал рассказчик. — Разве это дело было — лезть к нам сюда, когда мы расплясались? Свои есть таверны, и всякому известно, что кварталы Святой Девы и Иисуса Спасителя всегда друг с дружкой воюют с тех пор, как город построили.

Своих, то есть друзей узника, было всего десять человек. Но ведь на карту, можно сказать, была поставлена их честь. Что тут прикажете делать? Предложить молодчикам от Иисуса Спасителя, чтобы они поворачивали оглобли подобру-поздорову? Другого выхода не было. Ну, так, значит, и сделали. Ладно!

— Убираться? — ответил один из них, как видно самый нахальный. — Как бы не так! В кабаки всякому дорога открыта, а для нас все кварталы наши.

Ну, уж этого, конечно, молодцы от Святой Девы не могли стерпеть. Началась потасовка. Схватились врукопашную, заработали кулаками, ногами, головами; возили друг друга по полу, стучались лбами. Женщины визжали, мужчины рычали. Разломали стол ко всем чертям, и подсунула нелёгкая узнику одну из ножек. И вот начал он этой палицей разить неприятельские орды. Как даст раз, так одного тут же и уложит. Разошёлся он и от чичи и от драки разъярился, и сыпал направо и налево. Те, что ещё могли держаться на ногах, позорно бежали вон, но большинство полегло, даже и бабы. Сама Куропатка пострадала от этого боя, хоть она и не пыталась защищать своё заведение. И долго потом разгуливала она с шишкой на голове, а шишка-то была к доброе гусиное яйцо.

Очутьившись в одиночестве, победитель обрушился на горшки и кувшины, — короче говоря, в комнате не уцелело ни одного предмета. Когда явилась полиция, глазам её представилась следующая картина: многочисленные жертвы стонали, корчась на полу, а иные лёжа лакали чичу, которая в изобилии текла откуда-то сверху.

Так-то вот он и попал в тюрьму. На его счастье, ножка от стола оказалась не слишком увесистой, так что в общей сложности проломано было всего две головы, три ключицы, вывихнуто два предплечья и одна рука. Остальные отделались синяками. Куропатка держала себя исключительно благородно и даже и не заикнулась о том, чтобы предъявить счёт за перебитую посуду или за пролитую

чичу. Ну, конечно, совесть у неё была не совсем чиста; дело в том, что она принимала ухаживанья этого нахального метиса и даже позволяла ему приходить в кабачок. А ведь если подумать, так с её стороны это было сущее предательство по отношению к кварталу Святой Девы. Но как бы там ни было, он поплатился за своё нахальство сломанной ключицей и расплюснутым носом. Арестованный узнал обо всех этих лестных для него подробностях во время допроса и свидетельских показаний о ходе битвы. Сам он всё очень хорошо помнил, но только до той минуты, как завладел ножкой от стола и бросился в бой.

— Ну, скажите мне, друзья, ведь это же было всё равно как оражение на войне. Разве справедливо сажать за это человека в тюрьму?

Однажды ночью ворота дона Аменабара распахнулись настежь, и из них выехали пять всадников, которые галопом промчались по площади и вскоре скрылись за городом. Это были — дон Альваро Аменабар, его младший сын Хосе Гонсало и трое надсмотрщиков. Хозяин ранчо вёз Пепито в школу в Лиму, а кроме того, рассчитывал заручиться в столице поддержкой для старшего сына Оскара, который собирался выставить свою кандидатуру в конгресс.

Когда это известие на следующий день распространилось в городе, путешественники были уже за плоскогорьями Уарки и, по всей вероятности, скакали уже по другой провинции. Коррео Савалья зашёл навестить Росендо, и старик сказал ему:

— Похоже, он пустился наутёк.

Хасинто Прието надеялся, что его скоро выпустят. В следующее воскресенье, когда поселяне пришли навестить Росендо, они были очень обрадованы, а когда они принесли эти новости в деревню, то даже Артемио Чауки сказал, что, похоже, урожай ячменя нынче будет знатный.

Был среди заключённых один горожанин по имени Абсалон Квинес. Рожа у него была круглая, лукавая, хитрые глаза и толстые губы; волосы у него всегда были тщательно прилизаны, а поношенная серая куртка лоснилась от усердной чистки; башмаки его, казалось, никак не могли решиться — развалиться им совсем или ещё подождать, а

поля чёрной фетровой шляпы поникли вниз, словно крылья подбитой птицы. Абсалон знал на побережье каждый уголок, хвастался своей хитростью и уверял, что может обойти кого угодно. Он всегда был в хорошем настроении и, как всякий заключённый, который сидит по какому-нибудь не совсем обычному делу, любил рассказывать о нём, наслаждаясь почтительным изумлением слушателей. Мальчишка-метис, попавший в тюрьму первый раз, слушал его с разинутым ртом. Другие заключённые предостерегали его, советуя держаться подальше от Абсалона, а не то он наберётся от него да и пойдёт по его стопам. Мальчишку этого звали Педро, и он обвинялся в том, что увёл козу.

Как-то раз Росендо слышал, как Квинес хвастался перед Педро своими подвигами:

— Послушай, что я тебе скажу. Мужчи́на до тех пор не мужчина, пока не пропечёт себе подошвы на песке. Я хочу сказать, пока он не исходит всё побережье и не будет знать его на зубок. Я был вот вроде вас — простофиля-горец, пока не вырвался оттуда и не попал на песочек. Раз как-то работал я помощником у одного из Колумбий, звали его Гонсалес; моё дело было ходить за ним и таскать его чемодан. Чего-чего там только не было напихано, глядишь, ну вот-вот лопнет: одеяла, бумаги, бутылки с чернилами, — он, надо сказать, кроме всего прочего, чернилами торговал, — патентованные средства, товары всех сортов. Ну, словом, он вроде как коммивояжёром был. И конечно он таскал с собой маленькую машинку, завернутую в бумагу. А как ты думаешь, что это была за машинка? Деньги печатать — вот какая машинка. Ну ясно, не настоящие, а фальшивые. Так вот ты сейчас поймёшь, как всё это вышло... Вот, значит, под видом этой самой торговли мой хозяин Гонсалес и разъезжал себе туда-сюда. Ну и я за ним с его чемоданом. Пронюха он был первый сорт — ничего не упустит. Бывало, заведёт с кем-нибудь разговор о том, о сём, а потом как-то так незаметно подойдёт к делу. И всегда он эти самые дела ночью обделывал, потому что, видишь ли, ночь для этого самое подходящее время. Есть вещи, которые днем как-то не получаются, ну а часа в два-три ночи сойдут хоть куда. Вынет это Гонсалес свою машинку, намажет там краской, вложит между роликами чистую бумажку, повернёт ручку — глядь, и получается готовенький банкнотик. И такой он у него чистенький, как есть настоящий! Иной раз он даже и без машинки работал, а говорил, что он просто

эти фальшивки переводит с настоящих. Всё в зависимости от того, на какого дурака нападёт, — коли совсем безмозглый, так и это сходило. Дело в том, что когда он хотел показать, до чего он здорово подделывает, он им настоящую кредитку подсовывал. А фальшивки у него — те, что сам он печатал, — получались такие мутные, что их разве слепому всунешь. Ну, Гонсалес был человек на вид почтенный, говорить умел складно и держался так, будто знает секрет, как сделаться богачом. И всегда он умел вывернуться: «Эти, — говорит, — банкноты, потому плохо вышли, что бумага плохая, а первый, тот у меня на особой бумаге отпечатан. Только она у меня вся вышла». И тут он так посмотрит винушительно и скажет: «Эта бумага высшего сорта, её в Лиме надо заказывать, но и стоит она очень дорого». А собеседник его молчит, не знает, что сказать. Ну Гонсалес тоже помолчит, будто задумавшись, подождёт, а потом ещё скажет: «У меня, знаете, у самого-то денег немного. В нашем торговом ремесле такая конкуренция, что я едва на хлеб себе зарабатываю. Вот я сейчас себе и подыскиваю кого-нибудь, с кем бы мне предварительные расходы на это дело пополам поделить. Мне сдаётся, вы человек подходящий». Если это человек торговый, лавка там у него своя или что, Гонсалес поглядит и скажет: «Вы бы их могли понемножку у себя спускать в лавке, эти денежки-то. Ну, а не хотите, так другие этим займутся. Самое важное — материал приобрести». Так, значит, он и ведёт разговор: помолчит где надо, подумает, ну а сам, ясное дело, следит за тем, как его слушают, — клюёт или не клюёт. Глядишь, в конце концов тот и спросит: — А много ли на это дело требуется? — А Гонсалес уж успел прикинуть, сколько из этого можно повыжать. Вот он и скажет: пять там, две либо три сотни солей. Меньше двухсот он не спрашивал, а иногда огребал и до тысячи. Раз как-то мы с ним и больше заработали. Ну, значит, он тут уговорится, что как только они спустят первые кредитки, он закажет бумагу, и тогда-то они и начнут деньги зашибать. Ударят они по рукам, Гонсалес даст своё честное слово, а тот, конечно, денежки выложит. А потом, ясное дело, он Гонсалеса больше и в глаза не увидит. А если и увидит, что он может сделать? Ничего, ровным счётом ничего. Тут, сам понимаешь, дело-то было такое щекотливое... Да... Бывали случаи, что компаньону потом даже приплачивать приходилось.

— Ну, а если полиция? — решил, наконец, перебить Педро.

— Полиция! Вот то-то и видно, что ты дубина и ни черта не смыслишь. Ведь компаньон-то за это также ответил бы, за фальшивки-то. Ну, значит, он и рта открыть не смеет, и полицию за версту обходит; потому что, если бы Гонсалес попал в тюрьму, то и он туда же угодил бы. Так вот мой хозяин и путешествовал со своей машинкой из города в город. Месяца не проходило без того, чтобы мы не обмишурили двух-трёх простачков. А раз как-то нарвались мы с ним совсем не на простачков, и полиция чуть-чуть было к этому делу руку не приложила. Да ещё по собственному требованию Гонсалеса. Попались нам богатые молодчики из округа Лукма, ну а сам знаешь — народ в Лукме крутой, повсюду славится. |

— Да, да, как же, славятся, — подхватил Педро, и в голосе его слышалось искреннее восхищение.

— Встретились мы с ними в Трухильо. Мой хозяин разговорился с ними вроде как случайно, выпили там стаканчик, другой. Потом один его приятель рассказывает им как бы по секрету, что это такой человек, который может научить их загребать деньги. С этого у них и пошла дружба. Сегодня поговорят, завтра поговорят, — наконец, один из них дал моему хозяину две тысячи солей, и они сговорились, что начнут выпускать деньги. А так как им очень уж не терпелось, Гонсалес спросил с них ещё тысячу солей. Им это не понравилось, и стали они грозиться, что зарежут его. Двое из них пришли на квартиру, где мы остановились; да так они нагрянули, что мы во-время убраться не успели. Делать уж было нечего, приходилось играть в открытую. Вот приготовили мы всё для того, чтобы деньги печатать, а Гонсалес сказал одному своему человечку: «Если я к трём часам отсюда не выберусь, зови полицию». А чемодан наш был набит ещё больше, чем всегда. Там были и станок, и масса бумаги, и куча бутылочек со всякими жидкостями. А квартира у нас была на самой окраине. Заперли они за собой дверь, эти молодчики из Лукмы, и вытащили револьверы. Эдакие хорошенькие, блестящие омит-вессончики. Смотрю, у хозяина руки-то немножко трясутся; раньше с ним этого не бывало. Тут я и сам струхнул: хорошая, думаю, каша заваривается. Гонсалес начинает вытаскивать материалы из чемодана и раскладывает всё на столе. Машинку, бумагу, нарезанную по размеру кредиток, бутылки. Делает он всё это не спе-

ша, с оглядкой, время старается протянуть, а заодно и показать им, что всё идёт своим порядком и нечего им подзревать, будто он их так просто обошёл. Ух и голова был! Даром что читать и писать не умел. Ну, разумеется, он ещё потому тянул, чтобы дать время полиции подоспеть, если уж до того дойдёт. Вот, значит, налил он жидкости в умывальный таз и начал осторожно мочить нарезанную бумагу. Потом вынет и положит в сторонку. А те сидят, смотрят, не говорят ни слова, а в руках револьверы, так дула-то и поблёскивают. Потом уж Гонсалес мне рассказывал, что у него в эту минуту во рту какая-то горечь скопилась. Ну откуда, чорт их побери, мог он им банкноты напечатать? Но всё-таки что-то там придумал, а само и дело на часы поглядываег. Вот если бы то, что он тогда задумал, не вышло, и полиция не подоспела, быть бы ему на том свете, и мне с ним заодно. Ну, значит, он им это всё объясняет — то да сё, ну уж я там не помню что, — и вдруг — пфф! — вся бумага и все эти жидкости разом как вспыхнут! Пламя до самого потолка, мы все к дверям, — весь материал спорел, как спичка, не успели мы и глазом моргнуть. Как только мы огонь затоптали, Гонсалес им тут же всё объяснил: один из них курил, и искра от папиросы попала на материал, он и вспыхнул. Экое несчастье! Те прямо на стену лезут. Стали его упрекать, как это он им раньше не сказал, что нельзя курить, а он спокойно всё выслушал и говорит: «Давайте ещё две тысячи солей — новый материал заказать». Тут один из них, который похитрей, а то и просто похитрее других, говорит, что им сейчас надо в город спешить, что у них дела, а потом видно будет. Так, значит, и решили всё это отложить до другого раза. Хозяин мой сунул свою машинку в чемодан, и мы все вышли. Дошли до угла, распростились с ними, потом ещё и ещё раз за угол завернули, и тут он, наконец, встретил своего человека. Поглядели на часы — пять минут третьего. Вздохнули мы с облегчением и пошли в кабачок пропустить по стаканчику.

— Чего, чего вы только не испытали, — сказал Педро, с восхищением глядя на Квинеса.

— Ну, брат, я ещё и не то могу. Моё время не прошло. Меня не так-то просто запугать. Вот я тебе рассказал про фальшивки, а ещё я знаю, как отрывать клады, брать в аренду дома, сдавать в банк поддельное серебро, — ну, всего не перечтёшь. Фокусу с деньгами я научился у моего хозяина Гонсалеса, который, к сожалению, теперь от-

правился туда, откуда уж не выходят. А то был ещё у меня учителем один перуанец, с которым меня Гонсалес познакомил. Я, можно сказать, прямо мастак по части отрытия кладов. Ну, конечно, если у тебя помощник дурак, так ничего не выйдет. Пробовал я на эту штуку подловить одного падре. Пошёл я в церковь, сделал постную харю да и говорю падре: «Когда я, падре, слушал вчера вашу проповедь за обедней, меня вдруг осенило, а что если в этой старой церкви сокровище зарыто, может иезуиты его здесь оставили?» Это всегда очень помогает, если про иезуитов ввернуть, когда речь идёт о церковном кладе: о них такая слава идёт, что они много добра закапывали. «Что-о?» — говорит падре. Ну, я и начал ему рассказывать про разные клады и что я сам уже десяток отрыл. Он и согласился пойти со мной ночью поискать, потому что днём, знаешь, в церкви вечно старухи толкуются. Ходил он со мной две ночи подряд, ну а потом, конечно, его сон одолел, и он отпустил меня одного. «Ну, брат Абсалон, — говорю я себе, — не уппусти случая». А у меня уж был припасен такой старый, обделанный в кожу ларец, а в нём полно всякой дребедени — так с виду-то оно как будто золото, а на самом деле просто сплав, ни гроша не стоит. Выкопал я глубокую яму, сунул туда ларец и снова землей закрыл, но не так уж плотно, а чтобы видно было, что я тут искал. На следующий день иду к падре.

«Падре, — говорю, — сдаётся мне я на что-то наткнулся. Земля пошла рыхлая, и, похоже, нам повезло». Вот, значит, отправились мы с ним ночью, он сам и фонарь таскал. Вывернул я немного земли ломом и начал копать, а сам то и дело побрякиваю, будто потом обливаюсь, и всех святых на помощь призываю. Через некоторое время ударилась моя лопата о ларец. Пресвятая богородица! Перекрестился я, сложил руки и поднял глаза к небу. Ну, и падре за мной. Подняли мы ларец и потащили его к падре домой. Там было два чеканных подноса, чаша и прочее церковное имущество — все, конечно, «чистое золото». Тут я прикинулся ни в чём как честным и говорю:

«Придётся нам, падре, как полагается по закону, отдать половину государству».

А он мне:

«Нет, сын мой, неправильно ты рассуждаешь. Эти сокровища, как ты сам говорил, принадлежали иезуитам, зачем же мы будем их в казну отдавать. Есть у меня

друзья, мы эти вещички не спеша продадим, а деньги меж собой поделим».

Всё шло, как по маслу. Тут я позвал своего человечка и говорю: «Поезжай в соседнюю провинцию, в город, и отпавь мне телеграмму, что я должен немедленно выехать по срочному делу». Я решил, как только получу телеграмму, пойти и сказать падре, что мне представляется случай сбыть эти вещи в соседнем городке, что я не могу ждать, пока он соберётся продать их, а тогда он предложит мне взять мою долю деньгами. Конечно, я был уверен, что он постарается меня обжулить, и решил взять с него пятьсот солей. Но эта дубина, мой помощник, то ли меня не понял, то ли решил, что он умней меня, выдумал послать телеграмму прямо падре: «Передайте Квинесу жду срочное дело». Видали вы такого дурня? Падре, конечно, начал в затылке чесать: откуда это знают, что у него со мной дела? И тут у него подозрения явились. А я уж успел с него две сотни содрать. Так он пошёл и донёс на меня, а сам представился бог весть каким честным и клад одал в полицию. Потом-то я уж дознался, что он к себе ювелира вызывал и проверял вещички. Ну, кислота-то, конечно, и разъела всё это золото. А полиция, понятно, тоже проверила. А я говорю: «Я-то при чём, если люди фальшивое золото зарывают». Но они позвали там своих специалистов, а те начали нюхать и шкатулку, и кожу, и даже гвозди. И рассудили, что всё это добро хорошо если неделю в земле пролежало. Тут-то они меня и цапнули, как это у них говорится, за мошенничество.

Да я выберусь, погоди! Я тут узнал про всякие делишки главных из здешних воротил. Да и о падре этом кое-что разузнал. Коли они меня не выпустят, я всё это на суде и выложу. Ты ещё увидишь, Педро. Ну, а дурачить на серебре — это уж надо, чтобы тебе повезло, на круглого дурака напасть. Да их сколько кочешь на белом свете. Я вот тебе расскажу, как один раз...

Прогулка кончилась, и арестанты вернулись в камеры.

Единственное, что звучит в тюрьме так же, как и на воле, это дождь ночью. Стучит он по черепице, по двору, по лужам так же, как везде. Днём он совсем не такой. Во время дождя арестантов не выводили на двор, и они смотрели на него из-за решёток. И тогда он похож на длинную

серую пряжу, которая всё разматывается и никак до конца не разматается. И шум его похож на жалкое, ненужное, бессмысленное бормотанье. От скуки и пронизывающей сырости съеживаются тела бедных узников.

Как-то раз днём на прогулке к Росендо подошёл несчастный, совершенно замученный индеец и уставился прямо ему в глаза, словно искал в них какого-то ответа. Он был совсем как помешанный. И всё повторял: — Да, да — кровь рекой... — Он вспоминал что-то про свою хижину в горах и бормотал: — Что же мне делать? Хороший пончо, тёплый, да ведь он чужой, он мне до самых пяток... — Убитый, покойник, всё не выходил у него из головы. Он был у него в коке, кровь была в коке, и маленький мертвец, который был точь-в-точь как настоящий, большой. Однажды ночью большой мертвец бросился и хотел раздавить его. И он сказал ему: — Уходи, уходи, мертвец! — Они ударили его палкой по голове, и он увидел звёзды. У него были две овцы на выгоне. А мертвец не мог ходить, он летел по небу. И ещё был у него осёл, который лизал соль у него с руки. А мертвец смотрел... — Отец, он хочет убить меня и увести мою чёрную овцу! Вон он, вон он, мертвец! — Несчастный бросился на грудь к Росендо. И Росендо крепко обнял его и прижал к своей груди, защищая от мертвеца. Бедняга индеец плакал. И вместе с ним плакал Росендо.

Было ещё здесь шесть индейцев, среди них две женщины, которым предъявлялось обвинение в бунте и нападении на вооружённые силы. Родом они были из предгорий Суни. Каждый день во время прогулки они ели маисовую похлёбку, которую женщины варили на очаге, сложенном из кирпичей в углу двора. Они всегда держались вместе. И вид у них был жалкий и несчастный.

Во время вербовки новобранцев в Суни явились четверо конников и увели с собой четырёх парней. И вот эти индейцы, которые теперь сидели в тюрьме, подстерегли их на дороге, набросили на конников лассо, стащили их с лошадей и дали рекрутам возможность удрать.

Они сидели в тюрьме уже два года. Их собирались отправить на суд в Пиуру, где находилось военное командование северной зоны.

— А где это Пиура? — часто спрашивали они.

Люди, которые знали, говорили им, что Пиура лежит

далеко-далеко, за самой дальней грядой гор, за большой песчаной пустыней. Но они не верили и при первом удобном случае снова кого-нибудь спрашивали. Ответ всегда был один и тот же: далеко-далеко.

Они всё надеялись, что вот-вот их отвезут туда. Им, конечно, и в голову не приходило, что они совершили «серьезное преступление». Там, дома, некому было вспахать их маленькие поля, семьи их голодали и мучились, скотина передохла. Им очень хотелось, чтобы их поскорее отвезли на суд, и чтобы они уже знали свою судьбу. Но о них забыли.

Как-то раз, в воскресенье, когда пускали посетителей, один индеец сказал другому, сидевшему за нападение и драку:

— Я думаю, оно бы не плохо было, если бы ты сказал Филамене Ипритти поплакать, когда судья вызовет тебя на допрос. Пусть она поревёт погромче — может, судья сжадется над тобой.

Спустя несколько дней индейца вызвали на допрос. И из-за ворот тюрьмы в камеры доносились громкие причитания и пронзительные вопли.

Этот плач вызвал у старого Росендо чувство глубокого стыда, но в то же время ему стало ещё яснее, до чего может довести человека рабство.

Однажды ночью на мощёном дворе тюрьмы зацокали лошадиные копыта. Потом топот их ещё громче пронёсся по улице и замер где-то вдали. На следующий день арестантов не вывели на прогулку, под тем предлогом, что вот-вот пойдёт дождь. Коррео Савалья пришёл повидать Росендо и сказал ему:

— На прогулку вас сегодня не вывели из особых соображений, — это, так сказать, мера предосторожности; в тюрьме сейчас очень мало стражи. Я слышал, что сегодня ночью сорок человек из караула отправлены на поимку Фьеро Васкеса.

Эта новость быстро облетела все камеры. Заключённые горячо сочувствовали Фьеро Васкесу. Они видели в нём мстителя за все их обиды и страдания.

— Ура Фьеро Васкесу!

— Давай сюда Фьеро Васкеса!

Двери сотрясались от криков и проклятий. Затрещали доски, затремели цепи и засовы. Дежурные часовые начали стрелять, и заключённые, отпрыгнув от дверей, прижались у себя в камерах к стенам. Пули прошибали двери и с глухим стуком вонзались в стены.

Дни потянулись теперь ещё более однообразные и унылые, строгости в тюрьме продолжались. О погоне, высланной за Фьеро Васкесом, ничего не было слышно. А супрефект, под тем предлогом, что его провинция находится в состоянии мятежа, хватал людей направо и налево и пачками сажал в тюрьму. А если желаешь выйти на свободу, вноси пять колей. Да, смотри, берегись! Не вздумай нарушать общественный порядок, опять в тюрьму попадёшь. Хасинто Прието во всеуслышание возмущался тем, что его перевели в другой коридор и он больше не мог переговариваться с Росендо. Крики его отдавались в стенах гулким эхом, которое постепенно затихало где-то вдали.

Росендо познал, наконец, всю безграничную власть стены; её бесстрастный гнёт словно держал человека между жизнью и смертью. Стена была молчаливым соглядатаем, холодным блюстителем — её безмолвная правда скрывала в себе мрачную трагедию бездеятельной борьбы. Чтобы понять её, надо свыкнуться с безмолвием и с постоянной опасностью умереть — и не умирать. Росендо, наконец, научился понимать её безнадежный голос, её непроницаемый взор, её сокрушительное величие.

ГЛАВА 13

ВАЛЕНСИО В ЯНАНЬЯУИ

Широкая шерстяная юбка Касьяны оттопыривалась на её заметно округлившемся животе; движения у неё стали медлительные, набухшие груди вызывали в ней сладостное ощущение трепета и боли. Всё существо её наливалось упорным, пробивающимся ростом новой жизни. Они остались теперь одни — Паула, она и дети Доротео. Внутри нее готовилось выйти на свет новое существо, а

вокруг шла суровая жизнь, сиротство и нищета зрели в скорбном лоне жизни. Что случилось с Фьеро Васкесом? Что случилось с Доротео Киспе? Сёстры и дети в своей осиротевшей каменной лачуге обменивались на этот счет немногословными догадками и предположениями. Женщины давно уж свыклись с горем, и стоило им только дать волю мыслям, как возможность того или иного несчастья становилась для них уже непреложной действительностью.

Как-то раз днём Клементе Яку зашёл потолковать с Паулой.

— Паула, ты знаешь, какой у нас в общине обычай. Я сказал на сходке, что Доротео ушёл из общины вовсе не потому, что работать не хотел; он потому ушёл, что уж потерял все надежды. Но ведь мог бы он тебе прислать хоть что-нибудь. Ты так и не знаешь, где он? Ну, так или иначе, а ты всё же иди и получай свою долю. Вы, женщины, свою работу сделали. И хоть Доротео и следовало бы поработать на детей, но, так и быть уж, на этот раз я отложил вашу долю. Урожай-то небольшой; на будущий год, надо думать, будет лучше. Мороз тут нагрязнул, он здорово нас подвёл. Да ещё и не научились с этой землёй справляться.

Клементе посидел, поговорил, всё больше о земле. Уходя, он сказал:

— Так вот, Паула, ты всё-таки как-нибудь заставь Доротео, чтобы он дома-то не бросал. Я и семьям Кондоруми и Херонимо то же сказал. Конечно, не они одни уехали; но те взяли с собой и семьи и всё добро; они уже откололись от общины. Остались тут малолетние, да у них ведь никого нет, кто бы им помог... И у тебя, Касьяна, гляди, скоро ребёнок будет. Люди мрут да уезжают нивесть куда, а у нас новые люди рождаются. Это хорошо, хорошо! Я про твоего мужа ничего не скажу, потому что он никогда в общине не был. А ты приходи получай свою долю.

Урожай картофеля, оки и оллукос сняли уже несколько дней тому назад. И обе они, — и Касьяна, несмотря на свою беременность, и Паула, которой пришлось оставить всё хозяйство на ребят, — ходили на работы. Они старательно обирали дозы, разгребали землю длинными деревянными вилами. Теперь они видели, что община, следуя старому обычаю, требовала положенную долю с отсутствовавших, которые не отделились от неё совсем, а

оставили дома семью и, следовательно, не имели права взваливать свои обязанности на других.

Нагнувшись у порога, чтобы не задеть головой о притолоку, Клементе Яку сказал на прощанье:

— Ну, вы не горюйте. Можете положиться на меня. А всё-таки оно бы хорошо, коли бы Доротео внёс деньги, если уж он сам не приедет. С тобой другое дело, Касьяна. Я думаю, нам тут придётся отступить от наших правил. Да, не очень-то оно хорошо получилось... и для общины... а уж для жён, у которых мужьям приходится от полиции прятаться, и того хуже...

Паула и Касьяна знали, что Яку хороший, справедливый человек, но, как бы там ни было, они действительно очутились в крайне затруднительном положении. У них были припрятаны кое-какие деньжонки, которые им оставили мужья, но они боялись притрагиваться к этим ничтожным запасам. Что делать? Неужели им придётся уйти? Борьба между Артемио Чауки и Порфирио Медрано всё ещё тянулась, и если Артемио возьмёт верх, им придётся худо, потому что их тоже считают пришельцами.

Никто не появлялся на тропинке, и казалось, чёрная тень разбойника совсем покинула землю. Что случилось с Фьеро? Что стало с Доротео? Пришёл март. Дожди стали пореже, луга пообсохли, и коровы, стоя по брюхо в нежно-зелёных тростниках, жадно жевали их. По склонам бродили овцы, шерсть у них выросла густая-густая от холода; лошади с ржаньем карабкались на самые кручи; яркозелёный ямень радовал глаз, а квинуа, поспевая, начинало сереть.

Бывали дни, когда чёрное зеркало озера Янаньяуи сверкало на солнце, горные пики сбрасывали с себя облачный покров, и небо ненадолго снова превращалось в ярко-голубой купол. Люди чаще выглядывали из своих каменных хижин, бродили по склонам и даже отваживались шлёпать по болотистым равнинам. Несомненно, это была новая жизнь — суровая, неподатливая, как камень; но тело радовалось, одолевая её, и всё больше проливалось уверенностью в своей выносливости, в своей силе.

Пауле и Касьяне не привыкать было к горным кручам. Они выросли в суровой пустыне плоскогорий, и жизнь в Янаньяуи как бы перенесла их снова в родные края. Когда-то они больше всего боялись кнута, а теперь они боялись, как бы их не исключили из общины. Паула на-

деялась, что муж ее снова вернется к земле, к хлебопашеству. А Касьяна с той ночи, когда она видела Фьеро в пещере, а потом во главе его разбойничьей шайки, властно отдающим приказания, тогда же поняла, что это и было для него жизнью, и что земля никогда не вернет его к себе. Но глаза обеих женщин тревожно всматривались в далёкие громады вершин, которые заслоняли собой их судьбу, их будущее. Что-то будет? Что-то будет?

Как-то раз под вечер глухая и частая трескотня ружейной перестрелки, прокатившись в горах с гряды на гряду, с кручи на кручу, долетела до самой деревни. Стреляли где-то очень далеко. Поселяне высыпали из домов и пристально вглядывались в зубчатую стену поднимающихся на горизонте гор. Ветер усиливал эхо, и казалось, выстрелы приближаются. Жена Херонимо Кауа заплакала, а жена Кондоруми, надеясь увидеть что-нибудь сверху, стала карабкаться по склону. Паула и Касьяна стояли рядом, скованные тем горестным безмолвием, которому жизнь обучала их с того самого дня, как они появились на свет. Это было в первый раз, что звуки разбойничьей стрельбы нарушали спокойствие общины. Прежде появление Фьеро в деревне было чем-то вроде живописного зрелища; о недавнем нападении на Умай они узнали только, когда всё это уже кончилось. А гибель Мардокео и Эль Манко так сплелась с общим бедствием, что они старались не думать об этом, — к чему было воскрешать в памяти такое тяжёлое прошлое?

Но вот теперь снова поднималась стрельба. И в этой схватке рисковали жизнью трое из их поселян. Тот же самый пулемёт, который лишил жизни бедняка Мардокео и разбойника, теперь снова начал строчить по холмам. Прошло несколько времени, и звуки выстрелов, словно отшумевшая гроза, стали постепенно затихать, потом снова вспыхнули и, наконец, замерли в ночной тишине. Тяжёлую, тревожную ночь провели женщины, сидя в глухой темноте, прислушиваясь к каждому звуку. Но, кроме жалобного завыванья ветра, больше ничего не было слышно.

Утро встало, как всегда, закутанное в густой туман, а когда он рассеялся — на тропинках не было видно ни души. В полдень горы снова огласились выстрелами, но теперь уже очень отдалёнными и редкими. Должно быть, конная полиция преследовала разбитую шайку. Но в ту

же ночь, в самую темень, глухой мрак прорвался резким дробным щёлканьем. Испуганно взметнулись ночные тени, а дитя под сердцем у Касьяны зашевелилось и затрепетало, словно чувствуя, какая идёт борьба.

Потом в течение двух дней ничего не было слышно, а на третий день на склоне Эль-Альто показался человек. Он шёл без тропы, прямо наперерез по хребту, пока не поравнялся с деревней; тут он начал спускаться почти по прямой линии, как летит птица, чуть отклоняясь только тогда, когда крутизна становилась совершенно отвесной.

Касьяна сказала Пауле:

— А ведь это Валенсио... Валенсио!.. Это он так ходит.

Она позвала жён Херонимо и Кондоруми. И они вчетвером, с детьми и родственниками, отправились ему навстречу. К ним подходили другие — узнать, что такое случилось, и толпа постепенно росла. Из всех домов люди, привлечённые шумом, выбегали на порог посмотреть. Человек спустился в долину и спокойно зашагал по воде. Вода местами доходила ему до пояса, иногда до колен. Он на минуту остановился, поглядел на заросли тростников, нагнулся, сорвал охапку молодых побегов, подбросил их вверх и пошёл дальше, дружески шлёпнув на ходу пасущуюся корову. В эту минуту всеобщего смятения его спокойствие и беспечность были просто невыносимы. Жена Херонимо не утерпела и крикнула:

— Скорей, скорей иди!

Валенсио поднял голову, увидел толпу и прибавил шагу. Широкие круги расходились от него по воде. Он вышел из трясины, взбежал на гору, и Касьяна с Паулой бросились ему навстречу. Валенсио, повидимому, был очень удивлён таким торжественным приёмом. Он не заговорил с сёстрами, а изумлённо смотрел на толпу поселян, на людей, глазевших на него с порогов. Что означала вся эта суета? Вместе с сёстрами, которые повисли у него на руках, он подошёл к толпе встречающих. За спиной у него через одно плечо висел карабин, через другое — дорожный мешок.

— Живы они? — крикнула жена Кондоруми, имея в виду своих.

— Кой-кто и убит, — ответил Валенсио, сурово поглядывая маленькими серыми глазками из-под полей своей разодранной шляпы.

— Кто же, кто?

— Да не один, несколько.

Касьяна, которая знала его лучше, чем другие, стала задавать ему вопросы по-своему:

— Фьери Васкес?

— Жив.

— Доротео Киспе?

— Жив тоже.

— Херонимо Кауа?

— Также жив. В ногу ранен.

— Элой Кондоруми?

— Жив.

Лица тех, что обступили его со всех сторон, сразу пряснились.

— А кто же убит-то?

— Кой-кто из наших. И несколько полицейских.

В толпе засмеялись.

— А рана-то у него тяжелая? — спросила жена Херонимо.

— Да нет, не очень. Хромать будет.

Сёстры выбрались из толпы и повели Валенсио в хижину. Вместе с ними вошли жены Херонимо и Кондоруми. Валенсио поставил ружьё в угол, порылся в своём мешке и вытащил оттуда синий узелок.

— Жена Кондоруми?

Женщина протянула руки, а он, передавая узелок, сказал:

— Муж тебе на расходы прислал.

— На какие это расходы?

— Сказал — на расходы.

С теми же словами он вручил жене Херонимо красный узелок, а затем отдал сумку сестрам.

— А что же там случилось? Что было-то?

— Да стычка была. Подралась с полицейскими.

Валенсио взял из рук сестры тыквенную миску с карутофелем и другую — с окой и медленно начал жевать, поглядывая на любопытных, толпившихся у двери. Покончив с обеими мисками, он растянулся на голом полу, прямо тут же, где сидел, и, к великому удивлению всех присутствующих, моментально уснул. Он, повидимому, уже давно не спал, потому что было ещё совсем рано.

Наконец посторонние разошлись, а Паула с Касьяной начали доставать вещи из мешка. Там были хорошие носовые платки, материи и деньги — много денег, золотые

и серебряные соли. Всё это они спрятали в угол, под лоханку, перевернутую вверх дном, а попозже, вечером, послали за Клементе Яку. Разговор происходил около спящего Валенсио, который отнюдь не собирался просыпаться. Старшина сказал, что Доротео задолжал общине тридцать солей. Паула протянула ему целую горсть монет, а так как Клементе умел считать лучше них, он не торопясь отсчитал тридцать солей на покрытие долга и потом, по просьбе сестёр, ещё пятьдесят — на защитника для бедного, доброго Росендо.

Весь пончо Валенсио был пропитан кровью, и от него самого распространялась едкая вонь. Он тяжело дышал и время от времени вскрикивал во сне: «Вон он, синий! Вон — надсмотрщик!» Лицо у него было почти чёрное и сейчас, когда веки его были сомкнуты, утратило обычное тупое и свирепое выражение. Он проснулся только на другой день после полудня. И Касьяна спросила его:

- Ты как, уйдёшь, что ли?
- Останусь. x
- Что Фьеро говорит?
- Чтобы я оставался и работал с вами.

После долгих и дотошных расспросов ей удалось вытянуть из него, что на них внезапно налетела конная полиция, и в первый день всем им пришлось бежать. Потом они, по приказанию Фьеро, снова вернулись, разбившись на две кучки. Одна сделала вид, будто собирается напасть на отряд, и полицейские приготовились ночью защищаться, а в это время другая кучка неожиданно бросилась на них сзади. Силачу Кондоруми удалось отнять у них пулемёт, который потом закинули в озеро, чуть поменьше Янаньяуи. Покончив с этим, все поскакали на юг, потеряв пять человек убитыми и увозя с собой четверых раненых. А его послали в общину. Он не знает, сколько убито полицейских. Вот и всё. На самом же деле, хотя Валенсио и не был посвящён в это, его отослали потому, что он с таким исступлением бросался вперёд, проявляя такое отчаянное безрассудство, что рисковал не только своей головой, но и подвергал опасности всех остальных.

Валенсио завернул ружьё в одеяло и спрятал его в солому на крыше. Затем он отправился на озеро, выстирал свой пончо и расстелил его на камне посушить. Когда он возвращался в деревню и шёл, подставляя свой мощ-

ный торс и смуглую шею резкому ветру, поселяне кричали ему: «Добрый день, Валенсио! Как живёшь-то?»

Так началась жизнь Валенсио в деревне. Его тупая голова всё же по-своему кое-что понимала, но многое проходило мимо него, не задевая его внимания.

Пора дождей миновала. И падре Местас приехал в деревню на праздник св. Исидора. Поселяне поставили два каменных столба перед часовней, положили сверху балку, а на неё повесили колокол. Колокол весело выговаривал: динг-донг, динг-донг. И горы отвечали ему. А может быть, и они тоже звонили в свои колокола? Все пили на празднике чичу, Валенсио тоже хлебнул чичи и тут же заснул. А потом сестра сказала ему:

— Пойдём к обеду.

И он пошёл. И стал там на коленях, потому что все стояли на коленях. А падре выпил что-то из своей большой чаши, а потом побранил их за то, что они не удосужились покрасить св. Исидора и не построили святому такой большой дом, куда бы все они могли войти. Они пообещались это сделать, только попозднее, потому что теперь у них было очень много расходов из-за этого несчастного дела с Росендо. И падре сказал им: «Да поможет вам бог». А Валенсио не знал, кто такой, этот бог, и решил про себя, что это, верно, тоже какой-нибудь атаман, только ещё более сильный и могущественный, чем Васкес.

Как-то раз, днём, в деревню явились полицейские. И Валенсио совсем уж было собрался достать своё ружьё и перестрелять их. Но Паула сказала ему:

— Не смей.

И он не сдвинулся с порога хижины. Надсмотрщики обыскали всю деревню, но никого не нашли.

Один из них, проходя мимо Валенсио, глянул на него и промолвил:

— Ну что эти полупомешанные индейцы могут сделать?

Валенсио не знал, что такое значит «полупомешанный», но, повидимому, они не думали обругать индейцев, потому что тогда они просто сказали бы: «эти ослы».

Шли дни, и Валенсио чувствовал, как в нём поднимается какое-то странное томление, — ему недоставало женщины. А понял он это потому, что раз ночью он наткнулся в густой траве на пару обнявшихся и тяжело дышавших людей. И пастух Иносенсио объяснил ему, в чём тут дело, потому что они ведь были друзья с Иносенсио.

И теперь Валенсио захотелось, чтобы Тадея родила ему малютку, вот как Касьяна собирается родить для Фьеро. Тадея была сестра Иносенсио. Пусть только она попадетсЯ ему где-нибудь за деревней, он так и сделает. Касьяна уж скоро должна родить, потому-то Фьеро и послал его сюда. А кроме того, ему велено было исполнить одно поручение, но об этом он никому не говорил, даже Иносенсио, которому говорил всё, когда они вместе ходили со стадом. Коровы нравились Валенсио больше, чем овцы. Вода с выгонов вся ушла и там можно было теперь ездить верхом. Валенсио скакал без седла и без уздечки и гнал скотину домой. А поселяне говорили: «Здорово он сидит на коне».

Он любил бродить около озера, среди густых тростников. Там было много уток, и он отправлялся туда ночью, чтобы не распугать их. Когда ему удавалось поймать утку, он сворачивал ей голову или просто прокусывал шею и выпивал кровь. А утиная кровь вкусная! Сестры говорили ему: «Озеро-то ведь заколдованное, смотри, как бы там с тобой не случилось чего!» Но уток они жарили, и с картофелем получалось очень вкусно. И ещё они говорили, что нехорошо ходить около старых развалин, потому что там бродит какой-то Чачо. А он нарочно ходил посмотреть, что это за Чачо. Только ему ни разу не удалось на него поглядеть. Должно быть, этот Чачо очень ленивый — только и делает, что спит. Но больше всего Валенсио любил взбираться на Руми и смотреть, смотреть... и распознавать тропинки, чтобы, как только у Касьяны родятся дитя... Но это как раз и было поручение Фьеро.

Но вот подошло время собирать квинуа; потом созрел и ячмень. И, наконец, наступила весёлая пора молотбы. Только все говорили, что это совсем не то, что бывало, когда пшеницу молотили. Потому что теперь у них во всём был недостаток — и в лошадях, и в чиче. А он носился без седла, гикал во всю глотку, и ему тоже поднесли чичи. И ему казалось, что всё распрекрасно, а если есть такие, что жалуются, так это просто потому, что им делать нечего.

Раз к вечеру, когда уж начало смеркаться, он увидел Тадеу. Она шла с жёлтым кувшином на ручей, который бежал там, за развалинами старых домов. Она сделала большой крюк, чтобы не идти мимо развалин, а он поймал её и повалил в овражке. Сначала она отбивалась, а потом уступила. И он узнал, что женщина очень мягкая и

тёплая. И тело его успокоилось, насытившись, и ему было очень хорошо, а она сказала ему, что они теперь — муж с женой, и надо про это сказать Иносенсио. Пастух посмеялся и сказал: «Вот и ладно». Только им придётся подождать до следующего праздника св. Исидора, потому что тогда приедет падре и повенчает их, а община выстроит им домик. Так оно, верно, и будет, потому что сейчас как раз строили целых пять домов для тех, кто поженился, и он тоже помогал строить. А вечером они сходились с Тадеей в овражке под горой, и всё шло как нельзя лучше.

Однажды собрали сходку. И были разговоры, чтобы исключить из общины Порфирио и всех тех, кто со стороны, а Валенсио сказал:

— И меня, значит?

И все засмеялись. И так потом никого и не исключили. А Порфирио сказал, что можно канаву из озера поглубже прорыть. И что ещё надо провести канаву через луг, потому что воде стекать некуда, и она его заливает. А тогда можно будет этот луг вспахать и засеять. Но Чауки сказал: нет, надо оставить всё, как есть, как оно всегда было, а Порфирио нарочно хочет накликать на общину беду, прогневить озеро и вызвать оттуда «чёрную женщину». Валенсио подумал: почему же эта женщина не показывается, когда он туда за утками ходит? Может быть, она где-то в глубине сидит, он-то ведь всегда ходит со стороны тех гор, которые глядят на Мунчу, там гнёзд утиных больше, и никогда её не видит, — должно быть, она дальше живёт. Но какие же они трусы, если они этой женщины боятся, а он всё равно будет туда за утками ходить, и если только она ему попадётся, он с ней управится, точь-в-точь как с Тадеей.

Погода стояла прекрасная, но поселяне горевали о своём Росендо, которого всё не выпускали из тюрьмы. А Амбросио Лума сказал, что надо плести цыновки и выжигать известку на продажу. И все стали плести. И стали жечь камни, пока они не становились почти синими, и получалась известка, а потом её носили в город продавать. Валенсио тоже научился плести цыновки и жечь известку. Только он сказал, что не хочет денег, а лучше — хлеба. Ему дали хлеба целый мешок. И он поделился с Тадеей. А хлеб был вкусный.

Небо ночью было ясное, и луна катилась среди облаков, а звёзды мигали. Ребятишки носились по полю и ве-

село кричали: «Месяц, месяц, поиграй!..» Он вспоминал, как туго ему приходилось в детстве. И видел, что здесь никого не бьют кнутом, и всё так хорошо. После молотьбы стали стричь овец, и он тоже стриг. И никакой надсмотрщик не приходил отнимать у них шерсть, вся она оставалась в общине. И Тадея сказала ему как-то, что она ему свяжет пончо. Он решил, что пончо должен быть тёмно-тёмнокрасный, и чтобы на нём были алые и зелёные полосы. Так она ему и сделала. И вышел замечательный пончо. И всё было так хорошо. А если кто жаловался, так это просто потому что некоторые любят поскулить.

Касьяна должна была вот-вот родить. А он был очень счастлив с Тадеей и в новом пончо. И он старался плести как можно больше цыновок, потому что ему хотелось купить Тадее ситцу на платье.

Горы стояли высокие, высокие. А небо было ясное. И озеро сияло точь-в-точь как глаза у Тадеи, и всё было так хорошо.

ГЛАВА И

РАЗБОЙНИК ДОРОТЕО КИСПЕ

Однажды июньской ночью в чёрном небе, дрожа, вспыхнуло пламя, яркое, точно звезда. Валенсио, выполняя приказ, зажёл сигнальный костёр на вершине Руми, чтобы возвестить взорам двадцати разбойников рождение сына Касьяны.

Огонь полыхал часа два, ибо Валенсио натаскал туда громадную кучу хвороста и соломы. Всякий, кто увидал бы этот огонь, полыхающий в вышине, среди пустынных утёсов, окутанных мраком, подумал бы, что это, наверно, какой-нибудь продрогший пастух разложил костёр, чтобы согреться, или какой-нибудь заночевавший в горах пугник готовит себе пищу.

Фьеро Васкес не мог увидеть этот костёр. И никто из его людей не мог увидеть его. Фьеро был за решёткой, а его щайка, разбитая, поредевшая, спасалась бегством. Костёр полыхал, а Фьеро спал в четырёх стенах, а могло бы быть и так, что лежал бы он в деревянном гробу или на своей земле — добычей коршунов, как всякий разбойник, проигравший битву. Между тем Доротео, упорно не желавший сдаваться, скакал на север. С ним вместе скакали Элой Кондоруми, разбойник по прозвищу Синегла-

зий, Законник и Эмилио Лагуна. Херонимо Кауа уже не было среди них, он погиб в стычке.

Группа всадников разрывала глухую тишину ночи звонким цоканьем лошадиных копыт. Доротео, как и все его спутники, ехал низко опустив голову. Как им было увидеть этот далёкий, высоко поднимавший своё пламя костёр? Не до него им было. Только для ненависти осталось теперь место в их груди. В темноте нельзя было различить на лбу Доротео тот глубокий шрам, который остался от поединка с Жабой, но он становился заметен, когда загорались бешенством испуганные, измученные глаза Доротео. Им посчастливилось удрать в самую последнюю минуту, когда, казалось, всё уже было кончено для них. Херонимо Кауа умер у Доротео на руках, и тело его пришлось бросить в поле, иначе полиция перехватала бы их всех до одного. Доротео вспоминал о своём друге, добром поселянине, верном товарище, и в сердце его зияла глубокая рана, которую можно было залечить только кровью врага.

После двухдневной бешеной скачки, во время которой им приходилось не раз менять лошадей, воруя их на попадавшихся на дорогах ранчо, вдали, наконец, показался Руми. Первой их мыслью было поехать в деревню. Но что они скажут вдове Херонимо Кауа? Что скажут Доротео и Кондоруми своим собственным жёнам? Чем могут они поделиться, кроме своих горьких неудач? А если их увидят, община может за это ответить. Они растеряли все свои узлы с товарами, которые Фьеро надеялся сбыть какому-то лавочнику в округе; денег у них не было. Нет, лучше не показываться к своим. И ведь на таком же расстоянии, как их деревня, лежит селенье Мунча, и там живёт один из главных преступников.

Они укрылись в овраге, и Доротео сказал Синеглазому.

— Поезжай-ка ты в Мунчу. Как подъедешь к дому Сенобио Гарсии, зайди к нему в лавку выпить стаканчик-другой и разузнай, там он сейчас или нет. Посиди до вечера, чтобы его наверняка не упустить. А поедешь обратно, захвати там с собой бутылки две рому, нам они очень пригодятся.

Они дали ему самую лучшую лошадь. Синеглазый оставил им своё ружьё и часа в два пополудни с самым мирным и равнодушным видом спешил перед домом Сенобио Гарсии.

В этой бесцветной пустыне, истомлённой жаждой, задыхающейся среди пыли и паров алкоголя, гвоздика Розы-Эстеллы, выставленная в горшках на веранде, благоухала и радовала сердце. Сеньорита сидела среди своих цветов, устремив мечтательный взор на площадь, и на её прелестных губках, похожих на алый цветок, блуждала улыбка. Казалось, она ждала кого-то. Да, она ждала волшебного принца, а он не появлялся. Родители с детства внушили ей, что её красота даст ей такое будущее, какое ни один молодчик из Мунчи никак не добудет ей. И мысль об этом наполняла её презрением не только к мужчинам, но даже и к женщинам Мунчи. Ах, эти жалкие пьяницы, эти жалкие водоноски!

Всё складывалось как нельзя лучше для Гарсии, пока не поднялась эта история с Руми. Сам дон Альваро Аменабар дважды приезжал к Сенобио потолковать с ним о делах. А сын дона Альваро, дон Фернандо, частенько заезжал к Розе-Эстелле поболтать, спеть песенку. Она играла на гитаре, а он пел разные любовные арии. Похоже было, что он вот-вот сделает предложение. «А почему бы и нет? — рассуждали меж собой родители Розы-Эстеллы. — Роза красавица, а красота — на деньги — честная сделка». Ей же казалось, что это несколько поспешный вывод.

Но время шло. Соседей согнали с земли. Дон Альваро не сдержал ни одного из своих обещаний. Напротив, он совершенно порвал с Сенобио. А потом вдруг распорядился произвести этот опустошительный объезд. Дон Фернандо больше не появлялся в Мунче. И ко всему прибавилось ещё возмущение жителей Мунчи, которым Сенобио наобещал, что у них будут вольные пастбища, а им вместо этого в десять раз увеличили налоги. Они почти перестали признавать его власть, а в главный город провинции были отправлены ходоки, которые повезли прошение о смещении Сенобио. Так или иначе, но все от него отвернулись и все открыто выражали ему ненависть.

У Розы-Эстеллы пошли неприятности со служанкой. Та пригрозила, что не станет больше носить воду для гвоздик. Это уж было слишком. Сеньора Гарсия молилась и усердно ставила свечи святой Рите Касианской. Сенобио запил горькую, а Роза-Эстелла сердито топала ножками. Потом она успокаивалась и, усевшись среди своих гвоздик, лениво покачивалась в качалке. В этот день, услышав

ещё издали звонкий стук копыт, она уже приготовила было одну из своих нежнейших улыбок, но когда всадник, завернув за угол, остановил коня и спешил к дому, улыбка её мгновенно обратилась в презрительнейшую мину. Какой противный оборванец! И при этом — такие красивые синие глаза! Волосы Синеглазого отросли и покрылись густой пылью, одежда на нём была грязная, рваная. Он бросил на Розу-Эстеллу восторженный взгляд, поднялся, звякнув шпорами, на крылечко и вошёл в лавку.

Он уселся перед прилавком на старый ящик, который там служил вместо табурета, и приказал подать себе полбутылки рому и стакан. Он пил маленькими глотками, облизывал губы и с видом знатока приговаривал: «Недурной напиток, недурной!» Приказчик, который подавал ему, и двое посетителей, сидевшие у другого конца прилавка, были несколько удивлены странным видом пришельца.

— Откуда изволили прибыть? — учтиво спросил приказчик.

— Из Уйюми. Да я здесь уж несколько лет не был. Сейчас вот приехал, ищу работёнку подходящую. Дон Альваро предлагал мне...

— Хм...

— А что, дон Сенобио здесь? — поинтересовался незнакомец, хлебнув добрый глоток. — Я слышал, он перегонкой занимается. А я работал по этой части.

— Сейчас позову, — отвечал приказчик и скрылся за дверью во внутренние покои.

Через несколько минут появился Сенобио Гарсия, потный, с засученными рукавами, с красной, лоснящейся рожей, которая сейчас ещё больше напоминала глиняный кувшин для воды. Он обстоятельно потолковал с незнакомцем насчёт перегонки, выслушал его, а потом ответил: «Нет, не надо». У него есть сейчас люди. Но ему не мешает знать, что в их местах есть теперь такой человек, а когда нужно будет, он сообщит. Синеглазый сказал ему своё имя. Сеньора Гарсия, отличавшаяся необыкновенной любознательностью, появилась на минутку в дверях. И разбойник сразу понял, от кого молодая сеньорина унаследовала свою удивительную красоту. Эта увядшая женщина со следами былой красоты была, верно, хороша на редкость! Как это она могла выйти замуж за этого Гарсию! Разбойник не знал, что Гарсия подцепил её в

Целендине, где женщины славятся своей красотой. Там он обошёл её, выдав себя за богатого владельца ранчо, у которого деньги куры не клюют. Женщина следила за пришельцем с большим интересом, делая вид, что даёт приказчику кое-какие указания насчёт того, что надо сделать в лавке.

— Вон там, где сидит этот сеньор, хорошо-бы ещё несколько скамеек поставить.

Потом она кликнула Розу-Эстеллу, которая прошла через лавку, слегка покачивая бёдрами и кутаясь в красивую шаль с длинной бахромой. Сенобио пошёл к себе работать, а Синеглазый, видя, что время уже позднее, допил свой ром, купил ещё две бутылки, захватил их с собой и пошёл садиться на коня, сказав приказчику, что он теперь надеется стать их постоянным посетителем. Совсем уже вечером, когда приказчики и рабочие ушли, между супругами Гарсия поднялся спор из-за незнакомца, у которого был такой подозрительный вид.

— Разве ты не заметил, Сенобио, — выговаривала сеньора своему супругу, — ведь это настоящее чудовище, сущий разбойник.

— Ну, вот. Ты опять за своё. Сколько уж времени, кто бы к нам ни зашёл выпить, ты во всех видишь разбойников. Я с ним говорил, и он кое-что смыслит насчёт перегонки. Наверно, и вправду ищет работы.

— А что, если это кто-нибудь из шайки Фьеро Васкеса? Разбойник, ну прямо настоящий разбойник!

— Фьеро загнали далеко на юг. И совсем на-днях туда отправили ещё отряд жандармерии. Наверно, уж теперь прикончили этого негодяя.

— Не знаю, не знаю. Только чует моё сердце, что вот-вот что-нибудь такое стрясётся.

— Да будет тебе причитать. Что они мне могут сделать?

— Ах, Сенобио, ты лучше вспомни, что они натворили в Умае.

— Теперь с этим покончено. И во всяком случае, вон у меня тут ружьё. Хоть и грошовый подарочек сделал мне Аменабар, а вещь всё-таки полезная. Ты посмотришь, как я один с тремя такими управлюсь, а ведь соседи тоже спать не будут.

— Ах, Сенобио, Сенобио!

— Да отвяжись ты, надоела! — прикрикнул Сенобио с раздражением, но сам несколько напуганный, подбросил ещё дров под свой перегонный куб.

В полночь разбойники подъехали к городу. Доротео придержал коня и сказал:

— Надо, чтобы вы знали, как вам быть, если со мной что-нибудь случится. Ты, Заковник, и ты, Эмилио Лагуна, отправляйтесь в город в кабачок, — ну, вы знаете какой — и там столкнетесь с хозяином. Кондоруми и Синеглазый, вы скачите на север и добываете денег, сколько сумеете. Если кого-нибудь из вас убьют — всё равно, пусть другой едет и всё делает, как сказано. Если я останусь жив, я поеду с Синеглазым и Кондоруми, и вы нам дайте знать, что нужно сделать для Фьеро. Ну а теперь, значит, так: будем стрелять без передышки, один за другим, чтобы они подумали, будто нас много. Как в дом ворвёмся, Сенобио прикончим и тут же забираем всё, что можно, а с этой Розой-Эстеллой я сам первый позабавлюсь.

Доротео пустил лошадь галопом, и остальные поскакали за ним. В ночной тишине оглушительно загрохотали выстрелы, и испуганные обитатели Мунчи решили, что к ним нагрянула огромная разбойничья шайка. Разбойники ворвались в дом Сенобио, расколотив вдребезги дверь, ведущую в лавку. Треск расколачиваемых ружейными прикладами досок разносился по всей округе. Начальник не успел даже руку протянуть за ружьём. Он кое-как натянул штаны и бросился к сараю. Два разбойника, стреляя на ходу, гнались за перепуганным, дрожащим беглецом. Сенобио перескочил через стену сарая, потом еще через другую стену и побежал со всех ног по полю. Преследователи не отставали. Он уж бежал по лесчаному склону холма, спотыкаясь о низкий жёсткий кустарник. Сердце его стучало, как молот, в его жирной груди, и силы покидали его. Он задыхался и уж почти не мог бежать. Склон кончался обрывом, покрытым камнями и щебнем. Пуля взвизгнула и шлёпнулась о скалу совсем рядом. Осколки камней полетели ему в лицо, и он покатился в овраг. Он упал в выемку между большими камнями и лежал съёжившись, чувствуя, как кровь течёт у него по лицу, по телу, — он весь ободрался о камни. Его трясло, как в лихорадке, а разбойники были в двух шагах, они искали его, стреляя направо и налево. Он понял, что они потеряли его, и у него мелькнуло что-то вроде надежды. Он ещё больше съёжился и затаил дыхание. Разбойники топтались в овраге и по склону, камни сыпались у них из-под ног. Наконец они ушли. Ночь была чер-

нее чёрного, и вдалеке ещё долго гремели выстрелы. Он побоялся выйти, но в то же время терзался страхом за свою семью и за своё добро.

Между тем в доме Роза-Эстелла зажгла лампу и начала наспех одеваться, собираясь бежать. Вдруг дверь распахнулась, и сеньорита в ужасе застыла на месте: перед ней стоял Доротео Киспе, всклокоченный, страшный, с глубоким шрамом на низком лбу. Его маленькие глазки пылали ненавистью и похотью. Толстые губы, раздвинутые улыбкой, обнажали его длинные свирепые зубы, напоминавшие клыки. Он был похож на дикого зверя, приготовившегося к прыжку. Сжимая в руке обнажённый нож, он шагнул вперед, и Роза-Эстелла, теряя сознание от ужаса, упала на кровать. Свет от лампы заливал своим ровным сиянием её прекрасное, нежное тело. По всему дому раздавались выстрелы и ненстовые вопли сеньоры Гарсии и служанки.

Когда всё затихло и Сенобио, набравшись храбрости, вылез из своей дыры и дотащился до дому, глазам его представилось грустное зрелище — безутешно плачущие женщины, взломанный, опустошённый сундук, изрешеченные пулями бочки, откуда по полу ручьем растекался ром. Всё кругом разворочено, перебито; припрятанные им пять тысяч солей исчезли бесследно.

Соседи, которые и пальцем не шевельнули, когда нужна была их помощь, — отчасти из страха перед разбойниками, а главным образом потому, что они ненавидели Гарсию и его семью, — теперь приходили один за другим с притворными соболезнованиями, а на самом деле с единственной целью — посмотреть собственными глазами, что тут такое понаделали. «Ах какое несчастье! И спиральи-то все поломали. И ни капли рома в бочках не оставили... А постель то Розы-Эстеллы в кровавых пятнах. И деньги все унесли... Вот напасть какая!»

Служанка отказалась от места. Наутро сеньора Гарсия, упав на колени перед образом святой Риты Касианской, срывающимся голосом шептала молитву. Роза-Эстелла, бледная и пригихшая, стояла с кувшином в очереди у источника. А Сенобио, согнувшись, пытался над починкой своих кубов и бочек. Мрачные мысли одолевали его, и работа плохо спорилась. Вот теперь погонят его из начальников за то, что он убежал. И денег у него нет ни центаво. И все его перегонные приспособления исковерканы. А Роза-Эстелла теперь уж не сделает хорошей

партии. Всю жизнь он корпел в этой пустыне, откладывая центаво за центаво, женился на женщине, которая и по сю пору не простила ему, что он её обманул; сколько надежд он возлагал на красоту дочери и собственную изворотливость. И вот теперь всё пошло прахом. Он чувствовал, как внутри у него всё горит и томится, вот как эта потрескавшаяся от зноя земля. В углу комнаты стояло несколько каким-то чудом уцелевших бутылок рома. Сенобио жадно хлебнул прямо из горлышка, приложился раз-другой и оставил пустую бутылку. Что проку стараться в этом жалком мире? Он отшвырнул змеевик, который пытался поправить, пихнул ногой бочку и принялся за вторую бутылку.

День за днём Доротео Киспе и его соратники тщетно сторожили дорогу, сидя в засаде в горах, где они укрылись. По дороге проходили индейцы, беззащитные женщины, бедные крестьяне. А Киспе, как бы ему не приходилось туго, всегда шадил индейцев. Он в этом случае избегал следовать примеру своего атамана Фьеро, который однажды обчистил самого Доротео. В нём ещё была свежа память о тех мучениях, которым подвергались индейцы. Из пяти тысяч солей, унесённых от Гарсии, четыре тысячи они послали Фьеро, которому надо было заручиться защитником или, если удастся, бежать. Остальное они поделили между собой. Иногда они останавливали какого-нибудь путника, отбирали у него еду и платили ему. Иногда шли к пастухам, просили горшок варёного картофеля и тоже платили. Пастухи и прохожие сначала пугались, а потом не могли притти в себя от изумления: «Что за люди такие? Глянешь, так сразу видно, что разбойники и конокрады, а платят — будто честные. Что бы это такое значило? Опасный народ! Один косолапый, страшный, как медведь. Другой — громадный, неповоротливый. А вон тот, синеглазый, страшно посмотреть, до чего грязный и оборванный! А лошадки у них хоть куда, и кинжалы тоже. И бог их знает, что с ними такое стряслось, почему они так чудно себя держат. Бывают же на свете чудеса. Вряд ли поведение Синеглазого, если бы он мог поступать так, как ему хотелось, могло бы навести на такого рода размышления. Он сам в глубине души посмеивался над — как он выражался — «чувствительностью» своих друзей. Но Доротео, чуть что,

хватался за нож, а Кондоруми больно уж был здоровенный, так что Синеглазый предпочитал держать про себя своё мнение.

А по тропе проходили бедняки, кондоры пролетали мимо, ветер пролетал, пролетало время... а они всё ждали да ждали случая, но он, видно, не желал являться. Наконец как-то раз на исходе дня медведь зарычал:

— А ну-ка, посмотрите!

Вдали по крутой тропинке с горы спускался всадник: с седла его по обе стороны свисали два громадных тюка.

— Похоже, будто это Чародей.

— Он самый, — подтвердил Кондоруми.

Они вскочили на лошадей и поскакали, поднимая облака пыли. Действительно, это был Чародей. Через несколько минут они поравнялись с ним. Увидя их, он остановил свою клячу.

— Здорово, Чародей! — дружески сказал Доротео, чтобы дать время своим пособникам окружить его. — Давно мы тебя поджидаем, а ты будто сквозь землю провалился.

— А что вы за люди? Зачем вы меня поджидаете? — спросил Чародей, стараясь не обнаруживать страха, хотя он уже догадался по оружию и по шраму на лбу себе-седника, с кем имеет дело.

— Фьеро Васкесу нужно, чтобы ты для него сбыл кое-какой товар. Мы теперь вместе с ним охотимся.

Чародей несколько оправился. Он увидел, что поселяне относятся к нему не так, как можно было опасаться. Может быть, они не придавали большого значения его показаниям. Может быть, Фьеро Васкес, который нуждался в его услугах, не велел им мешаться в это дело, потому что у Чародея был сговор с Фьеро — он сбывал награбленный товар. Когда до него дошли слухи о смерти Иньигеса и о многом другом, а кстати и об исчезновении надсмотрщика, которого считали шпионом, он стал опасаться индейцев и уже подумывал, не пронюхали ли каким-нибудь образом разбойники, что он раскрыл их планы Аменабару. Тут он решил, что самое благоразумное будет исчезнуть на время, пока всё это не утрясётся, и отправился в глубь страны, на север. Похоже было, что сейчас всё это уже обошлось.

— Ну что ж, могу поехать, — ответил Чародей.

— Н-да, собирайся-ка в дальнюю дорогу.

Тут только Чародей заметил, что хитренькая усмешка Доротео как-то не вязалась ни с явно враждебной, мрачной миной Кондоруми, ни с издевательской ухмылочкой Синеглазого. Но тут и сам Доротео, решив, что довольно валять дурака, разразился дьявольским хохотом. Чародей, окружённый разбойниками, видя себя в их руках, так побледнел, что лицо его, обычно напоминавшее ломоть сала, стало похоже на кусок известки. Его проворные птичьи глазки быстро перебегали с одного лица на другое, в надежде найти хоть каплю сочувствия, что позволило бы ему не прибегать к последней, отчаянной мере защиты, которая могла только ускорить роковую развязку. Но он не видел ничего, кроме ненависти и презрения, и, решив защищаться до конца, он потянулся за револьвером. Кондоруми успел схватить его за руку и сдавить её своей железной лапищей, как тисками. Синеглазый подъехал к нему с другой стороны и выдернул револьвер из кобуры, пристёгнутой к седлу. Тут Кондоруми грубо рванул его с седла и швырнул на землю; испуганная лошадь бросилась в сторону, но сразу же остановилась, прядая ушами. Чародей тотчас вскочил на ноги, решив, что единственное для него спасение — показать, что он не боится.

— Не будьте трусами! — крикнул он им. — Не все сразу на одного, трусы вы подлые! Давайте-ка по очереди подходите!

Он скинул пончо и приготовился к драке, но Киспе наехал на него лошадьёю и дважды вытянул его поводьями по спине.

— «Трусы», ты сказал? Тут один трус — это ты! Ты прикидывался другом, а потом — продал. Пошёл и донёс на людей Фьеро твоему богачу. Мы всё знаем. Вот теперь получишь, что заслужил.

Чародей шарил глазами по земле. Хоть бы камень какой подвернулся.

— Пристрелить? — спросил Синеглазый, прицеливаясь из револьвера.

— Нет! Больно хорошо для него. Идём-ка, — сказал Киспе, тыча его дулом ружья под рёбра. И, повернувшись к Кондоруми, сказал:

— Возьми-ка его лошадь.

Они свернули с тропинки и поехали лугом. Киспе подталкивал коровейника, как толкают замешкавшуюся скотину. Но Чародею вовсе не хотелось спешить. Может,

кто-нибудь еще попадетя навстречу. Ведь бывает, что путники собираются группой, чтобы не так страшно было проходить по опасным местам, — вместе легче защищаться. Но никого не было видно. Белой лентой убегала безлюдная дорога. Далеко простиралась пустынная равнина. Чёрные утёсы мрачно смотрели на него, а высокая трава словно стонала под его ногами. Только июньское небо сияло в своей невозмутимой синеве.

Они подъехали к пригорку, покрытому камнями и щебнем. И Чародей подумал: не запустить ли ему Доротео камнем в лоб, пока они его ещё не прикончили. Но разбойники повернули в другую сторону и спустились в ложину. Теперь уже дороги не было видно, и надежды его начали улетучиваться. Куда они его ведут? Сначала Чародей подумал, что они хотят столкнуть его в пропасть с какого-нибудь утёса, но они выбрались на ровное место и поехали прямо.

— Деньги есть? — спросил Доротео.

— Есть немного, в седельном мешке, только большая часть моих денег в банке в Трухильо. — Чародея вдруг осенила очастливая мысль: — На что вам убивать меня, — сказал он, — подождите, оставьте меня здесь, а я пошлю за деньгами в банк, вот вам будет выкуп. Двадцать тысяч солей, а?! Не стоит упускать такие деньги.

— Ум... — промычал Доротео и, подумав немного, сказал: — Ты ещё выкинешь какой-нибудь фокус. Вместо денег, дождёмся мы полиции. Хватит нам и того, что у тебя с собой есть, да ещё в придачу твоя рухлядь.

Равнина сверкала на солнце. Трава стояла высокая, густая. Там и сям огромный красно-чёрный камень, похожий на гигантскую бородавку, поднимался среди однообразного пейзажа. Громады гор вдалеке высились ровными рядами, словно в торжественной процессии.

Вдруг наискосок впереди блеснула мелкая вода болотца. Они направились прямо туда. Неужели они хотят похоронить его в этой трясины? Чародей подумал было броситься бежать — пусть уж лучше пристрелят на бегу, чем задыхаться в этой топи, но, быстро оглянувшись по сторонам, увидел, что Синеглазый раскручивает своё лассо. Эти сияющие глаза смотрели на него не менее угрожающе, чем трясины. Вот они уж совсем подошли к чёрной поверхности, сплошь покрытой сотнями маленьких углублений, в которых тускло поблёскивала тинистая вода. Посредине было поглубже, и там вода отливала синевой. Поближе к

берегу там и сям белели кости, немного подалее — коровий череп. Это были останки животных, которые неосторожно зашли в болото, чтобы напиться этой синей воды. Хищные птицы, пиравшие на их трупах, разнесли и разбросали кости. Чародей застыл на месте. Трое разбойников остановились позади, он обернулся и посмотрел на них умоляющими глазами.

— Ступай! — крикнул ему Доротео.

— Застрелите меня, — с трудом вымолвил Чародей.

— Ступай, слышишь! Ну-ка, Кондоруми, слезай с лошади, да возьми мачете, а то он не понимает, что ему говорят.

Кондоруми соскочил с коня и, обнажив длинный мечете, направился к Чародею. Дрожащий пленник вошёл в трясины, шлёпая по грязи. Его тощее тело в жёлтой бумажной блузе начало медленно погружаться, и вытаращенные глаза устремились ещё раз с последней мольбой на людей, потом на болото, но ни там, ни тут не обрели и тени надежды. Люди смотрели на него с выражением свирепого удовлетворения, а трясины, чавкая, засасывала его всё более и более алчно. Кондоруми стоял на самом краю. Чародей, очутившись вне пределов досягаемости его мачете, остановился. Но трясины медленно и мягко расступались под ним; он погрузился в неё уже по пояс. Тщетно старался он сделать шаг в сторону или коть назад — пусть мачете искромсает его на куски, — ноги его крепко увязли в глубоком иле, он не мог пошевелить ими. Медленно, но безостановочно погружался он всё глубже и глубже. И чем больше он прилагал усилий выбраться, тем скорей погружался. Доротео, опасаясь, как бы шляпа Чародея не осталась на поверхности, крикнул:

— Сними шляпу, засунь в болото!

Чародей покорно снял свою белую соломенную шляпу и сунул её в грязь, — может, у него мелькнула надежда, что, если он будет делать всё, что они велют, они сжалятся над ним, а может быть, он уже потерял всякую власть над собой и подчинился машинально, как автомат. Зловонная грязь теперь уже всё быстрее и всё неумолимее подползала к его груди. Он ещё раз обернулся и бросил на разбойников последний, умоляющий взгляд; он пытался что-то вымолвить, но не мог, потому что губы и челюсти его сводило судорогой.

— Прощай! — безжалостно крикнул ему Синеглазый.

Чародей беспомощно шлёпал ладонями по грязи, по-

детски пытаюсь удержаться на поверхности. Но когда его уже засосало по плечи, он вдруг перестал погружаться. Ноги его уткнулись во что-то твёрдое — может быть, это был камень, может быть, более твёрдый слой почвы. Разбойники переглянулись. Человек поменьше ростом ушёл бы уже по самый нос и был бы обречён на мучительнейшую смерть, а у этого над трясинной торчала вся голова, бледная, всклокоченная, похожая на голову мертвеца; только одни глаза горели смертельным ужасом и нестерпимой мукой страшной агонии, губы уже не двигались.

— Ну-ка, — сказал Доротео Синеглазому, — забрось лассо да вытяни его.

Ловким швырком Синеглазый накинул петлю на шею Чародею, и Кондоруми вытянул его на берег, оставив на трясине длинную борозду. Они сняли с него петлю, и точнее тело осталось лежать неподвижным, как грязный кусок мяса. Он поднял на разбойников умоляющие глаза, и слёзы медленно покатались по его щекам.

— Сжальтесь! — простонал он.

— Сжалиться? А ты пожалел кого-нибудь хоть раз в жизни?

В мгновении видения пронеслась перед Чародем вся его жизнь. Увы! Это была одна сплошная цепь обвинений: он никогда никого не жалел. С того самого дня, когда он мучал бедную горлинку с перебитым крылом, вплоть до того, как он принимал участие в поисках бежавших индейцев, помог ввергнуть целую деревню в нищету и обречь поселян на верную смерть в копиях, — он никогда не знал, что такое жалость. И тут страшная смерть встала перед ним с неумолимой неизбежностью, хоть он и не мог примириться с ней. Он весь словно распался на части. В нём не осталось ни капли мужества. Он безудержно плакал.

— Ну-ка, Кондоруми, — сказал Доротео, — покажи свою силу. Зашвырни-ка его подальше.

Кондоруми ухватил его за шиворот и за пояс, дважды качнул в воздухе и быстрым, ловким движением швырнул в болото. Глухо шлёпнувшись, тело Чародея упало шагов на двадцать дальше того места, где он стоял раньше, и быстро погрузилось в мягкую топь. Трясина, судорожно всхлипнув, медленно сомкнулась над ним. Им даже слышалось, что-то вроде внезапно оборвавшегося вопля. Но через минуту всё уже было кончено, только несколько пузырей, словно нехотя, поднялись на поверхность и лоп-

нули один за другим, и чёрная топь снова застыла, поблёскивая спокойно и невозмутимо.

Разбойники, не проронив ни слова, повернули обратно. Корикина выискивала себе пищу, заглядывая под жёсткие кучки навоза. Ветер посвистывал в высокой траве. Далёкие вершины уходили в небо. И время с медлительностью тысячелетий простиралось над горами и болотами.

ГЛАВА 15

СМЕРТЬ РОСЕНДО МАКИ

Росендо Маки не имел возможности сосчитать, сколько времени он уже сидит в тюрьме. Может быть, год, а может, и два... а может быть, всего только ещё пять-шесть месяцев. Время очень медленно тянется в тюрьме, если пережить в подробностях весь тюремный день и представить себе ещё много, много таких дней во мраке этих стен. А когда оглядываешься назад, на то, что уже прошло, то этот отрезок времени представляется чем-то несоизмеримым — он полон горя, но лишён каких-либо событий, а они-то в сущности и являются вехами прошлого. Для Росендо все эти дни, в точности повторявшие один другой, сливались в одну сплошную массу, в которой можно было только очень смутно различить такие происшествия, как скучный допрос на суде, освобождение или смерть кого-нибудь из заключённых, или появление новых, пока и они тоже, со всеми их бесконечно повторяющимися историями, не становились частью унылого тюремного однообразия. Но жизнь чувствует, что она пропадает зря, — она чувствует, что всё это сплошное ничто, и дни идут, идут, превращаясь в бесформенную массу потерянного времени. И сколько же его ушло? Календарь отмечает числа. А человеку кажется, что он оглядывается на длинную, беспросветную дорогу, истоптанную тяжёлыми стопами страданий.

Памятной датой для всех заключённых, а больше всех для Росендо, было появление в тюрьме Фьеро Васкеса. Однако мало-помалу, когда к нему по привычке, выслушали все его истории, узнали обо всех его приключениях, он тоже превратился в некую пядь этой долгой, беспросветной дороги.

У Росендо были ещё и другие памятные дни. Коррео

Савалья мужественно выступил на его защиту. Эксперт по клейменью скота установил, что клеймо Касмиро Росаса на чёрном быке поставлено совсем недавно, иначе рубец был бы другой. Никто не мог доказать, что Росендо подстрекал Мардокео к убийству, ни того, что он был соучастником Фьеро Васкеса или укрывал его. Тогда, чтобы не быть вынужденными освободить старшину, его обвинили в подстрекательстве к мятежу и предали военному суду. Коррео Савалья очень расстроился этим. Росендо сказал ему:

— Напрасно вы так огорчаетесь: ничего другого я и не ждал. Я ведь говорил вам, когда мы с вами первый раз толковали, что от закона ничего хорошего не дождёшься. Когда я пахал поле у себя в деревне, я всем верил. А с тех пор как меня привели сюда... да что говорить... Вот может, с другими индейцами вы чего-нибудь добьётесь.

Гонорио вынесли мёртвым на холстине. Он был точь-точь, как распятый на кресте. Они закрыли ему лицо шляпой, но его жёлтые, исхудавшие руки и ноги, казалось, вопияли без слов. Когда Коррео Савалья принёс бумажку о его освобождении, очень довольный тем, что ему удалось добиться этого, Гонорио уже не было на свете.

Хасинто Прието в конце концов как-то посчастливилось выбраться живым. Сын его положил на это немало усилий. Ему даже удалось уговорить Сурдо, чтобы тот отказался от своих показаний. Но судья сказал, что есть еще другие показания и что суд всё равно будет, потому что закон не может противоречить себе и считать несовершенноными те преступления, которые по ходу дела уже доказаны. Кто-то намекнул Хасинто, что его, наверное, освободят; если он пошлёт письмо в «La Patria» — газетку, которая расточала похвалы по адресу Оскара Аменабара и в силу этого начала приобретать некоторую популярность в провинции, — и напишет в нём о замечательном благородстве, беспристрастии и честности городских властей и тюремного начальства. Хасинто, припомнив, как он возмущался проделками судьи и супрефекта, ответил, что ничего подобного он писать не станет. Он с вызывающим видом бил себя в грудь и кричал, что он не такой человек, который позволит себя оскорблять. А потом с великим увлечением начал сочинять письмо самому президенту республики.

— Ах, Росендо, — шептал он, опасаясь, чтобы его не подслушали доносчики и чтобы письмо его не попало куда не следует. — Я ему всё написал про моё дело и про всё.

что я видел. Ничего не упустил. Ведь прочтёт, непременно прочтёт — ты как думаешь? Я ему написал ещё, как я внушал сыну, что он должен честно выполнять свой воинский долг, и что я всегда любил мою страну, и что, несмотря на все несправедливости, я и сейчас люблю её, хоть мне иной раз и горько смотреть, чего у нас только не выдвывают с неимущим людом. Скажи, друг, как ты думаешь, неужели президент не прислушается к честному голосу из народа? А я так полагаю, что скоро у нас будут кой-какие перемены. Вот посмотришь! Ведь вся беда в том, что никто не говорит об этом президенту, что его обманывают те, кому нужно, чтобы оно так всё и оставалось, как есть. Они-то и рассказывают ему, что всё, дескать, идёт в лучшем виде. Вот увидишь, увидишь, Росендо... Ну, что ты скажешь? Почему ты молчишь? Сидишь, будто неживой...

Спустя некоторое время, в воскресенье, кузнец получил через своего сына нарядный конверт, в левом верхнем углу которого красовался национальный герб, а внизу была надпись: «Канцелярия президента республики». Секретарь имел честь уведомить Хасинто, что президент ознакомился с содержанием его письма и что замечания, которые там имеются, переданы на рассмотрение соответствующих органов. Письмо было составлено в весьма учтивом тоне, и Прието был страшно польщён. Размахивая конвертом, он говорил Росендо:

— Вот видишь! Вот что бывает, когда ты выкладываешь всё начистоту и обращаешься прямо на самый верх. Кто такие эти органы? Это, брат, министры! Президент скажет им: «А ну-ка, что вы сделали насчёт того вопроса, который моя милость изволила вам передать? Сейчас же уберите недостойных со всех начальственных постов!» Ну, конечно, это я только так, из вежливости говорю — «недостойных», я бы на его месте прямо сказал: гоните их в шею, всех этих воров и мерзавцев. Вот ты увидишь, Росендо, какие у нас пойдут перемены. Посмотришь, будет расследование. И я научу людей не бояться говорить правду...

Время шло, и ничего из того, что ждал и о чём мечтал Хасинто, не происходило.

Один из очень немногих, кто вышел на волю, был мошенник Абсалон Квинес. Выходя, он сказал, что в тюрьме только одни дураки засиживаются. Через несколько дней ему удалось добиться освобождения пастуха Педро, с ко-

торым он подружился в тюрьме. А Прието получил уведомление, что его отправят в столицу, где он предстанет перед уголовным судом. Тут уж его прорвало, и он, не помня себя, кричал, бушевал и проклинал всё на свете.

— Враньё! Враньё! Всё одно враньё! Нет у нас правды, нет у нас никакой своей страны. Где честные люди, которые нужны народу? Всех их можно за грош купить, все они, все лежат сапоги власти имущим. Богач может убить — и ничего ему за это не будет. Бедняк даст кому-нибудь тумака — и вот его уж обвиняют в покушении на убийство. Где равенство перед законом? Ничему я теперь не верю. Пусть меня убьют, коли уж им так хочется.

Крики Хасинто Прието разносились по всей тюрьме, их слышно было даже на улице.

— Пусть они меня засудят. Когда-нибудь я выйду... Стану делать ножи, книжалы и людям раздавать. Динамит буду делать. Пусть всё к чертям полетит! Фьеро Васкеса в тюрьму посадили — так он хоть головой рисковал. А есть злодеи и воры, которые на службе воруют под прикрытием закона. Кровопийцы! Из народа кровь сосут! А государство видит и покрывает их. Что такое государство, какой мне от него прок? Нашёлся бы хоть один человек, который мог бы мне это сказать? Вот, когда разделаемся мы с мошенниками и кровопийцами, тогда будет у нас государство. И я уж постараюсь об этом: прикончу несколько штук таких грабителей, которые выдают себя за честных.

Пришли часовые. Били Хасинто прикладами, чтобы заставить его замолчать. Прието, забившись в угол камеры, сперва пытался защищаться, как бык, на которого бросилась стая волков, но, наконец, подавленный численностью неприятеля, замертво грохнулся наземь. Его вытащили в штрафную камеру и привязали между двух столбов, так что он не мог ни сесть, ни встать.

Прието вышел из штрафной камеры на себя не похожим. Он держался особняком, ни с кем не разговаривал, ни в камере, ни на прогулке. И ходил он уж не такой твёрдой походкой, а словно гири волочил на ногах. Как-то раз Фьеро Васкес отозвал его в сторону и сказал ему:

— Вот что, приятель, никакое письмо в газету тебе не поможет. Только неприятности наживёшь. А деньги делают всё, что хочешь. Я тебе дам тысячу солей. Тогда они забудут всё, что ты им наговорил, и выпустят тебя.

— Спасибо, — сказал Хасинто, — но душа у меня болит,

когда я подумаю, что надо забыть о том, что есть на свете справедливость.

Через неделю его выпустили. Но это уж был человек, съеденный тюрьмой.

В жизни других заключённых ничего не изменилось. Прибавилось ещё несколько человек, и первые два-три дня они рассказывали о своих злоключениях. Слушали их главным образом потому, что в этих рассказах приоткрывалась какая-то щель, откуда дышала вольная жизнь, жизнь на свободе. Жалкая, крошечная щёлка! Но она была так же дорога заключённым, как те несколько минут, которые они проводили вне стен, на прогулке. Но и новички тоже скоро пропитывались тюрьмой, и через несколько дней воцарялось то же унылое однообразие.

Раздумывая над своим существованием в тюрьме, Росендо сделал горестный вывод, что дни его проходят совершенно бесплодно и лишены всякой созидательной деятельности. Однажды его пришла навестить седая, согнутая старуха Росарио; она еле передвигала ноги, но прошла весь этот длинный путь из любви и уважения к Росендо. Старый Росендо был очень растроган этим. Его маленький внук теперь уже всё говорил и бегал по выгону, играя в пастуха.

В один прекрасный день Фьеро Васкеса перевели из четвёртой камеры во вторую, и он очутился с Росендо. Власть решила рассматривать их как соучастников, привлекающихся по одному и тому же делу, и, объединяя таким образом поселянина с разбойником, рассчитывали включить Росендо и всю общину в эту преступную разбойничью среду. Тот, кто сидел в тюрьме, знает, что перевод заключённого из одного помещения в другое частенько служит указанием на то, что происходит в царстве гербовой бумаги. Фьеро Васкес обвинялся в любом убийстве, в любом грабеже и преступлении, обнаруженных в пределах всего края на протяжении нескольких лет. Его даже обвиняли в краже письма. Но доказать все эти обвинения не могли. Когда его допрашивали относительно товаров, которые были у него найдены, он отвечал, что купил их у Хулио Контрераса, известного под прозвищем Чародей. Судья приказал вызвать того свидетелем, но его нигде не могли найти. Фьеро давал показания спокойно, но таким властным тоном, будто требовал, чтоб ему верили. Судья,

зная, что Фьеро у него в руках, допрашивал его не особенно тщательно. Временами казалось, что он не прочь сказать разбойнику:

— Да я-то против тебя ничего не имею. Это всё Аме-набар. Зачем ты совался помогать поселянам?

И в то же самое время, чтобы покрепче запутать Росендо и найти против него новые улики в подстрекательстве к мятежу, это же обвинение предъявили и Фьеро: он принимал участие в «движении» в Руми, и один из его шайки был убит при этом. После допроса его отвели снова в камеру Росендо. Они были «соучастники».

Фьеро Васкес, загоревший, обветренный и, как всегда, одетый в чёрное, был бы совершенно невидим в темноте камеры, если бы не блеск его собственного глаза и мутная белизна искусственного да не его ослепительные зубы, которые так и сверкали, когда он улыбался. Его сильный и тёплый голос завоевал ему расположение Росендо, и старик в конце концов пришёл к заключению, что Фьеро, наверно, когда-то был хорошим человеком. Временами казалось, что он как бы стряхивал с себя все свои преступления и опять становился мальчишкой, который когда-то собирал навоз для очага своей матери. И властная, бурная натура Фьеро так заполонила эту маленькую камеру, что старику осталось только его ложе. Росендо понимал, что это было просто естественной победой силы, и спокойно сидел у себя на постели, пожёвывая коку. Они очень хорошо ладили, но нельзя было сказать, что они сошлись.

— Эх, старик, — восклицал Фьеро, — если бы ты только видел, как мы налетели на ранчо Умай! За милую было слышно, как вопила эта донья Леонора, и её дочки, и прочее их бабуле, которого там хоть пруд пруди. Да и дрались-то ведь одни надсмотрщики! А этот великий храбрец, дон Альваро, — он нам ни разу на глаза не попался...

— Хорошо, — отвечал Росендо, — ну и чего вы добились? Убили двух надсмотрщиков, таких же бедняков, как и мы, — они ведь не понимают, что делают.

— Уж больно ты расоудителен, Росендо. Вот в этом-то и беда твоя. Мы должны бить, и бить без жалости!

— Вот вы и убиваете бедняков. А богачи посылают против вас других таких же жалких бедняков.

— К чорту всех этих бедняков, если они такие простофили!

И разговор обрывался. Больше всего восхищался Росен-

до способностью Фьеро привлекать к себе людей. Он не прибегал к угрозам, как это делали многие из его шайки, он позволял себе это только в самых редких случаях, но его влияние в тюрьме росло с каждым днём. Даже смотритель под предлогом того, что ведёт разбойника на допрос, уводил его к себе в контору, чтобы Фьеро мог потолковать со своими посетителями наедине. Часовые передавали ему записки и покупали ему всё, что он только ни попросит. Один из них предупредил его, что среди них есть несколько человек, подкупленных Оскаром Аменабаром, которые получают деньги за то, чтобы наблюдать за ним.

Но Фьеро подкупал людей не деньгами, а своей храбростью, своим спокойствием перед лицом несчастья и тем неизъяснимым очарованием, которым его наделяла мрачная репутация. Денег у него в сущности было немного. Он всегда щедро делил их между своими молодцами и широко пратыл то, что доставалось на его долю. Из четырёх тысяч солей, которые ему прислал Доротео, тысячу он отдал Хасинто Прието, ещё тысячу — Коррео Савалье, как своему защитнику, а остальные разошлись на других заключённых, на полицию и на разных людей с воли, которые выполняли для него те или иные поручения. Спустя некоторое время он получил ещё тысячу солей и известие о смерти Чародея. И эти деньги разошлись так же быстро, но известие продержалось дольше, и он смаковал его в течение нескольких дней. Часть этих денег пошла Касьяне, которая время от времени приходила навещать его с малюткой на руках. Из следующей полочки он бережно отложил двести солей, твёрдо решив не прикасаться к ним ни при каких обстоятельствах; эти денежки он приберегал для особой цели.

Как-то раз смотритель пришёл сказать Фьеро, что его кто-то очень хочет видеть.

— Женщина? — спросил Фьеро.

— Женщина. Только я не спросил, как её зовут.

Фьеро, странно взволнованный, сказал Росендо:

— Чует моё сердце, что это Гумерсинда.

Свидание продолжалось два часа.

— Так оно и есть, Росендо, — Гумерсинда, моя жена. Настоящая моя жена. Я на ней женился в Туко. Помнишь? Я ведь, кажется, рассказывал тебе. Тоже когда-то в тюрьме сидела; а вот теперь, как услышала, что меня поймали, пришла пешком из Кахабамбы. Ну, просто рассказать нельзя, чего она только не пертерпелась. Слава

богу, хоть от болезни-то избавилась. Она, когда ушла от судьи, вышла замуж за сапожника. Тяжёлая у неё была жизнь; и сейчас на вид еле жива. Уж так она плакала, что я сам муть не заревел. Когда я её обнял, мне, знаешь, показалось, что я схватил в охапку все те счастливые годы, которые прожил с ней. Хотела она тут остаться, мужа своего теперешнего бросить и заботиться обо мне. Но я не велел. Я сказал, чтобы она вернулась к себе, жила бы спокойно и помнила, что я-то всегда её буду любить, хоть нам уж никогда теперь не быть вместе, потому что, кроме горя, она бы от этого ничего не увидала. Дал ей двести солей; и так она и ушла. А как тяжело мне было её отпускать. Люблю я её, крепко люблю, хоть и старуха она сейчас, а всё равно...

Мысль о Гумерсинде долго не давала ему покоя, и была минута, когда он совсем уж решил послать за ней. Но в воскресенье пришла Касьяна с ребёнком и другие поселяне. Фьеро играл со своим сыном, который только что начал ходить. Он очень гордился им, и говорил, что из него выйдет высокий, красивый и храбрый мужчина. На следующий день он попросил своих раздобыть ему денег — «потому что знаешь, Росендо, у меня кое-что наклёвывается».

Коррео Савалья принёс им новости. Оскар Аменабар объявил, что он выставляет свою кандидатуру в конгресс от их округа. Отец его, дон Альваро, всё ещё был в Лиме, и никто не знал, когда он вернётся. Единственно кто мог бы кое-что сообщить по этому поводу, была любовница-француженка, которую он там себе завёл. Несомненно, он затрачивал много усилий на защиту интересов своей провинции, но письма родным и друзьям приходили от него всё реже и реже. Враги его поговаривали, что все его усилия свелись к тому, что он уговорил своих друзей послать конный отряд на поимку Фьеро Васкеса, заставил их помогать ему в его интригах для осуществления всяческих его махинаций и, наконец, заручился официальной поддержкой для своего сына. Донья Леопора, которую друзья его не преминули известить о его любовных делишках, собиралась вот-вот напрянуть в Лиму с одной из дочерей. Несомненно, дону Альваро давным-давно пора бы уж быть дома, потому что он всегда добивался своего очень быстро. В редких коротеньких письмах он сообщал, что следит за учением Хосе Гонсало — тот учился в пансионе — и готовит листовки для выборной кампании. Столь веские причины на-

столько убедили донью Леонору, что она тут же собралась в путь.

Когда Коррео Савалья ушёл, Фьеро сказал своему сожителю:

— Ну, что ты на это скажешь? Вам повезло! Вы, поселяне, должны быть благодарны этой бесстыжей французке, что вас пока что не трогают. Но в один прекрасный день, когда они надоедят друг другу, дон Альваро вернётся и опять будет добиваться своего. А главное для него — это погубить семейство Кордова. И вот когда сын его попадёт в конгресс, тем придётся туго... Только этот Коррео Савалья не знает того, что знаю я. Кордова ведь тоже не спят, их четверо, и они не трусы. Они выставят против него Флоренсию Кордова. Ты увидишь, какая пойдёт потеха!

В ту же ночь с площади донеслась громкая стрельба. Наутро дверь в лавку дона Сегундо Переса, агента Аменабара по сбору толосов, выглядела точь-в-точь как решето. Спустя несколько дней Флоренсию Кордова выставил свою кандидатуру. И в эту ночь дверь дома Монтеса, близкого друга Кордова, была взорвана динамитом. Избирательная кампания шла полным ходом.

Донья Леонора отправилась в Лиму вместе со всеми дочерьми.

Вооружённые молодчики забаррикадировались в домах Аменабара и Кордова. По ночам они высылали отряды на подмогу своим друзьям, и в происходивших стычках обе стороны несли немалые потери. Полиция получила негласное распоряжение помогать Аменабару, но так как на улицах стояла тьма крошечная, потому что все фонари были расколочены, то нередко бывали случаи, когда кто-нибудь падал от пули, предназначавшейся, повидимому, его противнику.

Столица провинции гремела выстрелами, воплями «да здравствует» или «долой» и бесконечными слухами. Фьеро Васкес, едва только до него доносились выстрелы, бросался к решётке и орал во всю свою могучую глотку:

— Урр-ра Флоренсию Кордова!

Гром сражения действовал на него возбуждающе. Заключённые строили догадки, не воспользуется ли Фьеро Васкес случаем и не попытается ли бежать. Аменабар и городские власти тоже задумывались над этим вопросом. Ночную стражу удвоили. Теперь уж не четыре, а восемь караульных нарушали покой спящих своими окликами.

Днём Фьеро с жаром рассказывал о своих похождениях:

— Да, друг Росендо, отправили они за мной в погоню солдат, и два месяца я их водил за нос. Ты ведь знаешь, что они додумались обвинить меня в том, будто я украл у почтальона документы. Ну, вот это меня и навело на мысль. Нас было пять, все одеты в чёрное, на чёрных конях, с ружьями за плечами, и за каждым кучка вооружённых людей. И каждый из нас появлялся то там, то тут. Фьеро Васкеса видели под Уйюми... его видели около Уарки... он появлялся близ Суни, близ Кальяри... Его видели... ну где-нибудь ещё подальше... видели, как он ехал на юг... И всё это были мои люди. А полиция с сотней солдат металась то туда, то сюда и не знала, что ей делать. Пока, наконец, не пристрелили одного Фьеро — беднягу Обдулио! И тут только они сообразили, как их водят за нос. Ну, а потом им уж просто повезло: повезло как-то напасть на это место, а никому бы и в голову не пришло, что оно может служить убежищем, — и вот тут-то они меня и застукали. Ну, по крайней мере хоть Доротео да ещё человек шесть из наших успели удрать. Теперь они все вместе, и я уже тебе говорил, что получил от них хорошую весточку. А выборы эти нам на руку. Все удивляются, как эти собаки не прикончили меня на месте, ведь они перебили почти всех моих ребят. Но я скажу тебе — я всё время читал про себя молитву судие праведному, и, верно, она-то мне и помогла, потому что ведь Доротео тоже уцелел. Впрочем, пожалуй, и смерть бедняги Обдулио пошла на помощь молитве. Когда солдаты поймали этого Фьеро, они начали хвататься всюду. Ну, эта новость, конечно, облетела всю округу. А когда полиция явилась установить, чей труп, — выяснилось, что это не настоящий Фьеро, — покойник-то был покрасивей меня. Ну, разумеется, все это тут же узнали, и все над ними потешались. Поэтому, когда уж они меня схватили, так доставили меня сюда живьём, чтобы опять не подумали, будто это враньё. Значит, вот и выходит, что вся штука в том, чтобы человеку везло.

Как-то раз в воскресенье Фьеро опять получил деньги, а Коррео Савалья принёс ему от кузнеца маленький свёрток. Фьеро тут же сунул его куда-то и сказал, что это — так, кузнец омастерил обруч для его малыша. В тот же день на прогулке к нему подошёл метис и попросил закурить. Они стали прохаживаться взад и вле-

ред и о чём-то разговаривали. Когда Фьеро вернулся в камеру, он спрятал к себе под одеяло револьвер.

— Видишь, — сказал он Росендо, — смотритель-то со мной хорош, да побаивается. Уж очень тщательно обыскивает всех, кто ко мне приходит.

Закусывая, Фьеро очень аккуратно обгрызал цыплячью косточку и тщательно разжёвывал жареное мясо, которое ему прислала его приятельница, хозяйка таверны. Потом вдруг осторожно вытащил изо рта тоненькую, туго скатанную бумажку. Его глаз вспыхнул, когда он в тусклом свете оконца прочёл то, что было написано на этом клочке, и губы его раздвинулись довольной улыбкой. Лицо его дышало решимостью, и он в одно и то же время казался и уродом, и красавцем.

— Ну вот, — сказал он Росендо, — самое время теперь. Сегодня бежим. Позже, когда совсем стемнеет. Доротео и шестеро наших ребят будут сторожить у двери соседнего дома, за стеной того двора, где мы гуляем. Конечно, они уж позаботятся, чтобы тамошние жильцы не пикнули. В свёртке, который мне принёс дон Савальда, — отмычки, их делал дон Хасинто. Я через оконце достану рукой до засова; как выберусь, схвачу нашего караульного и прикончу. Потом мы с тобой выскочим в галерею — и на двор. Теперь стражу удвоили, во дворе тоже есть часовая; ну, если за спиной проскочить не удастся, придётся и его прихлопнуть. А из того дома нам верёвку спустят; караульные, те что на крыше слева, подкуплены, они будут вверх палить, а Доротео со своими позаботится о двух других. Конечно, они могут успеть меня пристрелить, когда я полезу по верёвке, но ночи сейчас тёмные, а фонарь ребята мои расколотят, как только меня увидят. Бежим, брат Росендо, я тебя вперёд пушу.

— Я старик... по верёвке мне не влезть.

— Они тебя поднимут.

— Да надо ещё попробовать, годятся твои отмычки или нет.

— Да уж, верно, годятся...

— А что, если они не сумеют там, в доме, управиться? Выйдешь ты, а верёвки-то и нет.

— Ну, уж они постараются, чтобы у них всё было в порядке, а не выйдет — будут стрелять, чтобы меня предупредить.

— А откуда ты узнаешь, они стреляют или, может,

эти самые, выборщики? А не выйдешь, они тебя напрасно всю ночь прождут.

— Ну, уж у тебя выходит, что всё клином сойдётся. Я тебе говорю — бежим...

Они горячо заспорили.

— Вот услышат, что ты выпалил в часового, и те, которые у ворот стоят, успеют прибежать, а другие шаружки, вокруг тюрьмы станут.

— А вот тут-то и подоспеет Доротео с ребятами. Они их у ворот придержат, а нам надо будет поскорей поворачиваться, пока они не опомнились. Да ю оружием-то мы сумеем пробиться... На улицах темень, дело нехитрое...

— Я старик, из-за меня и тебя схватят. Я слабый стал, скоро бежать не могу. (Пока я буду через стену лезть, они тебя двадцать раз пристрелят.)

— Да наплевать мне на них. Ты хороший старик, твои из посёлка жалели нас. Я там, у вас, дружбу нашёл, второй раз за всю жизнь. Я хочу отплатить тебе за твоё добро.. А суждено мне издохнуть под этой стеной, так чорт с ним!

— Дай подумать, — сказал Росендо.

После завтрака оба они прилегли. В полутьме их еле было видно. Росендо лежал и жевал коку. Фьеро закурил и стал рассматривать отмычки и барабан револьвера. Старик раздумывал о том, что он будет делать, если ему удастся бежать. А разбойник думал только о том, чтобы побег удался. Там, за этой стеной, лежал весь мир, его собственный мир с утёсами, пещерами, перестрелками. А остальное — чорт с ним совсем! Коррео Савалья ничего не знал об этом плане, хотя он, не ведая того, сам передал отмычки Фьеро. За всё время, что он сидел здесь, Фьеро ни разу не говорил с адвокатом насчёт побега. Единственное, о чём он говорил, так это о том, что у него мало надежд на хороший исход и что ему хочется остаться здесь как можно дольше, чтобы уладить кое-какие семейные дела. Коррео Савалья хлопотал об отсрочке суда, и ему удалось дважды настоять, чтобы Фьеро пока что не переводили в главный город. Васкес тем временем готовил побег.

— Послушай, Росендо, — зашептал Фьеро, прерывая мысли старика, — ведь это всё будет происходить на улице, а там ведь ни зги не видно — всё пойдёт, как по маслу. Сколько они народу ни пошлют в погоню, стоит нам

только завернуть за угол — конец! А ловить нас в горах — им сейчас не до этого, у них выборы на носу. И представь себе, коли Флоренсио Кордова пройдёт на выборах. Тогда совсем хорошо будет. Я велел Законнику сходить, потолковать с ним. И тот ходил. И дон Флоренсио ему оказал, что я ещё могу им понадобится, если у них дело затормозится. На этих выборах пройдёт тот, кто сумеет больше народу запугать.

— Дай подумать, — ответил старшина.

Во дворе, на прогулке, Фьеро, как и всегда, спокойно разговаривал с заключёнными. А Росендо, усевшись на скамейке, которая ему осталась на память о Хасинто Прието, упорно помалкивал. Один из заключённых, движимый, быть может, собственным лобопытством, а может, и чьим-нибудь чужим, всё время старался отвести Фьеро в сторону и выпросить его:

— А что вы скажете об этих выборах, дон Васкес? По-вашему, чья возьмёт?

— Для меня все выборы одинаковы, — отвечал Фьеро. — Разумеется, мне больше по душе дон Флоренсио Кордова, но победит-то, наверное, Оскар Аменабар благодаря своему папеньке. А человек он крутой. Вот и огню я здесь, хотя бы они и ничего доказать против меня не сумели.

Росендо Маки с трудом подавил улыбку. Кто-то из заключённых заметил, что сегодня очень уж здорово палят, а метис из квартала Святой Девы сказал, что, будь он сейчас на воле, он бы ещё раз показал свою воинскую доблесть и пообломал бы кости сторонникам Аменабара, потому что его прямо зуд разбирает, когда он вспоминает об этом поганом псе. Между заключёнными поднялся спор — кто из двух кандидатов хуже. Перечень злоупотреблений и насилий получался очень длинный и путанный. Но когда уж пришло время расходиться по камерам, всё же они решили, что, как-никак, Аменабар много хуже, потому что за восемь лет, как Кордова в конгрессе, он никого помиру не пустил, а память о событиях в Руми была ещё совсем свежа, и живым примером подвигов Аменабара был старый, добрый Росендо.

Когда они вернулись в свою камеру, Росендо сказал:

— Спасибо тебе, друг. Ты вот ещё сомневаешься, победит ли Аменабар, а я в этом уверен. И что я тогда буду делать? У тебя там горы, пещеры, тропинки, и сила у тебя есть и здоровье — иди, куда хочешь. А я чело-

век старый, мне уж так бороться не под силу. И (когда Аменабар станет хозяином, он меня в покое не оставит, схватит и упрячет ещё подальше. А не то, так ещё хуже придумает: скажет, что разыскивает меня и моих сообщников, и, глядишь, всю общину вконец разорит. Ничего я не добьюсь, если сбегу. Коли бы я вышел отсюда, — да не верю я в это, — так для того, чтобы вернуться на свою землю, глядеть и радоваться на поля, на шашни; а бежать, скитаться да прятаться — это для меня всё равно что тюрьма, если не хуже. Да ещё, того гляди, поселяне будут за меня терпеть мучения да головой отвечать — зачем это нужно?

Это говорил человек, который любил свою землю и свой народ. Фьеро Васкес коротко ответил:

— Как знаешь.

Больше им не о чем было говорить. Между ними легла пропасть, как если бы один из них уже бежал, и жизнь их пошла по разным дорогам. Фьеро шагал из угла в угол, а Росендо сидел, поджав ноги, на постели и смотрел на него. Один думал о том, что он сделает, а другой о том, от чего он отказался. И временами и тому и другому думалось, что, может быть, не он прав, а другой. И в то же время они чувствовали себя чужими друг другу. И так прошло время до сумерек. Потом принесли ужин, и наступил вечер. Росендо хлебал похлёбку и думал, что вот он теперь опять будет один и не с кем уж будет поговорить. И он чувствовал, как уже он глотает эту горечь одиночества вместе с пищей и своей неизменной кокой.

— Жаль, что тебя не будет, — наконец вымолвил он.

— И мне жаль оставлять тебя здесь, — ответил Фьеро.

В восемь вечера, когда часовые должны были смениться, Фьеро окликнул дежурного:

— Эй ты, стрелок! Сделай мне одолжение.

Часовой подошёл и, словно невзначай, положил руку на решётку.

— Добудь пачку папирос.

— Экая досада, — ответил тот, — мне ведь сейчас сменяться.

Фьеро незаметно сунул ему в руку тоненькую, скатанную в трубочку бумажку. Часовой отошёл, ворча, что бьются же такие заключённые, которые вечно с пустяками лезут, и пора бы их подтянуть маленько. Вот этот Росендо и тот, что с ним в камере, по четыреста солей в

месяц тратят, а мы, несчастные, — тридцать солей. Вот и живи, как хочешь!

Медленно подошла ночь. Редкие выстрелы долетали издалека. Фьеро знал, что если дело наладится, то выстрелы загремят совсем рядом. Росендо прислушивался так же внимательно, как и Фьеро. Откуда-то из коридора долго доносилась всхлипывающая мелодия ярави. Потом всё затихло. Часовой, дежуривший на первом дворе, расхаживал по галлерее мимо дверей камер. Он, несомненно, был из тех, кому перепадало от Аменабара. Во дворе постоянно дежурили одни и те же часовые; это наводило Фьеро на подозрения, и он даже не пытался сунуть им взятку. Где-то совсем рядом яростно залаяла собака. Может быть, это Доротео с своими молодцами уже пробирается в дом с помощью клужанки и нескольких монет, которые им удалось ей всучить. Коридор освещался еле-еле. Когда часовой прошёл в другой конец, Фьеро начал пробовать отмычки. У Росендо сжалось сердце, когда он услышал, как беспомощно скребётся железка о замок. Фьеро с трудом удалось просунуть свою мощную лапу через решётку. Теперь он уже снова спокойно заговорил с Росендо и сказал, что у него осталось всего только четыре отмычки. Наконец одна из последних подошла — замок открылся. Это была первая победа. Оба они прижались к стене, когда часовой снова прошёл мимо их камеры.

В одиннадцать часов, на час раньше обычного, — в связи с тем, что город был погружён в тьму, были приняты меры предосторожности, — началась переключка. Восемь выкриков, один за другим, резко разрывали ночную тишь через каждые десять — пятнадцать минут. Росендо охватило чувство мучительного беспокойства. А Фьеро Васкесу казалось, что эти настороженные выкрики, глухо отдававшиеся в стенах, словно сковывают его по рукам и по ногам. Теперь надо было только выждать удобную минуту. Фьеро отстегнул кобуру револьвера на поясе и взял в зубы короткий кинжал. Часовой ушёл в дальний конец и начал окликать остальных.

Росендо била дрожь. Фьеро затаил дыхание. Часовой на первом дворе выкликнул свой номер — третий. Фьеро вынул замок, положил на пол и тихонько отодвинул засов. Часовой возвращался. Теперь уж он снова отзовется на переключку не ранее чем минут через десять — пятнадцать. Вот оно, самое удобное время. Как оно быстро наступило!

А что, если часовой увидит, что замка нет, и поднимет тревогу? Часовой прошёл мимо, и, едва только мелькнула его спина, Фьеро открыл дверь и прыгнул на него сзади. Часовой не успел крикнуть, только хрипло застонал. Они покатались на пол, и Фьеро воткнул ему нож прямо в сердце. Когда Фьеро бежал по коридору к выходу, стук его башмаков слишком громко прозвучал в ночной тишине. Один из часовых крикнул у входа:

— Бегут!

Росендо лёг на постель. Во дворе, куда их водили на прогулку, щёлкнул выстрел, и сейчас же вслед за этим затопали сапоги часовых, загремели карабины и выстрелки, и эхо прокатилось по всему зданию. Заключённые повскакали с постелей, и их крики усилили суматоху. Но перестрелка продолжалась недолго. Часовые побежали обратно.

— На улицу давай! На улицу!

Несколько выстрелов донеслось откуда-то издалека. И через несколько минут часовые с фонарями в руках, ругаясь на чём свет стоит, пошли проверять камеры. Ах эта проклятая гадина, Фьеро Васкес! Потом пошли осматривать двор. Там лежало двое убитых часовых. На крыше нашли труп третьего: У стены тянулся кровавый след. Должно быть, они ранили Фьеро. Обитатели соседнего дома, который подвергся нападению, кричали, что какой-то бандит только что упал мёртвым. Подоспела ещё стража и внесла труп. Это был Синеглазый. Клянясь, что они всё равно не упустят Фьеро Васкеса, часовые вернулись во двор, и несколько человек мрачно ввалилось в камеру Росендо. Он с изумлённым видом стоял у двери.

— Почему ты не крикнул? Ты, безмозглая индейская дубина!

— Я спал, проснулся от этой пальбы.

— Дурачком прикидываешься!

Ярость часовых нашла себе, наконец, выход, и четыре безжалостных приклада обрушились на немощного старика. Из соседних камер неслись крики:

— Позор вам! Трусы подлые!

А полицейские продолжали избивать Росендо. Старик стонал, стискивая зубы. Он лежал на полу, а жгучие, яростные удары градом сыпались на лежащего. Каменный пол был жёсток под его грудью; и ещё жёстче приклады, молотившие по спине. Острая, мучительная боль, как холодный стальной прут, пронизала его с ног до головы, и у

него вырвался долгий вопль. А потом ему показалось, что наступил конец. Он провалился в глухую пропасть.

Он не помнил, сколько времени пробыл без памяти. Сознание его расплывалось, как облако. Смутно, словно откуда-то издали, доносились голоса: «А ну-ка, плесни на него водой! Побольше!» И вода, точно ледяной хлыст, полоснула его по лицу, по пруди. Он зашевелился. И кто-то сказал. «Теперь очухается». И что-то ещё. Потом грохнула дверь, и в голове гулко отдался топот удаляющихся шагов.

Пол был весь залит водой. Уже светало. Что это, воробышек зачирикал? Давно уж он не слышал птицы, и что-то родное, милое доносил до него этот тоненький голосок. С большим трудом Росендо удалось дотащить до постели и закутаться в одеяло. Он весь закоченел. Через решётчатое окно пробился тоненький луч света. Новый день — он несёт людям возможность счастья и труда или хотя бы возможность искать и добиваться чего-то там, на воле. Озеро Янаньяуи сверкает сейчас в глубине равнины — чистое, прекрасное око земли, которым смотрит она на пастбище, на скалы, на людей, на животных, на небеса. Величавый Руми отряхивает с себя быстро бегущие облачка, а дух его может предсказать и худое, и доброе. И вот только один раз старый Росендо обманулся — не понял его предвещения. По склонам бегут глубокие борозды пашен, и от них идёт сладостное дыхание земли.

В камере не пахнет землёй. Здесь пахнет гниющей грязью, потом, мочой, несчастьем. И пол здесь разбухший, мёртвый. И этот смрадный запах мучает, пожалуй, больше, чем ссадины и кровоподтёки на теле. А может быть, и тело Росендо — та же затоптанная земля? Как ноет оно и болит, как теснит дыханье в груди. О, если бы он мог заплакать! Но нет, он больше не может плакать, потому что сердце его высохло, как старое, отжившее дерево. Ведь у деревьев тоже есть сердце, и покуда оно бьётся и дышит, они выпускают новые побеги и живут. Сердце человека, сердце дерева! Ах, как больно оно бьётся, его сердце! Может быть, это смерть идёт к нему. Что ж, пора. Разве только вот поселяне погорюют да скажут сквозь слёзы: «Бедный отец наш, Росендо!» Если бы он мог дожить до того дня, как вернётся его дорогой Бенито! Нет, не дожидаться ему... Как он теперь рад, что помог тогда Бенито.

Если раньше его иной раз и мучала совесть за то, что он помог ему скрыться, то теперь уж он никогда об этом не жалеет. Бенито — он сильный. Бедная мать, так она и умерла, не повидавши его. Вот теперь и он идёт к своей Паскуале. А что для него ещё осталось в жизни? Одно горе. Горе, горе и унижение!

Земля его далеко, далеко. Сейчас на её пурпурном пончо зреют пышные поля квиуа. Такие широкие, рыхлые, тёмные гряды квиуа. А какие сильные побеги, как жадно они рвутся на простор. Сколько силы и упорства! Ни холода не боится квиуа, ни бури, ни ветра, растёт себе на открытой торной равнине, бесстрашное, выносливое, на радость мужественным и сильным. А вот у него нет больше сил. Он — словно упавшее дерево на затоптанной земле. Просторная горная земля, поросшая буйной травой, послушная руке человека! Вон раскинулся зелёный покров ячменного поля, весело ржут жеребята, маленький телёнок топчется возле счастливой матери. Хуанача на пороге хижины болтает со своим маленьким сынишкой. Над кровлями хижины стелется сизый дымок. На склонах Эль-Альто медленно бродит стадо овец, а высоко на небе — стадо облаков.

С того камня, где он сидит, так красиво глядеть на деревню. Кукурузные початки — как будто старики бородатые; пшеница протягивает свои золотые, как солнце, колосья. В часовне звонит колокол. Паскуала вяжет красивое пёстрое одеяло. Бык Моско пришёл за солью и лижет прозрачную каменную глыбу. Старый Чауки рассказывает про давние времена, когда всё на свете было общиной, и про то, как поселяне Руми произошли от кондоров. А вот и флейта Деметрио Сумальякты, она поёт, точь-в-точь как горлинка. А горлинки носятся над оврагом, усыпанным красными ягодами; и из оврага, сверкая на солнце, бежит ручей. И арфа Ансельмо поёт, как птица, проснувшаяся с рассветом: «Не бейте меня, не бейте! Боже, зачем они бьют меня! Не бейте!»

В полдень часовой подошёл к оконцу и крикнул Росендо, чтобы он взял еду. Но никто не откликнулся — Росендо умер.

Потом, как это водится, забегали взад и вперёд часовые, появились смотритель, судья, супрефект, тюремный доктор. Коррео Савальи не было в городе, он уехал по делу в деревню. Доктор бегло взглянул на мёртвое тело и без всякого осмотра заявил, что заключённый умер от

разрыва сердца. Судья с невозмутимым видом подписал протокол о смерти. А супрефект сказал часовым:

— Ну, со всем этим окончено... сегодня же ночью зарыть. Если отдать тело индейцам, поднимутся разговоры, шум, поминки там всякие... А мне надоели все эти беспорядки... Позаботьтесь, чтобы всё тихо было.

Как только стемнело, караульные привязали тело за руки и за ноги к длинному шесту и подняли шест на плечи. Худое тело скорбно качалось из стороны в сторону, в то время как мрачная процессия двигалась к кладбищу. Седые волосы подметали землю. Искажённое, запрокинутое лицо и широко раскрытые остановившиеся глаза впитывали ночной мрак.

ГЛАВА 16

ГОЛОВА ФЬЕРО ВАСКЕСА

Утреннее солнце весело золотило поля. В окрестностях Ластунаса, примерно так километрах в пяти от главного города провинции, паслось стадо овец. Одна из овец запуталась в кустах терновника, и маленькая пастушка пошла выручать её оттуда. И вдруг в ужасе отпрянула с криком:

— Мёртвая голова! Мёртвая голова!

Из домов поблизости выбежали люди. В кустах, между ветвями терновника и толстыми голубоватыми листьями кактуса, лежала человеческая голова. Один из мужчин вытащил мачете, обрубил колючие ветки и подошёл поближе.

— Похоже, что это голова Фьеро Васкеса, — сказал он.

— Фьеро Васкеса?!

— Только смотрите, пусть никто не трогает. А то хлопот не оберёмся.

— Кто же это его убил?

— А тело-то куда же девали?

И кто-то, как в другом таком же, уже давно забытом случае, сказал:

— Надо дать знать судье.

Судья и супрефект в сопровождении нескольких конных стражников явились довольно быстро и застали около кустарничков промадную толпу. Один из стражников поднял голову, от которой шло тяжёлое зловоние, и положил её

на землю, к ногам начальства. Они смотрели на неё с явным удовлетворением и не без некоторого любопытства. Судья важно произнёс:

— Да. Голова Фьеро Васкеса.

Крестьяне смотрели на голову со страхом.

Страшная, распухшая, с синевато-багровой кожей, вздувшейся до того, что не видно было ни оспенных рябин, ни глубокого шрама на лбу; опухшие веки наплывали на глаза, но из гноящихся щелей коричневый зрачок и мутная роговица смотрели с угрюмой пристальностью; нос превратился в нечто бесформенное, а губы, некогда складывавшиеся в весёлую улыбку, кривились гримасой боли и презрения; меж раздутыми синими губами блестели белые зубы, всклокоченные волосы падали на лоб и на виски, а на обрубке шеи чернела запёкшаяся кровь. Это было поистине чудовищное зрелище! Какой-то балагур крикнул:

— Смотри-ка! Встаёт! Берегись!

Толпа шарахнулась, люди переглянулись, но никто не улыбнулся. Супрефект злобно буркнул:

— Что за шутки! Надо поискать, нет ли где здесь тела.

Обрубили кусты терновника и другие, которые росли рядом, обыскали ручьи, речку, все углы и закоулки, где могло бы быть спрятано тело, но ничего не нашли. Если бы оно валялось где-нибудь на открытом месте, над ним бы уже кружилась целая стая сарычей, радуясь богатому пиршеству. В одном овражке, подле большого утёса, наткнулись на яму. «Могила! Ну как есть свежая могила!» — говорили люди, охочие до слухов. Другие говорили, что это яма для выжигания угля, и выкопали её совсем недавно. И тот, кто выкопал, боится теперь рот открыть, чтобы к ответу не притянули. Разве уж непременно в Ластунасе убили Фьеро Васкеса? Может быть, где-нибудь ещё прикончили, а голову сюда подбросили, чтобы скрыть следы. А может, это была чья-нибудь месть, и тот, кто подговаривал убить, велел принести сюда голову, чтобы быть уверенным в том, что не напрасно заплатит убийце. Слухи и предположения множилось по мере того, как потайные места, где можно было бы спрятать тело, всё убавлялись. Судья между тем допрашивал маленькую пастушку и тех, кто первым прибежал на её крики. Девочка боялась, что ей попадёт, и плакала. Супрефект, вернувшись с безуспешных поисков, сказал:

— Придётся взять голову на судебно-медицинскую экспертизу.

— Так и следует по закону, — согласился судья.

Гости отбыли. Стражник вёз голову Васкеса, подняв её высоко вверх на острие сабли. Он ехал позади всех, чтобы вонь от этой головы не была в нос другим всадникам.

В главном городе провинции следователь с учёным видом определил, что голова отделена от тела ножом, которым действовал человек, хорошо владеющий этим оружием. Голову выставили у входа в префектуру. И горожане, как только дошли до них слухи, бросились смотреть. Среди этой толпы была одна женщина, которая держала таверну. Она горько плакала и говорила, что так оно и есть — это голова её друга, Фьеро Васкеса. Любопытные толпились у префектуры до шести вечера, а потом голову отвезли на кладбище и закопали.

Весть эта дошла и до Янаньяуи. И Касьяна плакала, прижимая к груди своего маленького сынишку, которому исполнилось три года. Она не строила никаких предположений по поводу смерти разбойника: она любила человека, а не легенду о нём.

Дошла эта весть и до тех, кто уцелел из его шайки, и они яростно ругались и отводили душу горькими, гневными проклятиями. Дорогео плакал и бормотал, стискивая зубы:

— Вот только теперь и вижу, до чего любил я этого чорта проклятого... Как бы дознаться, чьих это рук дело?

Но никаких следов, которые могли бы помочь, не обнаруживалось. Фьеро уехал один. Куда — не сказал. Обещал, что вернётся через неделю.

Весть эта облетела весь край. И повсюду возникали тысячи всяких догадок, предположений и домыслов, толков и даже совсем не схожих между собою, якобы достоверных рассказов. Разумеется, при этом повторялось всё то, что говорили поселяне Ластунаса, когда они наткнулись на голову, но каждый рассказчик считал своим долгом прибавить что-нибудь от себя. Одни говорили, что убийство это было совершено по распоряжению дона Альваро Аменабара. Но дон Альваро не стал бы закидывать голову чорт знает куда. Если бы дону Альваро или кому-нибудь вроде него понадобилось придать смерти Фьеро широкую огласку, они просто бросили бы труп на дороге, а то ведь в кустах терновника голову могли и вовсе не найти. Тот, кто закинул её туда, конечно, хотел её спрятать.

Другие говорили, что с Фьеро расправилась полиция.

Даже передавали рассказ некоего погонщика мулов, который, возвращаясь к себе домой поздно ночью, слышал такие слова:

— Развяжите меня, подлые казённые грусы, развяжите, а тогда уж и убивайте.

Но это было не очень похоже на правду. Если бы полиция схватила Фьеро Ваккеса, она бы развонила об этом по всем перекрёсткам и уж, наверно, рассказывала бы всем, что пришлось его убить потому, что он пытался бежать, или сопротивлялся, как бешеный. Супрефект, тот уж, верно, хвастался бы, что он распорядился поимкой или по крайней мере организовал всё это дело. Наконец кто-то пустил слух, что это всё сделала какая-то женщина из ревности. Но для чего ей понадобилось резать его потом на куски? Во всяком случае, уж если кто хотел спрятать тело — спрятал бы и голову. А тот, кто хотел бы выставить голову напоказ, положил бы её там, где бы её всякий увидал, а не стал бы забрасывать в непроходимый кустарник. Но, может статься, лапушке показали, где голова, и велели, чтобы она сделала вид, будто нашла. Да нет, не похоже... девчонка-то уж больно проста, сущий ребёнок; и допрашивали её столько раз, что уж, наверно, она от страха всё бы рассказала, если и было что скрывать.

Легенда росла. И вот уж по дорогам, в полночь или на рассвете, видели, как скакал во весь опор всадник без головы. Эта история отметила собой целую эпоху. И крестьяне из окрестных деревень, вспоминая о чём-нибудь, начинали свой рассказ так: «И вот, *значит, незадолго до того, как нашли голову Фьеро Ваккеса...»

ГЛАВА 17

БЕНИТО КАСТРО ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ

С тех самых пор как он уехал, он всё думал, как он вернётся домой. И вот, наконец, он вернулся. Он даже не задержался в городе перекинуться словечком с друзьями. Найдётся для этого время и потом. Сейчас ему хотелось только одного — как можно скорее добраться до Руми и обнять своих родных, селение, общину, влиться снова в ту жизнь, которой дышит земля.

Знакомые, родные места радовали сердце и словно от-

крывали ему свои объятия. Эти голые горные утёсы, эти крутые обрывы, тоненькие ниточки тропинок... И вот, наконец... наконец-то высокая вершина Руми. Вот он, отец скал, величавый и благородный, как другой его отец — старшина Росендо. Вот он сейчас увидит Росендо, который мужественно несёт бремя своих преклонных лет, — вероятно, он сидит на крыльчке, с посохом в руке. «Отец, отец!» Старик, вероятно, попытается подняться. «Сиди, отец!» Бенито станет перед ним на колени и обнимет его. Как сладко будет прижаться истерзанной грудью к груди этого справедливого, спокойного старца. Старушка Паскуалья заплачет. «Не плачь, мать! Ты видишь, вот я и вернулся. Только и думал, что о вас, все эти долгие годы». И она скажет то, что, бывало, всегда повторяла: «Когда настанет мой час, я только об одном прошу, — чтобы ты закрыл мне глаза». Чавеля тоже придёт, все Маки соберутся. А потом мало-помалу подойдут и другие поселяне.

Конечно, кое-кого будет нехватать. Потому что жизнь ведь за деньги не купишь. Но, вероятно, он увидит и новые улыбающиеся лица. Сколько лет! Ему даже не хотелось вспоминать о Крус Мерседес; конечно, она уж замуж выйти успела. Ну, а потом, как уляжется суматоха первых минут, Хуанача, или ещё кто-нибудь из сестёр, приготовит ему что-нибудь поесть, что-нибудь особенно вкусное. «Да нет, не надо мне никаких разносолов. Дайте мне попросту жареного картофеля с красным перцем, кукурузной похлёбки да сушёной говядины». Он так стосковался по этой привычной пище. И если иной раз на чужбине ему удавалось отведать её, так это был для него настоящий пир. Ведь эта еда так и пахла его родной землёй. А потом они ему приготовят постель. А Аугусто Маки — теперь из него, вероятно, вышел бравый наездник — улучит минутку и скажет: «Славный у тебя конёк». И правда, Волонтарио хороший, красивый конь. Аугусто сам его расседлает и сведёт на выгон. А потом Бенито растянется на своём ложе и покроется толстым чёсаным одеялом; и в него, верно, вплетены такие широкие полосы... и счастье вплетено в него. А наутро он проснётся и начнёт жить — жить среди своих, на своей земле — той самой жизнью, о которой он тосковал столько лет.

Волонтарио бежал рысцей, а навстречу ему бежала ночь. Тени сходились по теснинам, а на отдалённых верши-

нах синева-багровые отсветы постепенно переходили в неясную мглу. Вершина Руми скрылась в темноте. И теперь всадник и конь видели перед собой только бледную ленту дороги. Они ехали открытым плоскоторьем, а ветер ровно и непрерывно свистел в высокой траве, точно это был голос самого простора. Бенито вспоминал ту ночь, когда он уезжал, и этот же самый свист казался ему стоном его надрывававшегося сердца. Теперь он слушал его с радостью, узнавая в нём ночной голос своей родной страны.

С острым волнением вспоминал он, как ему пришлось покинуть общину, и как потом всё складывалось так, что все эти годы ему нельзя было вернуться.

На праздник св. Исидора отчим его напился пьяным и начал шуметь.

— Не надо нам всяких щенков приبلудных в нашей общине! Вот я сейчас своими руками одного такого отсюда вышвырну.

Он бросился к Бенито и хотел схватить его за шиворот. Бенито дал ему тумака на совесть, и он полетел наземь. Отчим вытащил нож. И Бенито тогда тоже выхватил свой. Он сам удивился, как ловко он может орудовать этой острой штукой. Раз — и нож по рукоять вонзился в грудь отчима. Так как тюрьмы у них не было, а церковь, куда обычно запирали преступников, была полна молящимися, Бенито заперли в комнате, в доме Росендо Маки. Община должна была судить его. Но ведь государство тоже не преминет предъявить свои священнейшие права вершить суд над своими подданными. Часа в четыре утра Росендо вывел его на окраину посёлка. Там уж стояла осёдланная лошадь, он потом назвал её Лусеро. Росендо оказал ему:

— Только ты, я, да бедняжка Паккуаля, которая сейчас плачет навзрыд, — только мы трое и знаем об этом. Я отпускаю тебя, сын, потому что я не понимаю, как может государство наказывать индейца, когда оно не позаботилось научить его, что хорошо и что худо. А вот из-за общины у меня скребёт на сердце. Она имеет право судить тебя. И может простить — потому что не ты ссору затеял. Но если ты останешься здесь, из города явится полиция и схватит тебя. Сенобио Гарсия уж, должно быть, обо всём знает. Мне хотелось бы, чтобы община судила тебя

по справедливости, но я не могу решиться тебя оставить. И я отпускаю тебя. Иди, сын! Не беда, что у нас пропадёт лошадь. Если ты хоть сколько-нибудь любишь меня, я прошу тебя, обещай мне только одно: не суйся в чужие дела и не лезь без толку в беду. Обещаешь?

— Обещаю, таита.

— А теперь поезжай. И возвращайся, когда все это уже забудется.

Он подал ему дорожный мешок, в который Паскуалья заботливо положила одежду и пищу. Они обнялись. И Бенито тронул поводья. Он несколько раз оборачивался и каждый раз видел, как Росендо стоит посреди дороги и смотрит ему вслед.

Ветер бушевал во тьме, рвал пончо Бенито. Волюнтарио бежал вперёд размашистой рысью, изредка оступаясь на незнакомой дороге. Конь, должно быть, чувствовал, что хозяин радуется, и бежал не замедляя шага, не обнаруживая никаких признаков усталости, а ведь они выехали на рассвете. Но вдруг Бенито круто остановил его. Он начал спускаться, но привычных деревенских огоньков не было видно в лощине. Неужели уж так поздно? А ведь не так давно стемнело; и ехал он быстро. Может быть... Бенито с беспокойным чувством опустил поводья. Лошадь медленно и осторожно ступала по крутой тропинке.

И чего только не попробовал Бенито с тех пор, как расстался тогда на заре с Росендо! Когда он добрался до Трухильо, его забрили в солдаты. Он мог бы отвертеться, потому что его возраст уже вышел, но ему до того надоело мыкаться в поисках работы, что он остался. В солдатах он узнал, что такое мордобой и карцер. Но когда его произвели в капралы, он уж сам мог расправляться с другими. А когда он стал сержантом, то смог расчитаться и с теми, кто когда-то измывался над ним. Строгие телесные наказания были своего рода традицией и в особенности применялись к новобранцам. Говорили, что маршал Кастильо всякий раз, как, бывало, услышит, что солдат-индеец что-то мурлыкает себе под нос, сейчас же изрекал: «Индеец, если он поёт свои деревенские песни, — верный дезертир. Всыпать ему сорок горячих!» И это было одно из великого множества «оснований», которые оправдывали применение физического воздействия. Бенито дошёл по службе до старшего сержанта, а когда ему вышел

срок, он остался. Ему прибавили жалованья, и он стал пользоваться кой-какими преимуществами.

Однажды его отряд послали в экспедицию против Элеодоро Бенеля. Этот партизанский атаман воевал в горах Кахамарки с 1922 года. Сначала он захватил несколько провинций но в конце концов его отовсюду вытнали, кроме Чоты. Но и этого было вполне достаточно. Ночью где-нибудь вдалеке в горах внезапно вспыхивало десять — двадцать огней: это кучка бенелистов располагалась лагерем. Деревенская стража, которая гордо брала на себя обязанности полиции, посылала на них отряд, чтобы захватить их врасплох. Но обычно врасплох попадался сам отряд, а отнюдь не партизаны. Каким-то образом всегда получалось так, что он угождал под обстрел там, где меньше всего можно было этого ждать. Ни та, ни другая сторона не знала пощады. И тот, кто попадал в плен, считался всё равно что покойником. Когда власти пытались предпринять действия широкого масштаба, Бенель ускользал у них из-под самого носа и с помощью тех же крестьян, которые иногда бывали его солдатами и постоянно шпионили для него, нападал на их тыловые части. Отряд возвращался в Кахамарку, на свою основную базу, значительно поредевшим. Всё это не мешало новобранцам и новичкам продавать патроны для маузеров, которые они вытаскивали из патронташей убитых, доктору Мурга, одному из сподвижников Бенеля, по двадцать центаво за штуку. Несомненно, многие из них в следующей стычке получали этот самый заряд в лоб и отправлялись с ним на тот свет, но те, кому удавалось уцелеть, с каким-то невозмутимым презрением к собственной жизни и с какой-то жестокой иронией продолжали торговать патронами. И в то же время они проявляли удивительную стойкость, когда им приходилось встречаться с врагом на нехоженых тропах, куда их посылали. Надо сказать, что коварная политика Легиа считала своим долгом игнорировать движение бенелистов, и в силу этого рассматривала Бенеля и его солдат как бандитов. Но, несмотря на всю цензуру, которая зажимала рот прессе, несмотря на строгий контроль поступающих новостей, в стране начали сомневаться в разумности этой точки зрения. И тут решено было принять серьёзные меры.

В середине 1925 года отряд Бенито Кастро получил приказ выступить в поход. Экспедиция эта сеяла ужас на своём пути. В Лаукане около сотни крестьян, молотивших

пшеницу, были перебиты пулёмётным и оружейным огнём или заколоты штыками. В одном месте отряд Бенито напоролся на засаду, и ряды его сильно поределли. Потрёпанная колонна отступила и остановилась возле хижины какого-то индейца. Несколько солдат ворвалось в дом.

— Эй ты, индеец! Ты на стороне Бенеля?

— Нет, что вы, отцы мои! Ничего я не знаю.

Один из солдат прислонился к перегородке; полый тростник, из которого она была сделана, треснул, и оттуда рассыпались и локатились по полу десятка два патрона. Стали обшаривать всё. И вся перегородка оказалась сплошь набита маузеровскими патронами.

— Ах ты, образина индейская! Сейчас же подавай сюда винтовки!

Ружейные дула тыкались ему в грудь.

— Нет у меня винтовки, — кричал индеец, чувствуя, что ему пришёл конец.

Его вывели на маленький дворик. Жена его упала на колени перед отрядом, ломая руки.

— Не убивайте его!

А двое маленьких детишек, плача, цеплялись за её юбку. Отряд счёл за благо расстрелять всех четверых. Женщина подняла укоризненные и молящие глаза на Бенито, который стоял в стороне.

— Спаси нас, Бенито Кастро! — крикнула она и испустила дух.

Бенито поглядел на неё и на её мужа. Их лица показались ему как будто не совсем чужими. А солдаты в свою очередь подозрительно поглядывали на Бенито. Может быть, он тоже за Бенеля? Когда его брали на военную службу, он сказал, что его зовут Эмилио.

— Бенито, это мой брат. И мы очень похожи, — объяснил шергант.

— Итак, значит, у него братец — сторонник Бенеля.

С этого дня он стал замечать, что за ним следят. «Спаси нас, Бенито Кастро!» Может быть, ему в самом деле следует перейти к бунтовщикам? Когда он, был в Кальяо, он видел много людей, которые бунтовали или пытались бунтовать, по дороге в тюрьму на острове Эль-Фронтон. Срок его службы истёк, и он вышел в отставку. У него было отложено триста солей, он купил себе ружье и пятьсот патронов. Одно время он было собирался пойти к Бенелю. Но когда он узнал, что Бенель — владелец ранчо, у него пропала всякая охота. Чего он в сущности

добивается, этот Бенель? А станет ли он что-нибудь делать для народа, когда добьётся власти? С тех пор как Бенито себя помнил, он всегда слышал, как люди судачили о президентах — Легиа, Билингурст, Бенавидес, Пардо, а потом опять Легиа. Но в жизни крестьян ничего не менялось. Когда эти господа выступали публично, они поносили один другого, и очень много рассуждали о нации. Но что такое нация? Ведь это и есть народ.

И вот он купил себе хорошую лошадку, да и махнул обратно домой. А вот огней-то и не видно, всюду темень. Может быть, Ромуло Кинто, про которого он читал в газетах... может быть, эти люди, которых расстреляли... Да разве община может исчезнуть? «Спаси нас, Бенито Кастро!» Видно, они знали его. А может, это кто-нибудь, из тех, кто приезжал в Руми на праздники?

Должно быть, ему просто казалось, что он так скоро доехал, а на самом деле сейчас уже ночь, и огни в Руми давно погасли. Ведь вот кого он только ни расспрашивал в Кахамарке, не слыхали ли чего об общине, никто ничего ему сказать не мог. Чего тревожиться заранее. Вот тут сейчас, не доезжая до ручья Ломбрис, растёт большой кактус с такими толстыми ветвями. Он хорошо его помнит. Ствол у него серый от старости, а на зелёных ветвях горят красным пламенем цветы. Вот он и сейчас стоит среди скал, словно ему всё равно, идёт время или нет, ночью он точно весь вырезан из угля. Бенито показалось, будто он встретил старого друга.

Наконец он подъехал к деревне; в темноте она была похожа на груды скал. На выгоне не видно было скота. Ни одна собака не тявкнула. Предчувствие чего-то страшного зашевелилось в груди Бенито. Первые дома казались заброшенными. Он поскакал к дому Росендо. Тишина, неколебимая, словно скала, стояла в воздухе. Он, задыхаясь, соскочил наземь. В очаге не было огня. Дом стоял без дверей; чёрная мгла глядела из пустых притолок. Ни единого звука, кроме звука его собственных шагов. На том месте, где обычно спал Росендо, не было никого. Зловещая и мёртвая тишина юдна была ответом на все его предчувствия и страхи. Он прошёл в следующую комнату. Свинья, прикорнувшая в углу, в испуге вскопчила и завизжала. Маленькие жёлтенькие огоньки её глаз сверкнули ему навстречу. Дом Росендо обратили в свинарник! Бенито хотелось вопить, кричать, проклинать судьбу, и людей, и всё на свете, но он стоял и молчал. К горлу

подкатывался клубок, слов не было. А в висках колело и пылало, словно это было два раскалённых солнцем горных пика. Он вышел, не зная, куда же ему теперь даться. Конь, наверно, тоже чувствовал эту пустоту и встретил хозяина долгим жалобным ржаньем. Бенито взял его под уздцы и пошёл по улице до самого конца. Все дома стояли пустые, заброшенные, и висящие дыры дверей вопияли об этой пустоте. От черепичных крыш видны были одни остовы, а соломенные вздохнулись и съехали набок. Бенито вернулся на площадь, остановился и закричал звонким, протяжным, мощным голосом, — так кричат горцы, когда зовут на помощь или окликают друг друга издалека.

— Уп-па-а-а-а-а!..

Прошло несколько секунд. Никто не откликнулся, только эхо подхватило его крик и ответило ему гулким воем. Он знал, что первой откликнулась Пеанья, потому что она ближе всех и у неё много вершин. Он крикнул ещё раз, и снова донёсся до него из мрака только жалобный хор утёсов. Теперь уже ему вторили и самые отдалённые вершины, потому что он крикнул что было мочи. Он подошёл к часовне. Звук его шагов и звяканье шпор тонули в этой тишине, словно в пустыне. Высокие эвкалипты, как и прежде, стояли здесь, и ветер тормозил их листву. И на часовне тоже не было крыши, и между балок виднелось звёздное небо.

Не зная, что делать, куда идти, Бенито сел на порог и прислонился к стене. Рядом стоял его конь. Он жарко и мерно дышал и нервно подрагивал всей кожей. Что же такое здесь стряслось? Чума, что ли, прошла по деревне? Но странно, что ни одной души не осталось. Почему ушли все, все до одного. Может быть, какой-нибудь богач отнял у них землю? Куда же они делись? Что случилось с Росендо, с Паскуалей? Вся жизнь Бенито, всё то, что он пережил и перестрадал за эти годы, — всё, всё поглотилось одним непостижимым несчастьем: исчезновением общины. Он сидел совершенно уничтоженный, раздавленный и не знал, что ему делать. Чувство невыносимого одиночества охватило его; он сидел неподвижно, точно в столбняке.

Вдруг он почувствовал, что лицо у него всё мокрое. Он плакал, плакал скупыми беззвучными слезами, — так плачут старые камни в горах на заре. Может быть, он и в самом деле последний камень утёса, разломанного в куски

ураганом. Он чувствовал, что вся жизнь ушла из него, только эти слёзы и отличали его от мертвеца. Давно ли он тут сидит? Он даже потерял способность замечать время. Его горе ввергло его в полнейшее оцепенение. Только когда где-то совсем близко начали щебетать птицы, он почувствовал, что он ещё жив и что взошло новое утро. Он встал, вытер слёзы лолой своего пончо. Осмотрел замок ружья, вынул из седельного мешка несколько обойм с патронами и сунул их в карман. Его внезапно охватила полная уверенность, что это дело рук какого-то одного определённого человека и что нужно быть готовым ко всему... Ромуло, потом эти люди, которых перестреляли... больше уж он не позволит надеждам заглушать его горькие предчувствия.

Солнечный свет обильным потоком изливался с вершин Руми, птицы пели теперь уже во весь голос. Краснотрудая уанчачо весело кружилась над головой путника. Четыре овиньи медленно, одна за другой, хрюкая, перешли площадь и остановились перед домом позади главной улицы. Бенито вскочил на коня и подъехал туда же. У этого дома была дверь, и она была заперта изнутри. Через несколько минут на крыльцо вышла женщина, но, увидав всадника с ружьём, она вскрикнула, бросилась обратно и захлопнула за собой дверь.

— Поди сюда! — крикнул Бенито.

В дверях появился мужчина. В руках у него было ружьё.

— Тебе чего! Ты откуда?

— Я Бенито Кастро. А ты кто?

— Рамон Брисеньос.

— А что же здесь случилось?

— Ну, что ты меня спрашиваешь? Сам разве не видишь, что ваших нет никого.

Мужчины стояли, уставившись друг на друга. И дула их ружей тоже поглядывали друг на друга.

— Ну-ка расскажи мне, что случилось? Да поживей!

— Доң Альваро Аменабар выиграл у них тяжбу. И они все теперь на Янаньяуи.

Бенито, не сказав ни слова, прищорил коня. Взбираясь по узкой тропинке, он ещё раз оглянулся на деревню. Окинул её пристальным, безнадежным, полным любви взглядом. Обвалившиеся, растерзанные крыши обнажали внутренность домов, там уж успела вырасти трава, а кое-где и кусты; стены от дождей потрескались и завалились,

и во всём чувствовался как бы могильный тлен. Дом Росендо был одним из немногих, на котором уцелела крыша, за ним, должно быть, присматривали, потому что в нём был устроен свинарник. Старые эвкалипты размахивали ветвями, стараясь прикрыть немую наготу часовни. А вокруг деревни, где некогда простирались засеянные поля, росли теперь сорняки да желтоватая трава. На площади, где когда-то бегали дети, теперь разгуливало несколько свиней. Волюнтарно нагнул голову и сорвал клочок травы. И человеку стало стыдно перед лошадью: целая ночь прошла, а он даже и не подумал её накормить. Но сейчас уж нельзя задерживаться. Надо скорее ехать дальше. Он обернулся в последний раз и увидел, как жена Брисеньоса пытается вытащить жердь с крыши для своего очага.

Вот, наконец, и плато Янаньяуи. И старые развалины. И озеро. И вот на склоне, который поближе к Руми, новый посёлок; лачуги из серого камня, коричневые сжатые поля; коровы мычат в загоне, а по склону медленно движется стадо. †

Подъезжая к деревне, он встретил мальчишку.

— Как тебя звать-то?

— Индалесио.

— Который дом старшины?

— Вот там, у большого синего камня.

Бенито пустил лошадь рысью мимо домов. И вдруг раздался радостный, изумлённый крик:

— Бенито!

Это была Хуанача. Она бежала ему навстречу, крича и размахивая фуками. †

— Братик мой! Братик!

Когда он соскочил с коня, его уж обступили крестьяне, высыпающие из домов. Он обнял Хуаначу, другим пожал руки, кого похлопал по спине, а ребятешек одного-другого щипнул за щеку. Потом круто обернулся и спросил Хуаначу:

— А отец Росендо? А мама?

Хуанача махнула рукой, и этот горький жест объяснил ему всё. Лицо его омрачилось, и вся радость встречи исчезла. Подошли ещё поселяне. И вместе с ними Никасио Маки и Панчо. Бенито сдержанно поздоровался со всеми.

— Кто ж теперь старшиной? — наконец спросил он.

— Клементе Яку. Только он больной лежит. Вон его дом.

Хуанача поглядела на него умоляющими глазами.

— Да ведь ты останешься. Я сейчас пойду тебе постель приготовлю.

— Ладно, — ответил он. — Только мне надо с Клементе потолковать.

Старший сын Хуаначи взял коня, а Бенито, раздвинув толпу, пошёл вместе с Панчо и Никасио, и за ними следом ещё несколько человек. Они поглядывали на него с восхищением. Совсем другой стал: такой зрелый, уверенный, и чувствуется в нём такая спокойная сила. На нём была фетровая шляпа с широкими полями; светлорычневый пончо, как у богатого ранчиро, перекинут через плечо, а из-под него выглядывала тёмная куртка и серые бриджи, как у военных; на тяжёлых сапогах блестели серебряные шпоры. С ружьём в руке — он забыл отдать его Хуаначе — он походил на сеньора, который приехал в горы поохотиться. А смотри, какое обращение! Как издается — пожимает тебе руку, по спине похлопает, за щеку щипнёт!.. Словом, совсем другой человек приехал. Подходили ещё и ещё старые знакомые. Но он со всеми протиснулся у дверей и один вошёл к Клементе Яку. Старшина лежал на постели, завернувшись в одеяло. Он уже знал, что Бенито приехал. Они поздоровались, пожали друг другу руки.

— Вот видишь, Бенито, — скрючил проклятый ревматизм. Ходить не могу.

— Расскажи, что случилось?

— О чём?

— Да что у вас вышло с общиной? Я ведь ничего не знаю.

Он поставил винтовку у стены, положил шляпу на табурет и сел у кровати. Старшина начал рассказывать, как они потеряли свою землю. И по тем замечаниям, которыми от времени до времени прерывал его Бенито, Яку мог судить, что эта коротко остриженная голова научилась хорошо и толково размышлять. Жена Клементе подала им миску жареного картофеля с красным перцем. А попозже пришла Хуанача и принесла мясо, изжаренное на вертеле. Бенито почувствовал, что от этой пищи на него пахнуло не только запахом родной земли, но и сестринской заботой, от которой он так давно отвык, и у него потеплело на душе. Беседовали долго. Клементе Яку рассказал ему всё, со всеми подробностями, потому что сын старшины Росендо Маки имел право знать всё.

Тяжба всё ещё тянулась. Говорили, что дону Альваро Аменабару понадобились рабочие, потому что он собирался разводить коку на берегах реки Окрос. То ранчо, где он когда-то открыл залежи угля, владельцы продали ему, как только его сын попал в конпресс. И вместе с этой землёй ему достались и рабочие руки для разработки колей. Но теперь, опираясь на пропажу документов, Аменабар требовал, чтобы община доказала свои права на землю Руми, в ответ на что Коррео Савалья потребовал доказательства и его прав. Тяжба тянулась уже несколько лет. Суд постановил не в пользу общины, но теперь дело передали повыше. Савалья настоял, чтобы гонца отправили под охраной двадцати конников, которых пришлось отрядить супрефекту, и такого же количества поселян, которые пустились в путь по доброй воле. Среди них, спрятав револьверы под пончо, ехали Доротео Киспе, Элой Кондоруми и несколько человек из шайки Фьеро Васкеса, которые после смерти своего атамана вступили в общину.

Кузнец Эваристо Маки помер. Уж очень он много пил спирту-сырца. Работал он плохо, и проку от его работы было немного. Как-то раз он поджёг собственный дом искрами из горна, а на праздник он столько выпил этого сырца, что уж больше и не встал.

Абран Маки, Крус Мерседес и ещё многие из поселян померли, когда в горном краю появился грипп. Было это в 1921 году. Сначала этот грипп так и косил людей, в особенности рабочих на ранчо, которые захирели от малярии. А индейцы думали, что грипп — это женщина, вся в белом, скачет она ночью по горам на белом коне и сеет заразу.

Совсем недавно, с неделю тому назад, умер Гойо Аука, только не от гриппа. Он строил ограду и катил сверху камни; хотел похвастаться своей силой и ухватился один за громадный камень, надорвался, а через два дня и помер. Лекарем теперь у них в деревне был Филиппо. Наша Суро ушла в округ Уйюми и там всё ещё здравствовала, подтверждая веру в долголетие колдуний. Не так давно слава её снова расцвела, потому что там упал аэроплан. Он летел с пушками на Бенеля, заблудился в тумане и ему пришлось сесть на поле около Уйюми. Индейцы очень испугались этих страшных столичных людей, которые даже умели летать. И Наша уверяла, что это не к добру. На следующий день, когда аэроплан стал подниматься, на-

встречу вдруг выбежала чёрная корова, и её задело колесом. Аэроплан тут же перевернулся, сломал себе крыло и винт. Один пилот разбил себе нос, а другой вывихнул плечо. Корова, которую садануло в бок, насмерть перепуганная, ускакала куда-то в горы. И лётчикам пришлось поехать верхами, а самолёт уж не мог летать, и его оставили на попечение начальника округа. Спустя некоторое время Наша Суро появилась с подвязанной рукой. Люди говорили, что это она сама нарочно обернулась чёрной коровой, чтобы сломать летающую машину.

Но и у Наши тоже были враги: дон Хервасио Местас обличил её в проповеди; падре открыл лавочку, где торговал лекарствами, и он говорил, что это великий грех верить в целительную силу зелий, которые изготавливаются с помощью чёрной магии. Наша, помня, как она осрамилась с Аменабаром, не решалась предрекать конец падре. Она держала себя невозмутимо и только презрительно помалкивала, когда о нём шла речь. А пока что история с самолётом обернулась ей на пользу.

Ну, а что касается суда, у них ещё оставались кое-какие надежды. Жители Мунчи дали показания в пользу общины, между прочим и Сенобио Гарсия, который в весьма осторожных выражениях напомнил поселянам, что они давно уж не покупали у него ром. Он уже больше не был начальником. Его преемник продержал его два месяца в тюрьме и выпустил только по распоряжению Аменабара, который сказал, что это всё уж дело прошлое.

Сенобио как-никак ещё что-то сохранил от своего прежнего влияния. Но звезда Бисмарка Руица закатилась навсегда. Кордова совсем отвернулись от него, подозревая, что он в сговоре с доном Альваро. Он надеялся, что дон Альваро теперь приблизит его к себе, но не тут-то было. Коррео Савалья порастерял всех богатых клиентов и едва зарабатывал себе на жизнь. Про него говорили, что он защищает индейцев из мести. Он был предметом самых оживлённых сплетен. Он исправно сообщал поселянам обо всём, что только могло им помочь. Дону Альваро не удалось пробраться в сенаторы, потому что место в сенате понадобилось родственнику президента, но Оскар и сейчас был в конгрессе.

— Так-то, Бенито, — сказал старшина, заканчивая свой длинный рассказ о деревенских новостях, — вот, брат, что у нас случилось. Конечно самое большое несчастье для нас — это кончина нашего дорогого Росендо. Но мы по-

ступаем так, как он всегда нас учил: трудимся на нашей земле и живём.

Бенито пошёл домой. Полуденное солнце золотило куполообразные вершины Руми, а последние слова Клементе звучали в его ушах как завещанье. Дух Росендо был здесь, среди них, на земле, он, наверно, теперь вселился в вершину Руми. И в своей любви к Росендо Бенито ещё сильнее проникался горячей любовью к земле и её стойким, выносливым детям. Когда он лёг и укрылся весёлым полосатым одеялом, он с удивлением почувствовал, что его скорбь о Росендо не несёт в себе никакой мучительной горечи. И он понял, что ни он, ни поселение не утратили его, ибо всё, что было лучшего в Росендо, осталось жить в общине. И это было то чувство жизни, которое черпает свою силу в братской созидательной мощи земли. С этой мыслью Бенито уснул спокойным, крепким сном.

ГЛАВА 18

ПЕРВЫЕ ДНИ

Бенито проснулся утром с таким чувством, будто за эти два дня он прожил целую жизнь. За эти недолгие часы он пережил и изгнание, и годы борьбы, и муки неизвестности, и горе, и, наконец, снова обрёл силы в творческой мощи земли. Солнце всходило над полями, тени бежали по горам. У порога, поджидая Бенито, собрались Маки, мужчины и женщины — Чавеля, Евлалия, Маргита, Порфирио Медрано, Доротео Киспе и многие другие. Хуанача, вся сияя, принесла ему поесть. Потом Бенито вышел на крыльцо, без пончо, с красным шёлковым платком на шее, в широкополой фетровой шляпе, слегка сдвинутой набок. Вид у него был весьма решительный, и по домам уже оживленно судачили: как-то он себя покажет. Он сердечно поздоровался со всеми и каждому нашёл что сказать.

— Порфирио Медрано, дорогой наш Росендо очень любил тебя. Помню, как-то он шутил и сказал мне: «Я бы этого Порфирио и на десять упряжек быков не променял».

И Порфирио ответил, ничуть не обидевшись:

— Росендо был настоящий человек. Но теперь у нас всё пошло бог знает как. Люди стали даже и на меня коситься. А сын мой, Хуан, ушёл на чужую сторону, до-

бывать себе хлеб насущный. И не вернулся. А я уж стар и тяжело мне видеть, как со мной община поступает, община, которую я так люблю.

Бенито стоял подле Чавели, обняв её за плечи. Он сказал:

— Всем нам туго пришлось. Я не за тем сюда вернулся, чтобы здесь распоряжаться. Но я так полагаю, надо что-нибудь придумать, чтобы нам полегче стало. А, Доротео! Как живешь? Слышал я, ты вел себя храбрцом.

— Да вот друзья помогли, и кой-чего мы добились. — И Доротео показал пальцем на двух разбойников, которые теперь вступили в общину.

Чавеля стояла и плакала, утирая слёзы концом шали.

— Слышал, слышал, — с одобрительной улыбкой ответил Бенито. — А это и есть знаменитый Валенсио?

Валенсио с изумлением смотрел на этого человека. Одет он был, как надсмотрщик, а на вид такой добрый. Бенито оглядел его с ног до головы. И ему понравилось лицо Валенсио, полудоверчивое, полусвирепое. Тут заговорила Евлалия, — как всегда, очень многословно. Она рассказала о смерти Абрана и о том, что вот Аугусто уехал и, видно, уж не вернётся, а хуже всего в этом то, что бедная Маргича осталась без мужа. Эдакая жалость! Маргича не произносила ни слова и глядела на него большими грустными глазами. Бенито покачал головой.

— Да, сердце болит за них, за того и за другого. Обоих любил я. Один ведь брат мой, другой — племянник. Абран — он ведь был старший, учил меня лошадей объезжать. А когда я уезжал, уже и Аугусто был лихим наездником. Я привёл сюда Волонтарио, чтобы улучшить у нас породу и доставить удовольствие тем, кто знает толк в лошадях. Горько мне, что нет их здесь с нами.

Все стали просить Бенито рассказать, как он жил эти годы.

— Как-нибудь в другой раз, — отвечал Бенито. — Это длинная история. Когда я перевалил вот за эти горы, поехал дальше — опять в горы, на юг. Доехал до Хунино, а оттуда пробрался в Лиму. Из Лимы в Кальяо, а уж оттуда в Трухильо. Там в армию поступил. Со своим полком я дошёл до Кахамарки. Дослужился до старшего сержанта. Ну а теперь я здесь. Не думайте, и мне не легко приходилось. Только это долго рассказывать.

Поговорили ещё о делах общины. Затем кое-кто ушёл, подошли другие. А потом, когда осталась несколько че-

ловек, Бенито попросил провести его на выгон. И они пошли все вместе. Иносенсио попрежнему лас общинное стадо. Он точно для этого был создан. Он очень обрадовался Бенито и рассказал ему, как он горевал, что его не было с ними, когда Аменабар выгонял их из деревни. Ещё больше он обрадовался, когда увидел, как Бенито, взмахнув лассо над головой, показал, что он отнюдь не забыл, как орудуя этой штукой. Когда же Бенито попросил его назвать по имени каждую скотину, он и вовсе просяял.

Потом Бенито Кастро вместе со старшим сыном Хуана-чи, которого в честь деда звали Росендо, отправились в поле. На выгоне бродили лошади, и Волонтарно уж завёл себе друзей. Подальше паслось овечье стадо, его стерегли ребятишки. Бенито подарил одному из них оловянный свисток, который заваялся у него в кармане. И мальчишка начал свистать, весь зардевшись от смущения и блаженства. Бенито с Росендо дошли до старых развалин, а потом лугами прошли к озеру. Солнце стояло уже высоко. Бенито вынул из ожилетного кармана большущие часы и сказал, что пора домой полдничать. Поселяне смотрели на них с порогов, а мальчуган шагал, довольный и гордый тем, что идёт по деревне с таким важным дядей.

Когда они ели, сидя вокруг очага с Себастьяном Помой, парнишкой Росендо, и младшими ребятами, а Хуана-ча в больших тыквенных плошках подавала им еду, пришла Каса вместе с матерью. Она принесла письмо. Мать сказала, что дочка её ходит иногда в город узнать, нет ли писем, потому что она ждёт письмо от своего мужа, Адриана Сантоса. Вот, наконец, письмо пришло; не решившись даже открыть конверт, она принесла его в деревню. Отец осторожно взрезал конверт острием своего мачете и вытащил оттуда почтовую карточку, завернутую в бумажку. Он сказал, что это просто картинка, чтобы полюбоваться, а бумажка — вовсе не письмо, а клочок газетной бумаги, в которую завернули картинку, чтобы она не испачкалась, потому что письма ведь всегда от руки пишут. И остальные поселяне были того же мнения. Никому в голову не пришло посоветовать ей обратиться с этим важным делом к Коррею Савалье, а так как падре приезжал в Янаньяуи только на праздник св. Исидора, то вот они и пришли попросить, чтобы Бенито поглядел, в чём тут дело. После этого длиннейшего объяснения мать Каси протянула ему конверт.

— Мы всё положили туда назад, как оно было.

Бенито вытащил всё из конверта, посмотрел на открытку с той и с другой стороны. Потом развернул бумажку.

— Это письмо, и напечатано оно, видишь ли, на машинке. Потому что в городе есть такие маленькие машинки, которые пишут, если умеешь с ними обращаться.

Каса радостно улыбнулась. Бенито медленно, приятным голосом начал читать:

— «Трухильо. Августа двадцать седьмого. Тысяча девятьсот двадцать пятого года. Дорогая Касмира Лума. Это письмо пишет за меня дон Хулио, который работает на канализации. Чтобы ты знала, что такое канализация, я тебе скажу, что это такие канавы, в которые зарывают трубы, а по этим трубам вся грязная вода уходит из города. Город у нас большой. Я такого большого никогда не видал. Я копаю канавы вместе с другими ребятами и зарабатываю один соль восемьдесят центаво в день. Работа тяжёлая, но платят хорошо. Дон Хулио хочет писать это письмо по-своему, как у них разговаривают, только я сказал, чтобы он писал, как я говорю, чтобы ты всё поняла. Здесь есть одна женщина, её зовут Никола; она нас очень дешево кормит. Подает нам бобы, которых здесь очень много и все их едят, а ещё рису и кусок мяса. Я скопил сорок солей. Отложил бы и побольше, только мой товарищ Пабло сказал мне: «Давай пойдём посмотрим на подвижные картины». Мы пошли. С нас взяли по тридцать центаво, с меня и с него, а потом мы пошли вверх по лестнице. И вот висит кусок белого полотна, а на нём появляются фигуры. И это у них называется фильма. И фигуры эти всё время двигаются, а иногда поднимают драку и скачут верхом и палят из ружей. А как ездят, прямо загляденье! А всё-таки ни один из них не может ездить без седла, да ещё почти совсем голышом, как наш Валенсо. Мне, знаешь, понравилась эта самая фильма, но я подумал про себя: «А как же Каса?» Я должен приехать домой с деньгами, а то ведь они все уплывут и нам с ней будет нечего есть. Так что я больше не пойду смотреть фильму, хотя Пабло и говорил, что их много и что они все разные. Работа здесь кончится недели через две, тогда я пойду резать тростник, чтобы ещё подработать. А уж потом вернусь домой. Раз как-то я здесь увидел маленькое зеркальце, а оправа у него, совсем как серебряная. Я его купил за

один соль. И решил про себя: спрячу его и отвезу домой в подарок.

Я повесил моё кожаное лассо с кольцом на костыль в углу. Хорошо, если бы твой отец или ещё кто-нибудь развернул его да промазал хорошенько, потому что если его не смазать, так оно закорузнет и тогда его хоть бросай. Мне хочется, чтобы оно было в целости, потому что это лассо подарил мне старый Росендо, когда он отправил меня в первый раз на объезд в Норпу. Ещё я оставил мой барабан, и вот я думаю: что же он там стоит зря? Лучше ты отдай его кому-нибудь, кто умеет играть на барабанах. А ты, когда будешь слушать, будешь обо мне вспоминать.

Больше уж я не знаю, что тебе написать. Разве только вот, что днём, когда я работаю, у меня нет времени вспоминать, а вот только кончу работать, мне всё и вспоминается. И вот я вспоминаю, как, бывало, расседлаю мою лошадку, и седельные мешки так славно пахнут лошадьёю, а мимо бегут овцы к загонам и блеют. А озеро у нас в Янаньюи такого цвета, как небо после полудня. А ночью мне очень грустно. И очень я без тебя скучаю. Только я себя уговариваю: скоро я вернусь домой. На то я и женщина, чтобы терпеть. И я себе наказываю работать побольше. Вот теперь ты знаешь, что я пойду на сахарные плантации. Сначала буду резать тростник; а люди вот говорят, что я там могу шаровщиком стать, или даже, может, на фабрику потом пошлют. И я буду тогда два соля в день получать. Ты не плачь, Касита, я скоро вернусь. Всем нашим низкий поклон. Твой супруг любящий, который по тебе скучает, Адриан Сантос».

— Это письмо написано больше года тому назад, — сказал Бенито, — может, он всё никак собраться не мог его отправить. А может, на почте завалялось.

— Он сказал, что он вернётся, — сказала Каса с надеждой в голосе. Хотя, несмотря на то, что он так написал ей, она немножко заплакнула.

— Ну конечно, — ответил Бенито, не желая огорчать её. — А как только он тебе ещё письмо пришлёт, ты ему напиши, чтобы он приезжал домой, тут-то вот нет адреса, чтобы ответить. Наша община при нас останется, и уж мы должны постараться, чтобы здесь всё было как следует.

Обе женщины с жаром поблагодарили его, и мать, уходя, сказала: вот как хорошо, что у них теперь есть в общине человек, который всё прочтёт и всё тебе расскажет.

Бенито Кастро сказал старшине, что он хочет съездить в город, потолковать с Коррео Савальей. Он, конечно, мог это и так сделать, не рассказывая старшине, но ему не хотелось, чтобы Яку подумал, будто он, не спросясь, не в своё дело суётся. Яку одобрил.

— Вот повезло-то, — сказал себе Бенито, выходя из конторы адвоката. Отсюда ему уж незачем было спускаться в лощину, потому что дорога прямо бежала по склонам Эль-Альто на плато. Он подъехал к деревне уже совсем в сумерках. Поселяне, услышав резвый топот Волюнтарио, вышли поглядеть — и увидели, что белый конь несётся на них, как облако.

— Община выиграла дело! Выиграла дело! — крикнул на скаку всадник, проносясь по деревенской улице.

Он остановил коня у дома Клементе Яку и вошёл рассказать. Волюнтарио стоял пофыркивая, и от него шёл пар. Поселяне собрались у дверей. И Клементе сказал:

— Поди-ка к нам да расскажи, как было дело.

Бенито Кастро вышел на порог. Его встретили радостными криками. Он снял шляпу и громко сказал:

— Хорошие новости есть. Окружной суд подтверждает, что у общины есть права на её земли. Коррео Савалья думает, что Аменабар перенесёт дело ещё выше, в Верховный суд. Но мы и там должны выиграть. Вот вам и всё! А теперь будем мирно прудиться на нашей земле. И это будет наше самое большое счастье.

Толпа встретила это сообщение бурным восторгом, кой-кто даже прокричал «ура» в честь Бенито Кастро. В эту ночь кока была очень сладкая, и длинное пламя очагов долго озаряло беседы поселян.

Ещё не рассвело, когда Бенито Кастро и Порфирио Медрано вышли на охоту. К тому времени, как запели уичио, они уж были за равниной и подходили к склонам Эль-Альто. Нежная, протяжная мелодия к двумя модуляциями разливалась в воздухе, словно солнечное сиянье. Порфирио со своим стареньким «пибоди» шёл первым, так как он хорошо знал местность. Бенито, с маузером за плечом, шагал позади.

— Бенито, я ведь тебя позвал с собой не только плетей стрелять. Поговорить мне к тобой надо. Я про себя говорить не буду, про то, как мне туго приходилось. Есть дела и поважнее. Ещё много лет тому назад думал я над

тем, чтобы эти утеса осушить. И дело нехитрое: выкопать канавы да сток у озера углубить, ну динамитом взорвать. Тогда можно бы эту землю вспахать, а то её теперь из озера заливают. Да вот ничего не получается. Чауки и ещё кой-кто повторяют старую басню про какую-то женщину, которая будто из озера выходит, ну и ещё всякие там небылицы. А другие, как всегда, слушают. Я знаю, что они взаправду верят, только от этого не легче. Глупость получается. Ты вот что скажешь про это?

— То же, что и ты, скажу. Ясное дело — глупость получается.

— То-то вот и есть. Ты только подумай, сколько бы от них пользы было, от этих утесов, коли бы их распахать. А теперь, особенно когда дожди, тут настоящая тряси́на. И пройти-то невозможно, только коровы забираются тростник пощипать.

— Да вот ещё одна глупость, не хуже. Это насчёт Чачо. Вот бы нам где построиться надо. А вовсе не на этой горе, где ветер так и свищет. — И это я им тоже говорил. Валенсино ведь смеялся над этой женщиной и над Чачо, и ничего с ним не случилось. Но я ничего не могу поделать, потому что сейчас скажут, что я хочу общине навредить. А вот ты... По правде сказать, я да ещё несколько человек — мы хотим, чтобы ты у нас был помощником старшины. На днях сходка будет. Народ тебя поддержит, они тебя любят. Ты настоящий мужчина, видал виды, умеешь писать и читать. Ну, как ты? согласишься?

— Хорошо, — ответил Бенито.

Уже совсем рассвело, и солнце золотило утёсы Эль-Альто. Ноги охотников и края их пончо были совсем влажные от росы. Оба они умоляли, убавили шаг и начали внимательно приглядываться. Деревня уже скрылась из глаз, кругом стояли скалы и утёсы. Свет медленно просачивался в ущелье. Порфирию растянувшись на земле, а за ним и Бенито. Вдали над гребнем холма мелькнула тонкая головка лани, животное двигалось по направлению к ним. Одна лань, за ней другая. И ещё, и ещё. Их было двенадцать, не считая детёнышей, которые тёрлись у их ног. Высокие, коричневые, стройные — это были лани породы пулухуакра. Они всегда ходят маленькими стадами, а впереди идёт старый самец. Они шли, осторожно обнюхивая воздух; но ветер дул с другой стороны, и они не чувствовали человека. Время от времени они останавливались и щипали траву. И в раннем утреннем сиянии, казалось, они пи-

таются солнечными лучами. Детиныши тыкались матерям под брюхо.

Они приближались. Но вожак начал проявлять признаки беспокойства: он вытянул шею, ноздри его широко потянули воздух. Бенито поднял ружьё, но Порфирио знаком посоветовал ему подождать ещё немного. Они выстрелили, когда стадо приблизилось на расстояние пятисот метров, и попали в вожака. Выстрел прокатился по горам, и лани бешено заметались из стороны в сторону, а потом все собрались в кучку около убитого. Пулухуакры всегда так делают, когда упадёт вожак. Бенито продолжал стрелять, эхо гремело по ущелью, ещё одна лань упала; кучка опять рассыпалась, и снова сбилась, — точно они были уверены, что их вожак непременно поднимется. Наконец немногие уцелевшие в ужасе бросились в бегство и скрылись за скалами, восемь штук осталось на земле. Детиныш кружился около убитой матери, но и он отбежал, когда подошли люди. Однако остаться одному было так страшно, что он робко вернулся к матери. Порфирио поймал его своим шарфом. Каждый взвалил себе по лани на плечи, а дикого телёночка повели за собой. За остальными они пришлют поселян. Никому ещё не удавалось настрелять их столько за один раз.

Девушки нежно поглядывали на Бенито. И с той уверенностью, которая присуща крестьянину, когда он выбирает себе подругу, Бенито выбрал Маргичу. Она расцвела в своём одиночестве, задумчивое и грустное выражение придавало особую трогательность её красоте. Она нашла человека, с которым ей суждено прожить жизнь, а он, соединившись с этой дочерью общины, ещё крепче породнился со своей землёй.

Бенито сам поймал и объездил жеребца. Каждый день он узнавал новые подробности о жизни общины: рассказали ему о том, как Кандела тосковал о Росендо и всё бегал искать его; с вечера до утра он выл не переставая, и даже днём. Однажды утром он исчез. Двое поселян, возвращавшихся из города, видели, как он рыскал по горам. А с тех пор его никто больше и не видал.

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБЩИНЫ

Бенито Кастро выбрали помощником старшины на место покойного Гойо Ауки, и община с интересом ждала, как-то он себя покажет. Этот человек, в чьих глазах словно запечатлелись все дальние дороги, которыми он бродил по белу свету, чувствовал всю ответственность, возложенную на него, и тщательно обдумывал каждый свой шаг. Конечно, проще всего было оставить всё, как оно есть, повременить пока что, держаться старых обычаев и обжиться самому. Но это совсем не привлекало его. Он чувствовал, что тогда жизнь его стала бы совсем пустой, уныло бесцельной и попрызала бы во мраке, вместо того чтобы вспыхнуть живым, созидательным пламенем. Должно же ведь быть на свете такое понимание жизни, которое, не отрицая того, что самая сущность человека — это его связь с землёй, в то же время даст ему возможность преодолеть всякое невежество и отсталость и поведёт его вперёд к новой, более совершенной жизни.

Над этим-то он и раздумывал, оставаясь наедине со своими мыслями. Около него не было уж его старого друга, которому он, бывало, мог сказать: «Лоренцо, беда мне, что я так мало знаю». Но Лоренцо, тот уж очень много толковал об историческом детерминизме, тезисах, антитезисах и синтезах... всё это было, как темная вода, для Бенито. Единственное, что он понимал совершенно ясно, — это что человек должен быть свободным, сильным и счастливым. Он ясно это себе представлял. Но как этого достичь? Лоренцо утверждал, что добиться этого можно только борьбой. Это Бенито тоже понимал. И когда старый Росендо хлопотал о школе, — конечно, он делал это потому, что и он стремился к заветному миру, который был закрыт для него. Но сейчас надо было браться за дело совсем по-другому. Школа могла бы помочь. Но когда? Лет через десять, двадцать. А жизнь стала до того тяжела, что никак уж нельзя было ждать столько времени. И Бенито Кастро поставил себе сейчас одну задачу — преодолеть деревенские суеверия и осуществить хотя бы то, о чём они говорили с Порфирио Медрано.

На каменистых склонах засеять можно было немного, этого едва хватало им на пропитание. Поселяне отчасти помогали общине кой-какими ручными ремёслами, но жизнь словно застоялась и — ни с места.

Бенито завёл об этом речь на совете. Клементе Яку начал спорить, он говорил, что у них есть свои обычаи и что поселяне уважают их. И Артидоро Отейса тоже сказал, что не следует пугать народ. На стороне Бенито оказались Амбросио Лума, который умел шевелить мозгами, он с радостью ухватился за мысль распахать болото, и Антонио Уилька, которого Бенито подкупил своей решительностью. В конце концов Бенито сказал, что он принуждать никого не собирается и берёт всю ответственность на себя. Коли пойдут пересуды, он ответит, что виноват только он один.

В одно прекрасное утро над озером, возле стока, затрёмел молот и завизжало сверло. Бенито Кастро, Порфирио Медрано, Росендо Пома и Валенсио бурили каменистое ложе ущелья. Ручей почти высох, потому что лето было в самом разгаре, и горы уж совсем пожелтели от жажды. Инструменты принадлежали Эваристо, а динамит — Доротео Киспе. Он добыл его в какой-то схватке и припрятал на всякий случай.

На исходе дня горы по всей округе содрогнулись от мощного, оглушительного взрыва. Поселяне догадались, что творится нечто необычайное, — недаром там что-то гремело целый день. Обломки скал, щебень полетели ввысь и грузно шлёпнулись в возмущённое озеро. Утки, испуганные грохотом, взметнулись в ужасе и долго кружили в воздухе, прежде чем решились снова опуститься в заросли тростника. Поселяне бросились к месту происшествия и там увидели четырёх смельчаков, которые с явным удовлетворением взирали на то, что они натворили. Каменная стена ущелья была взорвана, и вода шумным потоком падала вниз. Все так и застыли на месте — кто от восхищения, а кто от ужаса. Потом раздался голоса:

— А зачем это они устроили-то?

— Не будет от этого добра.

— Я сделал это, — крикнул Бенито Кастро, — я и буду отвечать. Целый день мы здесь возились и ни разу не видели ни белой, ни чёрной женщины в камышёвом венке. Пусть-ка она сейчас вылезет и сунется ко мне! За всё отвечаю.

Уровень воды понижался, но не оттого, что в воде кто-то двигался. Те, что потрусливее, с ужасом смотрели на этого отчаянного Бенито, а Валенсио хохотал во всю глотку.

— Так вы всё ещё этой ведьмы из озера боитесь? Поучитесь-ка лучше у Бенито.

Ветер трепал их пончо, трепал далёкие вечерние облачка. Вдруг из ущелья, куда с шумом неслась вода, раздался глухой, хриплый рёв. Артемио Чауки, с воплем выхватив нож, бросился на Бенито.

— Ах ты, ублюдок несчастный!

Бенито спокойно обернулся и, поймав его за кисть руки, заставил выпустить нож; затем левой рукой он ловко ударил его под ложечку — приём, которому он научился во время своих скитаний, — и Артемио свалился наземь. Темнело. Истребитель суеверий и трое его единомышленников направились в деревню в сопровождении горячо спорящих поселян.

За ужином Себастьян Пома сказал:

— Да что говорить, Бенито, опасную ты затеял вещь. Но пора уж было за это если не тебе, так кому-нибудь другому взяться. И я доволен, что мой Росендо помогал тебе, хотя ему не мешало бы с отцом раньше поговорить... стойл его за это проучить...

Бенито молчал, задумавшись. Но он не мог не улыбнуться на неугомонную Хуаначу, которая шепнула ему:

— Ты запиши у себя этот день карандашом. Первый раз слышу, чтобы мой Себастьян так долго говорил.

Ночь надвигалась. Далёкий шум водопада постепенно затихал и, наконец, его уж нельзя было отличить от завыванья ветра. Лаяли собаки. Трусы сидели по домам и ждали, что вот-вот завоюет женщина из озера. Но часы шли, и ничего не было слышно. Маргича с надеждой и любовью обняла мужа. И он сказал ей:

— Вот так, шаг за шагом. А завтра я пойду воевать с Чачо. Уж коли отвечать, так за всё сразу.

Издали видно было тёмную стену водопада. Бенито со своими сторонниками, которых за ночь прибавилось, подошли к месту взрыва, но не решились ступить на новый берег, ибо там было ещё много чёрной, глубокой прязи. Но уж теперь было ясно, что земли у них намного прибавилось. Конечно, немало тростника, который растёт около скал, засохнет, но это не так важно.

— Давайте-ка, — сказал Бенито, — покончим со всем этим. Пойдём к Чачо.

— Пошли!

— Ура, Бенито Кастро!

Бенито и Порфирио, на страх возможным врагам, захватили с собой и ружья. Артемио Чауки пришёл к Доротео Киспе, у которого тоже было ружьё.

— Доротео, — сказал он, — не поддавайся им. Ступай туда, пока они ещё не успели на нас беду накликасть.

Доротео насмешливо выпятил толстые губы и произнёс:

— Хм! Это не моё дело. Пусть Чачо с ними сражается.

Партия Бенито приобрела теперь поддержку Педро Майты и всей его семьи. Старый каменщик давно огорчался, что такой хороший камень и такая прекрасная земля пропадают даром. У развалин собралась целая толпа. Многие пришли просто из любопытства, но в общем все были настроены скорее благожелательно. Бенито подошёл к старой стене и крикнул:

— Эй ты, Чачо! Вылезай-ка! Не больно я тебя боюсь. Коляты на самом деле есть, так делай со мной, что хочешь.

И, ткнув ногой в стену, он свалил несколько камней на землю. Поселяне подошли и начали разбирать старые развалины — для новых домов больше места будет.

По настоянию Артемио Чауки и кучки его сторонников, Кlemente Яку созвал сходку, чтобы обсудить поведение Бенито Кастро. Толпа собралась изрядная, только старики и больные не явились. Кlemente усадили на скамью, а возле него, как полагалось по обычаю, уселись его помощники. Бенито пришёл в своём городском костюме, в фетровой шляпе и в ботинках. Себастьян посоветовал ему надеть пончо и соломенную шляпу, но Бенито сказал, что хоть он и очень любит эту одежду, и всегда её носил, но если он теперь вдруг переоденется, это будет похоже на уступку, а он решил бороться, а вовсе не уступать.

Кlemente Яку коротко рассказал, как и что, и предложил всякому, кто желает, сказать своё слово. Артемио Чауки выступил от лица недовольных, которые, судя по их крикам, раздававшимся всё громче и громче, были весьма многочисленны. Чауки остался прежним упрямым индейцем, несговорчивым, утрюмым, врагом всяких новшеств. Он стоял с непокрытой головой и говорил то торжественным, то возбуждённым тоном. Вечернее солнце блестело на его косматой голове и потном лице.

Он говорил, что общине только с величайшим трудом удалось подняться на ноги и что счастье и достаток мож-

но добыть только тяжким трудом и усилием каждого из поселян. Но вот нежданно-негаданно появляется у них человек, который никогда не был хорошим членом общины, а теперь пришёл, чтобы посеять между ними раздор. Он исчез из общины шестнадцать лет тому назад, и ясно, что появился сюда не с добрыми намерениями. С незапамятных времён люди чтити волшебное озеро, а вот этот человек приходит и рвёт заповедное место динамитом. Всем известно, что Чачо — это дух, и злой дух, а вот этот человек нарочно старается вызвать его гнев и для этого разрушил его жилище. Чего ещё теперь от него ждать после таких поступков? Один вред для общины будет и больше ничего. И разве это не подозрительно, что он появился как раз в ту минуту, когда община выиграла тяжбу. Его сторонники — это испорченные и беспутные поселяне, среди которых тоже есть несколько пришельцев, и они будто бы за новшества. Новшества! Индейцам нечего в это лезть и брать пример с белого человека, потому что каких только там нет новшеств, а всё равно они народ несчастный. Поэтому от имени поселян, которые осуждают поведение Бенито Кастро, он требует, чтобы Бенито исключили из общины. Только этим и можно оградить себя от раздоров и больших бедствий в будущем.

— Правильно! — один за другим подхватило несколько голосов.

Бенито Кастро встал. Кругом была полная тишина. Он снял шляпу, обнажив свою гладко причёсанную на пробор голову. Маргича смотрела на него испуганными глазами, а Чавеля плакала. Он ласково улыбнулся им. Потом, окинув толпу строгим взглядом, начал говорить. Речь его была спокойна, жесты коротки и энергичны.

Он сказал, что вернулся к ним не для того, чтобы разрушать, а чтобы строить. Он углубил динамитом сток из озера. Земля высохнет, и на ней поднимутся посеы. Он снёс старые развалины — на их месте вырастут хорошие, крепкие дома. Никаких таких вещей, вроде волшебного озера, нет на белом свете. Иначе почему же эта колдунья не появилась и не защищала своё озеро? И Чачо никакого нет, потому что ведь вот он не погиб, не помер. Доктор в его полку объяснял им, что опухоль, которую, как говорят, насылает Чачо, делается оттого, что человек потным посидит на холодном камне. Это простуда, а никакого Чачо на свете нет. Он защищает новшества потому, что, по его разумению, только таким путём индейцы

могут избавиться от рабства и чего-нибудь добиться. Почему на дона Альваро Аменабара не действуют заклинания Наши Суро? Да просто потому, что он её не боится. Что ж, это тоже новшество? Теперь — чего он хочет? Он хочет засеять землю кругом озера и на всём громадном болоте, с которого дожди уже смыли прязь. Там будут хорошие урожаи. А потом они могут подумать и о школе. Недаром Росендо Маки хлопотал о школе, он понимал, что без знаний теперь не проживёшь, только знания поведут вперёд. Вот когда они построят себе в Янаньяун школу, то лет через десять — двадцать ни одна душа не будет верить в зачарованное озеро или в Чачо. Почему у хозяев ранчо работа идёт лучше и пахут они там, где им кажется удобным? Да потому что они ни о каких суевериях не думают. Но только ведь нельзя ждать десять или двадцать лет, надо постараться, чтобы жизнь теперь же стала полегче. Старые развалины деревни стоят в таком месте, которое защищено от ветра горной грядой Руми, что тянется до самого Эль-Альто. Вот там-то и можно построить хорошую новую деревню.

Бенито закончил свою речь, подняв обе руки:

— Я люблю мою общину. И вернулся я сюда, потому что я её люблю. Люблю мою землю, мой народ и их законы, которые помогают им трудиться и жить вместе. Но ещё я скажу вам, что о людях судят по тому, во что они верят. Твой прадед, Артемио Чауки, когда-то говорил, что в старое время люди верили, что происходят они от кондоров. Это хорошая вера. И от неё в сердце рождается гордость. Но теперь уж у нас в это не верят. А верят во всякую чепуху, вроде заколдованного озера или глупого карлика, у которого рожа, как высохшая картофелина. Какой срам! Ничего этого нет. Только страх не даёт нам работать на нашей земле так, как нужно. Мы построим дома, и над ними не будет реветь буря, и они будут стоять крепко. И луга покроются богатыми посевами. А теперь пусть каждый голосует так, как ему подсказывает сердце. Исключайте меня, коли хотите, только всё, что я вам сказал, — сущая правда. Рано или поздно, а правда себя покажет и возьмёт верх. Община наша будет сильной, когда её люди будут сильными и не будут больше бояться всяких глупостей, которые выдумал страх.

Бенито Кастро сел и окинул взглядом противников, стоявших около Чауки. Потом, быстро взглянув на своих, которые сидели около Порфирио Медрано, он спокойно

обратил взор на собрание, которое должно было сейчас решить его судьбу. Никто не решался говорить. Но вдруг, к великому удивлению всех собравшихся, слово попросил добряк Иносенсио.

— Я... я согласен с Бенито, — медленно начал он. — Зачем нам верить во всякие глупости, от которых один вред. Я вот верю в моего маленького каменного телёнка, которого я закопал скотине на счастье. Но два паршивых беса не должны нам мешать, когда мы делаем что-нибудь, от чего общине будет польза.

Эти неожиданные слова Иносенсио вернули людей и к хорошему настроению, и к здравому смыслу; и то и другое вместе помогло принять разумное решение. Когда Клементе Яку предложил голосовать, на стороне Бенито Кастро оказалось громадное большинство.

Действительно, после двух лет упорного труда на месте развалин выросла деревня; дома стояли прочно, и высокие отроги гор защищали их от ветра. А луга возле озера покрылись богатыми воходами.

Первый год они только сеяли. На второй год сеяли и строились. Тёмнозелёная ботва картофеля шла до самого озера. Пурпуровое квиуа подходило к самым домам. Светлая зелень ячменных полей достигала подножия Эль-Альто. Между полями и Руми лежало пастбище, а кроме того, скотина могла пастись и по склонам. Вокруг выгонов построили каменную ограду.

Деревенские хижины стояли ровными рядами вокруг маленькой площади. Много оставалось сделать, но каждый был готов трудиться. Каменщик Педро Манта, хотя сам уже не возводил стен, распоряжался постройкой школы, — он стоял внизу и говорил, как надо класть камень.

Однажды Клементе сказал Бенито:

— Этот проклятый ревматизм совсем меня заел. Ничего я не могу делать. Откажусь я быть старшиной.

Так он и сделал. И Бенито выбрали старшиной.

Из плодоносной почвы, словно молодые побеги, поднималась новая жизнь.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА 20

КУДА, КУДА ДЕВАТЬСЯ?

Мачете и кирки блестели на солнце. Сердито щёлкали тридцать ружейных затворов. Артемио Чауки размахивал топором, подняв его высоко над головой, словно стальное знамя. Кто-то крикнул:

— Незачем зря тратить патроны!

Поселяне толпились на площади. Стоял прекрасный летний день. Весело сияло солнце. Мягкий ветер покачивал колосья на склонах Эль-Альто. И скотина щипала траву по жнивью, отвоёванному у озера. Несколько коров забрели в деревню и смотрели большими, удивлёнными глазами.

На всех лицах остался след трёх дней невыносимого страдания. Мужчины переглядывались с мрачной решимостью. Пончо и юбки весело пестрели, но смуглые лица смотрели сурово, словно горные вершины, которых не страшат молнии, ибо около них затихает и сама буря. Здесь были не только поселяне. Было ещё шесть человек, вооружённых погонщиков, их прислал Флоренсио Кордова. Они привезли с собой двадцать винтовок и предложили свою помощь. Бенито Кастро роздал своим винтовки и вместе с теми, что были припрятаны на чердаке у Доротео Киспе, их оказалось тридцать штук. Артемио Чауки был не похож на себя. Он размахивал топором и кричал:

— Индеец — это Христос, распятый на кресте несправедливости! Ах, этот крест проклятый, этот крест — ненасытные у него руки!

Шляпа у Доротео Киспе съехала на затылок, и его мрачная решительность ещё подчёркивалась багровым шрамом, который так и горел у него на лбу. Молодцы из его шайки, которые уже давно прижились в общине, стояли с невозмутимым, но не менее решительным видом. Жёсткие маленькие глазки Валенсио точно спрашивали:

— К чему вся эта суматоха? Драться, так драться.

Вся деревня, оплочённая, полная решимости, была на ногах. Самый младший из подростков, получивших оружие, был Фидель Васкес, которого ласково называли Фьерито. Это был смуглый парнишка с гладкой кожей и чудесными глазами. Он был задумчивый, редко улыбался и мало разговаривал. Он никогда не спрашивал об отце, а Касьяна сама не знала, что он об этом думает. Рядом с ним стоял его друг Ингалесно, который держал самодельное копьё из длинной палки с насаженным на неё блестящим остриём. Порфирио Медрано пришёл со своим старым ружьём «пибоди». Когда человек привыкнет к своему ружью, он его ни на какое другое не променяет. Один из малышей Паулы подбежал к отцу и, ухватив его за штанину, закричал: «Папа — бум! лань!.. Папа — бум! лань!.. Доротео смотрел, как он старается дотянуться до курка, и сказал ему. «Да, да — лань!» И сделал знак Пауле, чтобы она увела его.

В эту минуту подъехали трое крестьян из Мунчи. Так как не было видно ни старшины, ни помощников, они обратились к Порфирию. Это были метисы, в светлой полотняной одежде и в круглых белых шляпах. Пончо их были скатаны по-солдатски, а ружья вскинуты на плечо. Их сейчас же обступила толпа любопытных. Кое-кто из поселян отправился седлать лошадей. Не трогали только Волюнтарио, потому что он был производителем и его берегли. Некоторые лошади были деревенские, а другие из Умая. Шум то поднимался, то снова затихал, минутами наступала почти полная тишина. Толпа — ведь она шумит, как ветер. Вдруг кто-то крикнул:

— А вон он, Бенито!

Бенито вышел из дома, и за ним следом его помощники. Один был Инкарнисно, сын Педро Маиты. Старшина и его спутники вскочили на лошадей. У всех за плечами были винтовки, а у Бенито на груди красовалась лядунка. Доротео Киспе, Порфирио Медрано и ещё человек десять тоже вскочили на коней. Лошади нервно топтались на месте, толпа возбуждала их. Бенито поднял руку, чтобы перестали шуметь. Он крепко натянул поводья, удерживая коня, и сказал громко:

— Поселяне! Сходка решила, что пришёл час выступить на защиту нашей общины. Мы знаем, что в Умай сочнали отряды полиции и надсмотрщиков. Они заявятся к нам сегодня или, самое позднее, завтра... Я теперь прошу от вас только одного — защищайтесь до последней возможности. Закон решил, что мы не правы, и его решение обре-

кает нас стать рабами и подохнуть. Наш сосед, богач Альваро Аменабар, пытался сначала захватить нас и отправить работать на его копях, а когда у него это не вышло, он заставил Меркадосов продать ему их ранчо и согнал оттуда людей, чтобы они у него гнили под землёй. Теперь ему понадобилось ещё несколько тысяч солей, и вот он решил разводить коку в долине реки Окрос. Для этого мы ему и нужны. Он хочет заставить нас работать на него с утра до ночи, пока мы все не передохнем от малярии. Ему теперь не земля нужна, а рабы.

Что он сделал с той землей, которую отнял у нас? Она у него пропадает даром, сорняком заросла, по ней уже не пройдётся заботливая рука пахаря; дома развалились, а дом нашего доброго Росендо обратили в свиной хлев. Не нужна ему и земля Янаньяуи. Ему бы только нас заполучить. Закон отдаёт ему землю, а что будет с людьми на этой земле, об этом закон думать не хочет. Закон никого не защищает. Люди, которые ведают законом, говорят: — Ступайте куда-нибудь ещё, мир велик. — Да, мир велик. Но я знаю, поселяне, этот большой мир, в котором нам, беднякам, приходится жить, и я скажу вам: хоть он и велик, только он не наш. Поселяне, всякий из вас знает это. Вы видели это своими глазами всюду, куда бы вы ни попали. Есть такие, которые думают, что там лучше, где они не побывали, и они бредут бог знает куда и ищут, где бы им заработать. А многие ли из них вернулись? Педро Маита, которому бог дал быстро одуматься. А остальные так и пропали. И нам теперь осталось только оплакивать их, они либо подохли, либо стали рабами. Вот какова она — правда! Горькая правда, но её надобно знать. И мы должны закалить свою волю, чтобы твёрдая она стала, как сталь. В этом большом мире мы бродим с места на место и стараемся найти себе угол. Но мир не наш, он ничего нам не даёт, ничего! Даже заработать на кусок хлеба. Так мы и подышаем, уткнувшись лицом в землю, которая вся пропиталась солью от наших горячих слёз.

Так давайте же защищать нашу землю! Наше место в этом мире! Только так и можно защитить нашу свободу и жизнь. Доля бедняков везде одна и та же. И мы зовём всех бедных: идите с нами! Только так мы когда-нибудь завоеваем себе жизнь. Уже много лет, много столетий люди пытаются подняться и падают. Но не бойтесь, если и нам суждено упасть, — лучше умереть, чем жить рабами. Может быть, правительство когда-нибудь поймёт, что от его

несправедливости стране нет пользы. Когда они отбирают у индейцев их общинные земли, они объясняют, будто они хотят таким способом развить в нас чувство частной собственности. И вот для этого-то они отнимают у нас единственную нашу собственность — землю. Мы защищаем нашу жизнь, поселяне, мы защищаем нашу землю!

Толпа заревела, как ураган. И в этом реве можно только было различить отдельные слова: «земля... будем защищаться...» Погонщики, которых прислал Флоренсио, протискались через толпу, и один из них, тот что был за старшего, сказал Бенито:

— Послушай-ка, мы хотим вернуться к себе. Дон Флоренсио прислал нас сюда драться с доном Аменабаром, а не бунтовать. Отдай нам двадцать винтовок, которые мы тебе привезли.

Бенито, не говоря ни слова, выхватил из рук говорившего его винтовку. Поселяне, мужчины и женщины, бросились на остальных, которые стояли около. Раздался выстрел, какая-то женщина завопила. Но погонщики уже лежали на земле, обезоруженные. Толпа поняла теперь, что Бенито — это её настоящий предводитель, зоркий и решительный, что на него можно положиться; и по площади прокатилось промкое «ура». Раненую женщину родные повели домой. Бенито отдал винтовки и лошадей людям, которые связали погонщиков, и сказал:

— Заприте этих перемётчиков, чтобы они не удрали, да не рассказали там, что они здесь высмотрели.

Шестеро поселян с гордым видом сели на лошадей и перекинули винтовки за плечи. Солнце спускалось, и вершина Руми вздымала своё каменное копьё в бездонную высь. Вдали прокричала корикинга.

— Поселяне! — крикнул Бенито. — Следуйте за вашими вожаками, как мы решили...

Пешие и конные двинулись к каменистым кручам Эль-Альто, и к утёсам Руми, куда-то вдаль к горизонту. У каждой кучки была своя задача. Женщины подавали мужьям мешки с едой. Расставались молча. Женщины доходили до окраины деревни и смотрели им вслед, пока пончо всадников, развевавшиеся на ветру, словно знамена, не скрывались за суровыми утёсами. Бенито Кастро остался посреди площади с Доротео Киспе, и с ними осталось ещё восемь человек верховых, которых он отобрал очень тщательно. Трое из Мунчи подъехали к нему спросить,

что им делать. Он велел им присоединиться к отряду Амбросио Лумы.

Теперь вернёмся назад и посмотрим, как всё это вышло. Когда верховный суд, куда Аменабар обжаловал дело, вынес решение против общины, сходка решила сопротивляться. Правда, старшие люди деревни, и в первую очередь Бенито Кастро, много способствовали этому. Так как у них нехватало лошадей, они решили угнать их с пастбищ Норпы. На обратном пути, когда они вели захваченных лошадей, им встретился Рамон Брисеньос, и поднялась перестрелка. В конце концов ему удалось убежать, а через несколько дней они узнали, что в Умай уже прибыли вооружённые отряды. Они могли подойти сюда каждую минуту. Кордова когда-то предлагал им свою поддержку, с единственной целью насолить Аменабару, и теперь, когда Бенито обратился к нему, он дал ему людей и оружие, не подозревая о том, какой оборот принимает эта борьба. Шесть погонщиков, запертые в самом прочном из каменных домов, были первыми, кто смекнул, чем тут пахнет.

В этот вечер в деревне не зажигали очагов. Бенито распорядился, чтобы пищу готовили засветло: враги могут обстрелять деревню издалека или, во всяком случае, руководиться этими огоньками. Бенито со своими людьми и ещё двое, которые караулили погонщиков, были единственными оборонеспособными людьми, оставшимися в деревне. Все они, кроме двух караульных, сидели на крыльце дома Клементе Яку, по соседству с домом Бенито. Большой слышал их разговоры и время от времени тоже вставлял словечко.

— Если они ворвутся сюда, мне конец. Куда мне бежать с моим ревматизмом? Ходить-то не могу! Да и что мне в это дело лезть? Подожду уж здесь, в постели. Пусть убьют, коли уж им так нужно.

— Нет, Клементе. Зачем так говорить? Мы их некоторое время придержим, а если нам удастся поднять настоящее восстание... Погляди-ка на Бенеля. Он держался пять лет.

— У него, верно, были покровители.

— Не верь ты этому. Он умел привлекать народ на свою сторону, вот и всё. Я был там и сам видел, как ему люди помогали. А кстати, раз уж мы об этом заговорили, я хочу всем вам дать один совет. Я уж кое-кому это говорил, но беда не большая, если они ещё раз послушают. Был у нас в полку один сержант, звали его Паломино. Старый кавалерист, он когда-то дрался с индейцами, которые взбун-

товались на юге, в Гуанкане. Этот чорт знал много фокусов. Индейцы обычно прятались по горам в утёсах, и очень было трудно до них добраться. Так вот солдаты, когда они наступали, прикидывались, что у них что-то случилось с пулемётом, или будто патронов у них не хватает. А бунтовщики, радуясь, что им счастье привалило, высказывались с криками: «Нет у них пуля!», или: «Сломали пулемёт!» — и бросались на них, размахивая мачете и запуская в них камнями из пращей. Солдаты делали вид, что отступают, пока не выманивали их из ущелий на открытое место. Тогда они пускали в дело пулемёты и винтовки, и дурачки-индейцы валились, как отравленные мухи. Так вот, нельзя попадаться на такие штуки.

Подошла Маргича. Она принесла им кожи. Бенито расцеловал своего годовалого сынишку, которого она держала на руках.

На вершине Руми около того места, где когда-то Росендо приносил дары горному духу, собралась и беседовала маленькая кучка людей. Ночь уже сомкнула над ними свой плотный покров, на небе одна за другой затеплились звёзды, и пик Руми закутался в глубокую мглу. В этой кучке вожаком был Кайо Сулья — индеец, обладавший необыкновенно зорким зрением.

— Как ни гляди, а сейчас ничего не видно, — сказал он, — а ты видишь хоть что-нибудь?

— Нет. Темень.

— Что ж, они совсем дураки, что ли? С фонарями не пойдут.

Они осмотрели по направлению дороги, которая вела в Умай. Сильный ветер прохватывал их, забираясь им под пончо.

— А здорово холодно-то!

— Холодновато. Дай-ка мне щепотку кожи.

У подножья Руми между скалами, где дорога в деревню расходилась надвое, стоял Элой Кондоруми. У него было двадцать человек. Он расставил их вдоль каменного гребня, лицом к дороге. Каждому виден был только профиль соседа. Все они внимательно слушали, боясь проронить слово, чтобы ни единый звук не проскользнул незамеченным. Они молча пожёвывали коку, а Кондоруми, в напряжённом спокойствии, прислонился своей могучей спиной к опромянному камню.

На тропинке, которая вилась по склону Эль-Альто, там, где нависающие скалы теснили её к какому краю пропа-

сти, стоял Ортидоро Отейса с отрядом в десять человек. Они следыли за дорогой, укрывшись за грудой камней.

— Здесь им придётся идти гуськом.

— А сколько б их ни было, мы их камнями завалим.

Выше, между отрогами Эль-Альто, замыкавшими широкое ущелье, там, где сходилось несколько тропинок, стояли Амбросио Лума, Порфирио Медрано, Валенсио и ещё двадцать человек. По-одному, по-двое стояли они в ущельи, по другую его сторону, и между скал. Трое из Мунчи тоже были здесь, и к каждому из них был приставлен один из поселян. Холод был резкий, они жевали кожу и отхлёбывали время от времени по глотку рома. Рому было немного, и один человек, обходя посты, угощал всех из единственной бутылки.

— Ну что, ничего не слышно? — спрашивали его поселяне на постах.

— Да вроде как ничего. Валенсио пошёл вперёд поглядеть.

— Да уж он-то услышит, коли что.

Они стояли в темноте, крепко закутавшись в свои пончо и сжимая в руках оружие. Крестьяне из Мунчи говорили, что они решили драться с Аменабаром, потому что он загнал и украл у них скотину.

Около дома Клементе Яку разговор что-то не клеился. Внезапно раздались шаги, и из темноты выросла фигура. Это был вестовой от Кайо Сульи.

— Добрый вечер. Кайо прислал сказать, что пока ничего не выдать. Тьма кромешная.

— Так. Захвати-ка с собой бутылку рома. Но как только там что-нибудь увидят, пусть дают сигнал огнём и пришлют сказать.

— Ладно.

Бенито пошёл в дом. Чиркнул свичкой и тут же вышел.

— Три часа, — сказал он.

Ночь стояла чёрная, немая. И эти собравшиеся здесь люди, и каждое произнесённое ими слово как будто тонули в бездонной пропасти мрака, еле пронизанного робким мерцаньем редких звёзд.

Высоко в горах, крутой тропой, по направлению к Умаю двигались гуськом десять человек. Только по звуку их шагов можно было догадаться о них. Они шли сказать индейцам, работавшим на ранчо, что час настал — пора браться за оружие.

А по обычной дороге через горы ехали длинной цепью

верховые. Когда они добрались до того места, где дорога расходится, лейтенант Сепеда, взглянув на светящийся циферблат своих часов, сказал старшему надсмотрщику Карнио:

— Три часа. Забирай своих и отправляйся ложиной мимо старой деревни, а потом поднимайся тропкой к Руми. Мы пойдём ущельем Эль-Альто. Дон Альваро сказал, что на проводника можно положиться. Самое позднее в шесть утра всем нам надо соединиться на плато, чтобы напасть на деревню врасплох.

— Да, дон Альваро так и велел: захватить врасплох.

— Правильно! Я полагаю, они вряд ли с этой стороны будут ждать. Они думают, мы подойдём часам к двенадцати. Вовсяком случае, они будут сторожить по дороге уклонов Эль-Альто. Так вот, значит, поехали. Счастливо добраться!

— И вам того же.

Топот коней разделился надвое и постепенно утонул в чёрной, высокой, необъятной тишине, где голос ветра звенел так неумолчно и ровно, что его постепенно переставали замечать. Так и Валенсио, не замечая его, стоял на своём посту. И хотя до его слуха только и доносилось это мерное дыхание ветра среди утёсов, он не обращал на него внимания, явно дожидаясь чего-то другого. Наконец он что-то услышал. Тогда он бросился к Порфирио Медрано и сказал ему:

— Порфирио, кони скачут.

— Сюда, к нам?

— Вроде как сюда. Возьми-ка пончо.

— Зачем снимаешь? Ведь холодно.

— Как бы не заметили. Полосы очень светлые. Пойду вперёд.

Валенсио сбросил пончо и соломенную шляпу. Его смуглое тело было под цвет его штанов. С винтовкой в руках он двинулся вперёд и тотчас же растаял в темноте. Его босые ноги скользили совершенно беззвучно. Ветер яростно налетал на него, но он шёл, рассоекая его грудью, не чувствуя его, словно был он не человек, а камень и тень. Но слышать, видеть и обонять он мог, как дикая пума.

Порфирио Медрано передал сообщение Амбросио Луме. А тот послал одного из своих оповестить тех, кто сторожил в ущельи, а также и Антонио Уилька. Все взялись за винтовки, и в этом напряжённом ожидании время как будто вовсе остановилось. Через час Валенсио вернулся. Он не знал, сколько их там, но что-то очень много. Он

подкирался совсем близко, но ему так и не удалось увидеть конец колонны. А проводником у них индеец, они идут к ущелью. Амбросио послал гонца к Бенито Кастро, и тот пришёл со своими едва только забрезжила заря. Валенсио ещё раз отправился на разведку. Он сказал, что они уж совсем близко и через несколько минут объедут Чёрный холм и покажутся около гумна. Бенито Кастро взял на себя команду, и тридцать человек залегли, прижавшись к камням, чтобы путь оставался свободным.

Наконец показались верховые. Вырастая один за другим в молочной полумгле рассвета, они приближались довольно медленно, так как индеец-проводник шёл пешком. Проводник то и дело оглядывался, словно насторожившееся животное, потом вдруг, вскрикнув, остановился. Поселяне открыли огонь. Испуганные лошади заметались из стороны в сторону. Всадники, на скаку, прыгая с лошадью, бросались наземь; некоторые, похрабрей, стали отстреливаться, а когда увидели, что по ним бьют только с одной стороны, они отползли к краю дороги, укрылись за камнями и начали обороняться по всем правилам. Выстрелы премели в стенах ущелья; эхо вторило им, разносилось далеко по горам, и всё сливалось в сплошной трескучий грохот.

Утро взошло в своём розовом сиянии, а бой всё продолжался, и так упорно, что Бенито стал проявлять признаки беспокойства. Отряд оказался многочисленным, и огонь с той стороны не ослабевал. Бенито не мог подсчитать убитых, их не было видно в высокой траве. Два корикинги, вспугнутые стрельбой, пронеслись над ущельем с пронзительными криками. Но вдруг посреди свиста и жужжанья пуль, летевших из перепретых стволов, в ряды неприятеля с грохотом обрушился камень, другой, третий, а за ними следом ещё и ещё — настоящий каменный дождь. Солнце осветило группу пращников на вершине утёса. Камни чертили в воздухе чёрную дугу и проносились с рёвом, напоминавшим мычанье коровы. Возможно, какой-то глубоко скрытый наследственный страх проснулся в крови неприятельских стрелков, ибо до сих пор они стойко выдерживали ружейный огонь, а теперь в ужасе бросились бежать от этого каменного дождя. Пращники один за другим стали спускаться с утёса, а отряд, сидевший в засаде, бросился на дорогу, к тому месту, откуда только что бежали полицейские. Там лежало шесть человек убитых. Один из них, повидному, застрелился сам из револьвера. Но поселяне тоже понесли по-

тери: возле скалы лежал бездыханный Порфирио Медрано, сжимая в руках своё «пибоди», а подальше, в овражке, юный Фидель Васкес; губы его, которые так редко раздвигались улыбкой, сейчас были мучительно искривлены. Бенито Кастро приказал пращникам закопать полицейских в общую могилу, а Доротео Киспе с восемью всадниками отправил на преследование бежавшего противника. Сам Бенито и ещё четыре человека понесли тела своих в деревню. Амбросио и его отряды остались на прежнем посту. Солнце заглянуло в ущелье, блеснуло по стволам винтовок, по голой спине Валенсио, по лужам крови.

По узкой крутой тропинке, вьющейся по склону Руми, испешно поднимался другой отряд полицейских и надсмотрщиков. Им нужно было к шести выехать на плоскогорье. Но теперь уже все явственно различили отдалённую стрельбу. Уже рассветало, и где-то в лощине звонко прокукарекал петух. Лошади храпели и фыркали под шпорами всадников. Одному надсмотрщику послышался звук выстрела; он сказал об этом своим спутникам. Они прислушались, и теперь уже все явственно различили отдалённую стрельбу. Они остановились в нерешительности, не зная — подвигаться ли им вперёд или повернуть обратно, но в это время другой, мощный, глухой, нарастающий грохот положил конец их сомнениям. Громадные камни неслись прямо на них по склону, крутясь, подскакивая, грозно рыча, словно объятые слепой яростью. Обезумевшие от страха лошади бросились вскачь, но, срываясь на узкой тропе, падали в пропасть; кое-кто из всадников пытался уйти с тропы и укрыться среди выступов скал, некоторые ползком пробирались к старой деревне или спускались на дорогу, — но камни неслись со всех сторон, увлекая за собой другие, вырывая с корнями кусты, и в зловещем облаке каменной пыли наступали то человека, то лошадь. Грозная туча разила их всюду утрюмым, тяжким каменным градом.

Кондоруми удалось спихнуть громадный обломок скалы, который ринулся вниз, грузно подскакивая, сотрясая воздух, землю и горы грохотом, рёвом и стенаньем. В одном из своих грузных прыжков, он, как былинку, швырнул со скалы лошадь, и она, в судорожном усилии удержаться, обдала своим храпящим дыханьем уцепившегося за соседний выступ полицейского; они полетели

в пропасть. Докатившись до того места, где некогда было пшеничное поле, смертоносная громада замедлила свой бег, словно раздумывая, не остановиться ли ей, но вдруг снова подпрыгнула и стремительно понеслась дальше, пока, наконец, не врезалась в какую-то заброшенную лачугу и, взметнув громадное облако пыли, щебня и земли, застыла посреди груды обломков. Лишь очень немногим удалось доскакать до равнины, и уже оттуда, всё ещё под угрозой камней, выбраться за черту смерти. Большая часть отряда погибла, погибли и лошади, одни — сражённые камнем, другие — поглощённые бездной. Те, кому удалось уцелеть, укрывшись в расщелинах скал, ползком, прячась за кустами, выбрались из этого опасного места. К полудню здесь не осталось ни одной живой души. Только стаи коршунов кружили над каменным склоном.

Маленькая процессия проводила прах Порфирио Медрано и Фиделя Васкеса на деревенское кладбище. Угрюмый Артемио Чауки копал могилу Порфирию. Голос его прерывался от слёз.

— И подумать только, сколько раз я обижал его. Требовал, чтобы его прогнали из общины. Нет, дайте уж я буду копать ему могилу. Дайте мне что-нибудь сделать для него, хотя бы для мёртвого.

Касьяна молча смотрела, как комья земли падают в могилу. Там лежало её дитя, её надежда. Теперь всё это стало землёй, и вся её жизнь тоже ушла в землю. Бенито Кастро думал об умерших. Об этих и всех тех, кто лежит там, под землёй, и словно вопиёт к ним своими оскаленными зубами, чёрными пустыми глазницами, переломанными, побелевшими костями. Он не знал, сколько их. Со времён Атуспарии и Учку Педро — и до и после, — кто подведет им счёт? Земля хранит про себя их вопиющие кровью голоса, мощный трепет их бронзовых грудей, она хранит в себе целое море голосов — воплей, мыслей, песен, страданий. Не всё ли равно, как их зовут? Атуспария или Порфирию, Учку или Фидель? Душа Бенито преклонялась перед этим величественным гимном погибших, и кровь их стучала ему в виски, когда он мысленно погружался в этот укрывший их необъятный, пылающий мрак. Ибо вот уже четыре столетия, как они идут на смерть и терпят все муки, какие может вместить в себя земное время. И всё это во имя их великой любви к матери-земле, с которой они связаны так же, как ребенок связан луповиной с матерью.

Правительство согнало индейцев на принудительные работы по прокладке дороги к деревне. Грузовики с солдатами неслись по дороге к Руми. На Умге тоже восстали. Но власти решили подавить прежде всего главный очаг мятежа, как можно скорее пресечь заразу, чтобы не дать ей распространиться. Повсюду, за исключением тех мест, где полиция опасалась попасть под каменную лавину, происходили отчаянные, свирепые смертельные стычки. Пулемёты прочёсывали все закоулки между скал, пули из маузеров пронзительно свистели в воздухе, горы сотрясались в судорогах. Полуденное солнце поило тяжким зноем суровые вершины.

В деревне остались только больные, женщины и дети. Даже старики ушли в горы, в надежде, что им удастся обрушить на врага хотя бы один камень. Женщины тщетно успокаивали детей, которые просились к отцам. На исходе дня начали появляться раненые. Некоторые, не успев сказать ни слова, кончались; другие просили своих оставить их и бежать, как можно скорей бежать. Они рассказывали, как гибнут индейцы, как падают они с утёсов, словно кондоры. Кровавые следы, лужи и целые ручья крови тянулись по улице. Но куда же бежать? Все дороги залиты кровью.

Внезапно появился сам Бенито Кастро. Лицо его, и руки, и одежда — всё было в крови; в крови товарищей, которых он пытался вынести из боя, в крови из его собственных ран. Он упал перед самым домом и угасающим голосом позвал жену. И в эту минуту в памяти его, словно предсмертное видение, встала картина расправы в Лаукане. Маргича подошла к нему с ребёнком на руках.

— Ухо-ди... у-хо-ди... — только и успел вымолвить он хриплым, иступлённым, задыхающимся голосом.

И в этом голосе слышалась мольба о спасении жизни — жены и ребёнка.

— Но куда же я пойду? Бенито... куда?.. — умоляюще воскликнула Маргича, безумными глазами глядя на умирающего мужа, на своего ребёнка, на этот белый свет, на своё одиночество.

Она не знала куда. А Бенито был мёртв. Ближе, всё ближе и ближе слышалось щёлканье маузеров.

12 руб.

